

Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области

«Государственный социально-гуманитарный университет»

Министерство культуры и туризма Московской области
Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Некоммерческое партнёрство «Заповедное Даровое»



VII-VIII
ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ
В ДАРОВОМ



ГСГУ

Коломна, 2024

УДК 821.161.1 (09)
ББК 83.3(2=Рус)5-8
Л52

Рекомендовано к изданию
редакционно-издательским
советом ГОУ ВО МО «ГСГУ».

ОТ РЕДАКТОРА

Рецензенты:

Фокин Павел Евгеньевич, кандидат филологических наук, заместитель директора ГМИРЛИ им. В. И. Даля по научной работе, руководитель отдела «Музейный центр «Московский дом Достоевского»,

Бондаренко Марина Игоревна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет».

Фото на обложке: открытие памятника Ф. М. Достоевскому в Даровом 25 сентября 1993 года. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».

Л₅₂ VII–VIII Летние чтения в Даровом / ред.-сост. В. А. Викторovich. — Коломна : ГСГУ, 2024. 304 с. : цв. вкл.

ISBN 978-5-98492-554-9

В основу сборника положены материалы VII и VIII «Летних чтений в Даровом». Обе научные конференции объединила тема «Достоевский: проблемы восприятия и толкования», которая стала ведущей темой настоящего сборника. Печатаются также новые материалы по истории усадьбы Даровое.

УДК 821.161.1 (09)
ББК 83.3(2=Рус)5-8

© ГОУ ВО МО « Государственный
социально-гуманитарный университет», 2024
© Государственный музей-заповедник
«Зарайский кремль», 2024
© НП «Заповедное Даровое», 2024
© Авторы статей, 2024

ISBN 978-5-98492-554-9

VII и VIII «Летние чтения в Даровом» прошли в 2019 и 2020 гг. Обе научные конференции объединила тема «Достоевский: проблемы восприятия и толкования», которая стала главной темой настоящего сборника.

Сложившееся на сегодня достоевскоеведение представляет одно из ведущих звеньев отечественной филологии. Не останавливая формирования эмпирической, источниковой базы, оно заметно концептуализировалось: на наших глазах разрабатывается не одна «правильная» концепция, а сразу несколько, далеко не всегда согласуемых друг с другом. Это нормально для науки, но это же и требует от учёного непрерывной проверки адекватности своего «я так вижу» выраженным интенциям интерпретируемого автора.

Открывает сборник коллективная публикация — плод размышлений ведущих достоевсковедов, высказавшихся на круглом столе о проблемах сегодняшнего восприятия Слова писателя и событий его жизни. Каждый из авторов защищает свой, выработавшийся годами научных трудов путь к познанию истины Достоевского. Опыт прохождения своего пути стóит соотнести с опытами непохожими; самый жанр круглого стола обязывает слышать друг друга, способствуя тем самым самоопределению действующего поколения учёных. Мы намерены продолжить практику полилога и далее на «Летних чтениях в Даровом».

В статьях сборника рассматриваются различные аспекты рецепции произведений Ф. М. Достоевского в прижизненной критике, в современной науке, в читательской практике, в смежном виде изобразительного искусства.

В монографической статье В. А. Викторovichа прослежена история восприятия программного для писателя рассказа «Мужик Марей». Глядя из Дарового, мы настаиваем на ключевом значении этого произведения: здесь на малом пространстве текста просто и внятно предъявлено столь важное для нас открытие глубинной сущности народного духа. При всей его, скажем так, оголённой простоте, рассказ оказался крепким орешком для интерпретаторов, многие из которых писали и пишут своего Марей. Рецептивный анализ, задаваясь вопросом, почему и зачем они это делают, позволит написать историю уже самих читателей: мы читаем Достоевского, но при этом получается, что и Достоевский читает нас.

Статья В. Е. Ветловской «Народные идеалы у Достоевского и их фольклорная основа» принципиальна для последовательного формирования, как нам представляется, ключевого, но ещё не ставшего магистральным направления

исследований «Достоевского народного» (по выражению В. П. Владимирцева) и, в частности, для тех разысканий, что ведут нас к постижению феномена Дарового в жизни и творчестве писателя.

К. А. Баршт вводит в научный оборот новые материалы, расширяющие наши представления о возможных прототипах генерала-детоубийцы из романа «Братья Карамазовы». Генерал Л. Д. Измайлов, прославившийся своими жестокими «подвигами», был помещиком села Дединово, что не так далеко от Дарового, и Достоевский мог не только прочитать о нём в очерке С. Т. Славутинского 1876 года, но и слышать о местном Калигуле ещё в детские годы.

Непростой вопрос о восприятии творчества Достоевского и Л. Толстого церковной критикой поднимает А. П. Дмитриев. Даётся достаточно полный и вместе с тем аналитический обзор выступлений церковной прессы, откликавшейся на произведения двух писателей. Духовная критика шла своим путём, далеко не всегда совпадавшим с тенденциями, развивавшимися в критике литературной. В недрах последней, между тем, сформировалось так называемое религиозно-философское направление. Их соотношение только затрагивается в статье А. П. Дмитриева, и необходимы дальнейшие исследования.

Интерпретаторами Достоевского становились его коллеги-писатели, современники и потомки. В статьях Т. П. Баталовой, Г. В. Федяновой и Т. С. Карпачёвой предложены новые штрихи к «портретам» таких читателей Достоевского, как Н. А. Некрасов и В. В. Набоков. Живые и далёкие от хрестоматийности обращения к творчеству классика у Александра Кушнера находит исследователь поэзии XX века А. В. Кулагин.

На круглом столе была затронута непростая тема «Достоевский и так называемый массовый читатель». А. В. Индзинская показывает, какую роль в формировании репутации Достоевского в читательской аудитории сыграла когда-то газета «Новое время» с её продуманной медийной стратегией и тактикой. Восприятие современными студентами «неходового» рассказа Достоевского М. А. Дубова пытается раскрыть вербально-коммуникативным методом опроса и последующего статистического анализа.

А. А. Черенкова анализирует иллюстрации Ф. Д. Константинова к роману «Преступление и наказание» как особый способ интерпретации произведения. Гравюры художника хранятся в фондах Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». Уроженец Зарайского уезда (в XIX веке известного раскольничьими сектами), Ф. Д. Константинов глубоко прочувствовал характер своего литературного «земляка» — Раскольникова.

В настоящем сборнике мы открываем новый раздел «Полемика». Мы убеждены в том, что без полемики, без научной критики увядает и наука как таковая. При этом спор, разумеется, не должен переходить на личности: критикуется не *лицо*, а *явление*. От критики не должны быть свободны и авторитетные в научной среде авторы. Так, мы безусловно при-

знаём высокие заслуги перед отечественным литературоведением С. А. Кибальника, но видимое ослабление доказательной базы в его последней книге, как замечает Г. Н. Крапивин, ведёт известного учёного от строгой науки к научной беллетристике. Последняя также имеет право на существование, но лишь в том случае, когда она себя и позиционирует в качестве беллетристики. Столь же основательными представляются нам и сомнения Е. А. Фёдоровой относительно делаемых попыток сближения Достоевского с масонством. Припоминается сказанное писателем: «Право, мне мерещилось всегда, что у них какая-то тайна, адово разумение, тайна муравья. Но такая тайна равносильна обращению человека в муравья, коли дан разум» (24; 162). Присоединение Достоевского к масонской традиции, таким образом, противоречит очевидно выраженной авторской интенции и вновь заставляет задуматься о необходимых границах интерпретации.

Архивный раздел включает в себя публикацию ранее неизвестных материалов по истории усадьбы Даровое. В статье Т. Н. Дементьевой и Л. А. Воронкиной впервые публикуются планы пустошей, датируемые 1847–1854 гг. и доказываются, что количество земли, принадлежащей М. Ф. Достоевской, было значительно больше, чем было заявлено ею в 1832 г. Выяснилось также, что к 1852 году в результате полюбовного размежевания участка пустошей Треполи, Чертковой и Хариной были выменены наследниками Достоевскими за земли деревни Даровой и близлежащей Нечаевой пустоши, в результате чего Достоевские стали единоличными владельцами Дарового.

В статье И. А. Боголюбской из раздела «Заповедник», посвящённого музеефикации усадьбы, раскрываются подробности установки в Даровом в тяжёлое для страны время замечательного памятника Достоевскому работы скульптора Ю. Ф. Иванова. Памятники Достоевскому поставлены по всему миру — и это тоже своеобразные интерпретации личности и судьбы великого сына России. Памятник в Даровом, единственный «деревенский», удивительно органично вписался в окружающее мемориальное пространство тихой родины, можно даже сказать, сросся с ним. Сзади подступает роща его детства («ничего в жизни я так не любил, как лес»), справа виден древний Нечаевский погост, впереди за полем — Лоск, помнящий провиденциальную встречу с мужиком Мареєм, а прямо перед памятником — аллея, по которой Достоевские въезжали в усадьбу, и последняя для отца дорога на Черемошню. Средостение пробуждающих нашу память энергий, ведь и впрямь «в земле есть нечто сакральное». История самого памятника, его установка как противодействие национальной катастрофе также определяют ценность и смысл монумента.

Традиционный раздел «Хранители» на сей раз посвящён первому исследователю семейной усадьбы Достоевских Вере Степановне Нечаевой. Её книга 1939 года «В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских)» положила начало серьёзному научному

анализу ранней биографии писателя. С тех пор усилиями многих исследователей представления о «даровском» периоде значительно обогатились (в рамках нового проекта коломенских учёных готовится переиздание родительских писем с дополненными и исправленными, по сравнению с указанной книгой, комментариями), но мы не забываем тех, кто прокладывал путь, по которому мы продолжаем идти.

«Летние чтения в Даровом» продолжаются. Анонс ближайших: «Достоевский: философия природы», «Достоевский и пушкинские начала русской литературы».

* * *

В статьях и публикациях сборника цитаты по изд.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972–1990 даются в круглых скобках с указанием тома и страницы.



ДОСТОЕВСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ И ТОЛКОВАНИЯ



*В. А. Викторovich, Л. И. Сараскина, Т. А. Касаткина,
И. А. Есаулов, В. В. Борисова, А. Г. Гачева, И. Л. Волгин, В. Н. Захаров*

ДОСТОЕВСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Аннотация. Предлагается сокращённая запись круглого стола «Достоевский: проблемы интерпретации», состоявшегося 27 августа 2020 г. в рамках конференции «VIII Летние чтения в Даровом» в режиме онлайн. На обсуждение были вынесены следующие вопросы:

Современные прочтения Достоевского в целом более аутентичны, нежели таковые в начале XX века или во второй его половине?

Плюсы и минусы пере-интерпретаций.

Если, как утверждают, существует производство интерпретаций, то не наблюдается ли кризис перепроизводства?

Достоевский в Интернете: надо ли ввязываться или пусть «собака лает»?

Интерпретация — путь к пониманию текста или самовыражение интерпретатора?

Есть ли границы (limits) интерпретации и, если есть, как их определить?

Историко-социальные и религиозно-философские прочтения Достоевского: конфликт или согласие?

Достоевский-икона и Достоевский «без глянца» — надо ли избегать крайностей?

Защищая разные точки зрения, слышим ли мы друг друга?

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, рецепция, понимание, границы интерпретации, комментирование, полемика, личность исследователя, популярное литературоведение.

Информация об авторах. Владимир Александрович Викторovich — профессор Государственного социально-гуманитарного университета.

Людмила Ивановна Сараскина — главный научный сотрудник Государственного института искусствознания.

Татьяна Александровна Касаткина — главный научный сотрудник Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН, заведующий научно-исследовательским центром «Ф. М. Достоевский и мировая культура».

Иван Андреевич Есаулов — профессор Литературного института им. А. М. Горького.

Валентина Васильевна Борисова — ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля.

Анастасия Георгиевна Гачева — ведущий научный сотрудник Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН.

Игорь Леонидович Волгин — заслуженный профессор МГУ, президент Фонда Достоевского.

Владимир Николаевич Захаров — профессор Петрозаводского государственного университета, почётный президент Международного общества Достоевского.

*Vladimir A. Viktorovich, Lyudmila I. Saraskina, Tatyana A. Kasatkina, Ivan A. Yesaulov,
Valentina V. Borisova, Anastasia G. Gracheva, Igor L. Volgin, Vladimir N. Zakharov*

DOSTOEVSKY: THE PROBLEMS OF INTERPRETATION

Annotation. An abridged recording of the round table “Dostoevsky: problems of interpretation”, held on August 27, 2020 as part of the conference “The VIIIth Summer Readings in Darovoe” online, is proposed. The following issues were put up for discussion:

Are modern readings of Dostoevsky generally more authentic than those at the beginning of the 20th century or in its second half?

The pros and cons of reinterpretation.

If, as they say, there is a production of interpretations, is there not a crisis of overproduction?

Dostoevsky on the Internet: should I get involved or let "the dogs bark"?

Is interpretation the way to understand the text or the interpreter's self-expression?

Are there limits to interpretation and, if so, how to define them?

Historical-social and religious-philosophical readings of Dostoevsky: conflict or agreement?

Dostoevsky is an icon and Dostoevsky is "without gloss" — is it necessary to avoid extremes?

Defending different points of view, do we hear each other?

Keywords: F. M. Dostoevsky, reception, understanding, boundaries of interpretation, commenting, polemic, personality of the researcher, popular literary criticism.

Information about the authors. Vladimir Alexandrovich Viktorovich — Professor, State University of Social Sciences and Humanities.

Lyudmila Ivanovna Saraskina — Chief Researcher, State Institute of Art Studies.

Tatyana Aleksandrovna Kasatkina — Director of Research, Head of the Research Centre "Dostoevsky and World Culture", A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences.

Ivan Andreevich Yesaulov — Professor, A. M. Gorky Literary Institute.

Valentina Vasilyevna Borisova — Leading researcher, V. I. Dahl State Museum of the History of Russian Literature.

Anastasia Georgievna Gacheva — Leading researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences.

Igor Leonidovich Volgin — Honored Professor, M. V. Lomonosov Moscow State University, President of the Dostoevsky Foundation.

Vladimir Nikolaevich Zakharov — Professor, Petrozavodsk State University, Honorary President of the International Dostoevsky Society.

В. А. Викторovich

Один из основных тезисов рецептивной эстетики гласит, что активное усвоение произведения происходит через познание истории его рецепций. Предыдущие прочтения как бы живут в произведении. Ю. М. Лотман в одной из последних своих работ вводит понятие «память текста» и говорит о том, что текст не только генератор смыслов, но и конденсатор культурной памяти. «Гамлет» — это не только текст Шекспира, но и память обо всех его интерпретациях. Достоевский не меньше, чем Шекспир, накопил таких интерпретаций, часто сталкивающихся друг с другом. Понятно, что этот огромный объём, который набрался за полтора столетия, нас немножечко давит, и тем не менее мы не имеем права начинать с нуля, потому что мы всё равно стоим на плечах своих предшественников, хотим мы этого или не хотим. Мне кажется, нам необходима некоторая рефлексия относительно нашей способности понимать наше понимание. В контексте тех пониманий, которые уже существуют и напоминают о себе при чтении того или другого текста.

В начале 1960-х годов получила известность книга Умберто Эко «Открытое произведение», где утверждалось, что все интерпретации имеют право на существование: произведение открыто, смысл создаёт не столько автор, сколько читатель. А в 90-е годы тот же самый Умберто Эко вводит понятие гиперинтерпретации и говорит о том, что нужны какие-то границы, не может быть полностью открытого произведения. После этого прошло ещё три десятилетия, и мы живём уже в такое время, когда гиперинтерпретация, на мой взгляд, уже стала гипер-гиперинтерпретацией. Одни говорят, что

мы живём в эпоху эпистемологической неуверенности, когда, как у Чехова, никто не знает настоящей правды и есть только интерпретации хайли лайкли, извините за выражение. Есть другая позиция, выражающая нетерпимость вообще к понятию интерпретации. Сергей Георгиевич Бочаров говорил, что есть понимание, а есть интерпретация — это разные вещи. Интерпретацию он называл самоутверждающимся пониманием, когда важно не столько понимание, сколько самоутверждение того, кто интерпретирует. В отношении таких гиперинтерпретаций мы не любим рефлексировать, нам не хватает дискуссий, не хватает полемики. Вот, скажем, утверждается в одной работе, что, когда Коля Красоткин подарил пушечку Илюше, это был тайный код: он подал знак об Илье-пророке. Или вот популярное у западных исследователей (и не только) прочтение «Братьев Карамазовых» как бы в пользу Ивана, с деконструкцией линий Алёши и Зосимы. Или вот современный автор предлагает прочтение повести «Белые ночи» как рассказа о посмертных мучениях петербургских призраков, которые обречены скитаться по ночам, страдая от одиночества, и грезить воспоминаниями о своём прошлом воплощении. И Мечтатель — призрак, и Настенька тоже. В тексте, как уверяет исследователь, немало намёков на то, что главный герой, Мечтатель, прежде был масоном и, вероятно, погиб при пожаре, а встретившаяся ему Настенька, вероятно, душа самоубийцы-утопленницы, вынужденная блуждать между прежним жилищем и местом гибели. Одно из доказательств — цитата из Достоевского: «От этаккой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая как огонь» (2; 129). Вот такое «убедительное» доказательство. Да, в тексте, при большом желании и фантазии много чего можно найти. Как говорил Разумихин Порфирию Петровичу: «...хочешь я тебе сейчас выведу, <...> что у тебя белые ресницы единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком?» (6; 197).

Далеко уходящие от первоисточника интерпретации завоевали право на существование в театре, в кинематографе, когда создаётся, по существу, другое произведение — оно пусть будет о призраках, не о реальных людях, и это будет другое произведение — *по мотивам*. Но возможно ли это в науке? Я считаю, что мы не имеем права на такие прочтения, которые идут против автора. Происходит пресловутая смерть автора, и на его место встаёт счастливый в товарищах своих интерпретатор и его произведение. Такого рода примеров не счесть, но мы стараемся их не замечать по разным причинам. Наука же обязывает к строгости. А сейчас, к сожалению, в новейшем собрании сочинений Достоевского, в той части, где пересказываются интерпретации, о таких гиперинтерпретациях тоже идёт речь. Если вводить их в академическое издание (я-то считаю, что этого делать не следует), то с критической оценкой, что называется, ставить их на место. На своё место.

Л. И. Сараскина

Вот вы говорите о современных прочтениях. Но современных прочтений, целостных, одинаковых, однообразных, не существует, они очень разнообразны, очень противоречивы. Я бы даже сказала ненаучно, что каждый

дует в свою дуду и не слышит и не желает слышать другого, потому что каждому интересно своё понимание, а не чужое.

Меня всегда волновали такие темы, как «Достоевский и Россия», «Достоевский и мир», «Достоевский и Запад», и то, что интересует меня сегодня, — это то, как изменилось со времён Достоевского понимание России и Запада, вопрос о братьях-славянах, вопрос о его потрясающем предвидении поворота России к Азии, вопрос о том, что Европа, по его формуле, вторая наша мать. То есть, такая мать, сказала бы я сегодня, которая не любит и не уважает своё неразумное, навязчивое дитя, порой ненавидит и боится его, не доверяет ему, подозревает в дурных и злых намерениях, считает вором, ряженым, желает ему хиреть и слабеть, а при попытках нежностей с отвращением отворачивается. Достоевский писал, что у нас, русских, две родины — наша Русь и Европа. Так ли это сегодня? Вспомним: «Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод ещё больше, чем извлечёт их для себя сама Россия...» (25; 196).

Что есть сегодня русские западники и русские либералы? Применимы ли к ним оценки Достоевского? Это меня крайне интересует. И я наблюдаю огромное количество разных интерпретаций на эти темы.

Особенно меня интересует вопрос: Достоевский в Интернете. Надо ли ввязываться или пусть собака лает? Я считаю, что это вопрос первоочередной. У меня ответ был бы такой: если это собака, то пускай она лает, но если это не собака, если это автор, который имеет миллионную аудиторию, его книги издаются, у него масса поклонников, тогда мимо этого нельзя пройти. И меня в таком случае интерпретация Достоевского глубоко задевает. Например, лекции одного такого интерпретатора набирают сотни тысяч просмотров, ему звонят на эфир учителя, студенты, школьники. А он внедряет концепцию жизненного пути Достоевского как человека, сломленного царским режимом. Якобы после фальшивой казни на Семёновском плацу психика писателя была повреждена необратимо. С каторги он вернулся противником революции, поскольку испытал психологическое насилие и так далее, всё в этом роде. К тому же, оказывается, Достоевский как художник кончился на «Преступлении и наказании», а дальше пошли памфлеты, задиранья всякие, пародии; все его герои больны его болезнями, художественность отступила на второй план. Он адвокат зла — такова в итоге центральная концепция, Достоевский сам стал подпольным, описывая подполье. Я не знаю, как с этим быть. Вот у меня вопрос к коллегам: надо ли ввязываться в эти дела? Я прекрасно понимаю, как можно возразить на тезис о повреждённой психике, достаточно прочитать письмо Достоевского от 22 декабря 1849 года, сразу после «казни», где сказано: «жизнь — дар, жизнь — счастье» (28; 164). Достаточно вспомнить его кропотливую работу по собиранию слов, выражений, фраз, пословиц, поговорок в сибирской тетрадке — это делает именно художник, он собирает материал именно для художественных произведений, это

было прекрасно доказано в исследованиях наших учёных. Можно много чего возразить, и эти возражения уже существуют. Ну и что? Это всё существует параллельно. Мы как бы существуем в параллельных мирах.

И ещё вопрос, который меня сейчас интересует: за последнее время появилось очень много статей, выступлений в Интернете, утверждающих, что Достоевский с его «Дневником писателя» был первым русским блогером. Вот я пытаюсь разобраться, так ли это: что есть блогер и что есть «Дневник писателя». Крайне уважаю блогеров, которые пишут от своего имени, — они высказываются честно, но большинство блогосферы погружено в анонимность. Многие борются за то, чтобы никто не требовал от них идентификации, называния имён, и даже утверждается, что это всегда будет и не должно быть иначе. Приведу слова авторитетнейшего медиааналитика Андрея Мирошниченко: «Сеть как принцип носит наднациональный характер. Мы пока ещё находимся в пещерном веке сетевой эпохи. В принципе же распределённое свободное авторство в Сети разрушает национальное государство. Причём любое, даже демократическое. Просто у него вариантов больше для мутации. <...> Противостояние интернету для властей исторически бесперспективно. Институт не может переиграть Сеть, потому что является организмом предшествующего уровня эволюции. Единственный выход для государства <...> — стать пасечником, вникнуть в сетевую культуру роя и использовать её, а не бить пчёл. <...> Чем более закрытым является государство, тем большей для него угрозой является вовлекающая медиа-модель, которая строится на свободных реакциях»¹. То есть фактически, как утверждают ведущие специалисты блогосферы, цель Сети — разрушить национальное государство. Вот если говорить в таком глобальном масштабе, хотел ли Достоевский «Дневником писателя» разрушить национальное государство, Российскую империю? И близко не было такой цели. Мне кажется, что попытки опереться на Достоевского анонимных блогеров, которым всё можно, — это совсем не тот вариант.

В. А. Викторovich

Позвольте, я включусь сразу же в вопросы, которые задала Людмила Ивановна <Сараскина>. Ничто не ново под луной, в частности и то, что говорится сегодня о сломленности Достоевского. Можно вспомнить старый фильм «Мёртвый дом», где доказывалось, что психика Достоевского была повреждена на каторге (автором сценария был Виктор Шкловский). Можно вспомнить и прижизненную критику, когда точно так же писалось о Достоевском как об адвокате зла и как о человеке с повреждённой психикой. Если посмотреть на историю интерпретаций, эта точка зрения живёт и существует и, наверное, и дальше будет существовать. Есть ли основания? Наверное, какие-то основания Достоевский даёт подобного рода людям. Здесь надо изучать уже не Достоевского, а вот этих людей, которые в разное время к этой точке зрения возвращаются, почему они именно так читают Достоевского. Повторюсь: надо понять понимание, т. е. надо изучать уже и интерпретаторов, почему они такие, а не другие, чем это вызвано.

¹ Мирошниченко А. Можно ли считать интернет опасным для государственного устройства? // [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/conf/miroshnichenko/> (об.04.2024).

Л. И. Сараскина

У меня есть подозрение, чем это вызвано. Упомянутый мною автор рассуждает как яркий, сегодняшнего разлива, либерал в дурном смысле этого слова. Очень многим сегодняшним людям, исповедующим эту религию либеральную, обидно, что Достоевский противоречит им во всём фактически. Поэтому лучше обвинить Достоевского в том, что он такой и сякой и вообще не художник.

И. Л. Волгин

Владимир Набоков, например, тоже утверждал вещи, с которыми трудно согласиться. Но они тем и полезны, что провоцируют нас на возражение, на сопутствующий анализ. Неприемлемую для кого-то точку зрения невозможно изолировать. Да, школьники в Интернете могут прочесть что угодно. Но если есть хороший учитель, пусть он дополнит или аргументированно возразит. Ничьё суждение не является обязательным для всех. Нет какой-то общей парадигмы, с помощью которой только и можно читать Достоевского. Что касается его соотношения с блогерством, подобные работы появились ещё в начале 2000-х, когда стали сравнивать «Живой журнал» с «Дневником писателя». Эта точка зрения отчасти модернистская. Она имеет право на существование — в качестве версии или гипотезы. Можно, конечно, сравнивать в плане методологическом. Но, строго говоря, «Дневник писателя» — это, конечно, не «ЖЖ». В «Дневнике» действуют иные законы, там другая «идеология общения», другая сверхзадача. Подобные параллели интересны, но они не могут стать мейнстримом в науке о Достоевском. Хотя, повторюсь, имеют право на существование, так как подвигают наши ленивые умы к полезным размышлениям.

Что ныне происходит? Мы наблюдаем некую безразмерность интерпретаций. Как утверждал один известный автор, электрон так же неисчерпаем, как и атом. В нашем случае важно, чтобы это не вылилось в литературоведение без границ. Иначе это выльется в дурную интерпретационную бесконечность, когда вопрос об истине вовсе неуместен. А если истины не существует, тогда, как мы догадываемся, «всё позволено».

В. А. Викторovich

Подобного рода вбросы / выбросы (мы же должны себе отдавать отчёт) часто являются изделием, изготовленным на своеобразной «фабрике грёз», производящей новые и новые суперинтерпретации, это становится неким культурным бизнесом, мы просто об этом сейчас не говорим, но на самом деле это есть.

И. Л. Волгин

Возьмите роман Акунина² «FM»: там же дана авторская версия «Преступления и наказания». Школьники, которые читали эту книгу Акунина и не читали Достоевского, искренне полагают, что именно Лужин убил старуху процентщицу.

² Псевдоним Г. Ш. Чхартишвили. В декабре 2023 г. внесён Росинфомониторингом в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». — Ред.

В. А. Викторovich

Это теперь называется «проект».

И. Л. Волгин

Да-да, проект.

Т. А. Касаткина

Я попробую говорить, в сущности, о том же, о чём говорила Людмила Ивановна <Сараскина>, но в более общем, что ли, плане и не сводя всё только к современным интерпретациям, поскольку это проблемы каждого времени. Главная проблема интерпретации — это соответствие шкалы интерпретатора интерпретируемому. Например, рубеж веков видит в Достоевском — впервые — философа и богослова, а современные исследователи зачастую не видят. Не видели и авторитетные критики — современники Достоевского. Они понимали, что он где-то не в их регистре, но воспринимали эту разницу регистров (и это очень интересно) как *эмоциональную*: там, где начинались вопросы духа, они видели *истеричку*, и на это, несомненно, очень стоит обратить внимание в плане изучения восприятия Достоевского.

Ещё один вариант восприятий с другого уровня — это видение в Достоевском, в его произведениях, «торжества зла». Мы знаем целый длинный ряд таких исследователей, последний, наверное, по времени — это В. А. Подорога. Личный узкий горизонт части современных исследователей, даже если это историки философии, не позволяет им увидеть ту глубину, что видели универсалы рубежа XIX–XX веков. А адекватнее всего говорили о Достоевском филологи философской глубины — это Вячеслав Иванович Иванов и Михаил Михайлович Бахтин. При этом те, кто не видит настоящего объёма проблем, поставленных Достоевским, естественно, уверены, что это следствие ущерба не их, а Достоевского. Меж тем проблема в том, что вся та область реальности, которая непосредственно предъявлена в тексте на событийном уровне и которую часто только и замечают критики подобного толка, есть лишь тонкая оболочка, тонкая нижняя граница той реальности, которую предъявляет читателю Достоевский. И проблемы, поставленные исследователями исключительно в этой области (и в ней же и разрешённые), попросту не релевантны творчеству Достоевского.

Ещё один вариант нерелевантности — это постановка исследователями научных вопросов в отрыве от своего жизненного интереса. Для того, чтобы дальше углубиться в эту тему, нам нужно вспомнить о целях творчества, которые ставит перед собой ещё совсем юный Достоевский: я имею в виду всем памятные его письма брату Михаилу. Собственно, таких целей две. Первая — это постигать тайну человека (то есть истинную природу и назначение человека), и фраза из письма, говорящая об этой цели, довольно часто цитируется. А вот вторая тоже очень интересна, но исследователи нашего времени обычно её игнорируют, — это выводить человеческие души из состояния праха, открывая им глаза на их истинную природу.

Вне понимания и постоянного учёта этих целей интерпретации произведений Достоевского нерелевантны. Интерпретации, представленные исследователями, сосредоточенными на той природе человека, которая,

по Достоевскому, есть смерть и прах, и из которой он хочет человека вывести, нерелевантны.

Цели творчества Достоевского — это цели философии и богословия не в том виде, как они понимаются сейчас (а сейчас под этими названиями поместили себя история философии и история богословия), а как они понимались прежде, до этого искажения, а именно как *действенные* дисциплины, в которых требовалось понять, что «не так», и вывести человека к состоянию «так». Всё остальное — космология и прочие системы в философии, как и в богословии, — было техническим приложением, *путём* понимания человека, а вовсе не самоцелью. Но в какой-то момент технические приложения выходят на первый план (как единственно доступное и очевидное для сторонних, не вовлечённых в работу человеческого становления зрителей) — и заслоняют всё остальное.

Достоевский, как Платон, создаёт трансформирующие тексты, а не тексты «для развлекательного чтения» или «научного изучения». Если трансформация читателя в процессе чтения не происходит, невозможно сказать, что читатель или исследователь что-то «понял» (потому что *понявший* такой текст не сможет остаться прежним). На самом деле, если трансформации не произошло, это значит, что исследователь взаимодействовал (очень неадекватная аналогия, но лучше я не смогла подобрать) с электрическим прибором, выключенным из розетки, и он даже не представляет себе, что этот прибор функционален и не сводим к наблюдаемой исследователем неработающей, но гармоничной железной структуре. Это значит, что исследователь не представляет себе целей создания этой причудливой структуры, которая есть не невинный объект читательской медитации, не пространство для размещения читательских ассоциативных фантазий, а жёсткая машина для перепайки контактов души, агрегат для разборки и сборки сознания в новой, совсем иной конфигурации, чем до чтения.

Надо констатировать, что мы слишком долго занимались литературой в нерабочем состоянии и только-только начинаем сейчас находить методики, учитывающие заложенную писателем в текст трансформирующую функцию. Но если исследователь занимается литературой в нерабочем состоянии, естественно, его интерпретации нерелевантны.

Сейчас литературных героев начинают анализировать в своих целях психологи, используя художественные тексты для демонстрации психологических и поведенческих паттернов. Это примерно как забивание гвоздей микроскопом. Но это хоть какое-то использование и пусть неадекватное, но всё же рабочее состояние литературы. Именно поэтому психологические интерпретации очень часто вызывают такой радостный ажиотаж в слушателях и в людях, которые после школы никогда не обращались к литературе. Вообще надо сказать, что даже многие филологи просто забыли (или никогда не знали), что у текста есть вот это рабочее состояние.

Говоря о философии и богословии, надо заметить, возвращаясь к их исходному статусу преобразующих дисциплин, что они предполагают своей целью интеграцию человека и его доступ к самому себе — и взаимодействие с иссле-

дуемым внутри себя. Радикальный слом происходит в начале эпохи Просвещения, и именно Кант декларирует (если не создаёт) человека, *действующего из своей части*. Как бы пытаюсь освободить человека от непереносимого непользования своим собственным разумом, он выделяет ему область *личную*, в которой тот может пользоваться своим разумом, оставляя довольно большую область, в которой всё-таки это непозволительно, — область государственной службы и всего, что с ней связано (как вы понимаете, в тот момент это очень большая область человеческой жизни). И в результате этого доброго порыва возникает человек, который действует или из части себя, или вообще не из себя, а из представления о коллективном должном человеке, как он определяется в определённый момент истории, и постепенно (это то, что касается науки, там следствий много было) личная заинтересованность в проблеме уходит из научного инструментария, что, конечно, повреждает всю науку определённым образом, но гуманитарные науки просто убивает или, по крайней мере, ввергает в анабиоз.

Пытаясь квалифицировать Достоевского, нам хорошо бы помнить, что философ — не тот, кто «интересуется философией», а тот, кто неотступно влюблён в мудрость, открывающую человеку его самого; богослов не тот, кто читает и систематизирует богословские трактаты, а тот, кто умеет увидеть и пробудить Бога в ближнем. И вот если Достоевский, согласно этим определениям, философ и богослов, то мы должны поменять принципы науки о Достоевском и — что очень важно — требования к подготовке его исследователей.

Что касается статьи о «Белых ночах», о которой ведущий говорил в самом начале: полагаю, самое плохое, что мы можем сделать, думая о перспективах развития достоевистики, — это отрицать возможность даже и радикального изменения взгляда на тексты Достоевского (особенно — ранние) вследствие приращения исторических знаний об эпохе и о присутствующих в произведениях Достоевского отсылок к историческим событиям и художественным произведениям. Я тоже считаю, что посылка о смерти героев слишком сильная, поскольку она закрывает собой ряд проблем, безусловно присутствующих в произведении. Но одновременно она *открывает* возможность увидеть вещи (очень много вещей, на самом деле), оставшиеся незамеченными при всех остальных подходах к тексту (например, то, что большинство отсылок к произведениям, о которых вспоминает Мечтатель, это отсылки к смерти и мёртвому). На мой взгляд, разумное отношение к работам такого рода — это глубокое размышление над указанными в них фактами (часто игнорировавшимися просто потому, что исследователи не знали, не читали, не видели тех произведений, к которым ведёт авторская отсылка) и построение целостной интерпретации с их учётом, а не отрицание их как незначимых. Поскольку — я берусь это утверждать — у Достоевского *нет* незначимых отсылок, очень часто одна отсылка может перевернуть смысл текста Достоевского радикально, это его способ построения текста, предусматривающий возможность большого пространства свободы для читателя. И даже поэтому можно сказать, что в значительной степени достоевистика только начинается.

Л. И. Сараскина

Таня, ты приводишь пример формулы «кто есть человек» молодого, юного Достоевского. А как бы ты прокомментировала высказывание уже на выходе из каторги: «Человек есть существо ко всему привыкающее и, я думаю, это самое лучшее его определение». Это в «Записках из Мёртвого дома» такая формула.

Т. И. Касаткина

На самом деле в текстах Достоевского масса определений человека, но дело в том, что приведённое тобой определение, как и большинство других, это определение человека, данное не самим Достоевским, но его героем. Большинство неадекватных интерпретаций исходит из опоры не на прямые высказывания Достоевского и не на целостный анализ его текстов, но на рассуждения его героев. О том, что это суждения разного статуса, особенно склонны забывать философы, интерпретирующие Достоевского. Это то же самое, что, анализируя Платона, забыть, кто какую речь произносит в «Федре» и почему он её произносит, и сказать, допустим, что Платон считает лучшим спутником жизни не влюблённого в тебя человека. Платон свою философию строит абсолютно в том же ключе, в каком строит свои тексты Достоевский. И мы забыли, что именно таков изначально был опыт создания трансформирующих текстов.

Л. И. Сараскина

Это тот же самый случай, когда интерпретация писем Достоевского зависит от того, кому тот пишет и зачем. Тогда можно ли всегда доверять автору? К примеру, Достоевский пишет, что он уже продвинулся в своей работе, а он ещё и не начинал.

Т. И. Касаткина

То же самое шутки Достоевского, которые обращены к очень конкретному адресату и за которыми стоит большой контекст их отношений, и вырывать их из этого контекста и приписать ему какие угодно плохие качества можно, конечно, но это тоже показатель статуса и масштаба исследователя, а вовсе не показатель того, что такое Достоевский.

В. А. Викторovich

Короче говоря, надо не уходить от автора. Хотя иногда кажется, что ты не уходишь от него, а на самом деле так оно происходит. Та самая трансформация читателя может произойти в сторону, не запланированную автором. Мы знаем такие случаи, когда чтение «Преступления и наказания» направляло читателя в пользу идеи Раскольникова, так сказать.

Т. И. Касаткина

На самом деле это тоже вполне понятная вещь, ведь что такое литература? Литература — это место, где мы можем получить чужой опыт как свой, то есть мы можем получить тот опыт, которого мы не имеем, никогда не проживали — как именно осязаемый, *чувственно прожитый* опыт. Мы можем прочувствовать и пережить всё то, что чувствует и переживает герой. Я думаю, что те, чью психику повредило в сторону согласия с раскольниковскими первоначальными интенциями, либо не дочитали роман до конца, либо масштаб личности

резко ограничил способность их эмоционального восприятия всего сверх примитивных реакций злости, обиды и страха. Иначе невозможно было бы сказать, как в известной реакции: «Молодец Родя, что старушку убил, дурак, что сознался». Они восприняли первую часть опыта Раскольникова и не прожили вторую его часть. На этой трансформирующей лестнице всегда есть опасность сорваться с неё; вообще литература в рабочем состоянии — это очень опасная штука, именно потому, что она меняет и очень часто меняет в несоответствии как бы с первоначальными целями читателя, и очень часто даже вне осознания читателем, что какие-то изменения в нём всё-таки происходят. И, конечно, эта искажающая трансформация всегда происходила (насколько я знаю эти случаи, действительно, совершенно жуткие) именно с подростками, которых по какой-либо причине не научили читать художественный текст. Потому что, если мы опять-таки понимаем и принимаем, что литература в рабочем состоянии — это мощное трансформирующее средство, то с ним надо научить обращаться, так же, как нужно научиться обращаться с электроприбором, начав с простого: не влезай (без минимальной подготовки) — убьёт. То есть должна быть техника безопасности. И если мы её не соблюдаем, то будут (есть, на самом деле) разные проблемы, большинство из которых даже невозможно предусмотреть.

И. А. Есаулов

Недавно вышла моя книга «О любви: радикальные интерпретации», где, между прочим, есть практически все присутствующие в виде действующих лиц (разумеется, в примечаниях). Радикальные интерпретации и слово «любовь»: как это связано? Я полагаю, что проблема, по-моему, состоит в том, что мы все слишком любим Достоевского. Любим так, как, скажем, Настасья Филипповна и Аглая любят князя Мышкина: нам хочется, чтобы он был наш и по возможности более ничей. Если бы мы вот так не любили Достоевского, мы к интерпретациям относились бы приблизительно так, как, скажем, относился к ним Ролан Барт постструктуралистского периода, когда он провозгласил отказ от поиска истинности и заявил дрейф по тексту как цель любой интерпретации, потому что истинность — она всегда авторитарна, с его точки зрения, она навязывает, она утверждает свои ценности, а нужно свободно дрейфовать. «Я не опровергаю, я дрейфую», — вот его слова. Тогда, если провозгласить такого рода игру как цель работы с текстом, очень легко примириться с самыми противоположными истолкованиями. Это одна из крайностей. Другая же крайность в том, что каждый из нас поневоле или по доброй воле, хотя и не говорит об этом прямо, но подразумевает именно свою собственную интерпретацию правильной. Такого рода установка и мне самому не чужда, но всё-таки нужно смириться с существованием других, наверное.

Для того, чтобы по возможности достичь этого, ещё четверть века назад я написал книгу «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения». Там я разграничил субъектно-субъектный подход, субъектно-объектный и объектно-объектный для того, чтобы разобраться, что мы, собственно говоря, делаем с текстом. Нужно смириться, что существуют самые разные интерпретации; да, они и наши, и не наши, интерпретации разных

персонажей, разных ситуаций, романских и не только романских у Достоевского, которые находятся в этом спектре, и иной раз решительно невозможно сказать, которая из них более истинная. Это не означает, что «истины нет», это означает, что истина есть (можно назвать её «абсолютной»), но она есть в интенции Достоевского. Наши же прочтения все более или менее относительны. То есть нужно смириться вплоть до самоумаления, иначе спор об оттенках, как часто бывает на наших заседаниях, будет горячее, чем спор о цветах. Вот и всё. Это центральное моё положение, что есть Достоевский, в его художественном мире, конечно, (я не согласен с Роланом Бартом) есть истина, но нам эта истина открывается, возможно, какими-то фрагментами, какими-то частями, какими-то участками. Если же считать, что она мне так же открыта, как и автору, — это значит впасть в какую-то особого рода гордыню, которая мне, например, не симпатична. Это не означает, что я релятивист, но всё-таки я признаю и наличие возможной другой точки зрения, её законность, вот и всё. А другие часто не признают её и, хоть ты убей, будут настаивать исключительно на своём. И не обязательно из потребности в самоутверждении, но и от любви, от ревнивой любви к «моему» Достоевскому.

Чтобы этот разговор как-то заострить, наполнить конкретикой, речь пойдёт о смысле картины Гольбейна «Мёртвый Христос в гробу». Многие помнят, что на швейцарском симпозиуме в 2004 году возникла дискуссия: спорили, безотраднее ли картина Гольбейна или в ней есть какие-то намёки, указывающие на будущее Христово воскресение; указывали на свет, исходящий от тела, судорожное особое напряжение, которое можно истолковать как пробуждение, и так далее. Я не буду присоединяться ни к тем, ни к другим, но сконцентрируюсь только на сути обсуждаемой сегодня проблемы — на границах всех этих интерпретаций, потому что важно именно правильно поставить вопрос, а не громоздить аргументы, мне кажется. А как правильно поставить вопрос? О чём идёт речь? Речь идёт об истолковании именно и только картины Гольбейна. Что же такое картина Гольбейна? Она сама по себе — парафразическая версия евангельского текста, то есть тоже интерпретация. Странно было бы рассуждать, разглядывая картину, о том, воскрес или нет умерший Христос. Это, может быть, филологи так могут рассуждать, но в целом это абсурдная постановка вопроса. Для верующего христианина — воскрес, для неверующего — это соблазн или безумие. Положим, в подлиннике Гольбейна Христос воскрес или воскресает, точнее. Сторонники этой версии всячески акцентируют мистический момент: мол, на любой репродукции это начавшееся воскресение не отражается, а вот в оригинале отражается, если очень внимательно посмотреть. Может быть. Я это не собираюсь оспаривать, эту особую искусствоведческую мистику, которую невозможно ни доказать вполне, ни опровергнуть. Но хочу переключить внимание на какую-то очевидность, странным образом нами не замечаемую — как филологами именно. Никакого подлинника Гольбейна в этом эпизоде романа «Идиот» ведь нет совсем. В романе есть репродукция, копия, а не подлинник, и мы как читатели, оставаясь именно в спектре адекватных интерпретаций, должны вообще-то обсуждать не соответствие или несоответствие репродукций гольбей-

новскому подлиннику, а именно копию. Если же мы проанализируем текст романа, то убедимся, что, во-первых, в художественном мире Достоевского очень сложно обнаружить какую-то существенную разницу между копией и оригиналом. Можно даже прямо сказать, что её нет (в тексте Достоевского, а не в нашем сознании). Князь Мышкин говорит: «Я эту картину за границей видел и забыть не могу». Рогожин замечает: «А я на эту картину люблю смотреть». «Забыть не могу» относится к оригиналу, «люблю смотреть» — к копии. К чему в таком случае, к оригиналу или к копии, относятся следующие слова Мышкина, многожды цитируемые и обсуждаемые: «Да от этой картины у иного вера может пропасть!» Думается, эта характеристика в равной степени относится и к копии, и к оригиналу. Таким образом, семантической разницы в мире Достоевского, в художественном мире, а не в биографическом измерении или в нашем сознании, между базельской картиной и её старообрядческим романским аналогом усмотреть невозможно. Напомню, что и Рогожин также не углубляется в эту несущественную, видимо, разницу, он говорит: «Пропадает и то». Слова Мышкина «забыть не могу» никоим образом не свидетельствуют о том, что герой увидел у Гольбейна какие-то признаки Христова воскресения в фигуре мёртвого Спасителя. Напротив того, «у иного вера может пропасть» и при созерцании базельского оригинала, и при рассматривании рогожинской копии. Замечу: «отличной копии», как сказано в романе. Значит, опять-таки вопреки интерпретации тех, кто увидел у Гольбейна признаки воскресения Христа, вполне возможно, по мнению Мышкина, верно передать и репродукцией то главное, что имеется в оригинале.

Как известно, у самого Достоевского висела над столом репродукция Сикстинской мадонны Рафаэля, а не оригинал. И его она, очевидно, устраивала, иначе бы не висела. Потрясение, испытанное самим Достоевским, то есть биографическим автором, перед картиной Гольбейна, согласно воспоминаниям Анны Григорьевны, вообще-то не имеет позитивных моментов, напротив того, она пишет о подавляющем впечатлении, которое произвела на Фёдора Михайловича картина. Замечу, что в последнем издании воспоминаний жены писателя комментаторы Ирина Андрианова и Борис Тихомиров подчёркивают существенную разницу в описании реакции Достоевского на картину Гольбейна в воспоминаниях и в стенографическом дневнике Анны Григорьевны. Это так. Но для того я к этому и обратился, для того и предъявил этот биографический материал, который и так и этак можно трактовать, чтобы подчеркнуть: его экстраполяция на художественный мир отнюдь не является, так сказать, последним и решающим аргументом того, что же — на самом деле — является не фактом сознания биографического автора, а реальностью художественного мира романа. Если бы Фёдор Михайлович, то есть биографический Достоевский, и увидел признаки воскресения в гольбейновском Христе, но это никак не отразилось в романном экфрасисе Гольбейна, мы не имеем права прибегать к такой аргументации, если хотим оставаться в пределах науки, как предложил Владимир Александрович <Викторович>.

Вы знаете, я настаиваю на пасхальности романа «Идиот», но эта пасхальность лежит в совершенно иной плоскости, чем рассуждения, я бы сказал, немножечко квазинаучные, или добавочные, а это постструктуралистская такая, постмодернистская установка: коннотативные смыслы выдавать за главные.

Что сейчас было продемонстрировано? Конечно, моя собственная интерпретация, это ясно. Я не говорю совсем, что эта интерпретация должна перебить другие, но, во всяком случае, это интерпретация с оглядкой на то, что я сам делаю. Мне кажется, нам не хватает просто рефлексии над тем, что именно мы доказываем, что именно мы делаем. Вот я занимаюсь текстом, все мы занимаемся текстом, но всё-таки важно, что привлекается в качестве последнего, решающего аргумента. Я подчеркиваю, что картина Гольбейна присутствует в романе только лишь в воспоминаниях князя Мышкина, в доме Рогожина он видит не картину, но копию, и в романе Достоевского что оригинал, что копия даже в сознании князя Мышкина не имеют семантической разницы. Нам это может как-то не нравиться, мы можем говорить: да нет, нет, громадную разницу имеют, — но в самом романе-то не имеют. Может быть, и в реальности имеют, ничего не могу на этот счёт говорить, но именно в тексте романа не имеют. И если мы это как-то пытаемся обойти, то мне представляется это методологически нужно мотивировать, во всяком случае, объяснять это методологически, а не просто громоздить ещё, ещё и ещё аргументацию в пользу удобной для нас версии. И это я говорю несмотря на то, что вообще-то для меня лично было бы, наверное, лучше, если бы там, в этом романном экфрасисе картины, Христос воскресал. Тогда бы это добавочно доказывало пасхальность романа. Но, оставаясь в пределах текста, к сожалению, вынужден приходиться в данном случае к другому результату.

В. А. Викторovich

Понятно, Иван Андреевич, но в данном случае интерпретантом является Татьяна Александровна <Касаткина>.

И. А. Есаулов

Нет, не Татьяна Александровна, я имел в виду в целом дискуссию, как она происходила и до и после Татьяны Александровны.

В. А. Викторovich

Я к тому, что, может быть, она хочет возразить.

Т. А. Касаткина

Во всяком случае, все меня узнали, и я себя узнала. На самом деле Иван Андреевич <Есаулов> показал нам прекрасную вещь, что, когда речь идёт о реальных аргументах, о них можно дискутировать. В чём была ошибка в его рассуждении? Дело в том, что копия — это вовсе не репродукция. Репродукция — это съёмка с определённой точки, копия — это интерпретация желательна максимально близкая к изначальному художественному тексту, созданная другим художником...

И. А. Есаулов

Для Достоевского это различие не релевантно.

Т. А. Касаткина

На самом деле релевантно, потому что копии, в смысле и гравюр, и фотографий, уже были, он прекрасно о них знал, мог бы повесить, что называется, фотографию картины, но он вешает именно копию. И копию очень хорошую, потому что там, как все помнят, говорят, что все картины ерунда, а вот это не ерунда, это мастер писал. Можно и дальше приводить аргументы и контраргументы, но это доказывает, что здесь имеется реальная основа для интерпретаций.

Л. И. Сараскина

Иван Андреевич, Вы сказали: мы все страдаем от любви. Мы не страдаем, мы счастливы, мы ею полны, мы ею горды, мы ею наполнены...

И. А. Есаулов

У меня это было в определённом контексте. Как вы полагаете, вот Аглая очень любит князя Мышкина и всякой, с её точки зрения, гадине, такой, как Настасья Филипповна, она его отдавать не хочет. Понимаете? Я это только имел в виду. А Настасья Филипповна не гадина, она тоже его любит. Иными словами, я только хочу сказать, что мы все здесь по-другому относимся к Достоевскому, чем, например, к нему относятся толкователи другого культурного поля. Маленький пример приведу. В русской традиции считается, что богословием заниматься, не веруя в Бога, немножко странно: вот богослов, а в Бога не верует. Но давным-давно в европейской университетской традиции, в американской традиции быть теологом, но в Бога не верить — совершенно нормально. Потому и наши такие слишком горячие часто споры вызывают у коллег большое недоумение: мы слишком привязаны и до известной степени неотделимы от нашего предмета (мира Достоевского). Я не покушаюсь на такого рода любовь, но всё-таки нам нужно, я боюсь это сказать, оставить другому маленький кусочек так любимого нами предмета... Достоевский широк, как русский человек. И пусть тот, кто любит Достоевского (то есть мы с вами), допустит, что всё-таки мы не являемся самыми лучшими из возможных на свете его интерпретаторов, что есть и другие, которые иначе интерпретируют, чем мы; более, может быть, прозрели...

В. В. Борисова

Я рада общению с вами и особенно тому, что, рефлексировав над проблемой интерпретирования Достоевского, мы демонстрируем сегодня определённое методологическое единодушие. Наука развивается, и, как сказал Владимир Александрович <Викторovich>, своё понимание иногда нужно проверять. Наше «единомыслие» не может быть однозначным и полным, нюансы всё равно сохраняются. Они обусловлены тем, что у каждого из нас своя рецептивная позиция. Думаю, согласятся с тем, о чём в самом начале Владимир Александрович <Викторovich> говорил, — с необходимостью учёта рецептивного подхода. Хочется заметить, что когда мы начинаем его реализовывать и вступаем, так сказать, на поле интерпретаций, то обнаруживаем, что оно чрезвычайно широкое, разнообразное, похожее на подвижный палимпсест. Людмила Ивановна <Сараскина> отметила, что все прочтения художественного текста неизбежно разные, но при всей разнице мы не можем допустить

безбрежную свободу интерпретаций. Мы ведь не только любим Достоевского, мы изучаем его жизнь и творчество как исследователи, а наука должна сохранять свой статус и даже охранять его от экспансии поп-литературоведения. В связи с поставленным вопросом, — нужно ли нам противостоять натиску массового достоевсковедения, — считаю, что безусловно нужно.

У каждого из нас «своя колея», например, она совершенно очевидна у Татьяны Александровны Касаткиной. Я не всегда с ней согласна, но то, что она пишет, это всегда интересно, и порой даже её субъективность оправдывается масштабом её исследовательской личности. Хочется «остановиться и оглянуться» на самого Достоевского, который предупреждал: «на чей взгляд и как посмотреть», и очень важно добавить, «кто в силах». Вот кто в силах, тот и смеет сказать, ну а остальным, может, и остановиться необходимо. Интерпретации должен предшествовать строгий научный анализ, и только определённые иерархические герменевтические процедуры могут нас подвести в итоге к более-менее адекватному пониманию произведений Достоевского, о чём говорил Иван Андреевич «Есаулов». Я имею в виду непротиворечивую соотнесённость синтетического (включая, реальный, биографический, историко-литературный и т. п.) комментария, убедительного анализа текста и его интерпретации, что позволяет закономерным образом переходить от линейных, постраничных пояснений к «круговому», «центростремительному» толкованию смысла всей цепи выявленных деталей.

А. Г. Гачева

Наш сегодняшний разговор даёт, на мой взгляд, возможность пройти между сциллой вольного толкования текста, безудержной свободы интерпретации, которая зачастую не приближает к пониманию, а застит понимание (а это всегда происходит в том случае, когда пишущий своё «я» ставит на первое место, а автора на второе), и харибдой застёгнутого на все пуговицы, убеждённого в своей непререкаемости и научности субъект-объектного подхода, когда осуществляется бесстрастная, холодная, сальеристская препарация текста («Музыку я разъял, как труп»). Зачастую достоевисты — особенно это касается наших зарубежных коллег — очень боятся внести субъектность в свои исследования, показать рожу сочинителя, если воспользоваться выражением Достоевского. Мне же бесконечно близка позиция моего отца, Георгия Гачева, который говорил о том, что мы не можем выбросить личность исследователя из его текста, потому что усилие понимания предполагает целостного человека, участвующего в познавательном процессе всем своим существом. Гачев очень любил говорить, что даже в научном эксперименте состояние прибора влияет на результат. А что такое прибор в гуманитарном исследовании? Учёный, человек, не только мыслящий, но и живущий, в его внутреннем движении, в его глубинном росте — это и есть тот самый прибор. Гуманитарное исследование — не машинный подсчёт, не цифровая операция, но экзистенциальный, личностный акт. Другое дело, что здесь чрезвычайно важны внутренняя дисциплина и совесть каждого исследователя, когда, вступая в диалог с текстом и его автором, он ставит автора на первое место, а себя на второе. Это не противоречит природе диалога, сущности я/ ты отношения,

которое есть отношение любви. Вы помните, как Хомяков определял любовь? Как самоотрицающийся эгоизм. Вот таким самоотрицанием эгоизма и должно быть наше взаимодействие с художественным текстом: своё «я» ставим на второе место, но при этом не уничтожаем свою субъектность, потому что чрезвычайно важно, что происходит с нами как личностями в процессе исследования. Более того, убеждена, что и для читателей наш опыт целостного взаимодействия с произведением тогда окажется взаправду важен и обращаться к литературоведческому тексту они будут не прагматически, ища готовых ответов, а личностно, будут воспринимать его как высказывание-поступок, за которым стоит духовно-душевный труд автора.

В гуманитарных исследованиях, которые имеют дело с человеком, а значит ответственны за человека, нельзя заслоняться ложно понятым академизмом, ограничиваться областью кабинетного мышления, считать, что я как исследователь — это одно, а я как живущий — это другое. То, как мы ведём себя в нашем собственном бытии, неотъемлемо от того слова о Достоевском, которое мы произносим. Перебросим мостик к тому, о чём здесь уже говорилось. Почему так тревожно и с такой внутренней болью мы относимся к разливающейся болтовне о Достоевском, к стремлению втиснуть Достоевского в парадигму нашей бескрылой, безответственной цивилизации, не радеющей о человеке, не пекущейся о мире, вверенном Творцом человеку? Потому что за этой болтовней не стоит духовное усилие говорящего. Если у исследователя Достоевского присутствует боление за бытие, за историю, за человека, как это было у самого Достоевского, то субъективность оценок, перехлёсты в интерпретациях, даже ошибки иначе воспринимаются, нежели безответственная блогерская болтовня.

Теперь я хотела откликнуться на некоторые вопросы, заданные организаторами круглого стола. Первый вопрос касался современных прочтений Достоевского: аутентичны ли они тому, что было в начале XX века. Мы знаем, что первая треть XX века — это религиозно-философское прочтение Достоевского. Русские философы отнеслись к нему не просто как к писателю и мыслителю, но как к религиозному художнику, для которого нынешнее состояние бытия и человека не есть норма, а подлинной нормой является преображённый, обожжённый мир, Христос как «идеал человека во плоти». И этот ракурс взгляда на Достоевского адекватен самому Достоевскому. А что понимаем под нормой мы? Если наличный человек, смертный, противоречивый, эгоистичный, сжирающий землю и теснящий другого, — для нас это норма, то как мы тогда поймём Достоевского? Тогда мы действительно можем прочитать «Преступление и наказание» с позиции Родиона Раскольникова и согласиться, что да, старушек и надо, как вредных вшей, убивать.

Русские религиозные философы задали прочтение Достоевского в евангельской оптике. Мы много сейчас говорим о реализме в высшем смысле как творческом методе Достоевского, но, в сущности, об этом было сказано ещё в начале XX века.

Чего не хватало философским авторам, писавшим о Достоевском, так это понимания того, что художественный текст устроен особым образом

и для целостного восприятия авторской идеи необходим анализ поэтики, необходимо внимание к деталям, то, что потом Бем назовёт методом мелких наблюдений. Подход Бема очень важен для нас, потому что он позволяет сочетать достижения русской религиозно-философской критики и достижения формальной школы, для которой важно не столько то, **что** сказано, сколько то, **как** сделано. Примечательно, что Бем, который на словах был достаточно резок по отношению к религиозно-философским интерпретациям Достоевского, используя метод мелких наблюдений, приходил... к тем же идеям и пониманиям, которые были высказаны в связи с Достоевским русскими религиозными философами — С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердяевым, В. В. Зеньковским и др. Тут происходило, если так можно выразиться, рытьё туннеля с двух сторон, приведшее, в конечном итоге, философскую и филологическую достоевистику к встрече и плодотворному синтезу. Этот синтез налицо и в современных исследованиях творчества Достоевского. И вот что ещё методологически важно. С. Г. Семёнова в своих исследованиях «метафизики русской литературы», говоря о движении «от поэтики к миропониманию», подчёркивала важность принципа герменевтического круга, когда интуиция целого задаёт понимание частей и деталей и, наоборот, вглядываясь в эти детали, «в сюжеты, образы, мотивы, стиль», начинаешь видеть и понимать целое.

В XXI веке, когда достоевистика прошла огромный путь, когда, с одной стороны, в её фундаменте мощная традиция религиозно-философского и богословского истолкования творчества Достоевского, а с другой — детальные историко-филологические исследования, мы можем прийти и приходим к их плодотворному синтезу. Антиномичные позиции по принципу или / или: или филологическое, историческое, биографическое изучение Достоевского, или религиозно-философский подход к его тексту — неплодотворны. Прочтение Достоевского невозможно без метафизического плана. Проблема истории и человека в истории — для Достоевского ключевая, но мы не охватим её в необходимом объёме, опираясь лишь на эмпирический, одномерный подход, нечувствительный к религиозному измерению исторического процесса, к «эсхатологическому беспокойству» русской мысли и литературы.

Владимир Александрович <Викторович> задаёт нам вопрос: защищая разные точки зрения, слышим ли мы друг друга? Мне кажется, что на этом круглом столе мы друг друга слышим, и это самое главное. Вообще в достоевистике мы научились слышать друг друга, научились ценить те ракурсы взгляда на Достоевского, которые звучат у разных исследователей. И здесь, конечно, необходимо от множественности интерпретаций переходить к симфонизму, опираясь на принцип неслиянности-нераздельности, на идею симфонической личности Льва Карсавина. Достоевистика — не какофония, а симфония. Мы все — симфонический оркестр, в котором важна партия каждого инструмента, без неё не складывается целое.

А что касается Достоевского в Интернете и шире — Достоевского в публичном пространстве, то здесь, мне кажется, очень важно откликаться на умные, творческие проекты, взаимодействовать с педагогами, просветителями, авторами общественных инициатив. Хочется вспомнить яркий проект

«Достоевский на каждый день»: московская библиотека Достоевского в течение года ежедневно выставляла маленький (минутный или даже тридцатисекундный) ролик, содержащий актуальное высказывание Достоевского или фрагмент художественного текста, а озвучивали их известные дикторы, актёры театра и кино. И это то, что реально люди смотрят и слушают. Такие проекты нужно поддерживать, а по возможности и включаться в них, расширяя их смысловые горизонты. А как важен проект, который многие годы ведёт Татьяна Александровна Касаткина: юношеские чтения Достоевского, ставшие сначала всероссийскими, а затем — и международными. Не говоря о проекте Даровое, в котором Владимир Александрович Викторович соединяет всех нас. Большая, но отдельная тема — роль музеев в создании образа Достоевского у новых поколений.

В. В. Борисова

Спасибо за такое корректное выступление, Анастасия Георгиевна. Определённое равновесие выдержано, но меня по-прежнему мучает вопрос: понятно, что очень желателен, почти идеален этот синтез богословского и собственно литературоведческого подходов, потому что это в наибольшей степени отвечает тому, что есть у Достоевского. Он христианский художник, если не сказать, что богослов, но то, что Достоевский — религиозный мыслитель, это совершенно очевидно. Но мы же по преимуществу филологи, не богословы. Я всегда боюсь не по чину и не по званию высказаться, потому что такой богословской подготовки, как, скажем, у Татьяны Касаткиной, у Анастасии Гачевой, я в себе не обнаруживаю, так же, как и у некоторых других коллег, которые тем не менее порой весьма по-хлестаковски начинают в этом русле высказываться. Нет ли здесь опасности дилетантства? Надо ли переходить границу собственно филологии?

А. Г. Гачева

У Татьяны Александровны Касаткиной очень правильная была реплика: важно, чтобы исследователь занимался своим делом, действовал в той области, которую он знает и понимает. Кто-то силён в религиозно-философской и богословской интерпретации Достоевского, а есть авторитетные исследователи текстологии, поэтики, биографии, литературных связей писателя, исторического контекста его творчества. Это как в притче о талантах: каждый приумножай то, что дал тебе Бог. Важны все направления исследования, но опять-таки, не сами по себе, а в перспективе целого. Прекрасно сказал в своё время любимый всеми нами и так рано ушедший от нас Карен Степанян: Достоевский смотрит на человека в перспективе его богочеловечности, в свете того образа совершенства, который задан Творцом и к которому влечёт человека высшая его природа. В свете этой внутренней интенции творчества Достоевского наши тематически и инструментально разные исследования предстают не кучей-малой, а многоединством. И к современным читателям Достоевского, ориентируясь на горизонт его мысли и веры, мы сможем в конечном счёте найти подход.

И. Л. Волгин

Мне бы хотелось, с вашего позволения, несколько снизить уровень разговора, дабы высказать ряд простых, «неакадемических» соображений. Когда

мы читаем некий текст, мы дополняем его какими-то своими соображениями. Акт чтения уже есть акт стихийной интерпретации. Возникает вопрос: должен ли исследователь ограничиваться интерпретацией текста как такового или подключать сюда какие-то иные области знания? Например, биографию автора? В состоянии ли мы отличить интерпретацию текста от его комментирования? И согласился бы Достоевский с нашими интерпретациями? Если согласился, то было бы его согласие окончательным приговором? Или мы могли бы вступить с ним как с автором в диалог, доказывая, что его интерпретации не отражают всей глубины того, что он хотел нам сказать? Думаю, такая постановка вопроса закономерна, потому что писатель не обязан растолковывать нам весь диапазон своих смысловых и художественных решений. Да он и сам не вполне обязан до конца их понимать. И потом: наши интерпретации принадлежат довольно узкому кругу специалистов. Входят ли они в массовое сознание, добавляют ли что-либо к тому, что известно о Достоевском?

Я сейчас руковожу научным проектом «Достоевский в национальном сознании», в том числе по «Запискам из Мёртвого дома». И вот рискнул на такой эксперимент: включил нескольких моих студентов в серьёзную научную группу. Не обладая никаким опытом, они пошли в РГВИА³ и накопили там значительное количество весьма интересных архивных документов, касающихся омской каторги. Вопрос: включаются ли эти документы в интерпретацию «Записок из Мёртвого дома» или это только комментарий к тексту? Например, студентка Елена Огородникова впервые выяснила, каким образом были расположены каторжные нары. Достоевский пишет, что он спал голова к голове с Акимом Акимычем. Что это значит? Нары были так устроены: под наклоном друг к другу — голова к голове. Выяснилось точное количество площади, приходящейся на каждого арестанта. Можно ли считать это новой интерпретацией «Записок из Мёртвого дома»? Нет, скорее, это существенный комментарий.

Опять же, если брать конкретные фигуры. Вот плац-майор Кривцов — весьма зловещий персонаж. Выясняется между тем, что у реального Кривцова довольно боевая биография, он воевал на Кавказе. Любопытны документы по истории его увольнения: он был освобождён от суда, получил следующий чин. Дают ли эти новые разыскания (студент Михаил Калинин) право дополнить то, что сказано о Кривцове в «Записках из Мёртвого дома»? Психологически всё подтверждается, но есть фактические разночтения. Или вот на русский язык были переведены воспоминания Юзефа Богуславского о Достоевском (студентка Анастасия Подрябинкина), где много негативных суждений и много неточностей. Очевидно, воспоминания Ю. Богуславского редактировал после его смерти Ш. Токаржевский. Вот один пример. В воспоминаниях описывается, как Достоевский реагировал на переход русских войск через Дунай в 1854 г., как он высказывал свои патриотические взгляды и клеймил при этом поляков и т. д. и т. п. Но мы-то знаем, что Достоевский вышел из острога в январе 1854 г., а русские войска перешли Дунай в марте. И мемуарист не мог ведать о его реакциях на сей счёт. Как интерпретировать

такие воспоминания? Ю. Богуславский умер в конце 1857 г., а в его записках фигурируют оценки Достоевского, характерные, скорее, для русской критики конца 70-х — начала 80-х.

Тут, как сказано, очевидно, не обошлось без Токаржевского-редактора.

Ещё одно дополнение к истории «Идиота». Достоевский был благодарен М. Н. Каткову (и мы разделяем это чувство) за то, что тот заплатил Достоевскому (по частям) неслыханный аванс в 5000 рублей, хотя ещё не было написано ни строчки указанного романа. Такое благородство и такой риск! Но, оказывается, существовало неизвестное письмо Достоевского Каткову, где он предоставлял издателю право на свои сочинения в случае, если автор умрёт и не напишет роман. То есть писатель как бы гарантировал возмещение долга.

И вот вопрос: стоит ли подключать эти обстоятельства к интерпретации текста? Или же следует оставаться только в рамках самого произведения? Думаю, правильнее соотнести это с историей текста.

В. А. Викторovich

Игорь Леонидович <Волгин> поставил вопрос о соотношении комментариев и интерпретаций. Я думаю, что действительно интересно, как были устроены нары (Елена Сафронова в чате пишет, что они были 51 см в ширину). Особенно важно это для музейной интерпретации: музейщики ведь тоже по-своему интерпретируют, для них это бесценные вещи. Но у меня другой вопрос: а Достоевский рассчитывал ли на то, что читатели «Записок из Мёртвого дома» знают, как были устроены нары? И можно этот вопрос расширить: а рассчитывал ли Достоевский (вот Валентина Васильевна <Борисова> говорит «я не богослов») на богословские знания своего читателя? Владимир Соловьёв в своё время заметил, что Достоевский писал для тех, кто не знал или забыл катехизис. Можно уточнить, что он писал не только для тех, кто хорошо знал катехизис, а и для тех, кто не знал, — знание к ним нисходит из художественного текста и без наших комментариев, которые должны только помочь полноте восприятия текста, но не уводить от него в сторону. Вот такого рода расширяющие комментарии по поводу устройства нар или каких-то богословских категорий должны обострить наше зрение, чтобы мы могли увидеть то, что есть в самом тексте. Такого рода комментарии смыкаются с интерпретацией, хотя таковой, в общем-то, не являются. Другое дело, что есть комментарии избыточные, не открывающие ничего в тексте, но идущие в сторону от него, комментарии к жизни, а не к произведению. Тут, конечно, комментатор находится на таком острие, где можно упасть в ту или другую сторону. Но прежде всего он всё-таки работает на понимание текста. Как устроены нары — да, наверное, это конкретизирует наше визуальное восприятие.

Т. А. Касаткина

Очень важный вопрос: имел ли в виду Достоевский, что читатель знает некоторые подробности того, что описывается в произведении. Дело в том, что есть такая психологическая черта, которая свойственна практически всем людям, кроме нарциссов, — это представление, что то, что известно им, известно всем. Вот такой вот естественный перенос, когда человек начинает говорить в своём контексте, и для того, чтобы ему понимать, что кому-то что-то

³ Российский государственный военно-исторический архив.

неясно, ему нужна обратная связь. Поэтому Достоевский по умолчанию всегда пишет исходя из того, что то, что известно ему, известно всем, и когда получает обратную связь (можно по письмам проследить) о том, что всё-таки что-то им неизвестно, пускается в объяснения. Поэтому, безусловно, всё, что нашли ученики Игоря Леонидовича <Волгина>, и вообще любой реальный комментарий, в том числе реальный комментарий в области сведений богословских, философских, мировоззренческих и так далее, очень важен, потому что несмотря на то, что Владимир Соловьёв по-своему совершенно прав, и Достоевский пишет в каком-то смысле для людей, которые забыли катехизис, он одновременно пишет для людей, которые обладают всей той полнотой знаний, которой обладает он. Причём иногда он предполагает знание даже того, что, допустим, у него отмечено в черновиках и как бы составляет вторую сторону его публичного высказывания. И вот эта вот вторая сторона в полноте проясняется, только если мы знаем, что написано в черновиках. Таким образом, и введение черновиков в обиход тоже не противоречит авторскому смыслу произведения.

И. А. Есаулов

Проблема, я думаю, не в том, как биография корреспондирует с текстом, я думаю, вряд ли среди нас здесь есть человек, который скажет, что биография лишняя, что биографические сведения лишние, таких здесь, я думаю, нет.

И. Л. Волгин

Иосиф Бродский говорил, что не нужно. Но это своего рода полемический вызов.

И. А. Есаулов

Он заострял, это такое афористичное заострение. Проблема в другом, мне кажется: насколько биографические сведения (51 см спального пространства) могут быть решающим аргументом в спорных случаях. И насколько это является добавочным аргументом. Приведу пример. Вот наши студенты — люди совсем не глупые, я думаю, что и для них писал Достоевский, но, когда мы приглашаем их подумать над тем или иным образом писателя, они бросаются к биографической литературе. А если, условно говоря, оторвать от собственного текста Достоевского интерпретаторские предисловие, послесловие, оставить голый текст, очень часто даже умный, лучшими репетиторами московскими подкованный студент впадает в некоторый ступор. Он не готов обходиться без этих костылей, хотя совсем не инвалид, образно говоря.

Приведу альтернативное определение интерпретации: это парафраз, перевод художественного текста на научный понятийный язык. Мы переводим вынужденно. Хотел или не хотел Достоевский такого перевода? Ну, когда хотел, наверное, когда не хотел. Закончу цитатой из Бахтина на память, вольной, о том, что писатель не приглашает литературоведа к своему пиршественному столу. Не приглашает. У нас разные сферы, и мы при всей любви к предмету нашего исследования не можем идти, условно говоря, только лишь в русле желаемого для самого писателя или его самых близких: вот Анна Григорьевна хотела бы, чтобы расшифровали её дневник? зачем же она так замазывала? видимо, не хотела, а мы расшифровали — ясно, что мы пошли против воли Анны Григорьевны. Но у нас другая епархия. И поэтому биография совер-

шенно необходимая вещь, но каково место биографии и того, что Бродский с такой афористичной уверенностью сказал, — это для меня большой вопрос.

И. Л. Волгин

Я хочу привести здесь замечательную мысль поэта Евгения Винокурова: когда мы говорим о стихах, мы превращаем алмаз в уголь и толкуем, собственно, об угле. В меньшей степени это относится к прозе. Но вообще любой художественный текст с трудом поддаётся интерпретации. Это всегда в какой-то степени парафраз.

И. А. Есаулов

Нужно только смириться, мне кажется, с тем, что мы до конца алмаз не расколдуем никогда. Вот и всё.

И. Л. Волгин

Если бы мы растолковали алмаз, то были бы равны Достоевскому.

В. А. Викторovich

Этот разговор, я думаю, можно кратко резюмировать фразой «смирись, гордый интерпретатор».

А. Г. Гачева

Биография писателя чрезвычайно важна ещё и потому, что последнее столетие активно декларирует смерть автора, а значит позволяет делать с его текстом всё что угодно. Обращение к биографии творца, к его личности удерживает от безграничности интерпретаций. А читателя биографический метод учит уважать автора как субъекта, имеющего свой логос и голос, учит понимать произведение как выражение этого голоса, а не как податливый материал, из которого, как из пластилина, можно лепить что угодно.

Конкретные исторические детали, о которых сейчас говорили, — это совсем не избыточная, а напротив — крайне важная вещь. Мы знаем, как стремительно меняется мир: у нас другой быт, другая одежда, другие средства связи, другая скорость... В сравнении с эпохой Достоевского у нас всё другое. И для того, чтобы мы могли целостно воспринять его эпоху, представить себе людей, живших тогда, понять, как они смотрели на мир, из чего рождался их образ мира, детали, вроде 51 сантиметра ширины нар, чрезвычайно важны. Когда мы в первый раз приехали в Даровое, увидели Федину рощу, эти дубы, Моногаровскую церковь, что-то очень важное прибавилось к нашему пониманию Достоевского. Это совсем не избыточное знание, это воскрешение целостного образа мира, в котором жил и творил писатель. Исторические детали, входя в наше сознание, открывают возможность понимания других эпох, взаимодействия в диахронии. Но, с другой стороны, есть то, что вне реалий места и времени, — вечные вопросы существования, вечные смыслы, вечные стремления человечества, когда вся историческая и бытовая конкретика оказывается совершенно неважной и мы можем беседовать с Достоевским поверх временных, цивилизационных, культурных барьеров. Историческое и вечное в понимании Достоевского взаимодополняют друг друга, и нам нужно уметь их сочетать.

В. В. Борисова

Какой ширины были каторжные нары, очень важно знать и читателям, и особенно музыкантам, как сказал Владимир Александрович <Викторovich>.

В Московском доме Достоевского висит картина художника Константина Померанцева, которая это наглядно подтверждает. И когда мы такую деталь соединяем со словами Достоевского о том, что он четыре года каторги как в гробу провёл, то возникает момент истины, понимание мироощущения Достоевского в то время. Так достигается синтез реального комментария и интерпретации.

В. Н. Захаров

Следует признать, что Достоевский в современных масс-медиа — мутная волна. К сожалению, мы мало читаем эти тексты, а Сергей Акимович Кибальник, например, всё читает, но кто читает Сергея Акимовича и кто читает нас? Нам нужно высказывать своё мнение, но у нас нет инструментов влияния. Мы живём почти в полной свободе слова, даже если где-то кому-то что-то запретят, всегда есть возможность высказать свою точку зрения и добиться, может быть, ещё большего эффекта. Цензуры нет, но есть болезни общества, болезни образования... Я заметил по своим студентам, что поколение ЕГЭ уже мало читает Достоевского, хотя раньше такой проблемы не было. Нечего делать, надо садиться вместе с ними и читать. Чтение неизбежно субъективно, выборочно, фрагментарно, но именно чтение ведёт к пониманию текста.

Так или иначе чтение и понимание — это диалог читателя с автором, читатель воссоздаёт его в своём воображении. Есть потребность и есть право каждого на свою интерпретацию текста. Бесполезно спорить о кино-, театральные и прочих версиях текста: они создают новые произведения. Текст меняется и в переводе — это тоже другое произведение. Текст меняет орфография, и это естественный процесс. Вместе с тем Достоевский больше, чем текст, автор больше слов, которые он произнёс или напечатал. Образ Достоевского живёт сам по себе, и происходит то, что произошло, допустим, с Шекспиром за четыреста лет. Из Достоевского готовят сотни, а может быть, и больше достоевских. Происходит подмена Достоевского другими фигурами. Посмотрите, что пишут в «Википедии» про Достоевского, как пересказывают сюжеты, как характеризуют героев, — это же ужас! У нас сложилась псевдокультура, когда люди без образования пишут статьи, и их печатают.

Позволю реплику по ходу нашего обсуждения. Картина в романе не текст. Пересказать картину, описать её невозможно, она присутствует как образ, как целое помимо сказанных о ней слов, они, образ и текст, существуют по принципу дополнительности. Важно и то, что сказано, и то, что поведано без слов.

В своих интерпретациях все мы стремимся к приближению к Достоевскому. Это в какой-то мере сизифов труд: мы всё больше тщимся, но ситуация не меняется, а, может быть, в последнее время даже ухудшается. Раньше всё-таки существовали сдерживающие моменты, и на телевидении невозможно было, скажем, клеветать на Достоевского. Что делать? Наверное, придумаем в конце концов, что можем сделать.

Значение Достоевского в мире больше, чем в России, но не всё неоднозначно. Достоевского любят читатели, но он вызывает раздражение у значительной части критиков и «аналитиков».

Л. И. Сараскина

Можно реплику насчёт мирового понимания Достоевского? Мой опыт отношений с западными журналистами приводит к тому, что они говорят: «Вы знаете, вы так любите свою страну и своего писателя, своего Достоевского — вы же не объективны, вы должны соблюдать баланс положительного и отрицательного... Вот что вы можете сказать плохого о Солженицыне, о Достоевском, о Пушкине? Вы ведь только хорошее говорите. Вы их слишком любите, поэтому к вам нельзя прислушиваться, ваше мнение не авторитетно». Вот понимаете, в чём проблема? Нам нельзя любить своих писателей, потому что это не объективно!

В. Н. Захаров

Это не либерально.

Л. И. Сараскина

Ну, конечно. Вот ты меня понимаешь полностью! Но у меня очень большой опыт общения с такого рода народом, который упрекает, что, раз вы любите, значит нет смысла с вами вообще говорить! Вы не объективны, ваше мнение не авторитетно.

И. Л. Волгин

Людмила Ивановна, а вы бы привели им в ответ строчку из Пушкина, из его статьи о Радищеве, где он говорит, что нет истины без любви.

Л. И. Сараскина

Так понимаете, это же Пушкин сказал, а у них к Пушкину такое же отношение, Пушкин тоже не в авторитете. Мы с вами не в авторитете, Игорь Леонидович, при всех усилиях наших. Те, кто любит страну, писателя, я не знаю... народ — это не авторитет. Вы должны соблюдать баланс, — мне сказал французский журналист, строго, категорично сказал, — вы всегда будете в поражении, поскольку вы не соблюдаете баланс, пока вы не составите список дурного о Достоевском, о Пушкине, о Солженицыне — обо всех, вы не будете авторитетным мыслителем, исследователем на Западе. А теперь уже и у нас так многие считают.

В. А. Викторович

Чтобы как-то завершить... Игорь Леонидович <Волгин> поставил вопрос: что бы сказал Достоевский, если бы он оказался на нашем круглом столе, что сказал бы он о наших интерпретациях. Ну, вообще-то говоря, исторически мы знаем, что он говорил о критиках, которые о нём писали: он, скажем, выделял В. П. Буренина не случайно — тот очень серьёзную эволюцию проделал, прежде чем подошёл к пониманию Достоевского как духовного явления, и там немалую роль сыграло «Новое время». Если посмотреть по их публикациям, они большую работу проделали по такому не то чтобы внедрению Достоевского, но пониманию его средним читателем. Нужны были усилия медиамагната Суворина, чтобы это как-то случилось уже при жизни Достоевского и сразу после его смерти.

В интерпретационной нашей деятельности я только один момент бы выделил, который Анастасия Георгиевна <Гачева> обозначила: она говорила о совестливости, об ответственности. Мы ответственные... да, перед Фёдором

Михайловичем, перед нашей культурой. И если это чувство ответственности есть, мне кажется, оно всё-таки не позволит удариться в эту дурную бесконечность гиперинтерпретаций — они не просто лишние, они вредные, они перекрывают дорогу к Достоевскому. Эта проблема каждым решается по-своему, но в конечном счёте сводится к моменту нашей ответственности за то, какие интерпретации мы производим. Полагаю, что обмен мнениями был полезен.

*Авторизованная запись Д. Ю. Балашова,
О. В. Антроповой, В. А. Викторovichа*

В. А. Викторovich

«МУЖИК МАРЕЙ»: ЖИЗНЬ И СУДЬБА РАССКАЗА¹

Аннотация: Рассказ Достоевского «Мужик Марей» — ключ к пониманию духовной биографии писателя от ранних впечатлений детства до проникновения в ментальную сущность и предназначение русского народа. Рассматривается история интерпретаций рассказа в критике, литературоведении и в издательской практике за почти полтора века. Очевидная простота и лаконизм литературного шедевра порождают у интерпретаторов соблазн расширения смысла методом привлечения удалённых контекстов. Так сформировался фонд параллельных коннотаций, ведущих к прямому противостоянию автору либо к неувимой подмене заложенного в произведение смысла. Предлагается путь к аутентичному толкованию.

Ключевые слова: рассказ Достоевского «Мужик Марей», рецепция, история интерпретаций, далёкий контекст, воспоминания детства, русский народ, феномен простоты.

Информация об авторе: Владимир Александрович Викторovich, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, Государственный социально-гуманитарный университет, Московская область, г. Коломна. <https://orcid.org/0000-0001-9576-9522>.

E-mail: VA_Viktorovich@mail.ru

Vladimir A. Viktorovich

THE PEASANT MAREI: THE LIFE AND FATE OF THE STORY

Abstract: Dostoevsky's story *The Peasant Marei* is the key to understanding the spiritual biography of the writer from early childhood impressions to insight into the mental essence and purpose of the Russian people. The article examines the history of interpretations of the story in criticism and publishing practice for almost a century and a half. The obvious simplicity and laconism of a literary masterpiece give rise to the temptation of interpreters to expand the meaning by attracting remote contexts. Thus, a fund of parallel connotations was formed, leading to direct opposition to the author or to an elusive substitution of the meaning inherent in the work. A path to an authentic interpretation is proposed.

Keywords: Dostoevsky's story *The Peasant Marei*, reception, the history of interpretations, distant context, childhood memories, the Russian people, the phenomenon of simplicity.

Information about the author: Vladimir A. Victorovich, PhD (Philology), Professor, Department of Russian Language and Literature, Kolomna State University of Humanities and Social Studies, Kolomna, Moscow region. <https://orcid.org/0000-0001-9576-9522>.

E-mail: VA_Viktorovich@mail.ru

¹ Исследование выполнено в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-28-00699 («Новое о Достоевском: реконструкция ранней биографии и творчества в междисциплинарном исследовании») [Электронный ресурс]. URL: <https://rscf.ru/project/23-28-00699/> (01.02.2024).

В маленьком шедевре Достоевского «Мужик Марей» сошлись две ведущие темы писателя и публициста: значение для духовного «самостоянья человека» детских воспоминаний и «вопрос о народе <...>, в котором заключается всё наше будущее» (22; 44). Нас интересует, каким образом открывался этот двойной смысл рассказа его читателям, как сложилась судьба главного «про-даровского» произведения за полтора почти века. Полагаем, что исследование истории восприятия (рецептивный метод) позволит обозначить спектр адекватности, т. е. проложит путь к более аутентичному прочтению.

1.

Первые читатели рассказа неизбежно восприняли его в контексте первой главы февральского «Дневника писателя» 1876 года как продолжение и развитие предшествующего «трактата» «О любви к народу. Необходимый контракт с народом». Первый отклик в печати последовал от «уличной» прессы:

«При всём желании у г. Достоевского на сей раз мы не нашли никакой сущности. Весь “Дневник” <...> переполнен тоски и бессодержательности. Даже художественностью не блеснул на этот раз автор “Дневника”, хотя и рассказал с художественными претензиями анекдотец о чадолюбивом мужичке Марее, связанный неизвестно для чего с осторожными воспоминаниями автора “Мёртвого дома”» [Петербургская газета].

Рассказ был прочитан на волне той травли Достоевского, которую с аппетитом вела мелкотравчатая газета, сателлит более почтенных либеральных органов, отметившийся издёвками над «сумасшествием» автора «Бесов» и уличением «лжепророка» в некрологе о нём [Викторович, Захарова: 267–270, 455–456]. Предвзятая, тенденциозная критика пыльным цветом расцвела тогда вокруг творчества Достоевского (да и продолжает своё цветение), поражая градусом пристрастия. В данном случае подверглись глумлению первоэлементы произведения: художественность, жанр, характер героя, композиция («художественные претензии», «анекдотец», «чадолюбивый мужичок», «связанный неизвестно для чего с осторожными воспоминаниями»). Была использована технология эмотивного навязывания («переполнен тоской и бессодержательностью», «даже художественностью не блеснул»), манипулирующая внушаемым читателем либо угождающая читателю, по каким-то причинам — идеологическим, эстетическим — враждебному к Достоевскому.

Открытая агрессия «Петербургской газеты» не получила прямой поддержки прессы: в тот момент, всё же отличавшийся от бурного периода «Бесов» и «Гражданина», возобладала другая тенденция. Февральский «Дневник писателя» 1876 года вызвал полемику вокруг поставленной им проблемы народа, но, что показательно, большинство спорящих прошло мимо рассказа «Мужик Марей». И сочувствующие Достоевскому [Соловьёв], [Порецкий], и враждебный [Авсеенко], и отчасти симпатизирующий [Венгеров], и осторожный [Марков] — все отнеслись к рассказу как малозначительному и не стоящему внимания аксессуару «народничества» Достоевского.

На этом фоне отличились оценившие рассказ положительно, хотя и мельком, газетные рецензенты «Биржевых ведомостей» и «Голоса». Они-то невольно положили начало двум основным рецептивным стратегиям в прочтении «Мужика Марей».

Рецепция первого типа. Рецензент, хотя и с оговоркой, выразил «полное согласие» с требованием Достоевского

«преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли, и образа; преклониться пред правдой народной и признать её за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи» (22; 45).

«Страшное выражение, — иронизировал прогрессивный критик на счёт отсылки Достоевского к православным Четьям, — вставлено очевидно ради эффекта», потому его легко «выкинуть». Заканчивал биржевой критик неразвёрнутой, непритязательной — «заурядно читательской» — репликой признания за созданным писателем образом художественно реализованной «правды народной»:

«Далее следует прелестный рассказ под заглавием “Мужик Марей”, — рассказ, дышащий теплотой, крайнею простотою и глубокою правдою» [Заурядный читатель]².

Рецепция второго типа. Рецензент либерального толка с негодованием отверг призыв Достоевского «судить наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать» (22; 43), сопроводив его язвительным замечанием:

«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. <...> Да откуда же стали известны эти идеалы? какой пророк или сердцевед в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостоинна этих идеалов?» [Гамма].

Пройдясь по «идеализму» автора «Дневника писателя», не годящегося на роль «пророка или сердцеведа», рецензент обрушивался вместе с тем и на ругателей русского мужика (между коими А. А. Фет-публицист), теперь обращаясь за поддержкой... к поруганному Достоевскому:

«Но забудьте словоизвержение этих господ — вы образумитесь и вспомните, что народ наш добрый и хороший народ, что воры и пьяницы в нём встречаются не чаще, чем в других классах общества, что тунеядство и ничегонеделание составляет исключение в народе, где перестать трудиться значит умирать с голоду. Вспомните всё это, и пред вами нарисуетя один из тех прекрасных, симпатичных и правдивых типов, в роде “мужика Морей” <так!>, которые создаются нашими писателями, когда они стоят в стороне от тенденций, забывают разыгрывать роль охранителей или либералов, а попросту, честно и прямо, лицом к лицу становятся к жизни» [Гамма].

Расхождение двух рецепций произошло на фоне отчётливо и недвусмысленно выраженной Достоевским концепции народа. Первый рецензент прочитывает «Мужика Марей» как **подтверждение** прежде сказанного автором,

² Этот отзыв был отчасти повторён другой газетой: «Далее следует прелестный рассказ под заглавием: “Мужик Морей” <так!>, — рассказ, полный глубокой правды, широкой гуманности и стоящий во внутренней связи с предшествующими рассуждениями автора о народе» [Русские ведомости].

а второй — **вопреки** авторской «тенденции» (так сказать, деконструктивно), но что интересно, оба — каждый со своей колокольни — похваливают сам рассказ. Есть в нём нечто, что объединило реципиентов-противников, вероятно, это было обоюдное признание, что в нашем народе имеются «симпатичные типы». Правда, первого рецензента образ Марая убеждает в реальности существования народных идеалов, а второго — только в наличии доброго материала для просветительской работы интеллигенции³.

Воспользовавшись терминологией, активно используемой в современных гуманитарных науках (в том числе в литературоведении, напр., в работах И. А. Есаулова и Т. А. Касаткиной), первый подход можно определить как субъект-субъектный, а второй как субъект-объектный. Далее для краткости мы будем называть первый — субъектным, а второй — объектным.

Одержимость навязыванием «правильной» тенденции продемонстрировал ещё один прогрессивный публицист, после смерти писателя продолживший разоблачать в нём «мечтательность» славянофильства и обозначивший по существу объектный подход, довольно-таки репрезентативный для западной мысли с её абсолютизацией непросвещённости народа, снимающей всякий вопрос о наличии у него идеалов:

«Для доказательства своих мыслей Достоевский указывает иногда на факты, над которыми стоит остановиться. Нянька, отдающая “господам” накопленные деньги, — какой разительный пример чувств и преданности и заботы о собственных интересах. Мужик, указывающий барину дорогу из леса! и т. п. Боже мой, кто же отрицает человеческие чувства в народе. Но факты эти доказывают нечто и другое. Посмотрите, что за преданность у обломовского Захара. Всё дело тут в том, что рабы ещё в Риме отличались этой преданностью господам; явление это — всеобщее, объясняемое, кажется, тем, что человек, лишённый свободы и человеческих прав, невольно переносит свойственное человеку самоуважение на того, кто владеет им, у кого в руках все его права. В подобных отношениях нет середины: человек или ненавидит человека, от которого зависит, или уже безмерно предаётся ему, потому что вся жизнь раба зависит от этого человека. Этим и объясняется преданность старых дворовых, не могших представить для себя самостоятельного существования помимо барина. Факты, приводимые Достоевским, доказывают, к сожалению, только вековое рабство, через которое прошёл народ, и не обнаруживают особых свойств русского духа» [Введенский].

Перед нами яркий пример объектной интерпретации, которую также можно назвать ситуативно-контекстной, когда интерпретируемый текст помещается интерпретатором в «похожую», с его точки зрения, историко-культурную ситуацию. В итоге произведению навязывается чуждый ему семантический «фон», предопределяющий априори значение составных элементов и в целом всего освещаемого текста. В данном случае в качестве прецедентов предлагаются идущие от древности истории преданности рабов своим господам. Смысл, вложенный автором в рассказ «Мужик Марей», испаряется на наших глазах, поскольку теперь, в задан-

³ Случайна ли оговорка в двух газетах — Морей вместо Марая? Ассоциированность с «Марией» у писателя сменяется у критиков переключкой с «мором» либо «морем». Оба варианта имени (Марей-Морей) имели хождение в народе.

ном контексте, «факты, приводимые Достоевским, доказывают» нечто противоположное: удручающее «вековое рабство» Мареев.

Критик показательно путается в мелочах. Так, «нянька» Алёна Фроловна, в трудную минуту предложившая Достоевским свои накопления, не была «рабой», но вольнонаёмной мещанкой, а «мужик» и не собирался выводить «барина» из леса. Память критика выдаёт, на сколь ничтожном уровне субъектности были прочитаны интерпретируемые им эпизоды «Дневника писателя». В упущенных мелочах загаилась от него душа выдвинутых писателем образов-символов. Свести личность Алёны Фроловны и Марая к положению раба, а участливость к ребёнку исключительно к тому, что он «барин» (что заранее прямо отвергнуто в тексте рассказа — 22; 49), значило пойти наперекор авторскому «указующему персту» во имя утверждения собственных, более «прогрессивных» соображений по данному предмету. Рассказ Достоевского был помещён критиком в инородный контекст социального догмата (рабы/господа) и здесь утратил свой первородный смысл. Интерпретатор, по существу, занял место автора. С этой ситуацией нам ещё не раз придётся встретиться.

Стремящаяся к захватам элементарно-социальная парадигма прочтения рассказа оказалась враждебной не к одному Достоевскому: разоблачая «преданность старых дворовых», критик обидел не только Марая, но и присовокуплённого к нему обломовского Захара, а следом целую плеяду от пушкинского Савельича и толстовской Натальи Савишны до других облюбленных русской литературой персонажей, в которых социальное положение как бы стирается более значимой для них ценностью, а именно способностью к бескорыстной любви. В сравнении с односторонностью либерального публициста предпочтительнее выглядит «пушкинская» максима Достоевского, гипертрофированная в обратную сторону: «было рабство, но не было рабов» (26; 115).

Такова была крайняя точка объектной интерпретации в либеральной критике. Но тогда же, после смерти писателя, проявило себя и субъектное прочтение. Первый биограф Достоевского, историк литературы и фольклорист О. Ф. Миллер заметил, что судьба подарила писателю «живую школу народности» ещё до омского острога — в Москве и в деревне детства (впервые в литературе прозвучал топоним Даровое), где «произошло его первое сближение с народом». «Школой народной правды» назвал тогда биограф «встречу с мужиком Мареем» [Миллер]. Это была первая в литературе о Достоевском, хотя ещё не развёрнутая, формулировка выразившегося в рассказе значения народного фактора для становления личности писателя. Через три года тему поддержал Д. В. Аверкиев, заметив, что высказанное в «Мужике Марее» «простое и детское воззрение» противостояло «господствовавшим взглядам на “мужика”» [Аверкиев].

Своё слово в судьбе «Мужика Марая» сказали тогда издатели. Благодаря им рассказ очень скоро отделился от контекста «Дневника писателя» и зажил своей жизнью. В 1883 году А. Г. Достоевская, следуя, между

прочим, замыслу покойного мужа⁴, издала сборник «Русским детям. Из сочинений Ф. М. Достоевского» под редакцией О. Ф. Миллера (петербургская типография братьев Пантелеевых), куда наряду с отрывками из больших сочинений вошли три рассказа — «Мальчик у Христа на ёлке», «Мужик Марей», «Столетняя»⁵. В следующем сборнике подобного рода, составленном В. Я. Стоюниным⁶, указанные рассказы были исключены, но через десять лет были возвращены в новом сборнике, составленном А. В. Кругловым⁷.

Замечательно, что критика, активно обсуждавшая первый сборник 1883 года и единодушно признавая «мучительного» Достоевского негодным для детского чтения, обошла стороной рассказ «Мужик Марей»⁸. По другому пути пошла издательская практика, ориентирующаяся на потребности читателя. Она продвигала «Мужика Марей» в тандеме со «Столетней» в круг массового чтения. В столичной типографии А. С. Суворина в 1885 и 1886 г. вышло два издания брошюры, объединившей под одной обложкой оба рассказа, а перекупившая их типография братьев Пантелеевых наштамповала до 1910 года ещё 12 изданий [Белов: 15] составившейся таким образом дилогии «о простом народе». Торговый оборот печатного издания — своеобразная его интерпретация, заставляющая задуматься о причинах популярности. В данном случае напрашивается предположение о спросе на ту ценность, что исповедуется христианством и реализовалась в «простом и детском» образе естественного для народа добросердечия. В этом контексте обратим внимание на издание 31-страничной брошюры с рассказами «Мальчик у Христа на ёлке» и «Мужик Марей» в начале 1919 года [Белов: 16], в один из самых горячих моментов Гражданской войны в Оренбурге по решению Отдела народного образования Войскового правительства, то есть в тот короткий период, когда власть в регионе принадлежала белому казачьему войску.

⁴ «В детскую книгу хотел “Неточку”, Колю Красоткина, Смерть Илюшечки, “Мальчик у Христа на ёлке”, “Мужик Марей”, “Маленький герой”» [Достоевская]. Этот факт следовало бы учитывать интерпретаторам, полагающим, что вне контекста «Дневника писателя» рассказ «Мужик Марей» теряет «ключи» к пониманию текста [Касаткина, 2019: 281].

⁵ Издание было повторено под другим названием: Достоевский Ф. М. Избранные произведения / под ред. Ореста Миллера. Берлин, 1921 (на обложке: «Достоевский для детей»).

⁶ Выбор из сочинений Ф. М. Достоевского для учащихся среднего возраста (от 14-ти лет) / под ред. В. Я. Стоюнина. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1887.

⁷ Достоевский для детей школьного возраста / под ред. А. В. Круглова. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1897. В 1912 г. вышло третье издание.

⁸ См.: Педагогический листок. 1883. № 1. С. 1–33 (М. Цебрикова); Отечественные записки. 1883. № 3. Новые книги. С. 73–79 (<Н. К. Михайловский>); Записки учителя. 1883. № 4. С. 209–210 (В. С. <Скопин>); Гражданин. 1883. № 19. 8 мая. С. 6–8 (В. С. <Скопин?>). Н. К. Михайловский применил здесь свою концепцию «жестокости таланта», а поддерживавшая этот подход М. К. Цебрикова в пространной статье «Мимо цели» лишь бегло упомянула четыре исключения из «недетскости» сборника: «В цель попадают следующие рассказы: Рассказ сиротки Нелли, Мужик Марей, В барском пансионе, Смерть Мармеладова...». Далее сказано только об одном достоинстве «Мужика Марей»: он явился исключением из «обилия смертей» в произведениях, включённых в сборник (с. 11–12). См. также [Вассена, 2019 и 2021], на наш взгляд, исследовательница излишне категорична, заявляя о «провале» издания 1883 года, переизданного в 1921 г. (см. примеч. 5).

2.

«Вопрос о народе», поставленный Достоевским, в последующую кризисную эпоху обретал всё большую актуальность. В 1894 году сказал веское слово В. В. Розанов: «“Правда народная” получила в лице Достоевского такого по силе и настойчивости выразителя, какого не имела никогда ранее. Он был её Аароном...» [Розанов, 1996: 283]. В 1902 году критик настаивал, что Достоевский «знал тайну мира искуплённого» [Розанов, 1996: 439]. При отыскании источников духовного лада всплыло и название интересующего нас рассказа:

«Состав этого “белого луча” в “тёмном Достоевском” чуть ли не столько же сложен, как и состав нам известного простого “белого света”. Тут входит и “Лик Христа”, к которому он ещё с юных своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте <...>. Вторую часть “гармонии” Достоевского было его русское народное чувство, почти — простонародное (“Мужик Марей”, “Столетняя” в “Дневнике писателя” и там же некоторые рассуждения)» [Розанов, 1996: 440].

Добавим от себя, что не только первая («Лик Христа»), но и вторая часть «гармонии» Достоевского («простонародное чувство») прирастали к нему «с юных лет» на московской и в особенности даровской почве. Здесь входили в него **простые** истины, составившие духовный фундамент личности.

В 1906 году (даты имеют значение) друг-недруг Розанова Д. С. Мережковский в громкой статье «Пророк русской революции» этот двухосновный духовный базис писателя подверг решительному пересмотру. Данная статья стала типичным явлением объектной интерпретации, её автор воспользовался «Мужиком Мареем» для доказательства двойственности Достоевского, якобы сочетавшего «политическую ложь» с «вечной истиной» [Мережковский: 87, 86]. Критик с этих позиций подверг деконструкции в духе так называемой реальной критики (спекулирующей на различии «сказал» и «сказалось») сюжет детского воспоминания о Марее, придав ему символическое значение:

«В этом воспоминании прообразована вся религиозная жизнь Достоевского. Маленький Федя вырос и сделался великим писателем. Вместе с Федей вырос и мужик Марей в великий “народ-богоносец”. Но таинственная связь между ними осталась неразрывною. С тех пор часто слышал Достоевский страшный крик: “Волк бежит! Зверь идёт! Антихрист идёт!” — и каждый раз кидался к мужику Марее, вне себя от испуга. И тот защищал его и успокаивал с “почти материнской улыбкою”: “Уж я тебя волку не дам! Христос с тобой!” И крестил. Это и было истинное крещение Достоевского — не в церкви, а в поле, не святой водою, а святой землёю.

В чём же, собственно, сила мужика Марей, спасающая от “волка”, от Зверя-Антихриста? В святой Божьей земле, в сырой матери-земле, которая там, на последней черте горизонта, соединяется со святым Божьим небом. “Христианин — крестьянин”, — объясняет сам Достоевский. В этом последнем грядущем, не совершившемся, но возможном соединении крестьянства с христианством, правды о земле с правдой о небе, заключается религиозная сила мужика Марей. Он — древний Микула

Селянинович, богатырь тёмных земных глубин, и в то же время — новый Святогор, богатырь горных, звёздных вершин. Святой Егорий, победитель “Дракона, Змия древняго”. Он — русский “народ-богоносец”. Крестьянство есть христианство, а может быть, и наоборот: христианство есть крестьянство. Не старое, государственное, византийское, греко-русское, а юное, вольное, народное, мужичье христианство и есть “православие”. Такова основная мысль Достоевского» [Мережковский: 87–88].

Ситуативно-контекстуальная, как мы её назвали, интерпретация стремится вырваться за пределы авторской семантики, дабы навязать рассказу значения, исходящие от новообразованного семантического фона. Мережковскому, в его целях проектирования утопического царства «Третьего Завета», надо было отделить Достоевского и вместе с ним «мужичье христианство» от разошедшейся с образованным обществом правящей церкви. Вместе с тем рассказ Достоевского, как внушает толкователь, уводит читателя на ложный путь

«от Христа вселенского к Мессии народному», тогда как «каждый народ должен отречься от себя, от своей “синтетической личности”, от своего особого бога, должен сделаться жертвою за все другие народы, умереть, как народ, во всечеловечестве, для того, чтобы воскреснуть в Богочеловечестве» [Мережковский: 99].

Из идей и образов Достоевского (центральное из которых — «всечеловечество») Мережковский, как из кубиков, складывает собственную конструкцию, предлагая её в качестве «живого ядра вечной истины», очищенного от «скорлупы» ложного народолюбия Достоевского, ошибочно полагавшего, что «для того, чтобы соединиться с народом, русская интеллигенция должна отречься от своей последней сущности — от Европы» [Мережковский: 94]. Следует заметить, что Достоевский на самом деле предлагал отмежеваться, но не отречься от Европы, которую Мережковский величаво называет «последней сущностью» русской интеллигенции. Если Достоевский трактовал эту «сущность» как немощь отпадения от народа⁹, то Мережковский полагал её спасением, подаваемым западной цивилизацией.

Вспоминаются слова Розанова о Мережковском: «Он вечно говорит о России и о Христе. Две темы. И странным образом ни Христа, ни России в его сочинениях нет. Как будто он никогда не был в России... И как будто он никогда не был крещён...» [Розанов, 1994].

«Мужик Марей» был превращён Мережковским в разменную монету интеллектуального духовидения, отринувшего «слишком простое» народолюбие Достоевского, в основании которого Розанов тем временем увидел изначальную способность иметь «русское народное чувство, почти — простонародное». Для Розанова маленький рассказ Достоевского стал образцом горней простоты истинной художественности, о чём сви-

⁹ Ср. определение позднейшего философа: «Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» [Федотов].

детельствует такой, например, пассаж в статье «Толстой и Достоевский об искусстве» (1906):

«...“выспренность” лирика Державина с его: “Глагол времён! Металла звон!” несколько не менее натуральна, необходима и в своём роде “правдива и проста”, как “Мужик Марей” Достоевского или “Много ли человеку земли нужно” Толстого» [Розанов, 1995].

Вослед Мережковскому на последнем круге русской революции двинулись некоторые из авторов сборника «Из глубины» (1918), возобновив тезис о двух началах народной души — «святого и звериного» [Аскольдов] и заявив, что «народопоклонство Достоевского потерпело крах в русской революции» [Бердяев]. Впрочем, среди участников сборника не было полного единства по этому вопросу, что впрямую отразилось в «Современных диалогах» Сергея Булгакова, названных «На пиру богов. Pro и contra». Один из участников этих диалогов, Дипломат, говорит примерно то же, что Бердяев: Достоевский был «роковой для России человек <...>, это он богоносца-то сочинил. А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет святого, кроме брюха». Дипломату возражает Писатель: «Не знал он, что ли <Достоевский>, звериного образа, злодея и кощунника в русском народе? Знал отлично, но он ему не верил, потому что созерцал иную реальность». И Писатель — наиболее близкий Булгакову персонаж — находит силы победить сомнения «в минуты роковые»: «Верую и исповедую, как и раньше, что идеал у народа Христос, иного у него нет. И когда по грехам и слабости своей он об этом забывает, то сразу оказывается зверем, сидящим во тьме и сени смертной. <...> Но верую, как и прежде, что через русский народ придёт спасение миру, что ему предлежит не только великое будущее, но и решающее слово в судьбах мира. Верую и в святую богоносную русскую землю, хотя и поруганную, и осквернённую братской кровью, но хранящую святыни русские» [Булгаков]. Близок Булгакову оказался ещё один участник сборника, посчитавший «морально недопустимыми» — «голоса безверия, утверждающие, что дух русского народа окончательно разложился и может отныне служить лишь удобрием для иных, более здоровых и сильных культур» [Франк].

Концепция народа, выдвинутая Достоевским, обсуждалась философами «на пиру богов» в её спекулятивном выражении, увы, оставив где-то внизу, в стороне художественно выраженное «простонародное чувство», замеченное Розановым в рассказах «Мужик Марей» и «Столетняя». Они могли бы стать аргументами в развернувшемся диспуте о характере и судьбе русского народа, но так и не стали. Случайно ли, что для обоих рассказов не нашлось затем места в эмигрантских «Полных собраниях художественных произведений» Достоевского (в 12 т., Рига, 1927–1928 и в 19 т., Париж, 1933–1934)?

Значение рассказа «Мужик Марей» было недооценено и в раннем научном достоевсковедении. В лучшем случае он «пристёгивался» к «Запискам из Мёртвого дома»¹⁰ (см., напр.: [Мочульский]).

Ещё одна сверхинтерпретация рассказа была предложена тогда в книге И. Нейфельда «Достоевский. Психоаналитический очерк» (Л.; М., 1925), под редакцией самого З. Фрейда. «Мужик Марей» был прочтён через призму так называемого эдипова комплекса, маниакально навязываемого фрейдизмом человечеству. По смыслу этого прочтения получалось, что «ненависть к отцу» у мальчика выразилась в «волкофобии». Страх волка — это страх перед возможным приездом отца в Даровое, могущим разрушить «идиллию летней жизни» с матерью без отца (недаром же в Марее проглядывает нечто материнское), ведь отец — соперник в их общем сексуальном влечении к одному предмету. Даровое в этой связи предстаёт как место вольного развития у мальчика «инцестуозной фантазии», а волк/отец, представляющий опасность для этой фантазии, не может не вызывать подсознательное чувство страха [Нейфельд: 55–56]. Комментировать сию «психоаналитическую отмычку», по выражению Л. С. Выготского, не представляется необходимым. Перед нами вызывающе откровенный, саморазоблачительный акт деконструктивной интерпретации, доходящей до своего логического предела, до аннигиляции автора под видом «углубления» в его подсознание.

3.

Возвращение Достоевского к советским читателям после долгих лет остракизма¹¹ сопровождалось объяснительными, в свете господствующей идеологии, комментариями, определяющими нужный контекст восприятия. В таком ключе интерпретировался и интересующий нас рассказ:

«И тут-то ему пригрелся мужик Марей как олицетворение христианской и крестьянской доброты, всепрощения, смирения. <...> И вот это-то воспоминание о мужике Марее круто переменяло взгляд Достоевского на озверевших от водки каторжников. Это было естественное движение истерзанного сердца: ему так хотелось увидеть человека

¹⁰ Впоследствии один из трёх авторов биографий Достоевского в серии «ЖЗЛ» развернул рассказ в ключевой каторжный эпизод: «Достоевский даже вскопал на нарах, очнувшись и вдруг ощутил, что ещё улыбается той своей детской улыбкой покоя после панического испуга, а в нём ещё не рассеялась нежная, как бы материнская, улыбка крепостного мужика Мареев... И тогда, ещё не понимая зачем, слез с нар — с ним что-то случилось, будто белый голубь пролетел сквозь темень его душевной хранины, и он вдруг пошёл по казарме между нар, глядясь в лица кандалников, и никто не оскорбил, никто не обругал его почему-то, и он почувствовал, что может смотреть в них совсем иначе, чем прежде, другим взглядом, без ненависти и отвращения. <...> Значит, нужна была тогда, двадцать лет назад, эта встреча с Мареем, <...> воскресшая и воскресившая его» [Селезнёв]. Дополнением к «Запискам из Мёртвого дома» рассказ служит донныне в некоторых изданиях книги о каторге.

¹¹ Отметим, впрочем, факт публикации рассказа в составе уникальных «Избранных сочинений» Достоевского, вышедших в Гослитиздате в 1946 и 1947 гг., в непростое время для страны и для гонимого писателя. Через этот однотомник к читателю прорвались с «Мужиком Мареем» также «Бедные люди», «Село Степанчиково и его обитатели», «Преступление и наказание», «Кроткая», «Сон смешного человека».

в озверевшем каторжнике. <...> На каторге, ни много лет спустя Достоевскому не приходило в голову, что среди убийц его отца мог быть и кроткий Марей: ненависть к жестокому барину не мешала приласкать и успокоить испуганного мальчика-барчука. Социальный, классовый момент в психологии Мареев Достоевским начисто игнорировался» [Гус].

Несколько иначе тогда прочитал рассказ другой исследователь:

«Мальчику почудился волк, Марей приласкал и успокоил его. Под пером Достоевского эпизод перерос в символическое событие, характеризующее самую сущность русского народа, его глубокую нравственную и изнутри просвещённую человечность, даже с некоторым националистическим “перебором”: у революционеров-поляков, написал Достоевский, не могло быть таких воспоминаний. Мужик Марей был крепостной человек Достоевских. Дожив до 1839 года, он, согласно общепринятой версии, стал бы в той или иной степени одним из участников убийства <М. А. Достоевского>. Если б великий писатель с его совестью и правдивостью считал, что мужики убили его отца¹², он, вероятно, не написал бы очерка о мужике Марее» [Кирпотин].

Для советского литературоведения были очевидны «классовые» или «националистические» прегрешения писателя, в свете которых виделся и «Мужик Марей».

Заметим открывшийся на этой почве ещё один смыслообразующий ситуативный контекст. Связка рассказа с предполагаемым убийством М. А. Достоевского его собственными крестьянами настолько волнует исследователей и читателей, что в первом случае (М. С. Гус) делается вывод о прекраснородном утопизме автора, а во втором (В. Я. Кирпотин) художественное произведение привлекается в качестве свидетельского показания, опровергающего самый факт преступления. Интересно, что другой, позднейший автор, всё же склоняющийся к версии об убийстве, повествует о возможном участии в нём Мареев с эпическим спокойствием [Волгин]. Данный биографический аспект волей-неволей формирует парадигму восприятия рассказа в двух версиях: либо Достоевский смог простить Мареев — убийц отца (как бы подняться над собственными чувствами в качестве объективного художника и христианина), либо он всё же не поверил слухам о насильственной смерти, которым поверил младший брат Андрей. Это зыбкое облако, очевидно, будет всегда витать над рассказом, а «компетентные» читатели, схваченные проблемно-биографическим фоном, будут обречены делать выбор между версиями о естественной либо насильственной смерти отца писателя от рук коллективного Мареев. Задуманный автором рассказа эффект возвращения веры в народ от такого погружения в биографический контекст делается проблематичным, хотя и не снимается даже в самом тягостном варианте. Многое, если не всё будет зависеть от настроения читателя, доверившегося автору или его интерпретаторам.

«Мужик Марей» в интерпретациях и в издательской практике советского времени как правило отрывался от «родного» контекста «Дневника писателя» как «наиболее реакционной части наследия Достоевского».

¹² Исследователь подтверждал и усиливал версию о естественной, ненасильственной смерти отца писателя, отстаиваемую тогда Г. А. Фёдоровым.

Призыв отказаться от такой трактовки и проявить «историческую конкретность», «диалектику» прозвучал тогда из уст исследователя, специально обратившегося к взаимодействию художественного и публицистического в «Дневнике писателя». В духе времени была заявлена «противоречивость, непоследовательность идеологической “позитивной” программы Достоевского» (заключавшаяся в том, что писатель «выступал лекарем безнадежно больного общества, во всех смыслах противоположного взыскуемой им гармонии») и вместе с тем «Мужик Марей» и «Столетняя» были названы «шедеврами», которые «призваны “художественно” подкрепить публицистические тезисы и profession de foi Достоевского» [Туниманов]. Оказывалось, таким образом, что не все «публицистические тезисы» Достоевского были реакционными, поскольку шедевры на скудной почве не вырастают. Оставалось выяснить секреты плодородия, и они были обозначены как «стихийный демократизм» или даже «народничество» Достоевского ([Фридендер, 1985: 30–43], [Пруцков], [Попов]). Это, как представляется, был шаг в сторону от догм, только непоследовательный, как всякий компромисс, к тому же перегруженный сверхштатными задачами.

Приведём пример:

«В образе мужика Марей Достоевский персонифицировал черты русского крестьянина, знакомые ему с далёких детских лет, когда он жил в деревне. Эти детские впечатления заставили его навсегда сохранить чувство глубокого преклонения перед величием души, трудолюбием, справедливостью¹³ и добротой русского человека из народа. <...> Достоевский в рассказе “Мужик Марей” воздвиг памятник русскому мужику — своему кормильцу и первому нравственному воспитателю. В его стойкости и мужестве, по свидетельству Достоевского, сам писатель и другие петрашевцы почерпнули для себя тот великий нравственный урок, который позволил им не сломиться и не пасть духом, несмотря на все испытания царской каторги» [Фридендер, 1983: 16].

Перескок от «Мужика Марей» к несломленным петрашевцам не имел ничего общего с авторской интенцией: «свидетельство Достоевского» о «стойкости и мужестве» явилось ниоткуда, вернее, было продиктовано «правильной» идеологической установкой, формировавшей параллельную парадигму прочтения.

В итоге, если отбросить нюансы и вариации, мы видим, как рассказ подавался советскому читателю в русле доминирующей объектной интерпретации как проявление демократического движения в русской литературе — такова была реабилитирующая поправка к «реакционности» возвращённого писателя. В восприятии его «противоречивого» наследия следовало исходить из того, что демократизм — одна из составляющих прогресса, в конечном счёте ведущего к революционному повороту истории. Сам автор с этим явно бы не согласился, но с ним никто и не считался, поскольку действовало введённое ещё так называемой реальной критикой разграничение между тем, «что хотел сказать автор», и тем, «что сказалось». Рассказ «Мужик Марей» в таком прочтении являл демократи-

¹³ Ср.: «Народ в понимании Достоевского — это мужик Марей с его глубоким чувством справедливости» [Фридендер, 1985: 25].

ческую природу творчества Достоевского не саму по себе, а как бы противостоящую его «реакционным», антиреволюционным идеям¹⁴. Так начатое приближение к Достоевскому соединилось с отталкиванием от него.

4.

Первую развёрнутую интерпретацию рассказа предложил американский учёный Р. Л. Джексон, начавший свою во многом новаторскую книгу «Искусство Достоевского» с главы «Тройное видение: “Мужик Марей”». Исследователя не удовлетворяла сложившаяся как в советской, так и в западной достоевистике традиция: «“Мужика Марей” интерпретировали как простой автобиографический отрывок», — в то время как это «не столько автобиография, сколько пример художественного сознания самого себя Достоевским» и «только в признании этого художественного элемента <...> мы можем увидеть огромную важность этого произведения как духовной биографии» [Джексон: 21]. С этим исходным положением нельзя не согласиться (особенно в соседстве с рассмотренным выше подходом советского достоевковедения), хотя несколько настораживает лимитирующее «только». В нём-то, как оказалось, всё и дело.

«Дневник писателя», как полагает Джексон, «дал Достоевскому прежде всего уникальные средства для исследования целого ряда эстетических вопросов», а вошедшие в него художественные произведения, и в их числе «Мужик Марей», даже «невозможно понять <...> в отрыве от их сознательной попытки спроецировать и воплотить эстетические проблемы». «Мой анализ “Мужика Марей”, — предваряет учёный во «Введении» к книге, — является исследованием творческого процесса художника» [Джексон: 21]. Подход, безусловно, заслуживающий внимания, но вопрос в том, каковы, так сказать, методологические установки заявленного исследования? Они, как нам представляется, были заключены в постулировании художественного процесса как первичного и направляющего все остальные (духовные, нравственные, эпистемологические).

Основываясь на некоторых фразах из письма писателя к брату Михаилу, Джексон следующим образом формулирует итог своего анализа:

«Достоевский-каторжник определённо не испытывал никаких добрых чувств к каторжникам, с которыми жил эти четыре года. Но своим художественным чувством он различал внутреннюю истину, истину их неотъемлемой человечности. Таков действительный смысл “Мужика Марей”. Непохоже, что Достоевский испытал какое-либо внезапное откровение о русском мужике...» [Джексон: 33].

«Эстетика преображения» или «эстетический идеализм», — такие определения художественного метода Достоевского-рассказчика предлагает учёный. Гегемония и едва ли не герметизм эстетического, по его мнению, и доставили писателю «художественное торжество над грубой, натуралистической, смертоносной действительностью русской жизни» [Джексон: 31].

¹⁴ «Противоречия» в мировоззрении Достоевского объяснялись тем, что он «не видел в России 60–70-х годов революционного народа» [Фридендер, 1985: 25].

Такой ли однозначно «грубой» и «смертоносной» была «действительность русской жизни», как это представлялось американскому исследователю (в чём он оказался солидарен со своими советскими коллегами)? Не выдерживает критики и утверждение, что Достоевский «не испытывал никаких добрых чувств к каторжникам». Исследователь опирается только на часть письма Достоевского к брату Михаилу от 30 января – 22 февраля 1854 года (сразу по выходе из каторги). О «чёрном народе» здесь сказаны действительно нелицеприятные слова, свидетельствующие о жестоком социальном и культурном разладе, расколовшем страну:

«Это народ грубый, раздражённый и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. <...> 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством <...>. Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, “живой человек”» (28; 169–170).

Сопоставление этого реального «народа, грубого и озлобленного» с другим, более сложным и отнюдь не безнадёжным, что предстаёт на страницах «Записок из Мёртвого дома», дало основание Джексону заявить о процессе идеализации, преобразования действительности под пером художника¹⁵. Самый этот процесс и его технология, как представляется учёному, обнажены были Достоевским в рассказе «Мужик Марей». Имеется в виду признание писателя, что детское воспоминание о Марее подверглось переработке, которую Джексон называет «игрой Достоевского-художника»: «Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял непрерывно, в этом состояла вся забава моя» (22; 47). Исследователь называет эту «забаву» «эстетическим дистанцированием» и провозглашает кредо писателя, на самом же деле своё одностороннее видение его: «Поэт более не свидетель, но создатель» [Джексон: 32–33]. С этой позиции и формируется интерпретация рассказа «Мужик Марей»: «образ Марее идеализирован», и потому «важность этого очерка как произведения искусства — не в степени его буквальности верности событиям из жизни Достоевского, но в том, как он обозначает подход Достоевского к его каторжным переживаниям» [Джексон: 32]. И так, не «событие из жизни», а «подход», придающий «новые черты», — такова оптика, через которую предлагается читать рассказ. Утверждается, что эти «новые черты», «поправки» коренным образом **меняют** смысл воспроизводимого в слове события. На наш взгляд, они только **проявляют** его глубинное значение, до поры скрытое: как в зерне запрограммировано будущее растение, так полученное в детстве впечатление материнской ласки простого мужика приуготовило позднейшее откровение о характере русского народа, о доминанте противоречивых показаний.

Пытаясь понять «действительный смысл “Мужика Марее”», Джексон, как уже говорилось, исходит из одномерного представления, что «Досто-

¹⁵ По этому же пути пошёл другой интерпретатор рассказа, настаивающий на свойствах памяти как «творческого процесса», склонного к «приукрашиванию» («косметика воспоминаний») [Аллен: 83].

евский-каторжник определённо не испытывал никаких добрых чувств к каторжникам». Опора делается на цитированное выше письмо к брату, однако в том же письме есть и другое, не менее важное признание (впоследствии учёный его также процитирует, оторвав от своего фундаментального центра), идущее встык с мыслью о разрыве с «чёрным народом»:

«Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного. Впрочем, люди везде люди. И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. <...> Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников <ов> и вообще всего чёрного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за чудный народ» (28; 172).

Письмо — не художественное произведение, но и здесь мы находим тот поворот от «грязи» к «золоту», что так поразил американского исследователя в «Записках из Мёртвого дома» и «Мужике Марее». В данном случае произошло это не с художником Достоевским, а просто с человеком Достоевским¹⁶ («в четыре года отличил»). И **пережитый** им поворот только потом стал художественным сюжетом. Мы не можем согласиться с тем, что человек, преобразующийся в художника, становится лишь транслятором неких высших, поверх его личности пребывающих, а не им самим реально прожитых смыслов. Так в оные времена поговаривали о сомнамбулизме художника, от чего не так далеко ушли «вопрекисты» прошедшего века, о которых речь шла выше. Крайности парадоксально сошлись: тотально «эстетическое» прочтение рассказа методологически оказывается родственным тотально «идеологическому». Стремление «эстетики» к гегемонии также приводит к объективному способу интерпретации.

Во «Введении» учёный называет рассказ о Марее «ключом» не только к «Мёртвому дому», но и «к диалектике поэзии и правды, которая составляет его динамику» [Джексон: 14]. Аллюзия на автобиографию Гёте¹⁷ наводит на размышление: великий немецкий поэт не ставил «поэзию» и «правду» в положение антитезы, «поэзия» в качестве художественного вымысла лишь дополняла и, самое большее, обнажала «правду», таившуюся в реальных, действительных фактах биографии поэта. Установка американского исследователя принципиально иная: «правду» он находит исключительно в самой «поэзии», которая подчиняет себе правду жизни. «Духовная биография» Достоевского, открываемая в рассказе, видится открывателю исключительно в литературном творчестве, творящем самого творца. Мысль богатая, хотя и не новая. См., напр.: «Искусство прирождено художнику как инстинкт, который им овладевает и делает его своим орудием. То, что в первую очередь

¹⁶ Похожий процесс трансформации на другом материале описан Достоевским в начале того же письма, когда он упрекает брата за долгое и особенно тяжёлое для каторжника молчание близкого человека: «Веришь ли, что в уединённом, замкнутом положении моём я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, <...> меня брала даже злоба (но это было в болезненные часы, которых у меня было много), и я горько упрекал тебя. Но потом и это проходило; я извинял тебя <...>. Но не беспокойся, я в тебя верю» (28; 166).

¹⁷ «Поэзия и правда: из моей жизни» («Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben»).

оказывается в нём субъектом воли, есть не он как индивид, но его произведение» [Юнг].

«Тройное видение» Достоевского в рассказе, по Джексону, «включает встречу девятилетнего Достоевского с Мареем, грёзу-воспоминание Достоевского-каторжника об этой встрече и воспоминание воспоминания в «Мужике Марее»» [Джексон: 26]. Как нам представляется, точнее было бы говорить о тройном приближении к истине, которая задана с самого начала (детский эпизод), но была вполне осознана лишь после череды жизненных испытаний и прозрений. Схожий «путь зерна» прошёл старец Зосима, сохранив детское воспоминание о старшем брате и его преображении: «Потрясло меня всё это тогда, но не слишком <...>. Юн был, ребёнок, но на сердце осталось всё неизгладимо, затаилось чувство. В своё время должно было всё восстать и откликнуться» (14; 263).

Пережив однажды в детстве встречу с Мареем, герой-рассказчик, ещё раз проживает её в своём сознании на каторге. Опыт этих вполне реальных событий духовной биографии художник затем отрефлектировал и запечатлел в слове. Без проживания не было бы и художественного откровения. В примечательном анализе рассказа американский исследователь исподволь отделил художника Достоевского от человека Достоевского. Сделано это было вполне в духе западной культуры с её кантианским соблазном растворения этики в эстетике. Путь русской культуры, и в частности Достоевского, представляется несколько иным: не добро в красоте, а красота в добре.

5.

Возвращение отечественного достоевковедения к христианским началам творчества Достоевского принесло новые (точнее, отложенные) коннотации в прочтении рассказа «Мужик Марей». В нём теперь находили «подлинный евангельский дух в отношении к бытию», выразившийся прежде всего в «событии внутреннего преображения человека» [Дунаев].

В 1994 г. была предложена новая жанровая дефиниция «пасхальный рассказ» [Захаров: 121, 126]¹⁸ с его сюжетом «восстановления человека». Были сформулированы коренные признаки данного жанра:

«Пасхальный рассказ назидателен — он учит добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины. Его сюжеты — “духовное проникновение”, “нравственное перерождение человека”, прощение во имя спасения души, воскрешение “мёртвых душ”, “восстановление” человека. Два из трёх названных признаков обязательны: приуроченность времени действия к Пасхальному циклу праздников и “душеспасительное” содержание. Иначе без этих ограничений если не всё, то многое в русской литературе окажется пасхальным» [Захаров: 122].

¹⁸ Имеются в виду работы: Захаров В. Н. Символика христианского календаря // Новые аспекты в изучении Достоевского. Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. С. 37–49; Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. [Вып. 1] (Проблемы исторической поэтики. Вып. 3). Петрозаводск, 1994. С. 249–261. Обе статьи цитируются по изданию: [Захаров]. В том же ключе интерпретация рассказа «Мужик Марей» в работах: [Борисова, 2008], [Борисова, 2011].

Кроме «Мужика Марей» В. Н. Захаров относит к данному жанру у Достоевского рассказы героев романов: Нелли о своём прошлом («Униженные и оскорблённые»), Макара о купце Скотобойникове («Подросток»), Зосимы о брате Маркеле и «таинственном посетителе» («Братья Карамазовы») и «пасхальные эпизоды» в «Преступлении и наказании» (сон Раскольникова о лошадке и сон Свидригайлова о девочке-самоубийце). В русской литературе в том же ряду были названы рассказы Н. С. Лескова («Фигура»), Л. Н. Толстого («После бала»), А. П. Чехова («Письмо», «Казак», «На страстной неделе», «Святою ночью», «Студент», «Архиерей»), И. А. Бунина («Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», «На чужой стороне», «Весенний вечер»).

По утверждению исследователя, «Мужик Марей» — «одно из высших проявлений жанра пасхального рассказа»:

«В нём, как в фокусе, собраны все главные темы Достоевского: народ, интеллигенция, Россия, Христос, которые сошлись в судьбе автора в двух воспоминаниях — о праздновании Пасхи на каторге и о крепостном мужике Марее. <...> Этой встрече Достоевский придал высокий символический смысл, который стал своего рода его почвенническим “символом веры”» [Захаров: 130]¹⁹.

Итак, «приуроченность времени действия к Пасхальному циклу праздников» — «от Великого поста до Троицы и Духова дня» [Захаров: 122] — составляет первейший из жанрообразующих атрибутов пасхального рассказа. На наш взгляд, указанные произведения следовало бы дифференцировать: в одних открывается прямая связь, точка пересечения мира дольного с горним, непосредственное воздействие на сознание героев пасхальных воспоминаний о смерти и воскресении Христа («Студент» Чехова, конец Иудушки в «Господах Головлёвых» Салтыкова-Щедрина), в других такая связь не более как намёк, аллюзия, когда евангельские события образуют параллель к описываемым, прямо с ними не пересекаясь («Фигура» Н. С. Лескова, «После бала» Л. Н. Толстого), и, наконец, в третьих (самая большая группа) описывается диаметрально различное поведение людей в пасхальный период календаря: это все остальные из названных рассказов Чехова и рассказы Бунина²⁰, расположившиеся в диапазоне от формального отправления привычного праздничного обряда до прикосновения к его заветной тайне, вхождения

¹⁹ Стоит отметить, что антология «Пасхальные рассказы русских писателей» (М., 2013), составленная Т. В. Стрыгиной, начинается с «Мужика Марей».

²⁰ Рассказ «Чистый понедельник» занимает здесь особое место, заданное самим заглавием. Герой страстно влюблён, но лишь поверхностно, телесно, он бесконечно далёк от того, что происходит в душе его избранницы. Она же в это время прощается с отчасти прекрасным, а отчасти бесноватым миром Серебряного века (по формуле Блока в «Возмездии»: «И отвращение от жизни, / И к ней безумная любовь...»), чтобы уйти из него и спасти душу в молитве. Чистый понедельник выбран как рубеж на пересечении двух миров, Масленицы и Великого поста с тем отличием от обычного хода вещей, что цикличность православного календаря здесь разрушается: Масленица возвращается каждый год, но в жизненном календаре героини она больше никогда не вернётся в обыкновенном своём виде. Для героя-повествователя Чистый понедельник так и остался знаком неведомой ему тайны. Так в рассказе Чехова «Святою ночью» живой смысл Пасхи открыт единственному из монашеской братии — тому именно, кто оказался не допущенным к церковной службе.

в зону благодати. К этой последней группе можно присоединить также рассказ Л. Н. Андреева «Баргамот и Гараська», «По-семейному» А. И. Куприна, описания пасхального цикла у И. С. Шмелёва.

Перечисленные В. Н. Захаровым эпизоды в романах Достоевского не обнаруживают «прямого действия» евангельского календаря, в них мы находим лишь аллюзии, иногда довольно далёкие и неочевидные. Что же касается «Мужика Марей», духовное преображение героя-повествователя происходит на «второй день светлого праздника» (22; 46) — этим указанием нельзя пренебрегать, но и не стоит его абсолютизировать в плане непосредственного отзыва сюжета на празднование Пасхи. Убийственным контрастом к «свету» праздника выступает тьма «пьяного народного разгула» и предела авторского отчаяния: «всё это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. <...> Наконец, в сердце моём загорелась злоба» (22; 47). Детское воспоминание о Марее вытеснило злобу из сердца и спасло автора: был ли это отзвук светлого праздника? Если припомнившееся «мгновение из детства» воспринимать как сошедшую на героя праздничную благодать, то, конечно, можно счесть это прямым действием переживаемого верующим человеком православного календаря. Однако, как нам представляется, Достоевский-художник избегает непосредственного сведения «небес» на «землю», их очной ставки. Высшие силы являют себя опосредованно, через сознание и волю человека. Церковный календарь в «Мужике Марее» — больше указатель на присутствие (или возможность) инобытия, нежели действующий сюжетный фактор. Сюжетно спасительное детское воспоминание приходит вне прямой зависимости от указанной автором даты церковного календаря, как бы само по себе, по логике духовной биографии героя, отправляющейся от действующих факторов жизни. Другое дело, что в поле притяжения «светлого праздника» может попасть осведомлённый **читатель**, в культурной памяти которого рассказанная писателем история ассоциируется с предвечным великим событием духовного преображения. Так календарный контекст «работает» в «Мужике Марее» и в большей части названных выше пасхальных рассказов (случай чеховского «Студента» крайне редок).

6.

Значительным вкладом в современное достоевскоеведение следует признать труды В. П. Владимирцева, собранные им в книгу под вызывающе-концептуальным заглавием «Достоевский народный» (2007). В предисловии автор даже посетовал: «Занимающиеся изучением Достоевского избегают говорить о народности его творчества» [Владимирцев: 19]. Вспоминается известное высказывание писателя на исходе жизни: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление моё истекает из глубины христианского духа народного)...» (27; 65). Первая часть этого

признания зацитирована до глянца, а вот вторая («я конечно народен...») терпеливо ожидает понимания, ведь нельзя же всерьёз сегодня принимать не столь давние толкования «демократизма» Достоевского, оторванные от собственной его корневой системы (см. выше). В. П. Владимирцев, напротив, немало потрудился для осмысления того «христианского духа народного»²¹, что акцентирован самим писателем и был отмечен О. Ф. Миллером и В. В. Розановым. Одна из статей Владимирцева (впервые опубликованная в 2004 г.)²² напрямую относится к нашей теме: «Очерковый рассказ “Мужик Марей” в художественно-публицистической раме “Дневника писателя”». Здесь рассказ был манифестирован в качестве «крестьянского евангелия от Мужика Марей» [Владимирцев: 48]. Основную идею его исследователь справедливо формулирует как обретенное автором-повествователем «духовное единство с Россией Мужиков Мареев». Эта «внутренняя сила рассказа» являет себя в пленяющем «непринуждённом разговорном естестве авторского (“пушкинского”) голоса» [Владимирцев: 49].

Учёный свидетельствует о «христианско-софийном сиянии рассказа», и важнейший аргумент в доказательство «народоцентричных установок» автора располагается в сфере специального научного интереса В. П. Владимирцева — фольклорно-этнографического, в частности изучения «народных логосных словечек». В речи Марей это «вишь», «ишь», «испужался», «родный», «малец», «ай-ай», «Христос с тобой», «окстись» и др.

«Словечковый» набор в таком сюжетно форсированном средоточии свидетельствует о раннем, если не изначальном, проникновении народности в мир художественных представлений и речевых привычек Достоевского. Очевидно, что христианские основы этнологической культуры писателя закладывались уже в его «первом детстве и отрочестве» (25; 172) под прямым и сильным воздействием исконной стихийной культуры русского простолюдина <...>. Здесь не лишне присовокупить: живя летом в деревне Даровое, юный Достоевский в известном смысле «крестьянствовал». Водил дружбу с кучером Семёном Широкиным, играл в мужиков-торговцев лошаадьми (“барышников”), общался с крестьянами, помогал им, вступал в игры с деревенскими сверстниками и т. д.» [Владимирцев: 51].

«Автобиографический фактор», по убеждению исследователя, придавал особую убедительность публицистике Достоевского в целом и рассказу «Мужик Марей» в особенности. С этим глубоким и перспективным наблюдением нельзя не согласиться²³. Отразившийся в слове прожитый опыт усиливает собственно «художественность» — внехудожественными, «жизненными»

²¹ См.: [Юрьева].

²² Подготовкой к ней были страницы о «Мужике Марее» как «совершенном апофеозе народности» в учебном пособии: Владимирцев В. П. Поэтика «Дневника писателя»: этнографическое впечатление и авторская мысль. Иркутск, 1998. С. 45–46.

²³ Вопреки помянутому выше изданию, с издёмкой причислившему Достоевского к тем авторам, что «слишком склонны иметь в виду только самих себя»: «Недостает только, чтобы по поводу кроненберговского дела г. Достоевский рассказал, как, возвращаясь поздно из типографии, он не мог найти извозчика и потому промочил ноги, переходя через улицу, отчего опасается получить насморк и проч.» [Петербургская газета].

энергиями: не сочинённый, а вполне реальный каторжник делится с читателем своими открытиями. Контекстуальная интерпретация, где контекстом выступает биография писателя и его «Записки из Мёртвого дома», в данном случае имеет серьёзное обоснование и усиливает субъектное восприятие текста «Мужика Маррея».

Иное дело — мифопоэтический фактор в рассказе, особо выделенный В. П. Владимирцевым. Его, как мы помним, акцентировал в своей интерпретации ещё Д. С. Мережковский, для которого мужик Маррей вместилищем себя память о Микуле Селяниновиче, Святогоре и Георгии Победоносце. В. П. Владимирцев уточняет этот список, заменяя Георгия — Ильёй Муромцем, т. е. ограничивая контекст кругом русского былинного эпоса. Однако гораздо важнее другое. Мережковскому перечисленные архетипические предшественники вместе с самим Марреем понадобились для отмежевания «вольного, народного, мужичьего христианства» от «государственного, византийского, греко-российского» и тем самым для пресловутого «очищения» духовного наследия Достоевского, перевода его в «правильную» либерально-критическую парадигму. Владимирцев вызывает на арену Святогора и Муромца, и особенно Микулу Селяниновича, богатыря-пахаря, с иной целью: для постановки Мужика Маррея в богатырский строй «защитников Отечества».

Аргументация исследователя выглядит следующим образом:

«Мужик Маррей с его “кобылёнкой” — герой эпического стиля, близкое и нарочитое уподобление (не менее того) былинным богатырям (они всегда при лошади), великим строителям порядка и покоя, труженикам и защитникам родной земли, хранителям и носителям чистого христианского чувства (Микула Селянинович, Илья Муромец). <...> Главное — именно здесь миметически проводится мысль о том, что нравственно здоров и собран народ от Святогора и Микулушки до тульского крестьянина Маррея (и состоящего в этническом и духовном родстве с ними автора очерка-“рассказца”). Так проявляет себя стихийная державная статья России. Принимая во внимание миметические опосредованные отношения “Мужика Маррея” с русским богатырским эпосом, мы вправе применить к “рассказцу”, например, такое альтернативное (и, конечно же, условное) название: “Былина про землепашца Маррея и волчи страсти дворянского отрока”» [Владимирцев: 50].

Сведение рассказа к мифу русского богатырства, отнюдь не «опосредованное» (т. к. не представлены промежуточные ступени), выглядит всё же поспешным, даже если оставить в стороне предлагаемое несколько комичное альтернативное название. Оттолкнувшись от маргинального уподобления богатырям, которые «всегда при лошади», В. П. Владимирцев торопится утвердить Маррея в роли «защитника родной земли», а следом заявить и «державную статью России». Мысль богатая, но находящаяся лишь в отдалённом родстве с прямым смыслом рассказа. С прискорбием (поскольку общий ход мыслей учёного нам близок) замечаем, что данное прочтение хотя по смыслу противоположно рассмотренным выше апелляциям к прогрессивному демократизму или внецерковному христианству, но методологически, увы, близко им. Во всех случаях интерпретатор вы-

ходит за пределы, поставленные автором произведения, в параллельное пространство объектной интерпретации.

Другой исследователь, В. Е. Ветловская, также предлагает читать «Мужика Маррея» как явление народного эпоса. Каковы её аргументы?

«Первые же мотивы, которые вводят в повествование мужика Маррея, отсылают к былине: “И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идёт трудно, и до меня изредка долетает его окрик: “Ну-ну!” Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и всё равно...” (22; 47). Заметим, что мальчик сначала слышит мужика, а потом его видит, хотя этот мужик не просто “недалеко” от него, но, можно сказать, рядом — всего в тридцати шагах. Правда, это число фольклорной и символической природы, а потому, в принципе, может означать и мало, и много, и скорее — много, чем мало. Заметим тоже, что мужик в поле один» [Ветловская (1): 275].

Напротив, нам представляется, что аргументов в пользу «фольклорной и символической природы» текста Достоевского («тридцать шагов», «в поле один») скорее мало, прямо скажем, ничтожно мало. Далее для усиления своей позиции интерпретатор контекстуально соединяет образ Маррея с образом Микулы Селяниновича, крестьянина-богатыря из быliny «Вольга и Микула», чьим трудом преображены огромные пространства Руси. Исследователь особо подчёркивает общинность этого героя:

«Гармония с людьми и Богом даёт каждому мирянину возможности, присущие крестьянскому сообществу в целом. Вот почему Микула Селянинович, как и любой крестьянин-общинник, будучи частью целого, крепок не только силой Матери-земли, но и отцовской силой сельского “мира” (Селянинович)» [Ветловская (1): 282].

Тема важная и имеющая некоторое отношение к первой главе февральского «Дневника писателя» 1876 г. (куда входит «Мужик Маррей»), поставившего вопрос о наличии идеалов у народа. Правда, в указанной главе общинность среди них не фигурировала, но Достоевский неоднократно обращался к ней в других местах, и о ней хорошо писал К. С. Аксаков, с чьей статьи Достоевский начинает рассуждение о народе (этот момент в подробностях рассмотрен в работе В. Е. Ветловской). Таким образом, опосредованно, в широком контексте публицистики писателя, можно было бы вслед за В. Е. Ветловской истолковать характер Маррея как человека сельского мира, общинника. Однако прямой связи с этим рассказом предлагаемый смыслообразующий контекст всё же не имеет. Перед нами вновь объектная интерпретация, когда интерпретатор собственным домысливанием создаёт контекст (в нашем конкретном случае, отдадим должное, следуя за идеями писателя, выраженными в других текстах), не считаясь с **данным** текстом, образующим хотя близкий, но иной ситуативный потенциал. **Всё решается в самом тексте произведения** (во всяком случае, в классической словесности XIX века, далёкой от соблазнов постмодерна), а открываемый читателем-интерпретатором контекст может только уточнять и комментировать сказанное автором здесь и сейчас.

Отправленный на орбиту общинности финал рассказа, слова автора о поляке М-цком «Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Марейях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме “Je hais ces brigands!” Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего» (22; 49–50), по утверждению В. Е. Ветловской, «напоминает о противостоянии двух цивилизаций, характер которых определён развитием начал, заключённых либо в римско-языческой, либо в былинно-православной (то есть дохристианской общинной, затем общинной и христианской) древности».

Идя далее и отталкиваясь от слов про «высокое образование народа нашего» (22; 49), интерпретатор предполагает героико-эпическое и символическо-цивилизационное звучание рассказа (близкое тому, что услышал в нём В. П. Владимирцев):

«Вопрос заключался в том, сможет ли Россия и в самом деле исполнить свою судьбоносную миссию — спасти себя и других? Или, если перевести вопрос в конкретный план и сказать иначе: сможет ли мужик Марей, а с ним и другие, такие же, как он, русские мужики, выдержать в очередной раз выпавшие на их долю испытания и спасти себя и потерявших в миражах европейского просвещения “блудных детей” своих (этих пока не убывающих и не унывающих “птенцов гнезда Петрова”) от напора чужих и враждебных жизни сил, ополчившихся на них со всех сторон? Сообразно глубине и важности вопроса, рассказ о мужике Марее предстает у Достоевского в самом широком временном и пространственном измерении — от истоков западноевропейской и славяно-русской цивилизаций до новейшего исторического момента» [Ветловская (1): 286–287].

Другая статья В. Е. Ветловской и в самом деле раздвинула «временное и пространственное измерение» рассказа до «истоков западноевропейской цивилизации». Поводом послужила лингвистическая версия (несколько причудливая), что русское имя «Марей» происходит от древнеримского «Марий». Пересказанная далее в подробностях биография знаменитого античного деятеля, носившего это имя, увлекла исследователя чрезвычайно далеко в сторону от русского пахаря [Ветловская (2)].

«Богатырский» контекст в мифопоэтических интерпретациях рассказа нередко перемежается с «богородичным». Импульс задаётся иным, нежели у В. Е. Ветловской, толкованием имени героя: Марей / Мария-Богородица / мать сыра земля. Исключительно объектным представляется нам сведение мифопоэтических мотивов рассказа к возвышенной трансцендентальной символике: «если вспомнить, что это он, Марей, коснулся своим толстым, запачканным в земле пальцем уст будущего писателя, то всё это “приключение” принимает явную мистическую окраску» [Жернакова]. Вспоминается предложение Мережковского видеть здесь «истинное кредо Достоевского <...> святой землёю». Может, оно и красиво: народ в лице Марейя благословляет писателя на духовное поприще, — однако, признаемся, эта пафосная мизансцена явилась из какой-то другой оперы. Объектная «углублённая» интерпретация бывает большим соблазном для интерпретатора в плане увлекательного отыскывания «скрытого смысла».

Убедительную, за малым исключением, интерпретацию рассказа предложила А. В. Денисова.

«В “Мужике Марее” реализуется метафора К. Аксакова “золото в грязи” и перефразированное Достоевским выражение “в этой грязи бриллианты”. “Мужик из детства” помогает каторжнику в самые тяжёлые минуты так же, как крепостной помог маленькому мальчику. У Достоевского с правдой народной неразрывно связана правда детства, его чистота и невинность, которыми измеряется всё истинное, настоящее. Реализация метафоры почти буквальная: мужик протягивает к ребёнку “свой толстый, с чёрным ногтем, запачканный в земле палец”, но за этим жестом сквозит тепло простодушия, искренности и сострадания — те *золотые* качества русского народа, которые являются залогом его возрождения, воплощают в себе суть народной души и правды» [Денисова: 90].

Хорошо и верно сказано, с подходящей аллюзией на Некрасова («В рабстве спасённое Сердце свободное — Золото, золото Сердце народное!»). Малое же исключение, на наш взгляд, составляет связка «правды народной» и «правды детства». Последнее, да ещё сопровождаемое стереотипом «чистоты и невинности», к рассказу прямого отношения не имеет. Следующее усилие контекстной интерпретации уводит исследователя ещё дальше в сторону:

«Палец испачкан землёй, на ней мужик *работает*. Он — труженик земли, и она в народных представлениях понималась как одна из основных стихий мироздания, осмыслялась как всеобщий *источник жизни*, как мать всего живого, в том числе и человека. Представления о *земле* были тесно связаны с понятиями рода, Родины — страны, государства. В православных верованиях образ Матери-земли сближался с образом Богородицы. Земля извечно полагалась *чистой*. Особое отношение к земле проявлялось в том, что при еде в поле крестьяне вытирали о неё руки, приписывая ей такие же очистительные свойства, как и воде. Земля была кормилицей, давала новую жизнь. И в русских верованиях и обычаях, связанных с землёй, присутствовало общее убеждение в том, что земля живая, её доброту следует заслужить и чувства её надо уважать. Те, кто работал на земле, вступали в доверительные личные взаимоотношения с нею, просили её благословения, чтобы взять то, что она могла дать. Сеятель первых семян перед посевом постился и часто надевал ту рубаху, в которой причащался. Мужик Марей — *труженик земли*. Он словно *наделён ею спасительной силой, он улыбается “нежной материнской улыбкой”*...» [Денисова: 90–91].

Толкование народной символики матери-земли, кормилицы и источника жизни, само по себе верно и не противоречит смыслу рассказа. Но и только — **не противоречит**. А надо бы, по закону аутентичной интерпретации, — не перелетать на крыльях фантазии через границу, которую обозначают так называемые герменевтические указатели, императивно требующие «понять высказывание на его собственных основаниях» [Александров: 81].

7.

Рассказ «Мужик Марей» привлёк к себе пристальное внимание одного из ведущих современных достоевсковедов Т. А. Касаткиной. Предложенное ею прочтение вырастает из теоретических новаций исследователя, в частности из теории двусоставного образа. Двусоставность означает, что так называемая глубина художественного произведения есть

«присутствие в образе *второго плана*, чего-то, во что нужно вглядываться, чего-то, о чём нужно догадываться» [Касаткина, 2015: 39]. Это «что-то» в конечном счёте оказывается всегда евангельским «первообразом»²⁴. Отсюда следует утверждение о предпринятом Достоевским начиная с «Преступления и наказания» особом виде богословствования — в тех самых двусоставных образах. Подобного рода богословие («богословие художественного текста»), по мнению исследователя, близко «не систематическому богословию, а аскетике», которая диктует «упражнения, помогающие поменять центр тяжести личности»²⁵. Произведения Достоевского представляются чем-то вроде духовных практик, генерирующих в читателе ту силу, которую в иных терминах определил теоретизирующий дядя Юрия Живаго: «любовь к ближнему как высший вид живой энергии».

Ход мыслей автора талантливых книг и статей **сам по себе** вызывает несомненный интерес и сочувствие. Вопросы возникают к извлечению этих мыслей из текстов Достоевского, к применяемой для этого методике «контекстного анализа» и «пристального чтения». Посмотрим, как они работают применительно к рассказу «Мужик Марей», где анализ выстраивается, в частности, на вполне оправданном сопоставлении контекста предыдущих глав февральского «Дневника писателя» 1876 года и текста рассказа. «Разница между дискурсивно прописанной интенцией и художественным текстом и даст нам художественный язык, и мы сможем увидеть, насколько дальше дискурсивно прописанного бьёт стрела искусства» [Касаткина, 2019: 277–278]. Последнее утверждение отчасти возвращает нас к «эстетическому» прочтению рассказа Р. Джексоном.

Исследователь цитирует ключевое высказывание Достоевского-публициста: «Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймёт и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружён народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты» (22; 43). Далее следует подводка к собственной концепции интерпретатора: «...публицистический текст уже здесь способен вызвать довольно сильную реакцию сопротивления, например: почему я должен извинять чью-то мерзость, если я истинный друг человечества? Почему, если я не извиняю мерзость — я не истинный друг человечества? С художественным текстом всё будет совсем иначе» [Касаткина 2019: 279]. Столь категоричное разведение публицистического и художественного вызывает по меньшей мере сомнение, к тому же само вопрошание об извинении «мерзости» теряет смысл, если всё же учесть, что не всякое «я» имеется в виду Достоевским, а только то, у которого бьётся

²⁴ «Двусоставный образ — способность героя и самого проходного персонажа или самой злободневной романной ситуации заключать в себе евангельского персонажа или евангельскую сцену — основной творческий принцип Достоевского, начиная с “Преступления и наказания” присутствующий в его текстах в полноте своего проявления и как безусловная доминанта творческого метода» [Касаткина 2021: 175].

²⁵ Касаткина Т. А. Введение // Богословие Достоевского. М., 2021. С. 18.

сердце от страданий народа и которое «умеет отыскать в этой грязи бриллианты».

Преимущество, отдаваемое образу перед прямым публицистическим словом, можно, конечно, понять, как можно и согласиться с утверждением, что искусство «обладает способностью передавать опыт (то есть — переживание, встречу и начало “умения” — а не отвлечённое знание)» [Касаткина, 2019: 280]. (Я бы, правда, заменил слово «переживание» на «проживание»). Так же, как и Р. Джексон (но почему-то без ссылок на него), Т. А. Касаткина в дифференцировании эстетического и «реального» опирается на указание автора рассказа, что в своём воображении он «придавал новые черты уже давно прожитому» (22; 47). Весь вопрос в том, как уже говорилось, что считать «новыми чертами» и насколько они меняют картину «прожитого». Как и Джексон, Касаткина убеждена, что меняют кардинально. Попробуем проверить.

Контекстная интерпретация предлагает учитывать в прочтении рассказа упоминание в нём «Записок из Мёртвого дома» (22; 47). «С этого момента они должны (!) рассматриваться как ближайший контекст друг друга», — диктует интерпретатор, и в результате получается, что в «Мёртвом доме» Достоевский ввёл «контекст Рождества», а в «Марее» «наконец, прописал “Пасху”» [Касаткина, 2019: 283]. Воспринимать произведения писателя как сообщающиеся сосуды мы имеем право и с точки зрения предположений об их творческой истории, и тем более с позиции продвинутого читателя. Невозможно, однако, заглушить сомнение, является ли беглое упоминание «Мёртвого дома» в рассказе достаточным обоснованием для **обязательно** контекстного их сближения. Не берёт ли на себя интерпретатор диктаторские полномочия в то время, когда его предположение может существовать только как гипотеза?

Мы ни в коей мере не отвергаем права исследователя на гипотезу. Вопрос лишь в том, насколько она выражает внутреннюю логику интерпретируемого текста.

Вот текст:

«... шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но они знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я приметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твёрдо надеялись, что завтра к утру очнётся, “но с таких побоев, не ровён час, пожалуй, что и помрёт человек”» (22; 46).

А вот интерпретация:

«Каторжники, избивающие Газина, надеются на его воскресение — физическое, если не духовное. Нельзя не обратить внимания на то, что образ накрытого тулупом, бесчувственного, без признаков жизни Газина внутри празднования Воскресения Господня начинает нести на себе отблеск мёртвого Христа, с той лишь разницей, что окружавшие Христа в момент Его смерти воскресения не ждут, отчаявшись, а здесь на воскресение надеются изо всех сил».

Исследователь также обращает наше внимание на упоминание верблюда и Геркулеса:

«Фраза построена так, словно цель бьющих убить верблюда — и сохранить Геркулеса. И если верблюд — наиболее памятный всем образ невхождения в Царство Небесное (“удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие” (Мф. 19, 24)) — то Геркулес — это как раз образ героя, вошедшего, несмотря на все препятствия и заблуждения, в результате своих правильных выборов, в царство небесное и воссоединившегося со своим богом-отцом» [Касаткина 2019: 285–286].

Надежда каторжников на живучесть Газина, этот уголовный реализм вряд ли несёт в себе хотя бы малейшую аллюзию на Воскресение Христово. Фантазийность параллельного текста, создаваемого исследователем, даёт себя знать и в замысловатом прочитывании фразы о верблюде и Геркулесе (убить недостойного и сохранить достойного), а также в соотношении их с евангельско-античными персонажами, привлечёнными к ответу лишь на основании частного словоупотребления: если сказано «верблюд», значит, из всех верблюдов имеется в виду именно тот самый, не сумевший пройти сквозь угольное ушко, а если сказано «Геркулес», то, значит, мы должны вспомнить не только лежащее на поверхности нарицательное значение имени могучего героя, но и тот факт, что он вошёл в «царство небесное». А если мы этого не вспомним и не свяжем между собой далеко отстоящие друг от друга контексты? Подобной искусственной, навязанной символизацией отличались известные экзегетические толкования отдельных слов сакральных текстов, на чью специфическую методику, судя по всему, ориентируется Т. А. Касаткина. В итоге получается действительно **новый** текст, вряд ли предполагавшийся его автором: «Каторжники словно стремятся убить животное в человеке — и сохранить в нём героя», а сам повествователь «вернувшись, как бы ложится вместе с Газиным — ожидать собственного воскресения от злобы и ненависти» [Касаткина, 2019: 287].

В новом свете мы обретаем и заглавного героя рассказа:

«Мальчик играет на природе и слышит, как недалеко мужик “пашет круто в гору и лошадь идёт трудно, а до меня изредка долетает его окрик: “Ну-ну!” (22; 47). Если мы приедем в усадьбу Достоевских “Даровое”, мы увидим, что пахать круто в гору там негде. Это равнина. Да это видно и из описания местности в “Мужике Марее”. О чём же Достоевский начинает вести речь, поправляя свои воспоминания? Речь идёт о движении вверх не физическом — а духовном. Пахота земли — это образ труда над собой, духовной работы подъёма, вспахивания своей собственной почвы, на которую должны упасть и принести плод семена Господни — которые есть семена свободы, как мы увидим из дальнейшего. Этот смысл вносит Достоевский в образ пахущего мужика, поправляя своё воспоминание» [Касаткина, 2019: 290].

Символизация, что и говорить, красивая, но беда в том, что ей противится исходный материал: уклон Лоска, местности «по ту сторону оврага» в Даровом, где и в самом деле «в гору» пахал Марей, доселе существует, До-

стоевский не поправлял своё воспоминание, он точен, а провозглашение «духовной работы подъёма» принадлежит исключительно интерпретатору.

Наконец, история с именем героя, занимавшая многих исследователей. Т. А. Касаткина решает этот вопрос опять-таки в духе «поправления» в сторону символизации:

«Но имя мужика — это имя, которого не бывает (“не знаю, есть ли такое имя” (22; 48) — напишет Достоевский), — то есть, не бывает в русском языке в мужском роде (в европейских языках оно вполне обычно), потому что это — женское имя “Мария”. И вспоминать на каторге Достоевский будет о его женственной, материнской нежности. <...> здесь ему именно нужно, чтобы читатель ощутил всю невероятность происходящего. Это ещё одно целенаправленное “поправление воспоминания”, поскольку, согласно воспоминаниям А. М. Достоевского, “Марей” звали Марком» [Касаткина, 2019: 293–294].

Далее следует ожидать аллюзию на Пресвятую Деву Марию, что само по себе не исключается, однако речь в данном случае о пути интерпретатора к этой аллюзии: писатель якобы «неправдоподобно» с точки зрения бытовой реальности, но правдиво с точки зрения реальности «высшей» даёт своему герою «женское имя “Мария”». В подтверждение — цитата из Достоевского «не знаю, есть ли такое имя», но оборванная на середине, т. к. дальше: **«но его все звали Мареем»**. Заявленное незнание рассказчика скорее всего относится к наличию такого имени в святцах, т. е. к официальной сфере, а в неофициальной деревенской среде его наличие несомненно. Уточнение младшего брата писателя как раз и имеет в виду это различие [А. М. Достоевский: 58–59]. Деревенские прозвища бывают гораздо сильнее законного имени, очевидно, неся в себе «местную» семантику, не всегда понятную постороннему. Подтверждением этого своеобразного именованности может служить документально зафиксированный факт перехода деревенского прозвища нашего героя в уже узаконенное церковной метрикой отчество его дочери: «В “Книге брачных обысков” <Свято-Духовского храма с. Моногарова> за 1844 г. записано, что 21 мая состоялось венчание Василия Никитина и Ксении Мареевой» [Даровое Достоевского: 218]. Переименование Марка в Марей находится в рамках диалектных закономерностей, чему подтверждением является даровской староста Савин (в крещении — Савва) Макаров (см. об этом: [Бессонова: 121, примеч. 36]).

Кажется, что с интерпретатором произошла та самая история, которая им прекрасно осознавалась в её общем значении: «Регулярно и привычно в нашей жизни происходит нечто вроде неосознаваемой коммуникативной катастрофы: навешивание проекций и затем общение в другом исключительно с самим собой» [Касаткина, 2019: 52]. Этот диалог с самим собой в исполнении Т. А. Касаткиной, признаемся, весьма увлекательный и по-своему ценный, но с одним уточнением: конкретному тексту Достоевского он параллелен и соотносится с его идейно-философским континуумом, как всё соотносится в этом мире. Последнее обстоятельство, очевидно, даёт интерпретатору внутреннюю убеждённость в своём глубоком

проникновении в тайны авторского слова Достоевского²⁶. В итоге читателю предлагается новый «Марей» в виде особой духовной практики, исходящей якобы от самого писателя. В последнем по времени обращении исследователя к «Мужу Марю» рассказ трактуется как средство исцеления от отчаяния символически обобщённого поляка М-цкого, не получившего в жизни опыта, подобного авторскому. Рассказ предлагается воспринимать как «трансформирующий опыт» [Касаткина, 2023: 157]. Мысль в целом богатая, поскольку исходит из понимания духовно преобразующей природы искусства, однако как бы наложенная дедуктивной сетью на художественную конкретику произведения. Индукция, т. е. движение от частного к общему, здесь как бы присутствует (в виде того же верблюда или Геркулеса), но изначально захваченная, подчинённая заранее заданным значениям от интерпретатора, демонстрирующего избыточную степень эрудиции, когда последняя стремится к автономной суверенности. Эрудиция не мешает исследователю, если не навязчива по отношению к анализируемому тексту. Навязанность интерпретации — вот что смущает в современном постструктуралистском и постмодернистском синдроме поиска глубинных смыслов.

8.

Писатель всё же не даёт таких прав читателю — быть его соавтором, если, конечно, речь не идёт об увлекательных постмодернистских играх с «открытым произведением»²⁷. Со-мыслие, со-переживание — да, но не со-авторство. Мы с нашей страстью к интертекстуальности без берегов как будто (скорее невольно, не задумываясь о том) перестали уважать прочерченные автором границы текстуального смысла. Не о них ли говорит Достоевский в статье «Г. — бов и вопрос об искусстве», настаивая на том, что самая художественность

«есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал её, создавая своё произведение» (18; 80).

²⁶ «Постструктуралист хочет наблюдать, почти как биолог, естественную жизнь текста в её развитии. Он хочет видеть, как потенции, которые заложены в тексте, расцветают иными смыслами. То есть он надстраивает смыслы над текстом. Упрощая, можно сказать, что он задаётся как раз вопросом о том, как отразится текст в читателе, как читатель сможет развернуть посеянные в тексте/посеянные в читателе текстом смыслы. <...> Но субъект-субъектный метод предполагает движение в другую сторону. В сторону того, что называется в библеистике экзегезой, от др.-греч. «толкование», буквально — «выведение» (смысла из текста). В этом случае исследователь движется от границ текста не вовне, надстраивая смыслы, — он движется от границ текста *внутри* и *вглубь*. Его не будет интересовать, что ещё можно из этого вырастить. Его будет интересовать та ткань, которая уже состоялась. Поэтому для применяющих этот метод основополагающей категорией будет *авторская позиция*» [Касаткина, 2019: 37–38]. Удивительно, как субъект-субъектная теория не сходится с субъект-объектной практикой.

²⁷ Показательна эволюция недавнего апологета «открытого произведения», в конечном счёте ужаснувшегося тому ящичку Пандоры, который он открывал вместе с другими (см.: [Есо]).

Удивительно, как несовременно звучат сегодня эти слова Достоевского. Автор использованного нами термина «герменевтические указатели» (иначе говоря, границы интерпретации) вынужден был признаться: «Идея границы проблематична сама по себе, да к тому же вышла из моды» [Александров: 92]²⁸.

Остаётся ответить на вопрос, а что мы сами видим в рассказе «Мужик Марей», взятом в границах адекватного (т. е. близкого автору) прочтения?

Для начала отметим одну контекстуальную компоненту рассказа «Мужик Марей», воздействовавшую на первых читателей: в предыдущем январском «Дневнике писателя» 1876 года подобным же суггестивным ядром всего выпуска был рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», где ребёнок оказывался в абсолютно холодном, равнодушном к нему мире (узнаваемого, но не обязательно Петербурга), спасением от которого было одно тёплое участие Христа. Критики противоположных толков тогда были покорены пронзительной нотой жалости и сострадания. Она проникла и в февральский рассказ, но теперь её источником оказывался русский мужик с его «материнским» участием к ребёнку. Любопытно, что даже враждебно настроенная «Петербургская газета» полностью перепечатала «Мальчика...», а затем «Столетнюю» (4 февраля и 2 апреля 1876 г.).

Так что же находится, собственно, «в пределах» текста-воспоминания о Марее? Ничего более, как обнаружившееся в душе простолюдина бескорыстное чувство сострадания ребёнку. И только. Но и это — много! Таким манером открывается нам, вслед за рассказчиком, путь к народному мирозерцанию, к заявленной «глубине христианского духа народного». В рассказе задано лишь направление этого пути и сильным ударом кисти обозначена его спасительность.

Марей пожалел ребёнка — чего в предшествующем рассказе («Мальчик у Христа на ёлке») не сделал никто, кроме Христа. Жалость — первая ступень, ведущая к добру (см. «Оправдание добра» Вл. Соловьёва). Это сквозная тема Достоевского от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых», особое место она занимает и в «Дневнике писателя», начиная от упомянутых двух рассказов. Таково **в том же февральском выпуске** 1876 года, что и «Мужик Марей», обращение к Спасовичу оставить нам жалость к ребёнку: «Эта жалость — драгоценность наша <...>. Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетённых, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно...» (22; 71). По-своему выразит эту максиму заключительное восклицание Смешного человека «А ту маленькую девочку я отыскал...» (25; 119)

²⁸ Впрочем, ситуация не новая. Вот что было сказано над свежей могилой писателя: «Настроения, господствующие в нашем обществе, предубеждения, которыми оно постоянно заражено, отсутствие твёрдых начал, которые сдерживали бы шатание мыслей и душ, всё это производит то, что самое чистое и простое явление у нас подвергается самым странным перетолкованиям. Нет никакого сомнения, что и Достоевский будет перетолкован; на нём станут строить такие выводы и его произведениями будут питать такие чувства, которые глубоко противоречат его истинным мыслям и чувствам» [Страхов].

как **реальное** воплощение увиденной истины. Следует признать, что нас съела торжественно возглашённая парадигма гордого человека, которого не унижать жалостью, а уважать надо — искусственная и потому ложная антиномия.

В Марее жалость, соединённая с простодушием, и есть весомая часть «загадки» народа, о которой не уставал твердить Достоевский (26; 44).

Вяч. Иванов в своё время справедливо заметил, что Достоевский — «великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности», который «сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство» [Иванов]. Это определение требует дополняющего уточнения: безграничную сложность человеческого бытия Достоевский мог и умел, когда следует, свести к той простоте, что входит в состав слов «простодушие» и «простосердечие», а в эстетическом плане — к пушкинской простоте выражения глубинных смыслов. Это относится, в частности, к маленьким рассказам «Мальчик у Христа на ёлке», «Мужик Марей», «Столетняя». Е. А. Акелькина справедливо обращает внимание на «подчёркнуто простые названия» рассказов и вместе с тем их универсализующую роль в составе «Дневника писателя»: «Во всех названиях дан предельно обобщённый масштаб восприятия, словно выводящий читателя из круга повседневных забот к родовому, вековечному. Заглавие “Мужик Марей” задаёт принцип связи конкретного лица, факта с самым общим и существенным (мужик — главный человек в русском мире, одна из его основ)» [Акелькина: 103–104].

В суггестивной лапидарности «Мужика Марей» словно сжата до предела пружина почвенной программы соединения с народом, разжимающаяся в пространственных художественных и публицистических текстах писателя. В связи с ними рассказ-эскиз обретает дополнительные значения в читательском кругозоре, и путь расширения указан самим автором, в частности контекстом «Дневника писателя». В предшествующей главе «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» задан был извечный вопрос русской интеллигенции «Что лучше — мы или народ?» и предложен ответ: «преклониться пред правдой народной и признать её за правду» (22; 44–45). Таков ближайший контекст рассказа, наводящий нас на высший и в то же время предельно просто, в пушкинской традиции выраженный смысл.

Ю. С. Степанов в исследовании «Константы. Словарь русской культуры» выделяет такую константу, как «родной человек»: она, как утверждает исследователь, в качестве «осознанного понятия» национальной «почвенной» культуры находит «самое яркое выражение» в «Мужике Марее». «Очерк Достоевского — о любви к родным людям» [Степанов]. С этим можно согласиться, имея в виду, что в заданной писателем перспективе закона Иисусова все люди — родные друг другу. И «дети людей» (23; 96), получается, наши общие дети. «Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем любить и что станется тогда с нами самими?» (25; 193).

9.

Задумывая последний роман, Достоевский едет в неблизкую глухую деревеньку своего детства, в Даровое — запастись впечатлениями, как он говорит жене: «если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чём писать писателю!» (29₂; 171). В июльско-августовском «Дневнике писателя» 1877 года автор сообщал своим читателям об этой поездке, не раскрывая, впрочем, всех тех впечатлений, за которыми ездил и которые, несомненно, получил. Это отдельная история, пока же нас интересует самая общая и ключевая формула Дарового, которую здесь вывел Достоевский, впрочем, так и не произнеся заветного топонима, оставшегося неназванным как в публицистике, так и в художественном творчестве: «Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но всё никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями» (25; 172).

Здесь у внимательного читателя может явиться недоумение: если место «маленькое и незамечательное», то каким образом оно так основательно воздействовало «на всю потом жизнь»? Думается, что в парадоксальном соединении «маленькое»/ «вся жизнь» таится одно из откровений, которое дала миру русская литература, и что в отношении Льва Толстого Б. М. Эйхенбаум определил как диалектику мелочности/ генерализации. Были открыты атомы, но общая материя человеческой жизни не исчезла, просто явилось другое её измерение. Вооружённый этой оптикой, о. Павел Флоренский воспользовался ею применительно к изучению ранней биографии (всегда наиболее проблематичной, недокументированной) такого писателя, как о. Феодор (Бухарев), в частности, говоря о значении «мелочей».

«...будучи мелкими сами по себе, <они> в существенном определили выросшего среди них ребёнка. “Дарит крепчайшее звено Сцепление косвенных событий”. Эту биографическую истину да не упускает исследователь личности, ибо именно “сцепление косвенных событий”, мелкие незаметности повседневного быта часто воспринимаются, особенно в полусознательном возрасте, с силою несравнимо большею, нежели землетрясения и ураганы окружающей жизни...» [Флоренский].

Флоренский сравнивает эти мелкие впечатления детства с зародышами кристаллов, из которых «выкристаллизовывается» душевный строй личности. Кажется, в этом случае был бы уместнее образ, заимствованный не из жизни минералов, а из живой природы — образ зерна, заключающего в себе «программу» дальнейших метаморфоз.

Для Достоевского весьма характерно представление о жизни человека как о преображении детства. В первом его романе Варенька Добросёлова говорит об этом просто и прямо: «И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжёлого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моём, и чаще всего моё детство, моё золотое детство!» (1; 83). **Всё уже было** в золотом детстве, как всё уже было в золотом веке человечества. Это циклическое время, в котором живёт мир

Достоевского, даёт себя знать и в художественном, и в биографическом его измерении.

В рассказе «Мужик Марей» этот возвратный механизм человеческой жизни явлен во всей неприкрытости. Очень внятно здесь описан процесс генерализации мелочей через воскресительную силу памяти: «Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда **неприметной**, и потом мало-помалу выросло в цельную картину, в какое-нибудь **сильное** и цельное впечатление». И сам случай (встреча с Мареем), оказавшийся провиденциальным для автора, поначалу характеризуется в том же кенотическом ключе: «мне вдруг припомнилось почему-то одно **незаметное** мгновение из моего первого детства» (22; 47, выделено нами. — В. В.). В черновом варианте было сказано жёстче: «анекдот, может быть, очень ничтожный» (22; 191). Достоевский снял излишнюю резкость, хотя в то же время вычеркнул и прямую подсказку читателям: «И, однако, в этих-то обыденных, совсем обыкновенных чертах и выставляется иногда вся суть дела» (22; 194).

Обратим внимание на архитектуру спасительного детского воспоминания в рассказе: галлюцинации о волке и чуду о Марее предшествует описание места, «буквально» отражающее топографию реальной усадьбы Даровое: «Я прошёл за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи» (22; 47). Путь мальчика описан настолько топографически адекватно, что по нему, при желании, можно и сегодня вести экскурсию. Овраг, кустарниковый Лоск и роща сохранились почти в первозданном виде, местонахождение гумна можно определить по межевым планам времён Достоевского. Воспоминание о деревенском березняке вызывает у повествователя всплеск эмоций:

«И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ёжиками и белками, с его столь любимым мною сырým запахом перелетевших листьев» (22; 47).

Р. Джексон заметил здесь «своего рода Эдемский сад, сад, упоминание о котором мы столь редко встречаем в произведениях Достоевского» [Джексон: 29]. Оставляя в стороне «арифметический» подход (бывает, что и редко, но метко), заметим только, что мотив Эдема вводится справедливо, хотя несколько облегчённо. Любовь ко всей перечисленной лесной живности всё же очень земная, хотя и приносящая «райское» наслаждение от непредумышленной гармонии природы²⁹. В черновом автографе рассказа была ещё

²⁹ См. развитие темы: «В “Мужике Марее” августовский лес символизирует полноту жизни, радостный покой, которому нет места в каторжном быту. Привидевшийся (вернее, “прислышавшийся”) волк оборачивается домашней собакой Волчком после того, как среди природы водворяется человек, Адам этого детского рая, — мужик Марей. Всё в воспоминании автора становится на свои места, всё проникается чувством домашности, безопасности, прирученности природы, родственным тому чувству полной и святой безопасности, которое было у Адама в раю. Именно с этой точки зрения “Мужик Марей” родствен образцу золотого века, возникающему в “Подростке” и в “Сне смешного человека”. Из этого “природного” фрагмента “Мужика Марей” вырастает нечто сверхприродное — мысль о вольном взаимодействии людей, о силе любви, соединяющей их, то есть о Божественном задании Адаму в раю» [Степанян-Румянцева].

одна дефиниция леса: «с его странной тревогой» (22; 193). Слово «тревога» не случайное и, судя по всему, опережающее события, а именно пугающую ребёнка опасность встречи с волком. Волк — тоже часть леса, как и некоторые другие существа, только упомянутые: «но змеек боюсь» (к змею эдемскому они имеют, что очевидно, только номинальное отношение, хотя соблазн символической интерпретации ещё может воспользоваться этой ассоциацией). Лес — за границей домашнего обжитого мира, таинственная неведомая земля, прекрасная, но и опасная. По свидетельству младшего брата писателя, «маменька неохотно позволяла нам гулять в этом леску (речь идёт о Брыковом лесе, он же, в семейном переименовании, Федина роща. — В. В.), так как ходили слухи, что в тамошних оврагах попадаются змеи и забегают часто волки» [А. М. Достоевский: 55].

Мозаика детских воспоминаний в художественном топосе Достоевского возвращает нас в «Бедным людям», к «даровским» по своей генетике впечатлениям Вареньки: «Резко напечатлелся в памяти моей этот лес, эти прогулки потихоньку, и эти ощущения — странная смесь удовольствия, детского любопытства и страха» (1; 443, журнальный вариант). Мотив страха в окончательном варианте развёрнут в письме Вареньки: «...деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения» (1; 83–84). Вот, очевидно, идущий от детства Достоевского «кристаллик», или, лучше, зерно растущего образа: лес порождает удовольствие и страх одновременно, этот комплекс Достоевский перенёс в детские воспоминания героев с их галлюцинаторными образами.

«Бедные люди»: «Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идёшь одна, спешишь, — жутко! Сама дрожишь как лист; вот, думаешь, того и гляди выглянет **кто-нибудь страшный** из-за этого дупла <...>. Страшно станет, а тут, — **точно как будто слышишь кого-то, — чей-то голос, как будто кто-то шепчет: “Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!”** — ужас пройдёт по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух занимается» (1; 83–84);

«Хозяйка»: «То как будто наступали для него опять его нежные, безмятежно прошедшие годы первого детства, с их светлою радостью, с неугасимым счастьем, с первым сладостным удивлением к жизни, с роями светлых духов <...>. Но тут **вдруг стало являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским ужасом...**» (1; 278–279);

«Униженные и оскорблённые»: «Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто ещё **кто-то жил, для нас таинственный и неведомый**; <...> мы с Наташей, на берегу <оврага>, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот **выйдет кто-нибудь к нам** или откликнется из тумана с овражьего дна и **нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой**» (3; 178, выделено везде нами. — В. В.).

Из подспудного детского страха, как будто какие-то ранние травматические впечатления преследуют писателя, только и можно объяснить появление в деревенской части «Мужика Марей» пугающей «галлюцинации» о волке. Заметим, что подобный дуализм присутствует и в описании

главного героя рассказа — русского народа, мужика. «Безобразные, гадкие песни, <...> несколько уже избитых до полусмерти <...>. Наконец, в сердце моём загорелась злоба» (22; 46).

Преодоление психологической травмы страха и злобы в этом основном сюжете рассказа происходит через контрастирующий «материнский» образ мужика Мареев в «воспоминании из самого первого детства», и оно поддержано, как это бывает у Достоевского, в сюжете побочном. **Природная** утопия резонирует **народной**.

Существенен и характерен для Достоевского контрастный хронотоп «Мужика Мареев»: топос каторги с его замкнутым, физически и духовно, пространством, порождающим безысходные мысли, — и расширяющаяся вселенная детства, смахнувшая, как лучинки, острожные пали. Подобный переход в другое измерение, памятный нам и по «Запискам из Мёртвого дома», и по эпилогу «Преступления и наказания», в «Мужике Мареев» также открывает вертикаль, доселе скрытую от рассказчика в его сжимающемся пространстве: от «пьяного народного разгула» (22; 46, «содома» — 22; 192) — он уходит в сердечную злобу и, соответственно, «на своё место, против окна с железной решёткой» — 22; 46). Противоток, то есть расширение пространства в эпизоде с Мареев, разрешается в итоговом авторском резюме: «Встреча была уединённая, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху...» и т. д. (22; 49). Это резюме явно закольцовано с первичным пасхальным пейзажем той же каторги: «Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, “тёплое”, яркое, но в душе моей было очень мрачно» (22; 46). Говоря словами поэта, рассказчик «в небесах увидел Бога», и эта перемена зрения случилась от неприметного, то есть поначалу не маркированного сознанием события.

Место провиденциальной встречи с мужиком Мареев — упоминавшийся выше шароподобный склон, начинающийся сразу за Лоском (до сей поры неизменный). Черновой автограф рассказа сменой вариантов передаёт динамику творческого преображения заданного хронотопа. Первоначально он выглядел так: «Но недалеко, шагах в тридцати [уже поле] справа, начинается поле и там, я слышу, одиноко пашет мужик» (22; 193). Описание топографически точно: за околицей Дарового от Лоска начинается просторное поле как теперь, так и на межевых планах XVIII–XIX вв. Однако рядом с этим описанием появляется уточняющий набросок: «есть поляна, и там я слышу».

В окончательном варианте переименование главной «сцены» действия будет закреплено: «недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик» (22; 47). Поляна — это не совсем поле. Так, по В. И. Далью, поле — «простор, обширная равнина», а поляна — «поле, окружённое лесом, остров, прогалина». Поляна, иначе говоря, зримо ограниченное пространство. Выбирая это слово, автор явно уходит от первоначальной точной локализации: интересующее нас место, стоя на нём, никак не назовёшь поляной, это действительно поле: его границей является линия горизонта, окоём. В чём же тогда смысл переименования? Физически

неизменяемое пространство сжимается **при изменении масштаба** его фиксации. Так при взгляде с большой высоты всякое поле кажется поляной (напротив, ребёнку поляна может казаться полем). Достоевский, как представляется, незаметно меняет масштаб описания, подготавливая читателя к смене всей пространственной парадигмы. Перед нами, частично, уже то, что «Бог, может, видел сверху», хотя пока только «кристаллик» нового видения, вложенный буквально в одно слово. Подобное же наращивание кристалла / прораствание зерна детского воспоминания составляет сущностную основу сюжета «Мужика Мареев». Мысль о конструктивной созидательности впечатлений детства Достоевский высказывал не раз и в публицистике, и в художественных произведениях.

«Без святого и драгоценного, унесённого в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек» (25; 172). — «Найдите же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впрямь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома. <...> Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» (15; 195).

Маленький рассказ «Мужик Марей» прорастает из всего творчества писателя и мыслителя. Так, вообще говоря, сложилась его малая проза последнего десятилетия жизни — что-то вроде итоговых тезисов. Знание генетического кода (биография, творчество) даст осведомлённому читателю рассказа ассоциативное расширение его смысла, точно так же действует знание исторического, библейского, фольклорного, литературного контекста. К этому, разумеется, должен стремиться читатель культурный, однако нельзя не учитывать динамику самой этой культурности. Интересующий нас рассказ может быть прочитан и понят в своих существенных значениях и в самом только начале вхождения читателя в пространство национальной и мировой культуры. В этом случае «Мужик Марей» вместе с другими миниатюрами Достоевского может послужить своеобразными вводными в мир его философских романов, их пролегоменами³⁰. Художественная энергетика сжатой прозы, говорящей просто о главном, имеет особое образовательное значение.

10.

Из всего сказанного напрашиваются два вывода.

1. Интерпретация всегда стремится к воздействию на смысл интерпретируемого. Учёный, в отличие от иллюстратора, инсценировщика (т. е. другого художника) делает это путём обнаружения и присвоения произведению контекстуальных связей. Контекст может быть ближним и дальним. Чем дальше уходит интерпретатор (в сторону «overinterpretation»

³⁰ Рассказ, мы убеждены, следует активнее продвигать в школьную программу. Варианты см.: [Ежова], [Зарецкий].

[Есо]), тем сильнее соблазн по примеру Добчинского-Бобчинского первым сказать: «Э!». Неувядаемые гоголевские герои, основываясь на внимательных и даже тонких своих наблюдениях над объектом, тем не менее очень уж поспешили. Им в горячке самоутверждения непременно хотелось увидеть то, что они увидели. Такова немудрёная логика и психология «удаляющей» интерпретации. Возвращаясь к судьбе рассказа «Мужик Марей», мы видим его в облаке толкований, находящихся в разной степени удалённости от расставленных автором ограничителей смысла. За их пределами легко образуются параллельные коннотации, а их производители вступают в роль либо прямых соперников автора, либо его доброхотных заместителей. «Смерть автора», быстрая или медленная, но в том и в другом случае неизбежна.

2. Высший смысл и значение рассказа «Мужик Марей», как нам представляется, ожидают новую аутентичную интерпретацию — музейную. В составе существующего Музея-усадыбы «Даровое» нам видится в недалёком будущем музей произведения, ключевого для данного мемориального пространства, — музей «Мужика Марей» как гения места. Русская деревня, крестьянский быт, образ народа, история создания и судьба рассказа — всё работало бы на понимание глубинной связи великого писателя с народной Россией и разгадывание тайны простоты его маленького шедевра.

Список литературы

1. Аверкиев Д. В. Краткий очерк жизни и писательства Ф. М. Достоевского // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 6 т. СПб., 1886. Т. 1. С. 10.
2. А. <Авсеенко В. Г.> Опять о народности и о культурных типах // Русский вестник. 1876. Март. Т. 122. С. 362–387.
3. Акелькина Е. А. Философское слово «Дневника писателя» // Акелькина Е. А. Статьи о Достоевском. Омск, 2020. С. 98–104.
4. Александров В. Другость: герменевтические указатели и границы интерпретации / пер. с английского Н. Анастасьева // Вопросы литературы. 2002. № 6. С. 78–102.
5. Аллен Луи. О некоторых свойствах памяти в рассказе Ф. М. Достоевского «Мужик Марей» // VI Летние чтения в Даровом / ред.-сост. В. А. Викторovich. Коломна, 2021. С. 80–86 [Электронный ресурс]. URL: <https://darovoe.ru/wp-content/uploads/2022/06/Летние-чтения-в-Даровом-VI.pdf> (24.02.2024).
6. Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1991. С. 28.
7. Белов С. В. Ф. М. Достоевский. Указатель произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нём на русском языке, 1844–2004 гг. СПб., 2011. 755 с.
8. Бердяев Н. А. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1991. С. 78.
9. Борисова В. В. Мужик Марей // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник / Сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб., 2008. С. 128–129.
10. Борисова В. В. Малая проза Ф. М. Достоевского: принцип эмблемы: учебное пособие. Уфа, 2011. С. 65–72.
11. Бессонова А. С. «Это в какой-то нашей народности...»: обычаи и обряды крестьян Каширского уезда по этнографическим описаниям соседей Достоевских // Неизвестный Достоевский. 2023. Т. 10. № 4. С. 102–127. DOI: 10.15393/j10.art.2023.7081.

EDN: UXZKEW. [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1702366929.pdf (25.02.2024).

12. Булгаков С. Н. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги // Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 589, 592–593.
13. Н <Введенский А. И.> Литературные мечтания и действительность. По поводу литературных мнений о народе // Вестник Европы. 1881. № 11. С. 323.
14. Фауст Щигровского уезда <Венгеров С. А.> Очерки текущей литературы. <...> «Почвенники новейшей формации» г. Всё-того-же. Вопрос о «деревне». Дело 1876. № 1. 2 // Новое время. 1876. № 19. 18 марта.
15. Вассена Р. Достоевский для детей: провал или успех первого детского издания, составленного А. Г. Достоевской (1883) // Неизвестный Достоевский. 2019. № 3. С. 116–139. DOI: 10.15393/j10.art.2019.4201 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1570443099.pdf (25.02.2024).
16. Вассена Р. «Детский репертуар» Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 1. С. 183–205. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5181 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1617302044.pdf (25.02.2024).
17. Ветловская В. Е. Фольклорные источники произведений Ф. М. Достоевского: «Мужик Марей» // Русский фольклор Т. 37: Границы понятия и сущность явления: сб. ст. и материалов памяти А. А. Горелова. СПб., 2018. С. 270–288. (1).
18. Ветловская В. Е. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского за 1876 год: О мужике Марее // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2018. № 1. С. 21–58. DOI 10.22455/2619-0311-2018-1-21-58 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/DOCT_2018-1a-21-58.pdf (25.02.2024) (2).
19. Викторovich В. А., Захарова О. В. Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881. Коломна, 2021. 536 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128043#1 (25.02.2024).
20. Владимирцев В. Достоевский народный: Ф. М. Достоевский и русская этнологическая культура: Статьи. Очерки. Этюды. Комплекс историко-литературных исследований. Иркутск, 2007. 459 с.
21. Волгин И. Л. Родиться в России. Достоевский: начало начал. М., 2018. С. 300.
22. Гамма <Градовский Г. К.> Листок. <...> Противоречивые взгляды на народ. <...> // Голос. 1876. № 67. 7 марта.
23. Гус М. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. Изд. 2, доп. М., 1971. С. 139.
24. Даровое Достоевского. Материалы и исследования: Коллективная монография / под. ред. А. С. Бессоновой. Коломна, 2021. 544 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128255#1 (25.02.2024).
25. Денисова А. В. Константин Аксаков и Фёдор Достоевский о силе и святости народных идеалов // Проблемы изучения российской словесности: сб. ст. СПб., 2016. С. 88–92.
26. Джексон Р. Л. Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны. М., 1998. 288 с.
27. А. Г. Достоевская. Материалы для биографии Ф. М. Достоевского (1880–1881) / публ. Т. И. Орнатской // Литературный архив. Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 234.
28. [Достоевский А. М.] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского / ред. и вступ. ст. А. А. Достоевского. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. 427 с.
29. Дунаев М. М. Рассказ «Мужик Марей». Обретение «почвы» // Дунаев М. М. Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том). [Электронный ресурс]. URL: <https://lit.wikireading.ru/hZoeTD9nx5> (25.02.2024).
30. Ежова И. «Человек есть тайна». Вступительный урок по творчеству Ф. М. Достоевского // Литература. 2010. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://lit.isept.ru/article.php?ID=201000308> (25.02.2024).
31. Жернакова Н. «Мужик Марей» Достоевского // Dostoevsky Studies. 1988. Vol. 9. С. 105.

32. Зарецкий В. А. «Какому тут волку быть!» // Изучение наследия Ф. М. Достоевского в вузе и школе. Стерлитамак, 2002. С. 5–10.
33. Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. <...> «Дневник писателя» — об отношении интеллигенции к народу <...> // Биржевые ведомости. 1876. № 70. 12 марта.
34. Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М., 2012. 264 с.
35. Иванов В. И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 267.
36. Касаткина Т. А. Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М., 2015. 528 с.
37. Касаткина Т. А. Смысл искусства и способ богословствования Достоевского: «Мужик Марей»: контекстный анализ и пристальное чтение // Достоевский и мировая культура. 2018. № 3. С. 12–31. DOI 10.22455/2619-0311-2018-3-12-31 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/DOST_2018-3-INT-14-33.pdf (25.02.2024).
38. Касаткина Т. А. Достоевский как философ и богослов: художественный способ высказывания. М., 2019. 336 с.
39. Касаткина Т. А. Богословие Достоевского: описание изнутри // Богословие Достоевского / отв. ред. Т. А. Касаткина. М., 2021. С. 157–266.
40. Касаткина Т. А. «Мы будем — лица...» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского. М., 2023. С. 149–166.
41. Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. Статьи и исследования. 2-е, доп. изд. М., 1983. С. 451–452.
42. В. М. <Марков В. В.> Литературная летопись. <...> Второй выпуск «Дневника писателя», г. Достоевского // Санкт-Петербургские ведомости. 1876. № 72. 13 марта.
43. Миллер Ор. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 16–17.
44. Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1948. С. 161.
45. Мережковский Д. С. Пророк русской революции (К юбилею Достоевского) // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов: Сб. ст. М., 1990. С. 86–119.
46. Нейфельд И. Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией проф. З. Фрейда // Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / Сост. и авт. вступ. ст. В. М. Лейбин. М.: Республика, 1994. С. 52–88.
47. [«Петербургская газета»]: Первое слово г. Суворина и второе слово г. Достоевского // Петербургская газета. 1876. № 42. 2 марта.
48. Попов В. П. Проблема народа у Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. Л., 1980. С. 41–54.
49. <Порецкий А. У.> Всё про нас же. (Заметки из текущей жизни) // Гражданин. 1876. № 11. 14 марта. С. 296.
50. Пруцков Н. И. Социально-этическая утопия Достоевского // Идеи социализма в классической русской литературе. Л., 1969. С. 334–375.
51. Розанов В. В. Мимолётное / Собр. соч. под общ. ред. А. Н. Николюкина. [Т. 2]. М., 1994. С. 49.
52. Розанов В. В. О писательстве и писателях / Собр. соч. под общ. ред. А. Н. Николюкина. [Т. 4]. М., 1995. С. 208.
53. Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского / Собр. соч. под общ. ред. А. Н. Николюкина. [Т. 7]. М., 1996. 702 с.
54. [Русские ведомости]: И-н-ъ. Журнальное обозрение. Русский вестник. Дневник писателя. Февраль // Русские ведомости. 1876. № 82. 31 марта.
55. Селезнёв Ю. Достоевский. М., 1985. С. 152.
56. С–в. Вс. <Соловьёв Вс. С.> Современная литература. Наши надежды на народ. Ф. М. Достоевский о народе. <...> // Русский мир. 1876. № 65. 7 марта.

57. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. С. 516–519.
58. Степанян-Румянцева Е. В. Глазами текста. М.; СПб., 2022. С. 181.
59. Страхов Н. Н. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Приложения. С. 63.
60. Тарасова Н. А. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского (1876–1877): Критика текста: Монография. М., 2011. С. 270.
61. Туниманов В. А. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя» // Достоевский — художник и мыслитель. Сб. ст. М., 1972. С. 182, 202, 208, 209.
62. Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г. П. Грехи и судьба России. СПб., 1991. Т. 1. С. 71–72.
63. Флоренский Павел, свящ. Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) // Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): pro et contra. СПб., 1997. С. 609.
64. Франк С. Л. De profundis // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1991. С. 319.
65. Фридлиндер Г. М. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый... // Достоевский Ф. М. Записки из Мёртвого дома. Рассказы / Сост. и вступ. ст. Г. М. Фридлиндера. М., 1983. С. 16.
66. Фридлиндер Г. М. Достоевский и мировая литература. Л., 1985. 456 с.
67. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Дух Меркурий / Пер. с нем. М., 1996. С. 275.
68. Юрьева О. Ю. Художественно-этнологическая культура Ф. М. Достоевского в трудах В. П. Владимирцева // V Летние чтения в Даровом / ред.-сост. В. А. Викторovich. Коломна, 2019. С. 149–159 [Электронный ресурс]. URL: http://darovoe.ru/wp-content/uploads/2020/06/Blok_LCH.pdf (25.02.2024).
69. Eco Umberto. Interpretation and History. In: Eco Umberto. *Interpretation and Overinterpretation*. Cambridge, 1992, pp. 23–43. (In Eng.)

References

1. Averkiev D. V. A Brief Sketch of the Life and Writing of F. M. Dostoevsky. In: *Dostoevskij F. M. Polnoe sobraije sochinenij: V 6 tomah* [Dostoevsky F. M. The Full Collection of Works: in 6 Volumes]. St. Petersburg, 1886. Vol. 1, p. 10. (In Russ.)
2. A. <Avseenko V. G.> Again about Nationality and Cultural Types. In: *Russkij vestnik* [The Russian Bulletin]. 1876. March. Vol. 122, pp. 362–387. (In Russ.)
3. Akelkina E. A. The Philosophical Word “Diary of a Writer”. In: Akelkina E. A. *Stat'i o Dostoevskom* [The Articles about Dostoevsky]. Omsk, 2020, pp. 98–104. (In Russ.)
4. Alexandrov V. The Otherness: The Hermeneutical Pointers and Boundaries of Interpretation / translated from English by N. Anastasieva. In: *Voprosy literatury* [The Questions of Literature]. 2002, no. 6, pp. 78–102. (In Russ.)
5. Allen Louis. Some Relationships are Remembered in the Story by F. M. Dostoevsky “The Peasant Marey”. In: *VI Letnie chteniya v Darovom / redaktor-sostavitel' V. A. Viktorovich* [The 6th Summer Readings in Darovoe / ed.-comp. V. A. Viktorovich]. Kolomna, 2021, pp. 80–86. Available at: <https://darovoe.ru/wp-content/uploads/2022/06/Летние-чтения-в-Даровом-VI.pdf> (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
6. Askoldov S. A. The Religious Meaning of the Russian Revolution. In: *Iz glubiny. Sbornik statej o russkoj revolyucii* [From the Depths. The Collection of Articles on the Russian Revolution]. Moscow, 1991, p. 28. (In Russ.)
7. Belov S. V. F. M. Dostoevskij. *Ukazatel' proizvedenij F. M. Dostoevskogo i literatury o njom na russkom yazyke, 1844–2004* [F. M. Dostoevsky. The Index of F. M. Dostoevsky's Works and Literature about him in Russian, 1844–2004]. St. Petersburg, 2011. 755 p. (In Russ.)
8. Berdyaev N. A. The Spirits of the Russian Revolution. In: *Iz glubiny. Sbornik statej o russkoj revolyucii* [From the Depths. The Collection of Articles on the Russian Revolution]. Moscow, 1991, p. 78. (In Russ.)

9. Borisova V. V. The Peasant Marey. In: *Dostoevskij: Sochineniya, pis'ma, dokumenty: Slovar'-spravochnik / Sostaviteli i nauchnye redaktory G. K. Shchennikov, B. N. Tihomirov [Dostoevsky: The Writings, Letters, Documents: The Dictionary-reference / Comp. and scientific ed. G. K. Schennikov, B. N. Tihomirov]*. St. Petersburg, 2008, pp. 128–129. (In Russ.)
10. Borisova V. V. *Malaya proza F. M. Dostoevskogo: princip emblemy: uchebnoe posobie [The Small Prose of F. M. Dostoevsky: The Principle of the Emblem: A Textbook]*. Ufa, 2011, pp. 65–72. (In Russ.)
11. Bessonova A. S. "It's in Some of Our Nation...": Customs and Rituals of the Kashirsky District Peasants According to the Ethnographic Descriptions of Dostoevsky's Neighbors. In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2023, vol. 10, no. 4, pp. 102–127. DOI: 10.15393/j10.art.2023.7081. EDN: UXZKEW. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1702366929.pdf (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
12. Bulgakov S. N. At the Feast of the Gods. Pros and Cons. Modern Dialogues. In: *Bulgakov S. N. Sochineniya: V 2 tomah [The Essays: In 2 Volumes]*. Moscow, 1993. Vol. 2, pp. 589, 592–593. (In Russ.)
13. N <Vvedensky A. I.> Literary Reflections and Activities. Regarding Literary Opinions about the People. In: *Vestnik Evropy [The Bulletin of Europe]*, 1881, no. 11, p. 323. (In Russ.)
14. Faust of Shchigrovsky District <Vengerov S. A.> The Essays of Current Literature. <...> "Soil Scientists of the Newest Formation" of the Same City. The Question of the "Village". Case 1876, no. 1, 2. In: *Novoe vremya [The New Time]*, 1876, no. 19, March 18. (In Russ.)
15. Vassena R. Dostoevsky for Children: The Failure or Success of the First Children's Book, Compiled by Anna Dostoevskaya (1883). In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2019, no. 3, pp. 116–139. DOI: 10.15393/j10.art.2019.4201 Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1570443099.pdf (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
16. Vassena R. Dostoevsky's Repertoire for Children. In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2021, vol. 8, no. 1, pp. 183–205. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5181 Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1617302044.pdf (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
17. Vetlovskaya V. E. Folklore Sources of F. M. Dostoevsky's Works: The Peasant Marey. In: *Russkij fol'klor. XXXVII. Fol'klorizm v literature i kul'ture: Granicy ponyatiya i sushchnost' yavleniya (Sbornik statej i materialov pamyati A. A. Gorelova) [The Russian Folklore. XXXVII. Folklore in Literature and Culture: The Boundaries of the Concept and the Essence of the Phenomenon (The Collection of Articles and Materials in Memory of A. A. Gorelov)]*. St. Petersburg: Nestor-Istoriya Publ., 2018, pp. 270–288. (In Russ.) (1).
18. Vetlovskaya V. E. "Diary of a Writer" by F. M. Dostoevsky for 1876: About the Peasant Marey. In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura. Filologicheskij zhurnal [Dostoevsky and World Culture. The Philological Journal]*. 2018, no. 1, pp. 21–58. DOI 10.22455/2619-0311-2018-1-21-58. Available at: https://dostmirkult.ru/images/DOCT_2018-1a-21-58.pdf (accessed on February 25, 2024) (In Russ.) (2).
19. Viktorovich V. A., Zaharova O. V. *F. M. Dostoevskij v russkoj kritike. 1845–1881 [F. M. Dostoevsky in Russian Criticism. 1845–1881]*. Kolomna, 2021. 536 p. Available at: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128043#1 (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
20. Vladimirtsev V. P. *Dostoevskiy narodnyy: F. M. Dostoevskiy i russkaya etnologicheskaya kul'tura: Stat'i. Ocherki. Etyudy. Kompleks istoriko-literaturnykh issledovaniy [The Folk Dostoevsky: F. M. Dostoevsky and Russian Ethnological Culture: Article. Essays. Sketches. The Complex Historical and Literary Studies]*. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2007. 459 p. (In Russ.)
21. Volgin I. L. *Rodit'sya v Rossii. Dostoevskij: nachalo nachal [To be born in Russia. Dostoevsky: The Beginning of the Beginning]*. Moscow, 2018, p. 300. (In Russ.)
22. Gamma <Gradovsky G. K.> Leaflet. <...> The Contradictory Views on the People. In: *Golos [The Voice]*, 1876, no. 67, March 7. (In Russ.)
23. Gus M. *Idei i obrazy F. M. Dostoevskogo. Izdaniye 2, dopolnennoye [The Ideas and Images of F. M. Dostoevsky. Ed. 2, additional]*. Moscow, 1971, p. 139. (In Russ.)

24. *Darovoe Dostoevskogo. Materialy i issledovaniya: Kollektivnaya monografiya / pod red. A. S. Bessonovoj [Dostoevsky's Darovoe. Materials and Research: A Collective Monograph / edited by A. S. Bessonova]*. Kolomna, 2021. 544 p. Available at: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128255#1 (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
25. Denisova A.V. Konstantin Aksakov and Fyodor Dostoevsky on the Power and Sanctity of Folk Ideals. In: *Problemy izucheniya rossijskoj slovesnosti: sbornik statej [The Problems of Studying Russian Literature: The Collection of Articles]*. St. Petersburg, 2016, pp. 88–92. (In Russ.)
26. Jackson R. L. *Iskusstvo Dostoevskogo. Bredy i nokturny [The Dostoevsky's Art. Delusions and Nocturnes]*. Moscow, 1998. 288 p. (In Russ.)
27. Dostoevskaya A. G. Materials for the Biography of F. M. Dostoevsky (1880–1881) / publ. T. I. Ornatskaya. In: *Literaturnyj arhiv. Materialy po istorii russkoj literatury i obshchestvennoj mysli [The Literary Archive. Materials on the History of Russian literature and Social Thought]*. St. Petersburg, 1994, p. 234. (In Russ.)
28. [Dostoevsky A. M.] *Vospominaniya [Memoirs of Andrei Mikhailovich Dostoevsky / ed. and introduction by A. A. Dostoevsky]*. Leningrad: Publ. of Writers in Leningrad, 1930. 427 p. (In Russ.)
29. Dunaev M. M. The Story "The peasant Marey". Finding the "Soil". In: *Dunaev M. M. Pravoslaviye i russkaya literatura. Chast' III [The Orthodoxy and Russian Literature. Part III]*. Moscow: Church of St. Tatiana at Moscow State University, 2002. Available at: <https://lit.wikireading.ru/hZoeTD9nx5> (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
30. Yezhova I. "Man is a Mystery". The Introductory Lesson on the Works of F. M. Dostoevsky. In: *Literatura [The Literature]*, 2010, no. 3. Available at: <https://lit.isept.ru/article.php?ID=201000308> (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
31. Zhernakova N. "The Peasant Marey" by Dostoevsky. In: *Dostoevsky Studies. 1988*. Vol. 9, p. 105. (In Russ.)
32. Zaretsky V. A. "How can there be a Wolf here!" In: *Izuchenie naslediya F. M. Dostoevskogo v vuze i shkole [Studying the Legacy of F. M. Dostoevsky in Higher Education and School]*. Sterlitamak, 2002, pp. 5–10. (In Russ.)
33. An Ordinary Reader <Skabichevsky A.M.> Thoughts on Current Literature. <...> "Diary of a Writer" — about the Attitude of the Intelligentsia to the People. In: *Birzhevyye vedomosti*. 1876, no. 70, March 12. (In Russ.)
34. Zaharov V. N. *Problemy istoricheskoy poetiki. Etnologicheskie aspekty [The Problems of Historical Poetics. The Ethnological Aspects]*. Moscow, 2012. 264 p. (In Russ.)
35. Ivanov V. I. *Lik i lichiny Rossii: Estetika i literaturnaya teoriya [The Face and Disguises of Russia: The Aesthetics and Literary Theory]*. Moscow, 1995, p. 267. (In Russ.)
36. Kasatkina T. A. *Svyashchennoe v povsednevnom: Dvusostavnyy obraz v proizvedeniyah F. M. Dostoevskogo [The Sacred in Everyday Life: A Two-part Image in the Works of F. M. Dostoevsky]*. Moscow, 2015. 528 p. (In Russ.)
37. Kasatkina T. A. The Meaning of Art and the Way of Theological Discourse in Dostoevsky: "The Peasant Marey": Contextual Analysis and Close Reading. In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura [Dostoevsky and the World Culture]*, 2018, no. 3, pp. 12–31. DOI 10.22455/2619-0311-2018-3-12-31. Available at: https://dostmirkult.ru/images/DOST_2018-3-INT-14-33.pdf (accessed on February 25, 2024). (In Russ.)
38. Kasatkina T. A. *Dostoevskij kak filosof i bogoslov: hudozhestvennyy sposob vyskazyvaniya [Dostoevsky as a Philosopher and Theologian: An Artistic Way of Saying]*. Moscow, 2019. 336 p. (In Russ.)
39. Kasatkina T. A. Dostoevsky's Theology: A Description from the Inside. In: *Bogoslovie Dostoevskogo / otvetstvennyy redaktor T. A. Kasatkina [The Dostoevsky's Theology. Ed. by T. A. Kasatkina]*. Moscow, 2021, pp. 157–266. (In Russ.)
40. Kasatkina T. A. «My budem — lica...» *Analitiko-sinteticheskoe chtenie proizvedeniy Dostoevskogo ["We will be faces..." The Analytical and Synthetic Reading of Dostoevsky's Works]*. Moscow, 2023, pp. 149–166. (In Russ.)

41. Kirpotin V. Ya. *Mir Dostoevskogo. Stat'i i issledovaniya. 2-e, dopolnennoe izdaniye* [Dostoevsky's World. The Articles and Research. 2nd, Additional Edition]. Moscow, 1983, pp. 451–452. (In Russ.)
42. V. M. <Markov V. V.> Literary Chronicle. <...> The Second Issue of the “Diary of a Writer” of Mr. Dostoevsky. In: *Sankt-Peterburgskie vedomosti* [St. Petersburg Vedomosti], 1876, no. 72, March 13. (In Russ.)
43. Miller Or. Materials for the Biography of F. M. Dostoevsky. In: *Biografiya, pis'ma i zametki iz zapisnoj knizhki F. M. Dostoevskogo*. [The Biography, Letters and Notes from the Notebook of F. M. Dostoevsky]. St. Petersburg, 1883, pp.16–17. (In Russ.)
44. Mochulsky K. *Dostoevskij. Zhizn' i tvorchestvo* [Dostoevsky. The Life and Creativity]. Paris, 1948, p. 161. (In Russ.)
45. Merezhkovsky D. S. The Prophet of the Russian Revolution (To the Anniversary of Dostoevsky). In: *O Dostoevskom: Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoj mysli 1881–1931 godov: Sbornik statej* [About Dostoevsky: Dostoevsky's Work in Russian Thought in 1881–1931: Collection of Articles]. Moscow, 1990, pp. 86–119. (In Russ.)
46. Neufeld I. Dostoevsky. A Psychoanalytic Essay Edited by Prof. Z. Freud. In: *Zigmund Frejd, psihoanaliz i russkaya mysl' / Sostavitel' i avtor vstupitel'noj stat'i V. M. Lejbin* [Sigmund Freud, Psychoanalysis and Russian Thought. Compiler and Author of the Introductory Article V. M. Leibin]. Moscow: Respublika Publ., 1994, pp. 52–88. (In Russ.)
47. [The St. Petersburg Newspaper]: The First Word of Mr. Suvorin and the Second Word of Mr. Dostoevsky. In: *Peterburgskaya Gazeta* [The St. Petersburg Newspaper]. 1876, no. 42, March 2. (In Russ.)
48. Popov V. P. Dostoevsky's Problem of the People. In: *Dostoevskij. Materialy i issledovaniya. Vypusk 4* [Dostoevsky. The Materials and Research. Issue 4]. Leningrad, 1980, pp. 41–54. (In Russ.)
49. <Poretsky A. U.> Everything is about Us. (Notes from Current Life). In: *Grazhdanin* [The Citizen], 1876, no. 11, March 14, p. 296. (In Russ.)
50. Prutskov N. I. Dostoevsky's Socio-Ethical Utopia. In: *Idei socializma v klassicheskoj russkoj literature* [The Ideas of Socialism in Classical Russian Literature]. Leningrad, 1969, pp. 334–375. (In Russ.)
51. Rozanov V. V. *Mimolyotnoe / Sobr. soch. pod obshch. red. A. N. Nikoljukina. Tom 2* [The Fleeting. The Collection of Works under the Total Edited by A. N. Nikoljukin. Vol. 2]. Moscow, 1994, p. 49. (In Russ.)
52. Rozanov V. V. *O pisatel'stve i pisatelyah / Sobr. soch. pod obshch. red. A. N. Nikoljukina. Tom 4* [On Writing and Writers. The Collection of Works under the Total Edited by A. N. Nikoljukin. Vol. 4]. Moscow, M., 1995, p. 208. (In Russ.)
53. Rozanov V. V. *Legenda o Velikom inkvizitore F. M. Dostoevskogo / Sobr. soch. pod obshch. red. A. N. Nikoljukina. Tom 7* [The Legend of the Grand Inquisitor of F. M. Dostoevsky. The Collection of Works under the Total Edited by A. N. Nikoljukin. Vol. 7]. Moscow, 1996, 702 p. (In Russ.)
54. [Russian Vedomosti]: I-n. Magazine Review. Russian Bulletin. Diary of a Writer. February. In: *Russkie vedomosti* [The Russian Vedomosti], 1876, no. 82, March 31. (In Russ.)
55. Seleznyov Yu. *Dostoevskij* [Dostoevsky]. Moscow, 1985, p. 152. (In Russ.)
56. S–v. Vs. <Solovyov Vs. S.> The Modern Literature. Our Hopes for the People. F. M. Dostoevsky about the People. In: *Russkij Mir* [The Russian World], 1876, no. 65, March 7. (In Russ.)
57. Stepanov Yu. S. *Konstanty. Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovaniya* [The Constants. The Dictionary of Russian Culture. Research Experience]. Moscow, 1997, pp. 516–519. (In Russ.)
58. Stepanyan-Rumyantseva E. V. *Glazami teksta* [Through the Eyes of the Text]. Moscow; St. Petersburg., 2022, p. 181. (In Russ.)

59. Strakhov N. N. From the Memoirs of F. M. Dostoevsky. In: *Biografiya, pis'ma i zametki iz zapisnoj knizhki F. M. Dostoevskogo* [The Biography, Letters and Notes from the Notebook of F. M. Dostoevsky]. St. Petersburg, 1883. Appendices, p. 63. (In Russ.)
60. Tarasova N. A. “Dnevnik pisatelya” F. M. Dostoevskogo (1876–1877): *Kritika teksta: Monografiya* [“Diary of a Writer” by F. M. Dostoevsky (1876–1877): Criticism of the Text: A Monograph]. Moscow, 2011, p. 270. (In Russ.)
61. Tunimanov V. A. Dostoevsky's journalism. “Diary of a Writer”. In: *Dostoevskij — hudozhnik i myslitel'. Sbornik statej* [Dostoevsky is an Artist and Thinker. The Collection of Articles]. Moscow, 1972, pp. 182, 202, 208, 209. (In Russ.)
62. Fedotov G. P. The Tragedy of the Intelligentsia. In: Fedotov G. P. *Grehi i sud'ba Rossii*. [The Sins and Fate of Russia]. St. Petersburg., 1991. Vol. 1, pp. 71–72. (In Russ.)
63. Florensky Pavel, priest. Archimandrite Theodore (A. M. Bukharev). In: *Arhimandrit Feodor (A. M. Buharev): pro et contra* [Archimandrite Theodore (A. M. Bukharev): Pro et Contra]. St. Petersburg, 1997, p. 609. (In Russ.)
64. Frank S. L. De profundis. In: *Iz glubiny. Sbornik statej o russkoj revolyucii* [From the Depths. The Collection of Articles on the Russian Revolution]. M., 1991. S. 319. (In Russ.)
65. Friedlender G. M. A Completely New World, Still Unknown... In: *Dostoevskij F. M. Zapiski iz Myortvogo doma. Rasskazy / Sost. i vstup. st. G. M. Fridlendera* [Dostoevsky F. M. The Notes from the Dead House. The Stories. Comp. and Introduction by G. M. Friedlender]. Moscow, 1983, p. 16. (In Russ.)
66. Friedlender G. M. *Dostoevskij i mirovaya literature* [Dostoevsky and the World Literature]. Leningrad, 1985. 456 p. (In Russ.)
67. Yung K. G. *Sobranie sochinenij. Duh Merkurij / Perevod s nemeckigo* [The Collected Works. The Spirit of Mercury. Trans. from German]. Moscow, 1996, p. 275. (In Russ.)
68. Yurieva O. Yu. The Artistic and Ethnological Culture of F. M. Dostoevsky in the Works of V. P. Vladimirtsev. In: *V Letnie chteniya v Darovom / red.-sost. V. A. Viktorovich* [5th Summer Readings in Darovoe / ed.-comp. V. A. Viktorovich]. Kolomna, 2019, pp. 149–159. Available at: http://darovoe.ru/wp-content/uploads/2020/06/Blok_LCH.pdf (accessed on February 25, 2024) (In Russ.)
69. Eco Umberto. Interpretation and History. In: Eco Umberto. *Interpretation and Overinterpretation*. Cambridge, 1992, pp. 23–43. (In Eng.)

В. Е. Ветловская

НАРОДНЫЕ ИДЕАЛЫ У ДОСТОЕВСКОГО И ИХ ФОЛЬКЛОРНАЯ ОСНОВА

Аннотация. Тема народных идеалов — одна из важнейших в публицистике и художественном творчестве Достоевского. Но особого внимания она, как правило, к себе не привлекает и не становится предметом отдельного и пристального изучения. Скорее всего потому, что идеалы, о которых говорит художник, представляются, с одной стороны, несбыточными, а с другой, — ничем реальным не подкреплёнными, не обоснованными. Что касается несбыточности идеалов, то она заключена в их природе. Ведь идеалы только указывают цель и направление движения, соединяя людей в незримую, но прочную общность. Они не обещают (и не должны обещать) достижения конечного результата. Что касается обоснованности указанных Достоевским идеалов, то их никак нельзя отнести к разряду прекраснотворно-субъективных и беспочвенных утопий. Формулируя эти идеалы, писатель опирался на их выражение в народном творчестве. Достоевского интересовали все жанры фольклора, но для выяснения самых светлых чаяний крестьян и малообразованных слоев русского общества ему представлялась особенно важной народная адаптация христианского учения и православных понятий, как она сказалась в легендах, поверьях, апокрифах, притчах, духовных стихах, былинах и т. д. Ведь именно на религиозной почве возникают и формируются народные идеалы. Их смысл не всегда лежит на поверхности фольклорных произведений, и для того, чтобы его увидеть, требуются усилия, своеобразная исследовательская работа. Такую работу и взял на себя писатель, вникая в содержание художественных сочинений, созданных гением безымянных творцов. В этом ему, безусловно, помогала собственная гениальность и необыкновенно тонкое эстетическое чутье. Обо всём этом идет речь в предлагаемой вниманию читателя статье.

Ключевые слова: фольклор, народный характер, идеалы, апокрифы, легенды, поверья, притчи, духовные стихи, былины.

Информация об авторе: Валентина Евгеньевна Ветловская, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург.

E-mail: idmmspb@yandex.ru

Valentina E. Vetlovskaya

DOSTOEVSKY'S FOLK IDEALS AND THEIR FOLKLORE BASIS

Abstract. The theme of folk ideals is one of the most important in Dostoevsky's journalism and artistic creativity. But, as a rule, it does not attract special attention to itself and does not become the subject of separate and careful study. Most likely, because the ideals that the artist is talking about seem, on the one hand, unrealistic, and on the other, they are not supported by anything real, not substantiated. As for the unreality of ideals, it lies in their nature. After all, ideals only indicate the goal and direction of movement, connecting people into an invisible but solid community. They do not promise (and should not promise) to achieve the result. As for the validity of the ideals indicated by Dostoevsky, they can in no way be attributed to the category of lovingly subjective and groundless utopias. In formulating these ideals, the writer relied on their expression in folk art. Dostoevsky was interested in all genres of folklore, but to clarify the brightest aspirations of peasants and poorly educated strata of Russian society, it seemed to him especially important to folk adaptation of Christian teaching and Orthodox concepts,

as it affected legends, beliefs, apocrypha, parables, spiritual poems, epics, etc. After all, it is on religious grounds that popular ideals arise and are formed. It should be noted that their meaning does not always lie on the surface of folklore works and in order to see it, efforts and a kind of research work are required. Such work was undertaken by the writer, delving into the content of artistic works created by the genius of nameless creators. In this, of course, he was helped by his own genius and an unusually subtle aesthetic flair. All this is discussed in the article offered to the reader.

Keywords: folklore, folk character, ideals, apocrypha, legends, beliefs, parables, spiritual poems, epics.

Information about the author: Valentina Evgenievna Vetlovskaya, PhD (Philology), Chief Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences, St. Petersburg.

E-mail: idmmspb@yandex.ru

Светлой памяти Владимира Яковлевича Проппа

Владимир Яковлевич Пропп, говоря о специфике фольклора и его отношении к литературе, напоминал: «Фольклор — это лоно литературы, она рождается из фольклора» [Пропп, 1976: 31]. Исследователь подчеркнул это обстоятельство применительно к отдельным видам словесного искусства — прежде всего к повествовательным жанрам: «...новая светская повествовательная литература реалистического характера (имеются в виду страны Европы. — В. В.) вырастает на почве сказочного фольклора» [Пропп, 1984: 28]. Это справедливо и для других регионов. Однако в сравнении с фольклором индивидуальное художественное творчество в известном отношении всегда проигрывает. Учёный пишет: «Универсальность сказки, её, так сказать, повсюдность, столь же поразительна, как и её бессмертие. Все виды литературы когда-нибудь отмирают. Греки, например, создали великое драматическое искусство. Но греческий театр как живое явление умер... Сейчас для чтения Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана требуется некоторая подготовка. То же можно сказать о литературе любой эпохи» [Пропп, 1984: 26].

Явившись на фольклорной почве, литература не теряет с ней связь. «Для многих писателей, — объясняет В. Я. Пропп, — народное творчество — источник вдохновения <...>. Но при этом забывают одно: писатель, черпающий из сокровищницы фольклора, должен не только воспринять народную традицию, он должен её преодолеть» [Пропп, 1984: 29]. Так, сказочный сюжет, перешедший в литературное произведение, преобразуется по чуждым сказке законам. «Сказка — в основе своей небывальщина», а в литературе сказки «приобретают характер новелл, т. е. таких повествований, которым приписывается некоторая достоверность. Они обретают точное хронологическое и топографическое приурочение, их персонажи — личные имена, типы превращаются в характеры, подробно описывается обстановка, события излагаются как причинная цепь» [Пропп, 1984: 29]. На главное место постепенно выдвигается психологизм, которому авторы нередко побуждают служить пейзаж, описание среды, обстановки, логику развития действия (его внутренние связи), т. е. побуждают служить всё — и общее положение, и мелкие подробности рассказа.

Ничего этого нет в повествовательном фольклоре, поскольку единственный и сравнительно поздний фольклорный жанр, баллада, который имеет дело с переживаниями любовного и семейного свойства, влекущими за собой трагические события, больше озабочен этими событиями, чем их психологической мотивировкой. Она, как правило, обозначается с грубоватым схематизмом, без конкретизации и особой разработки (см.: [Пропп, 1984: 103–104, 57 и след.]).

Со временем сложный психологизм, внимание к посторонним для действия предметам так далеко уведут литературу от народного творчества, что, если бы не было сознательного обращения писателя к фольклору, его вообще нельзя было бы разглядеть в индивидуальном словесном искусстве. Однако, начиная с эпохи романтизма, интерес к фольклору только нарастал. В середине и особенно второй половине XIX века этому способствовало широкое изучение народной жизни и публикация посвященных ей научных трудов. «Периодом расцвета русской фольклористики, — писал М. К. Азадовский, — являются 60-е – 70-е годы. Именно в эти годы создан золотой фонд русской науки о фольклоре: труды Пыпина, А. Веселовского, Тихонравова, Л. Майкова, А. Котляревского, Потебни, Рыбникова, Барсова, Худякова, Гильфердинга, Садовникова и многих других» [Азадовский: 36]. И далее: «Огромное накопление материалов в эти годы, несомненно, содействовало теоретической разработке науки, а, с другой стороны, теоретические изучения стимулировали дальнейший рост и качество собирания» [Азадовский: 209]. Было бы странным, если бы писатели оказались равнодушными к такому богатству первоклассных публикаций. Достоевский, ещё на каторге (да, впрочем, и ранее, в молодые годы) записывавший народные слова и словечки, прислушивавшийся к народным рассказам, присматривавшийся к народному театру (см. так называемую «Сибирскую тетрадь» 1850-х годов; «Записки из Мёртвого дома», 1860–1861), естественно, был захвачен общим движением. Возможно, откликаясь на призыв Е. И. Якушкина (см. письмо к нему от 15 апреля 1855 г. — 28; 184), он даже отдал дань собирательству. Так, внеся в текст последнего романа («Братья Карамазовы», 1879–1880) среди других фольклорных мотивов легенду о луковке, Достоевский писал Н. А. Любимову (одному из редакторов «Русского вестника») 16 сентября 1879 г.:

«...особенно прошу хорошенько прокорректировать легенду о луковке. Это драгоценность, записана мною со слов одной крестьянки и, уж конечно, записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор никогда не слышал».

Писатель ошибался: в сборнике легенд А. Н. Афанасьева напечатана легенда «Христов братец» со сходным сюжетом и в приложении приведен её малороссийский вариант, почти совпадающий с тем, который излагает Достоевский (15; 572, коммент.).

По мнению Л. М. Лотман, Достоевский сознательно опустил в письме Н. А. Любимову упоминание о сборнике А. Н. Афанасьева из опасений цензурного вмешательства и запрета. Справедливо возражая на это мнение, М. М. Громыко ссылается на обстоятельства сибирской жизни писателя: «Нам представляется, что Достоевский написал Любимову правду о собствен-

ной записи легенды. В семипалатинский период писатель много общался с сибирским крестьянством и казачеством <...>. Кроме того, по свидетельству А. Е. Врангеля, Фёдор Михайлович беседовал с крестьянами во время своих поездок на Алтай. Наконец, двухмесячное пребывание в форпосте Озёрном тоже означало жизнь среди крестьянства. В 1855–1859 гг. он сделал, по-видимому, ряд фольклорных записей» [Громыко: 129 и след.]. Но и помимо этих косвенных сведений кажется невероятным, что, объясняясь с Любимовым, Достоевский лукавил, вдруг испугавшись неблагонадежности народной легенды, включённой в роман, где герои бестрепетно произносят богохульные и бунтарские речи.

В легенде говорится о злой бабе, добродетели которой сводились к тому, что за всю жизнь она лишь однажды подала нищенке луковку. Когда баба померла, черти бросили её в огненное озеро. Ангел-хранитель, жалея несчастную, вспомнил о добром её поступке и рассказал о нём Богу. Господь приказал ангелу, держась за луковку, попытаться вытащить бабу из ада, и тому это почти удалось. Но в последний момент в неё вцепились другие грешники, чтобы выскочить наружу вместе с ней. Баба начала от них отбиваться:

«“Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша”. Только она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошёл» (14; 319).

В приступе самообвинения и покаяния уподобляя себя злой бабе, Грушенька и рассказывает Алёше Карамазову её историю. Тема греха и покаяния, греха и возмездия в народных представлениях — одна из тех, что привлекали особое внимание Достоевского. Не случайно в конце 1860-х гг. у него возник грандиозный замысел романа или серии романов, обозначенных как «Житие великого грешника». С этим замыслом, предвосхищая его или следуя за ним, связаны все крупные произведения Достоевского, написанные им по возвращении из Сибири. Главный нерв произведения — борьба добра и зла в разных проявлениях на разных этапах человеческой жизни с конечной победой добра (самоотвержения) над злом (гордостью и эгоизмом). По планам писателя осуществление этого замысла должно было служить изображению русского национального характера и его исторической судьбы (9; 51, коммент.).

Показательным наброском, сделанным Достоевским в этом направлении, была одна из глав «Дневника писателя» за 1873 г. под названием «Влас», отсылающая к стихотворению Н. А. Некрасова 1855 г. с тем же заглавием и на ту же тему. В стихотворении речь идёт о великом грешнике, покаяние которого в бесчисленных грехах после случившегося с ним нравственного переворота было не меньшей силы, чем неистовство в прежних злодействах:

Роздал Влас своё имение,
Сам остался бос и гол
И собирать на построение
Храма Божьего пошёл <...>.
Сила вся души великая
В дело Божие ушла,
Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была...
[Некрасов: 153–154].

Год за годом, в зной и стужу, обременённый железными веригами и безутешной скорбью о своих грехах, Влас ходит по городам и весям, исполняя когда-то данный обет. На собираемое им подаяние поднимаются по родной земле Божьи храмы.

Стихотворение Некрасова — поэтическая обработка народной легенды о великом грешнике (или иногда о великих грешниках), услышанной поэтом из крестьянских уст и в новом виде позднее воспроизведённой ещё раз в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1866–1877) [Некрасов: 627–628, коммент.]. Несколько славянских вариантов сюжета под № 28 были напечатаны А. Н. Афанасьевым¹. О фольклорной легенде и её литературных обработках писал В. Я. Пропп: «Человек совершил какой-нибудь тяжкий грех. Грешник — в большинстве случаев разбойник, но есть и другие трактовки. В отдельных случаях этот сюжет перекликается с мифом об Эдипе: не зная, что он делает, грешник убивает отца и женится на своей матери. Есть и такой случай (использованный Достоевским и известный по другим сюжетам): причащаясь, грешник не глотает просфору, а выплёвывает её и стреляет в неё. Из просфоры течёт кровь» [Пропп, 1984: 50]². Пропп имеет в виду «фантастический рассказ» (по исключительности события) «про другого Власа, даже про двух» (21; 33), переданный Достоевским с чьих-то слов вслед за рассуждениями о стихотворении Некрасова, которое писатель одобряет не без оговорок.

Для Достоевского его собственное повествование не легенда: «Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное» (21; 33). Писатель повторяет это не один раз (21; 35, 41).

Суть истории в споре деревенских парней о том, кто кого сможет превзойти в дерзости. Один из спорщиков, воспользовавшись похвалой другого, предложил ему совершить страшное святотатство. Во время причастия надо было не проглотить Святые Дары (кусочек освящённого хлеба, знаменующего тело Христово), а незаметно вынести из церкви. Далее под водительством искусителя и его присмотром в уединённом месте, в огороде (т. е. в стороне от лишних глаз), выстрелить в причастие.

«Я поднял руку, — рассказывал позднее святотатец, — и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нём Распятый. Тут я и упал с ружьём в бесчувствии» (21; 34).

Поражённый внезапным видением и тяжкой виной грешник спустя несколько лет даже не пришёл, а буквально приполз на коленях в монашескую обитель к какому-то спасавшемуся там старцу с криками о своём преступлении и сердечной муке. Выслушав исповедь, старец,

«должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: “Сам за страданием приполз”» (21; 34).

¹ См. [Афанасьев, 1990: 141–147], а также [Костомаров, 1860: 209–228]. Костомаров публикует несколько вариантов сюжета.

² О фольклорной основе сюжета Достоевского с отсылкой к другим исследователям см.: [Пиксанов: 164–165].

Относительно мнений насчёт того, легенда рассказ Достоевского или реальность, заметим, что при видимой несовместимости они оба могут быть справедливы. Характерно, что в академическом комментарии к рассказу упоминаются (как некая параллель), с одной стороны, народные легенды, а с другой, — реальные судебные процессы над крестьянами, обвиняемыми в подобном кощунстве (21; 397–398). Думается, что источник противоречивых утверждений (легенда или реальность) общий. Это поверье, согласно которому кощунственные манипуляции с причастием делают человека удачливым охотником. Такое поверье встречаем в одном из сборников народной прозы («Про охотника»):

«Один стрелец ходил с ружьём и много настреливал, а другой мужик из того же села ходит, ходит, а приносит самую малость. Вот он встретил первого стрельца и спрашивает: “Что это ты всегда с дичью, а я нет? Научи меня!” — “Изволь, — говорит, — штука простая: когда причащаться будешь, так не глотай его, а принеси домой за щекой”. Тот пошёл к причастью и принёс. “Ну, теперь что?” — “А вот, — говорит, — что!” Взял бурав, просверлил дыру, положил в неё кусочек причастья и сказал: “Возьми ружьё и выстрели в это место!” Стрелец взял ружьё, приложился; только что хотел выпалить и видит: стоит перед ним сама Мать Пресвятая Богородица и говорит: “Сын мой, что ты делаешь? Неужели же ты в Меня стрелять будешь?” У того руки и ноги затряслись, и ружьё из рук выпало. Пошёл он после того в монастырь грех свой замаливать» [Народная проза: 520].

Существование отражённого в рассказе поверья означает, что его действительность если не всем, то некоторым людям кажется несомненной. Отсюда реальные факты судебной хроники. На основе таких фактов и иногда сопровождающих видений, тоже возможных, и возникают легенды, варьирующие, как видим, в отдельных подробностях.

В приведённом охотничьем рассказе (и сходных с ним) главное заключено в цели кощунственных действий — в удачной охоте. Но ведь эта цель может быть иной. Ничего не стоит при известном настрое чувств и игре воображения перенести внимание с практической задачи в виде удачной охоты на сами действия, т. е. на само кощунство и посмотреть на его результат без всякой связи с практической пользой. В этом случае человеком движет не выгода, но гордыня и чрезмерное, греховное любопытство. А вместе с тем, конечно, и желание острых ощущений, испытываемых, если повезёт, с чужой помощью или за чужой счёт. Так обстоит дело в рассказе Достоевского. Кстати, уточним. По поводу двух его героев в академическом комментарии сказано:

«...обращает на себя внимание, что ни в одном из известных нам фольклорных вариантов легенды нет образа товарища героя — толкнувшего его на грех искусителя (вместо него в фольклорных версиях часто появляется образ второго грешника, которого убивает раскаившийся герой легенды, после чего получает отпущение грехов)³. В замысле Достоевского образ искусителя сложился, по-видимому, <...> не сразу, но затем приобрёл первостепенное значение, ибо подобный характер всегда интересовал писателя...» (21; 398, коммент.).

Однако товарищ героя, невольно или вольно склоняющий его на грех, в фольклорных сюжетах рассматриваемого типа, как видим, всё-таки возникает. Ведь

³ Важно подчеркнуть, что этот второй грешник — просто более лютый, не ведающий ни жалости, ни мук стыда, злодей, чем тот, кто его убивает.

между учителем и учеником, искусителем и его жертвой здесь нет принципиальной разницы. То, что действительно отличает рассказ Достоевского от фольклорного варианта, так это сложный психологический анализ происшествия и занятых в нём лиц.

В объяснении Достоевского искуситель, обозначивший идею и оставивший другому её исполнять, разумеется, не меньший грешник, чем его жертва, и сам это сознаёт. Надругаться над «народной святыней», какой является Христос в чувствах и убеждении простого человека,

«разорвать тем со всею землёй, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает!» (21; 38).

Но писатель допускает и иные побуждения:

«...что если и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерно насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе со своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за её трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, — чёрт знает, может быть, из учёного наблюдения? Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время всё возможно предположить), да ещё в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах» (21; 40–41).

В заключение пространного психологического «этюда» Достоевский возвращается к его началу, настаивая на истинности рассказанной истории (21; 41). Писатель настаивает на этом потому, что реальный факт в данном случае важнее для серьёзных размышлений и выводов, чем художественная фикция. Ведь «фантастический рассказ», в истолковании писателя, объективно рисует состояние души (исконное и сиюминутное) русского человека из низших сословий, а «заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее» (21; 41).

В необычной бытовой истории

«являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем <...>. Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в неё как ошалелому вниз головой» (21; 35).

Попав в «круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни», русский человек «готов порвать всё, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога».

«Но зато, — продолжает Достоевский, — с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдёт до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок

восстановления и самоспасения, всегда бывает серьёзнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения» (21; 35).

Это вселяло надежду. Писатель был уверен, что каким бы ни было глубоким падение и омерзительным грех,

«в последний момент вся ложь <...> выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнётся Влас и возьмётся за дело Божие. Во всяком случае спасёт себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасёт, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу», но никак не от лиц высших сословий, этих самонадеянных и близоруких "птенцов гнезда Петрова"» (21; 41).

Спасительная способность к восстановлению, считал Достоевский, прямо связана с тем, что русский человек, как бы он на людях ни куражился и что бы о себе ни заявлял, в глубине души никогда не оправдывает своих дурных чувств и поступков, тем более — преступлений. В этом убеждал его и каторжный опыт:

«Самый крупный безобразник <...> всё-таки слышит каким-то чутьём, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй и только» (21; 36).

И в этом всё дело. Горькое сознание собственной греховности и непрестанная скорбь (обычно до поры до времени подавляемая) двигала, надо думать, и автором славянской вставки, помещённой в начале славянского перевода греческого апокрифа «Хождение апостола Павла по мукам» (в рукописях именуемого также «Видением апостола Павла», «Павловым видением» и т. д.)⁴, широко распространённого на Западе (он упомянут Данте в «Божественной Комедии») и известного у нас с XIV века. Апокриф перепечатывался в русских изданиях с конца 1850-х годов⁵.

В славянской вставке сказано, что всё творение Божие повинуется Богу и только человек, не переставая, множит свои грехи. Избыток этих грехов порождает возмущение природы. Солнце, месяц и звёзды, море и реки, земля зывают к Богу с просьбой, чтобы Он позволил им наказать беззаконников. Отвечая на просьбу, Бог говорит, что видит всё, но ждёт от людей покаяния. Если же они не покаются, то Сам накажет их в Судный день [Памятники, 1862: 132]. Вставка заканчивается призывом к покаянию и исправлению: «Останем, братие, злб наших и на всяк час благодарим Бога» (пока для этого ещё есть время) [там же].

Если учесть, что вставка предваряет рассказ о страшных загробных муках, которые видит апостол Павел, то ясно, что её автор (помимо благочестивого призыва) хотел бы уравновесить будущее наказание с человеческой виной ради мысли о милосердии и справедливости Творца. Однако в славянских рукописях вставка встречается и отдельно, независимо от «Хождения апостола Павла» [Порфирьев, 1890: 108]. В любом случае, в составе апокрифа или вне его, как заметили уже первые публикаторы сказания, она отразилась в народных духовных стихах и песнях. Действительно, в одной из малорусских

⁴ См.: [Порфирьев, 1890: 108]; [Тихонравов, 1898: 204 и след.].

⁵ См., напр.: Православный собеседник, 1859 (август); [Памятники, 1862]; [Тихонравов, 1863]; [Русский архив, 1864].

(карпатских) песен, о которых пишет Н. И. Костомаров, говорится о том, как солнце жалуется Богу на грехи людей, грозит тем, что перестанет светить и проч. Бог отвечает: «Свети, солнышко, так, как светило. Я буду знать, как покарать их на том свете, на Страшном суде» [Костомаров, 1872: 34].

Гораздо чаще, однако, встречается жалоба земли. В одной из своих статей Ф. И. Буслаев цитирует духовный стих о матери сырой земле, «изукрашенной» церквями, но «изнаполненной» беззакониями (нередкое противопоставление в стихах на эту тему), и говорит, что страдания прекрасной земли, обременённой и осквернённой погрязшими во зле людьми, выливаются в плач в поэзии разных народов:

Растужилась, расплакалась матушка сыра земля
Перед Господом Богом:
Тяжёл-то мне, тяжёл, Господи, вольный свет!.. и. т. д.
[Буслаев, 1873: 614].

«Плач земли» опубликован собирателями во многих вариантах. Об этом и других духовных стихах, восходящих к «Павлову видению», из богатого собрания П. В. Киреевского писал И. Я. Порфирьев⁶. «Плач земли» угадывается в словах Мити Карамазова, сокрушающегося о своих грехах и готового покончить с собой, чтобы не отягощать ими землю: «Вот ракита, платок есть, рубашка есть, верёвку сейчас можно свить, помочи в придачу и — не бременить уж более землю, не бесчестить низким своим присутствием!» (14; 142). Убеждение в святости земли и вине людей перед нею звучит также в речах других героев последнего романа Достоевского. И не только в нём, но, в частности, в заключительных сценах «Преступления и наказания», первого романа знаменитого пятикнижия (1866) и последовавших за ним крупных сочинениях:

«Он <Раскольников> вдруг вспомнил слова Сони: “Поди на перекрёсток (туда, где сходятся все части света. — В. В.), поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух: «Я убийца!»”. Он весь задрожал, припомнив это <...>. Всё разом в нём размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень <...>.

— Это он в Иерусалим идёт, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пьяньский из мещан» (6; 405)⁷.

Убеждение в святости земли (как и всего творения Божьего) вызвало к жизни обряд исповеди перед нею (иногда и всем сотворённым миром) в некоторых раскольничьих толках и даже у православных (там, где мало священников или их нет вовсе). Такая исповедь может предшествовать исповеди церковной. С. И. Смирнов пишет: «После прощания с родными старушка, бывшая

раскольница (Владим. губ.), кратко просит прощения у красного солнышка, у светлого месяца, частых звезд, зари утренней, ночей темных, дробного дождичка, ветра буйного и, наконец, с особой обстоятельностью у земли:

Возоплю я к тебе, матушка сыра земля,
Сыра земля, моя кормилушка поилица,
Возоплю грешная, окаянная, паскудная, неразумная,
Что топтали тея походчивы мои ноженьки,
Что бросали тея резвы руценьки,
Что глазели на тея мои зенки,
Что плевали на тея скорлупеньки.
Прости, мать питомная, меня грешную, неурядливу
Ради Спас Христа, честной Матери,
Пресвятой да Богородицы...
[Смирнов: 281].

Предваряя и дополняя церковную исповедь, старушка просит у земли прощение за грехи, о которых не спросит священник [Смирнов: 282].

Судя по народной поэзии и обрядам, слова Господа о том, что Он ждёт от грешников покаяния, как видим, находят отклик. Мысль о покаянии, требующем за многие беззакония соответствующего возмездия с бескомпромиссной, даже устрашающей прямоотой выражена в апокрифических сказаниях об Аврааме. Согласно этим сказаниям, Авраам (а он представляет здесь каждого человека) был восхищен на небо. Оттуда он видит грехи людей и, когда Бог позволил ему согрешивших судить, судит их без всякого снисхождения: одних сжигает огнем, других приказывает земле поглотить и т. д. и т. п. «Авраам судил так строго, что Бог повелел архангелу Михаилу поскорее возвратить его на землю», иначе тот, увидев слишком многих, творящих возмутительные злодеяния, «погубит землю всю». Бог отнимает у Авраама право суда: «Не милует бо никого же, не сотворил бо их есть» ([Петров: 135], [Порфирьев, 1873: 255]). Мнение о том, что Бог милосерднее к грешнику, чем иной грешник к себе, своеобразно передано и в нередко цитируемом афоризме, восходящем к рассуждению Исаака Сирина (VII в.) («Слова подвижнические», Слово № 90): «Не говорите, что Бог справедлив. Потому что если Бог справедлив — я погиб». Имеется в виду, что Бог не только справедлив, но и милосерден⁸. Идея Божьего сострадания и отеческой любви заключена в притче Христа о блудном сыне, многократно отражённой в лубочных картинках⁹.

Надежда на Божие милосердие спасает грешника от отчаяния и заставляет искать искупления, чтобы, страданием очистив душу, примириться с собой, людьми и миром, а затем начать новую жизнь. Так происходит с Митей Карамазовым. Не будучи виновным в смерти отца, но сознавая на себе грех возможности такого злодеяния, он говорит своим «истязателям» в конце предварительного следствия:

⁸ «Слова подвижнические» упомянуты в «Братьях Карамазовых» (14; 89 и 15; 61). Одно из изданий книги имелось в библиотеке Достоевского. См.: Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции. Научное описание. СПб.: Наука. 2005. С. 122–123.

⁹ См.: [Ровинский]. Картинки на ту же тему с немецкими стихами под каждой из них украшали в повести Пушкина «обитель» станционного смотрителя [Пушкин: 99].

⁶ См.: [Порфирьев, 1869], стихи XX–XXIV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXVIII, XXXIX.

⁷ О теме земли у автора пятикнижия см.: [Плетнёв, 2007], [Зандер, 1960: 20, 31 и след.].

«Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех — пусть уж так будет решено теперь — из всех я самый подлый гад! Пусть! <...> Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадав хочу и страданием очишусь!» (14; 458).

Восклицания Мити и чувства, которые он испытывает, по мысли Достоевского, естественны русскому человеку, ведь именно этот герой (в отличие от его братьев), по словам прокурора уже на суде, «как бы изображает собою Россию непосредственную» (15; 128). Своим простодушием, открытостью и прямоотой, слишком частым «забвением всякой мерки» он ближе всех стоит к народу. Отсюда понимание и снисходительность, с которыми кучер Андрей относится к Мите (14; 372).

Народ — главный предмет тревожных размышлений Достоевского в поздние годы его жизни. Тревогу, собственно, вызывал не столько сам народ (хотя и он тоже), сколько его предводители — ориентированная на Запад либеральная интеллигенция, подозрительно и с неодобрением глядящая на традиционные народные начала и любые их проявления. Готовя первый номер «Дневника писателя» за 1881 г., оказавшийся ввиду смерти автора и последним, Достоевский в черновых набросках заметил:

«Идеал красоты человеческой — русский народ. Непременно выставить эту красоту, аристократический тип и проч. Чувствуешь равенство невольно: немного спустя почувствуете, что он выше вас» (27; 59).

Понятие «аристократический тип» по отношению к крестьянину указывает на авторскую характеристику «истинного крестьянина», Ивана Ермолаевича, в одном из очерков Г. И. Успенского из цикла «Крестьянин и крестьянский труд» (1880). Связанный с землёй от рождения и до смерти, этот герой признаёт над собой лишь «власть земли»¹⁰ и глубоко презирает поклонение новому кумиру — деньгам, чья развращающая сила ненавистна «аристократически-крестьянской» душе Ивана Ермолаевича [Успенский, 1950: 10].

Соглашаясь с самим понятием, характеризующим крестьянина («аристократический тип»), Достоевский собирался, по-видимому, наполнить его иным содержанием, несущим, скорее всего, полемический смысл¹¹. Ведь, по мнению Г. И. Успенского, прямо высказанному в очерке «Власть земли» из одноимённого цикла, тайна характера русского крестьянина (как и всё его существование, в чём бы оно ни проявлялось) целиком и полностью определена землёй и «заключается в том, что огромнейшая

¹⁰ «Власть земли» — название следующего цикла крестьянских очерков Г. И. Успенского, 1881–1882.

¹¹ Полемика могла быть вызвана непоследовательной и неоднозначной реакцией Г. И. Успенского на речь Достоевского о Пушкине в связи с открытием памятника поэту в Москве (8 июня 1880 г.). Речь была напечатана в специальном выпуске «Дневника писателя» 12 августа 1880 г.

В. А. Туниманов пишет: «Достоевский даже не заметил (или, может быть, постарался не заметить) непосредственно его касавшегося очерка (Г. И. Успенского. — В. В.) «Пушкинский праздник» [Туниманов: 31]. Думается, заметил: слова об «аристократическом типе» это подтверждают.

масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душой, мужественно сильна и детски кротка <...>, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* послушания её *повелений*, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют всё его существование» [Успенский, 1949: 25]. Но, по убеждению Достоевского (как ясно из его публицистических работ), духовная сторона народной жизни — т. е. мирозерцание народа, представления о красоте, добре и зле, общие чаяния и идеалы — гораздо тоньше, сложнее, многообразнее, чем это кажется интеллигентному (пусть даже сочувствующему) наблюдателю крестьянского быта. Она не сводится к ответам на запросы «земледельческого календаря» и одной-двум идеям, которые Успенский усмотрел в бытине о Святогоре и Микуле Селяниновиче с его сумочкой, таящей в себе тягу матери сырой земли [Успенский, 1949: 26–27]¹². При всём уважении к народу автор крестьянских очерков невольно и бессознательно всё-таки возвышался над ним, тогда как в глазах Достоевского превосходство народа безусловно. В одной из глав «Дневника писателя» за 1876 г., предваряющей рассказ «Мужик Марей», он не без иронии по поводу возможного оппонента заявил:

«Что лучше — мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?» — вот что теперь все говорят <...>. А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать её за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи» (22; 44–45).

В дальнейшем Достоевский только укреплялся в этом мнении, не желая уступать и признавать обоснованность притязаний интеллигентного меньшинства на ведущую и непременно будто бы благую роль в народных судьбах. В «Дневнике писателя» за 1877 г. по поводу гибели унтер-офицера Фомы Данилова, попавшего в плен к кипчакам и замученного ими за отказ изменить своей вере и принять ислам, Достоевский писал:

«...народ наш считают до сих пор хоть и добродушным и даже очень умственно способным, но всё же тёмной стихийной массой, без сознания, преданной поголовно порокам и предрассудкам, и почти сплошь безобразником. Но <...> я осмелюсь высказать одну даже, так сказать, аксиому, а именно: чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своём может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придёт тому срок» (25; 14).

Всё дурное, что искажает исконное благородство русского человека, Достоевский считал следствием внешних воздействий, чужого вмешательства в естественный ход вещей:

¹² Полемике с Г. И. Успенским по поводу бытины см.: [Пропп, 1955: 78]. Об этой бытине у Достоевского см.: [Ветловская, 2018: 275–280].

«В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что ещё удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа» (22; 43).

Эти и подобные им суждения писатель не уставал повторять в публицистических статьях и не только в них.

Как бы то ни было, но и право, и способность народа самостоятельно решать свою судьбу Достоевский никогда не ставил под сомнение. Для этого у народа вполне достаточно духовных сил и духовного богатства — направляющих, руководящих идей и святых идеалов. «Вглядитесь и увидите, — разъяснял он, — что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом» (22; 41). И хотя приверженцев таких благ немало и, к сожалению, становится больше и больше, но ни теперь, ни в будущем, надеялся писатель, они не смогут снискать среди русских общего признания. Что же касается народных идеалов, то они «сильны и святы, <...> они срослись с душой» народа, наградив его великодушием и «широким всеоткрытым умом...» (22; 43). Они же лежат в основе замечательных произведений русской литературы, начиная с Пушкина. И, отражая представление народа о наилучшем, прекрасном и правильном, указывают ему путь в будущее. В одной из полемических заметок («Дневник писателя» за 1876 г., март) Достоевский писал:

«...без идеалов, то есть без определённых хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. <...> при ясно сознаваемом желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего) можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими» (22; 75).

Разумеется, чтобы передаваться из поколения в поколение, не теряя притягательной силы, близкие народной душе идеи и идеалы должны были обладать непреходящим смыслом. Такой смысл писатель видел в религии, у русского народа — в православии: «...в сущности, все народные начала у нас сплошь вышли из православия» (22; 114). И в первую очередь — нравственные нормы и почитаемые всеми образцы¹³. Именно в религии народ находит

«идеалы и начертание. Не зная догматов, он <...> знает (в большинстве) святых своих жития (я не розню от народа 12 миллионов раскольников). Там, где кончается религия, начинаются лишь мечтанья» (24; 191), т. е. фантазии, ни на чём прочном не основанные и ни для кого не обязательные.

Говоря о незнании догматов, Достоевский возражал тем, кто в этом аргументе видел доказательство невежества русского народа в отношении собственной религии, да и всякой религиозности вообще:

¹³ Ср.: «Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности» (24; 168).

«...в том-то и дело, что эти люди (из поклоняющейся Западу русской интеллигенции, «потерявшейся на обожании» европейских форм (22; 107). — В. В.) ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда и в народе нашем» (22; 113). Между тем «идеал народа — Христос» (26; 152).

За многие века своей исторической жизни русский народ усвоил

«суть христианства, <...> дух и правду его», которые «сохранились и укрепились в нём так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего, несмотря даже на пороки его» (25; 69).

Для постижения христианских истин ему не нужно было изучать догматику и вникать в подробности церковной службы; довольно было песнопений и молитв, которые он слышал в храме, довольно было и одной молитвы, которую Великим постом читает священник: «Господи и Владыко живота моего...» (кстати сказать, особо отмеченной и переложенной Пушкиным в стихотворении «Отцы пустынноики и жены непорочны...», 1836). В этой молитве, утверждает Достоевский,

«вся суть христианства, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть <...>. Главная же школа христианства, которую прошёл он, это — века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, погранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки», а вместе «с Христом, уж конечно, принял и истинное просвещение» (26; 150–151).

Оно складывается в некую систему взглядов, объединяющую народ одной иерархией ценностей и отделяющую его от других народов с другим строем нравственных понятий, которым сочувствуют или которые отвергают. Это просвещение в русском народе строится на убеждении, признаваемом умом и чувством, что высшей ценностью и одновременно — единственно прочным фундаментом общего блага является самоотверженная любовь — в соответствии с учением Христа, говорившего своим ученикам накануне крестного страдания и смерти: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас; нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам...»; «Сие заповедую вам, да любите друг друга» (Ин. 15: 12–14, 17). Заповедь бескорыстной любви, заключённую в словах Христа и подтверждённую Его крестной смертью, как самую важную из Его наставлений и воспринял всем сердцем православный народ. Именно поэтому, несмотря на пороки и отступления, ему в высшей степени присущи «обогащение любви, кротости и смирения», готовность жертвовать собой и служить людям без меры и оглядки, до полного самозабвения (24; 192). Из жертвенного подвига и добровольного служения другим и выйдет, наконец, как надеялся Достоевский, не в фантазиях только, а уже на деле «свобода, равенство и братство для всех» (24; 192). Причём начинать надо с конца, с братства, а не так, как в лозунгах Великой французской революции (Свобода, равенство, братство, иногда — общее счастье!), поскольку истинное братство не потерпит неравенства и даст истинную свободу никому не в ущерб,

напротив, — во благо всем и каждому. «Были бы братья, — часто повторял Достоевский, — будет и братство» (26; 167 и др.)¹⁴.

Свои заключения о народе и его убеждениях Достоевский выводил не из умозрительных построений, а из личного знакомства с народной средой и из произведений народного творчества. Писатель видел, что далеко не всё здесь однозначно и привлекательно, что некоторые упреки представителей образованного общества, по-видимому, не лишены оснований. Полемизируя с либералом А. Д. Градовским, он писал:

«Да, народ наш груб, хотя и далеко не весь <...> в этом я клянусь уже как свидетель, потому что я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам к “злодеям был причтён”, работал с ним настоящей мозольной работой, в то время когда другие <...>, либеральничая и подхихкивая над народом, решали на лекциях и в отделении журнальных фельетонов, что народ наш “образа звериного и печати его”» (26; 152).

И хотя этот образ сказывался иногда в какой-нибудь народной песне или припеве её, вроде «Сын на матери ехал, молода жена на пристяжечке», но эта грубость исторически объяснима и свойственна не только русским: «Боже мой, а на Западе, где хотите и в каком угодно народе <...> не такое же разве зверство, и при этом ожесточение (чего нет в нашем народе)...». И даже хуже, ибо многое там уже не считается грехом, а «стало считаться правдой», с чем «в своём целом» никогда не согласится русский народ, всегда называющий грех грехом без всякой для себя поправки (26; 152). Именно поэтому, признавался писатель, не от кого-нибудь, а от народа, причём в самом мрачном и «зверином», казалось бы, его виде (на каторге), он «и принял вновь» в свою душу «Христа, которого узнал <...> ещё ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в “европейского либерала”» (26; 152).

Отражая подобные нападки на народ, Ф. И. Буслаев, с работами которого Достоевский был знаком¹⁵, привёл ещё один довод, обвиняющий в темноте и невежестве отнюдь не народ, а, напротив, его образованных критиков:

¹⁴ Ср.: «Я говорю <...> о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю “в рабском виде исходил благословляя” Христос (цитата из Ф. И. Тютчева. — В. В.)» (26; 148). А Он призывал к любви. «Почему же нам не вместить последнего слова Его?» (26; 172). И ещё: «Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что её нет в народе русском» (26; 131).

¹⁵ В записной книжке Достоевского 1860–1862 гг. сохранилась заметка: «Чернышевскому. — А ведь перед г-осподином-то Буслаевым вы были неправы» (20; 158). Достоевский, по-видимому, собирался возразить Н. Г. Чернышевскому, который вслед за А. Н. Пыпиным в уничижительной манере (статья «Полемические красоты. Коллекция вторая») выступил против крупнейшего учёного и его оценки русского фольклора и древнерусской литературы (20; 355, коммент.). Чернышевскому с его единомышленниками из лагеря «Современника» импонировали «революционные» элементы народного творчества, но не его религиозность. Poleмика с Чернышевским не состоялась, возможно, из-за ареста Чернышевского и временного закрытия журнала (1862).

«Безусловно осуждать народные вымыслы в грубости и нелепости очень легко с высоты наших мнимых просвещённых взглядов и с точки зрения чопорных условий приличий. Для такого бездоказательного осуждения нужно только как можно меньше знать убеждения и верования простого народа и древнерусскую литературу. Оттого-то мнимопросвещённое невежество так и падко на осуждения, оскорбительные для русской народности. Но когда будет указано, что эти народные вымыслы коренятся на многовековых преданиях русской жизни и что в них выражается не только влияние нашей древней письменности, но и сама духовная жизнь народа, со всеми её светлыми и тёмными сторонами; тогда эти вымыслы должны будут обратить на себя более серьёзное внимание всякого благомыслящего человека» [Буслаев, 1861: 453].

Для Достоевского светлые стороны были сутью духовной народной жизни, поскольку заключали в себе идеи и идеалы, влекущие в будущее, тогда как тёмные стороны — маргинальная, периферийная часть широкой и пёстрой низовой культуры, не отражающая ни главных черт характера народа, ни основ его миропонимания. Эти основы, по мнению писателя, хотя и удерживали в себе элементы языческой предыстории, но формировались по преимуществу под сильнейшим воздействием христианства¹⁶. В восприятии Достоевского, как и Буслаева (и не только их), народная культура во всех её, иногда противоречивых, составляющих представляет собой сложное целое, в котором народная поэзия и древнерусская литература (каноническая и апокрифическая) выступают в органичном единстве. М. К. Азадовский писал о том, что, будучи создателем университетской науки о фольклоре, Буслаев всё-таки

«ещё не выделяет проблем фольклора в самостоятельную область изучения: народная поэзия изучается им в неразделимом единении с языком и со всей древнерусской литературой и даже древнерусским искусством. Всё это для него проявления народности, которую он понимает <...> как “старину”, употребляя иногда эти термины как синонимические и сходясь в этом отношении со <...> славянофилами» [Азадовский: 27–28].

Однако то, что Азадовскому представлялось недостатком, в действительности было достоинством. Буслаев учитывал особенности изучаемого материала. Ведь фольклорные произведения, сочинения древнерусской литературы, иконописные сюжеты одновременно и более или менее мирно уживались в сознании народа и питали его мысль и воображение. Исследователь народного творчества не может с этим не считаться. Поэтому В. Я. Пропп, задумав статью о змеборстве св. Георгия [Пропп, 1973], писал своему другу В. С. Шабунину (22 июля 1969 г.):

«Я начал работу, о которой расскажу тебе лично. Она охватывает иконопись, жития и духовные стихи на один и тот же сюжет. Я очень увлечён». И далее ему же (5 августа 1969 г.): «Я исследую сюжет змеборства в духовных стихах и иконах <...>. Работа будет небольшая. Про себя я должен знать весь материал, а в работе можно сослаться на отдельные типичные образцы»¹⁷.

¹⁶ М. Д. Никифоровский писал: «Наше славяно-русское язычество не успело ещё достигнуть последней степени развития, как застигнуто было христианской религией. Оно остановилось на переходной ступени от непосредственного поклонения природе и её силам к поклонению божествам более или менее личным» [Никифоровский: 11–12].

¹⁷ Неизвестный В. Я. Пропп. Древо жизни. Дневник старости. Переписка. СПб.: Алетейя. 2002. С. 271, 273.

Иван Карамазов в «литературном предисловии» к своей поэме «Великий инквизитор», говоря о средневековых произведениях, в один ряд с которыми он ставит свою поэму, называет сочинения и разных народов, и разных жанров — «Божественную Комедию» Данте, во Франции представления «судейских клерков» и монахов по монастырям, даровые зрелища на городских площадях.

«У нас в Москве, — продолжает он, — в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и “стихов” (т. е. духовных стихов. — В. В.), в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм <...>. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): “Хождение Богородицы по мукам”, с картинками и со смелостью не ниже дантовских» (14; 225).

«Поэмка», далее пересказанная Иваном, — знаменитый апокриф греческого происхождения, получивший особое признание в славянских странах и на Руси (ранний список XII в.) и многими мотивами отозвавшийся в духовных стихах¹⁸.

Совершенно очевидно, что некоторые фольклорные произведения (и в частности духовные стихи) невозможно изучать без обращения к их литературным источникам, как бывает невозможно, с другой стороны, изучать литературные произведения (те же апокрифы) без обращения к фольклору. Но апокрифы со времени их многочисленных публикаций в середине XIX в. всегда вызывали заметный интерес. Может быть, потому, что они, как казалось, принадлежали перу, так сказать, средневековых диссидентов, «исправлявших» церковное учение сообразно с собственным вкусом и понятиями. По словам М. Д. Никифоровского, апокрифы обнаруживают «самостоятельное, активное отношение народа к христианской религии...» [Никифоровский: 122]. Однако ситуация сложнее. Дело в том, что Библия в полном составе не была распространена на Руси по крайней мере до XVI в. Вместо Библии авторитетом пользовалась Палея — группа древнеболгарских и древнерусских памятников, обычно переведённых с греческого оригинала. В них пересказывался Ветхий Завет и события всемирной истории, иногда с толкованиями. Палея вместе с каноническими включала и апокрифические тексты. Большая часть апокрифов, опубликованных Н. С. Тихонравовым и А. Н. Пыпиным, взяты из разных списков Палеи [Порфирьев, 1873: 134]. Все они, как и тексты Библии, считались священными: «Хранилище апокрифических сказаний <...> — “Палея” — всегда считалась книгой истинной и отождествлялась с Священным писанием» [Тихонравов, 1898: 152–153, 156]. Отношение народа

¹⁸ См.: [Тихонравов, 1898: 204–206]. Учёный ошибался, полагая, что на Западе этот апокриф вообще не был известен. Но, правда, несопоставимо большее распространение там получило «Хождение апостола Павла по мукам», у которого с «Хождением Богородицы...» много общего, особенно в изображении адских мук (там же, с. 207). Высокая характеристика апокрифа, данная Иваном (с которой, как ясно, согласен Достоевский), противопоставлена сдержанному мнению Ф. И. Буслаева на этот счёт [Буслаев, 1861: 496].

к таким сказаниям было соответственным. Они естественно ложились в основу духовных стихов.

Духовным стихам (произведениям на темы из Ветхого и Нового Заветов, житий святых, церковных песнопений, легенд и апокрифических рассказов) не повезло. Долгие годы

«исследовательской работы были посвящены исключительно выяснению сюжетного материала стихов и их книжных источников. Религиозное содержание их, как, впрочем, и чисто художественный анализ — оставались вне поля зрения русской историко-литературной школы» [Федотов: 16–17].

И это несмотря на постоянный спрос и оборот стихов в народной среде (у старообрядцев и раскольников, на Русском Севере и в Сибири, судя по новейшим записям, они курсируют до сих пор) и часто их яркое художественное достоинство¹⁹. Буслаев писал:

«Духовный стих, или старческая песня, и сказка — две главнейшие формы, в которых наша народная поэзия нашла себе дальнейшее развитие. Обе эти формы по изложению и тону, бесспорно, носят на себе характер эпический <...>, широко, в общих очерках, представляющий жизнь и природу, без всякого ограничения общенародных понятий и убеждений со стороны личных воззрений или ощущений отдельного певца или сочинителя» [Буслаев, 1861: 597].

Содержание духовных стихов, по мнению учёного, вполне выражает христианское мировоззрение, в отличие от западных произведений такого рода, «в которых к чисто христианскому элементу нечувствительно присоединялась греко-римская, древнеклассическая закуска...» [Буслаев, 1861: 601]. Эта «закуска» даёт о себе знать и в их внешней форме. Так, не в одной «Италии, но и в прочих европейских странах в Средние века поэтический образ Мадонны украсился, в воображении поэтов-художников, не только сиянием благочестия и святости, но и красоты» (имеется в виду красота исключительно внешней, никак не связанной с благочестием и святостью) [Буслаев, 1861: 601]. Высказывания авторитетного учёного укрепляли Достоевского в его суждениях о том же предмете. Но исследователи более позднего времени не могли без серьёзных оговорок с Буслаевым согласиться.

Описывая духовные стихи в ряду других жанров эпической народной поэзии, В. Я. Пропп объяснял:

«В этих стихах народ выразил некоторые свои религиозные представления. Может быть, по этой причине советская наука мало интересовалась этими произведениями. Между тем мировоззрение, выраженное в них, не всегда совпадает с церковно-религиозным мировоззрением, а иногда и противоположно ему <...>. Они отличаются значительными художественными красотами. В то время как памятники архитектуры и религиозной живописи Древней Руси давно признаны как памятники великого искусства, хранятся в музеях, изучаются, реставрируются и издаются в репродукциях, соответствующие им произведения словесного искусства до сих пор оставались вне поля зрения наших учёных. Мы не можем пока заполнить этот пробел...» [Пропп, 1976: 57].

¹⁹ Согласно Г. П. Федотову, «по сравнению с былинным эпосом, духовный стих проявляет гораздо большую жизненность и “бытует” не только в северной глуши, но почти на всём протяжении русской земли» [Федотов: 14].

Лишь отчасти (и не бесспорно) этот пробел был заполнен небольшой монографией Г. П. Федотова 1935 г., не утратившей, однако, своего значения и поныне, и немногими работами, которые за ней последовали²⁰.

Если изучение духовных стихов со стороны их религиозного содержания не слишком далеко подвинулось вперед, то со стороны их формы оно подвинулось ещё меньше. А между тем только через осмысление формы (связи и функционального назначения её элементов) и можно вникнуть в реальный смысл чего бы то ни было. Таким путём (если судить о фольклорных отражениях в его творчестве) шёл Достоевский, поскольку для него, проницательного читателя, гениального мастера слова, этот путь был самым естественным и верным.

Остановимся на немногих сюжетах, которые для писателя имели характер фактического доказательства, подтверждающего справедливость его слов о «святых» для народа идеалах.

Духовный стих «О Лазаре» (или «О богатом и Лазаре», или «О двух Лазарях» и т. д.) всегда был особенно популярен (см.: [Порфирьев, 1869: 50]). Он восходит к одной из притч, рассказанной Христом (Лк. 16: 19–31) и рекомендованной в «Братьях Карамазовых» старцем Зосимой (среди других благочестивых рассказов) для чтения неграмотному простонародью (14; 267). Герои притчи — богатый (его имя не названо), ведущий праздную жизнь и изо дня в день пирующий в роскошных одеждах, и нищий, недужный Лазарь, лежащий у ворот его палат и мечтающий напиться падающими крохами праздничного застолья. Лазаря никто не замечает, кроме псов, которые, подбегая к нему, лижут его раны (это значит, что Лазарь едва прикрыт, его одежды — жалкие лохмотья). Когда умер нищий, он был отнесён ангелами на лоно Авраама (в рай). Когда умер богатый, он оказался в аду. Оттуда он видит Лазаря и, мучаясь в адском пламени, просит Авраама послать к нему Лазаря, чтобы тот каплей воды мог прохладить его язык и облегчить его муку. Авраам объясняет: «Чад! вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Кроме того, между раем и адом великая пропасть, которую ни с той, ни с другой стороны нельзя перейти. То, что богатый не вовсе окован от эгоизма, не ведая сострадания и добрых чувств, доказывает продолжение. Услышав ответ Авраама, он сказал: «...так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Но Авраам отказывает ему и в этом, напомнив о Моисее (т. е. заповедях) и пророках, которых братья должны слушать, чтобы получать наставления для праведной жизни на этом свете и утешения на том, а если братья им не верят, то они и Лазарю, воскресшему из мёртвых и вразумляющему их, не поверят.

²⁰ О монографии Г. П. Федотова и других работах см. комментарий А. Л. Топоркова ко второму изданию книги [Федотов: 156–157] и в сборнике: Купина Неопалимая. Русские духовные стихи. М., 1991. См. также послесловие С. Е. Никитиной к книге [Федотов: 137–153]. Автор послесловия напоминает также о двух капитальных работах, предшествовавших исследованию Федотова, — А. В. Рыстенко о св. Георгии и драконе (1909) и В. П. Адриановой-Перетц о св. Алексее человеке Божиим в житиях и народной словесности (1917). Важно отметить, что статья С. Е. Никитиной включает сдержанную, но убедительную полемику с некоторыми положениями книги Г. П. Федотова.

Духовный стих о Лазаре, отразившийся несколькими характерными мотивами в «Братьях Карамазовых» (см.: 14; 23 и 15; 30, а также: 15; 525, 589, коммент.), варьирует темы евангельской притчи. В притче главный персонаж — богатый, в стихе — нищий. Но ни там, ни тут нет того, о чём пишет Г. П. Федотов, — «прославления нищенства»²¹. И в притче, и в стихе речь идёт не о богатом и убогом самих по себе, а об отношениях между ними. В притче богатый не видит в Лазаре брата, хотя, обращаясь к Аврааму, он называет его отцом, который является отцом не только богатой, но, конечно, и нищей братии. Так же, как Господь Бог — общий Отец их всех, включая Авраама. Богатый относится к Лазарю не как к ровне, а как к слуге или рабу на посылах даже тогда, когда сам крайне унижен, а Лазарь Господом вознесён. Если бы богатый мог увидеть в Лазаре брата, то (ср. его отношение к родным братьям, о которых он заботится и в адской муке) Лазарь не был бы нищим. Вывод из ситуации, изображённой в притче, один: Лазарь — чужой, и только потому он нищий.

Духовный стих подхватывает главную тему евангельской притчи — тему равенства и родства. Она часто встречается и в других духовных стихах, а также в других фольклорных жанрах — в сказке, легенде и т. д. Но в стихе о Лазаре она выражена наиболее концентрированно и остро.

В стихе нищий и богатый (в отличие от притчи) — родные братья (как правило, у них одно имя — Лазарь). В ответ на кроткую просьбу нищего накормить и напоить его богатый кричит:

Ах ты смердин, смердин, смердящий ты сын,
Да как же ты смеешь к окну подходить?
Да как же ты смеешь братом называть?
У меня брата Лазаря в роду не было...
Есть у меня братия получше тебя:
У кого много золота, больше серебра,
Те — и моя братия возлюбленная.

На это убогий напоминает богатому:

Напрасно, мой братец, отперся меня,
Напрасно, родимый, от рода своего;
Одна нас с тобою матушка на свет родила,
Один-то нас батюшко вспоил, воскормил,
Неравною долею Господь наделил:
Тебя наделил всё богатством,
Меня наделил всё убожеством.
Спихватишься, братец, да не во время,
Вспокаешься, родимый, — возврату не быть
[Якушкин: 45].

²¹ Ср.: «Бродячие певцы, живущие подаянием, принадлежат к классу убогой, нищенствующей Руси <...>. Высокая оценка нищенства и бедности, конечно, является общенародным и даже общехристианским достоянием, но особое ударение, особо любовная трактовка этой темы в стихах объясняется, может быть, социальным происхождением сказителей. Два самых излюбленных стиха служат прославлению нищенства: стих о Лазаре и о Вознесении» [Федотов: 15]. Нет «прославления нищенства» и в стихе о Вознесении. См., например, вариант, приведённый в книге самого Г. П. Федотова (там же, с. 130–131).

Но богача это предупреждение (впоследствии сбывающееся) не трогает. Его братья — такие же, как он, богачи и (в некоторых вариантах) «купцы да бояре» или «князья да бояра, да торговые люди», тогда как у нищего в братьях — только подстольные псы:

У меня ли братьев таких (как убогий. — В. В.) в роду нет,
А твои братья — подстольные псы...
[Варенцов: 67, 71, 73].

Иногда эти псы, более сострадательные, чем их хозяин богач, кормят убогого Лазаря, лечат его раны. В одном из вариантов стиха, напечатанного Г. П. Федотовым, ответ богатого брата на просьбу нищего ещё более жестокий: он его

Толкает, пинает, с крыльца провожает,
С крыльца провожает, кобелей натравляет:
Усть-е, возмите, борзы кобелье!
Пусть его лютые псы разорвут,
По чистому полю мощи (кости. — В. В.) разнесут
[Федотов: 80].

Нищий Лазарь, таким способом обласканный родным братом, доведён до полного отчаяния. Из глубины безысходной скорби он обращается к Богу:

Как я жил убогий на вольном свету,
То-то моя душенька намучилась;
И голода, холода всего приняла:
Всякой она скверности навиделась,
Создай мне, Владыко, горче того!
[Якушкин: 46].

В качестве естественного завершения мученической жизни нищий просит у Бога последней милости — самой горькой смерти, чтобы Господь послал ему грозных, безжалостных ангелов и чтобы они вынули его «душеньку сквозь рёбер <...> Железными крючьями» и т. д.

Но Бог, забирая убогого Лазаря к себе в рай, посылает ему тихих ангелов, которые вынимают его душу «и хвально, и честно (т. е. с честью. — В. В.) В сахарные уста». Горькая смерть (такая, какую просил себе нищий Лазарь) постигает его брата, богатого Лазаря, и именно тогда, когда тот, с избытком обеспеченный и благополучный, просит у Бога долгой жизни:

Послал ему Господи грозных ангелов, —
Грозных, немилостивых;
Вынули душеньку сквозь рёбра его
Железными крючьями;
Понесли душеньку во ад к сатане,
Положили душеньку на огненный костёр²².

Только в аду богатый Лазарь раскаялся. Но поздно.

Суровое наказание, которое Господь определил богачу, тот заслужил за жестокосердие по отношению к нищему брату. И заметим: если в евангельской притче Лазарь чужой, и только потому он нищий, то в духовном стихе, напротив: он нищий, и только потому — чужой. В нищете, как показывает стих, не спасает никакая степень родства. Нищета страшнее греха, страшнее преступления. Богатый Лазарь поступает с нищим не как родня и ровня, а как враг. Ведь он не только не помогает обездоленному брату в этой жизни, но отнимает у него и будущую, ибо отчаяние бедняка и его обращение к Богу — свидетельство полного неверия в милосердие и справедливость Творца. Убедившись в том, что у него нет брата, бедняк решил, что у него не может быть и страдающего Отца. Ведь такая степень безнадёжности, неверия и предпочтения адских мук земной жизни равносильны отречению, а следовательно, — безвозвратной гибели души. Финал, уготованный нищему Лазарю богатым братом, мог придумать если не сам дьявол, то, уж конечно, один из больших его приятелей. Ибо сказано: «...не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10: 28; Лк. 12: 4–5).

И ещё деталь, наделённая важным смыслом. У богатого Лазаря и убогого Лазаря одно имя. Между родными братьями нет решительно никакой разницы, кроме убожества и богатства. Но если убожество прилипчиво и часто бывает неизбывным, то богатство неверно. В любой момент волею Бога оно способно исчезнуть (как это происходит в некоторых вариантах стиха о Лазарях). Во всяком случае, раньше или позже, смерть лишает человека всех земных благ, и богач уходит из этого мира в другой таким же нищим, как и последний бедняк. Это означает только то, что между двумя Лазарями духовного стиха не просто сходство, не просто близость родства и братства, а в каком-то смысле полное тождество. Иначе говоря, для богатого Лазаря убогий Лазарь, в сущности, не кто иной, как он сам. Поэтому, будучи злейшим врагом своему брату, богатый оказывается злейшим врагом самому себе. Отсюда его страшная смерть и суровое наказание (каких просил себе его брат, нищий Лазарь). Но эту смерть и наказание богатый выбирает сам. Свободу, дарованную ему (как и любому человеку) Богом, богатый использует другому и себе во вред. В конце концов, несчастны оба — один Лазарь в этой, другой в иной жизни. А могли бы быть оба счастливы, если бы богач увидел в нищем равного себе человека, родню и брата, каким тот и был на самом деле.

Необходимость правильно направленной свободной воли, истинного братства и равенства для общего счастья как одобренного, даже предписанного Богом (следовательно, «святого») идеала в этом духовном стихе, как часто в произведениях народного творчества, доказывается от противного. Герои стиха (и притчи): с одной стороны, богач (владеющий чрезмерным достатком и возможностями), а с другой стороны, — нищий (настолько бедный, что даже ломотья его не прикрывают), знаменуют крайности, между которыми умещаются все. Это значит, что социальная тема, тема социального неравенства (и общего счастья в этом веке и в будущем) в духовном стихе и его источнике наделены самым широким, исчерпывающим смыслом. Этот смысл и сообщил, конечно, популярность духовному стиху, актуальному до тех пор, пока существует обозначенная в нём проблема. В этом отношении героическая былина может ему уступать.

²² [Варенцов: 71–72], [Бессонов, 1861: 77–80, 84–87], сводный вариант № 27.

Из главных персонажей русского богатырского эпоса Достоевский называет только Илью Муромца. Об этом герое В. Я. Пропп писал:

«Основная черта Ильи — беззаветная, не знающая пределов любовь к родине <...>. У него нет никакой “личной” жизни» вне того поприща, которое он избрал. Он «смел и удал», как «его младшие собратья, Добрыня и Алеша», но его отличает ещё «опытность и зрелость». Он обладает «могучей духовной и физической силой». Врагам он страшен, но «когда дело идёт не о врагах, он всегда великодушен и добр. Он честен до мелочей и прям». Всё это делает его «наиболее любимым героем народа, который <...> в лице трёх героев во главе с Ильёй изобразил и отразил самого себя» [Пропп, 1955: 215].

Для Достоевского Илья — и представитель народа, воплотивший наиболее привлекательные его черты, и один из народных идеалов, не исключаящих, разумеется, их христианских корней: «Идеал его <народа>, тип великоруса — Илья Муромец» (24; 309). По поводу народного движения в пользу балканских славян, восставших против иноземного ига, и горячего сочувствия народа угнетённым единоверцам (1876 г.) Достоевский опять-таки вспоминал Илью Муромца и разъяснял: это движение

«почти беспримерное <...> по своему самоотвержению и бескорыстию, по благоговейной религиозной жажде *пострадать за правое дело*». Русский народ, по убеждению писателя, в данном случае, как и всегда, — «любитель жертв и ищущий правды и знающий, где она, народ кроткий, но сильный, честный и чистый сердцем», именно такой, «как один из высоких идеалов его — богатырь Илья Муромец, чтимый им за святого» (23; 150).

И позднее (1877 г.) в той же связи:

«...народ наш любит <...> смиренного и юродивого: во всех преданиях и сказаниях своих он сохраняет веру, что слабый и принижённый, несправедливо и напрасно Христа ради терпящий будет вознесён превыше знатных и сильных...». Поэтому, в частности, «народ наш любит <...> рассказывать <...> житие своего великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого» и т. д. (25; 69)²³.

Те же свойства Ильи Достоевский видит и в народном эпосе. Везде, где писатель упоминает богатыря, он говорит о нём с восхищением. Но из былин, в которых действует герой, он выделяет одну — «Илья Муромец и Идолище». Эта былина относится к числу «самых популярных <...>, связанных с именем главного героя русского эпоса — Ильи Муромца» [Пропп, 1955: 216]. Она сложна по происхождению и составу, разнообразна по мотивам и их разработке, но известна во всех районах бытования былин и записана во многих вариантах. Как показывает учёный, эти варианты сводятся к двум версиям сюжета. Одна, исконная, представляет собой героическую былинку; другая, развившаяся на основе первой, — скорее духовный стих, чем былина, сочинённый в среде паломников, «перехожих калик». По мнению В. Я. Проппа, вторая версия, выражая церковные симпатии и интересы, во всех отношениях уступает первой [Пропп, 1955: 219, 223–227].

²³ Смирение, о котором говорит Достоевский, не означает готовности отступить; оно означает лишь отсутствие самолюбования, похвальбы, гордыни. Подчёркивание христианского элемента в характеристике Ильи и некоторые другие детали сближают трактовку Достоевского с трактовкой: [Аксаков: 134 и др.].

Однако вторая версия показалась весьма примечательной Достоевскому. Он увидел в ней идеи, которые, будучи высказанными в художественной (т. е. прикровенной) форме, не сразу бросаются в глаза. Если иметь в виду обычные приёмы работы писателя с такого рода материалом, он знал былинку (и вторую её версию) в разных вариантах. Один из таких вариантов напечатан в издании, указанном среди книг библиотеки Достоевского²⁴. Писатель собирался использовать былинку в очередном выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. для разъяснения своей мысли, одобряющей участие русских добровольцев в той же освободительной войне на Балканах.

В записной тетради 1875–1876 гг. среди разнородных заметок читаем: «Война иногда лучше *мира*: вернуть встречу Ильи со каликою Иванищем» (24; 157); ранее: «О калике Иванище» (22; 163), «Если хотите, Иванище» (22; 163) и т. д. Рабочая тетрадь 1875–1876 гг. и подготовительные материалы к «Дневнику писателя» 1876 г. пестрят повторяющимися именами Ильи и Иванища. Судя по такому повтору, столько же многочисленному, сколько и содержательно скупому, и той логике, которую можно за ним разглядеть, былина, где появляются эти герои, должна была бы называться не «Илья Муромец и Идолище», а «Илья Муромец и Иванище». При этом Илья остаётся в круге привычных для него положительных ассоциаций, а Иванище может явиться в самом неожиданном контексте, например: «Вот уж подлинно идея, попавшаяся Иванищу» (24; 168). Или: «О спиритизме. Калика Иванище. О войне. И закончить Европой слегка» (24; 169). Или: «(Полунаука, Россия, полунаука.) Калика Иванище есть середина, полуобразование. Калика Иванище учёный, литератор, — он пишет о чём угодно» (24; 168). В связи с темой «лучших людей»: «*Люди лучшие*: и неужто таков закон, чтоб всегда были Иванищи — среда» (т. е. посредственность) (24; 157). По мнению Достоевского, «на всякую новую, светлую идею, прежде неслышанную», непременно найдётся тупой противовес — «тут свирепствует *Иванище*» (24; 171). Поэтому «*Иванища вредны*» (24; 101). Особенно там, где у них власть: «То-то и есть, что Иванищи-то, кажется, и управляют, а не Ильи Муромцы» (24; 172). И не только в России. В целом в набросках писателя Иванище выступает как подмена, как знак тупой посредственности, не способной ни породить, ни воспринять новую мысль. Ни совершить энергичный и смелый шаг:

«Иванище решает грубо — матерьяльно, ввиду первых потребностей. <...> Иванище заботится (было: боится), что-нибудь носит же его в Ерусалим ходить, но если принять великое решение, то он забеспокоится и устранился» (22; 161).

В отличие от Ильи, берущего на себя все заботы и всю ответственность. Герои резко противопоставлены, а следовательно, не Илья и Иванище, а «Иванище или Илья» (22; 161), иначе: или Илья, или Иванище.

²⁴ См.: Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции. Научное описание. СПб.: Наука, 2005. С. 23. Вероятно, как предположила И. Д. Якубович, одна из авторов «научного описания», книга была приобретена Достоевским для чтения детям. См.: Книга о Киевских богатырях. Свод 24 избранных былин древнекиевского эпоса. Составил В. П. Авенариус. СПб., 1876. С. 146 и след. Былина № 15.

Несмотря на решительную модернизацию фольклорного текста, слишком лаконичный и разнородный характер его применений, можно понять, какой общий смысл и связь идей Достоевский усмотрел в заинтересовавшей его былине (духовном стихе). Писатель выделил и соединил два момента (думается, он сделал это, точно следуя замыслу певца и составителя этой былинной версии). Один, начальный, — паломничество калики Иванища в Иерусалим:

Нунь сильнее могучее Иванище
А шел как ён во Иерусóлим-град
А Господу ён Богу помолиться ведь,
К Господнему как гробу приложиться,
В Иордан ён речке окрестится²⁵.

Пройдя долгий и трудный путь (и днём, и осенней ночью), калика наконец добирается до Иерусалима и совершает всё то, ради чего сюда шел. И, надо заметить, — всё то, что совершают идущие сюда с той же целью остальные. Иванище, таким образом, становится в конец и затем пропадает, стирается в длинной череде благочестивых богомольцев. Путь калики ко гробу Господню, как и любого паломника к Святым местам, — путь покаяния в собственных грехах, очищения собственной души и личного спасения.

На обратной дороге, увидев у Киева огромную рать, приведённую туда поганым Идолищем, и узнав, что само Идолище (не то чудовище, не то богатырь непомерной высоты, толщины и наглости) забралось в княжеские палаты и пирует там в своё удовольствие, издеваясь над князем Владимиром, Иванище, при всей своей физической мощи, испугался и решил обойти Киев стороной. Тут и происходит встреча калики с Ильёй Муромцем, направляющимся в Киев. Эта встреча — второй момент былинного рассказа. Илья видит перед собой «старую калику-перехожую» (далее в одном из вариантов выясняется, что они одного возраста с Ильёй и вместе учились в Муроме грамоте):

Не идет каличище — шатается,
Костылём-клюкою подпирается,
Под каликою мать-земля да подгибается...²⁶

На расспросы Ильи калика рассказывает о беде, постигшей Киев, об Идолище, который в «княженецких палатах» ест-пьёт, над князем похваляется:

Как святые образа-то все поколоты,
Во черной грязи да все потоптаны,
Во церквах во Божьих кони кормятся...

Илья спрашивает, почему Иванище не убил Идолище, и калика признаётся, что «устрашился», «не посмел идти на поганое»²⁷. Илья стыдит «сильное, могучее Иванище», затем надевает его платье²⁸. Иногда, услышав о беде, Илья без дальнейших вопросов и объяснений говорит:

Ай да сильнее могучее Иванище,
Скидывай-ка платье ты каличище,
Одевай-ка мои платья богатырские,
А давай-ка ты мне шляпу во сорок пуд,
А давай-ка ты мне посох о девяносто пуд,
Пойду я ведь каликой перехожею
Во славный я ль во Киев-град,
К тому князю я ко Владимёру;
А на-ка ты, держи-ка моёго коня,
А держи-ка ты коня да ведь дó меня²⁹.

После насмешливой перебранки с Идолищем, его похвальбы и враждебных действий Ильи, орудя каличьим посохом, побивает поганое Идолище и всю его несметную рать. Он освобождает народ, князя и возвращается к своему богатырскому коню и «к сильному могучему Иванищу, — а

Иванище стоит как да и весь в слезах,
Не может ён держать коня доброго.
Старый казак ведь Илья Муромец,
Говорил как ён могучему Иванищу:
«Ай же сильный ты, могучий ведь Иванище,
Ай, силы у тебя да с два меня,
А ухватки у тебя и половинки нет».
А тут богатыри перекружились,
А тут ёны да ведь переодились.
Илья-то ведь поехал на добром кони,
Иванище пошел да ведь пехотою³⁰.

В варианте из библиотеки Достоевского Илья, убив Идолище и вернувшись к Иванищу, говорит:

А теперь прощай, могучее Иванище <...>,
Впредь, смотри, ты больше так не делай-ка,
Выручай крещеных от поганных...³¹

События, о которых повествует былинный певец, представляют собой два разных подвига, два способа спасения души, сопоставленных и здесь противопоставленных один другому. Иванище, как и многих таких же, «носит» в Иерусалим мысль о благополучии своей души. Его забота имеет индивидуальный, личный и, в сущности (хотя так бывает не всегда, ср.: 25; 215–216), эгоистический характер. Это начало «особняка». Недаром в черновых набросках

²⁷ Там же. С. 148.

²⁸ Там же. С. 149.

²⁹ Былины. С. 85–86.

³⁰ Там же. С. 88.

³¹ Книга о Киевских богатырях. С. 155.

²⁵ Былины. Л.: Советский писатель, 1957. С. 84 (Б-ка поэта).

²⁶ Книга о Киевских богатырях. С. 146.

Достоевского Иванище многократно возникает в увязке с темой «обособления», насквозь проевшего общество:

«Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе (фольклорный мотив — *В. В.*), но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучок разлетится на множество слабых былинков, которые разнесёт первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался» (22; 83)³².

В поступках Ильи, напротив, нет никаких эгоистических побуждений. Он освобождает единокровный и единоверный ему киевский люд без личных выгод и себялюбивых надежд. Его героический подвиг, как всегда, служит избавлению от губельной беды других и многих, т. е. служит общему благу и общему спасению. Это не только уравнивается с паломничеством к Святым местам, но, согласно логике былинного рассказа, его превосходит, как превосходит всякую обособленную, одинокую молитву и всякий одинокий труд во имя пусть даже и духовной, но частной цели. Ведь закон Христа — «закон любви» не только к Богу, но и к ближнему, любви жертвенной и бескорыстной (Мф. 22: 37–40; Мр. 12: 30–31 и др.). Поэтому высший подвиг и есть спасение других; по возможности, спасение многих; в идеале — спасение всех (подвиг Христа)³³. Былина прославляет Илью. Отсюда мотивы, возвеличивающие богатыря и уничижающие Иванище. Они переданы, в частности, переодеванием, безусловно несущим символический смысл.

Илья переодевается перед боем не только для того, чтобы быть не признанным Идолищем (который, кстати сказать, его никогда не видел). Надев каличье платье, взяв как оружие каличий посох, Илья усваивает чужую сущность и оборачивается каликою. Идея такого оборота (и перевоплощения) заложена в любом переодевании в чужую одежду. Это общекультурная универсалия, известная фольклору и магическим практикам разных мифо-ритуальных систем. Поэтому ряжение и окрутничество (оборачивание), ряженный и окрутник в русских говорах и, соответственно, научных работах — синонимы (см.: [Ивлева: 18 и след.]). Оборот сам по себе содержит вероятность радикальной перемены. Ср.: грянул оземь и обернулся... тем-то, тем-то, тем-то; ср. также: пре-вращение (одного в другое), т. е. оборот и внутренняя перемена. В одном из цитируемых здесь вариантов быliny это происходит дважды. Сначала Илья, идя на бой, оборачивается каликою, а после боя, обернувшись ещё раз, становится самим собой:

³² Ср.: 22; 161 и след. наброски к мартовскому выпуску «Дневника писателя» за 1876 г. Гл. первая, III. «Обособление».

³³ Это мысль многих произведений народного творчества. Так, В. Я. Пропп заметил, например, что св. Георгий Победоносец крайне редко изображается на иконах в спокойном состоянии со спасённой им девицей, а не в борьбе с чудовищным змеем, т. е. не «в героическом и народном облике». «Преобладание получил <...> тип иконы, в которой змей побеждается силой оружия и не во имя одной женщины, а во имя борьбы со злом (т. е. для блага всех. — *В. В.*). В противоположность чрезвычайно редкой иконе об освобождении девушки икона, изображающая только боевую схватку героя со змеем без всяких других персонажей, представлена большим количеством экземпляров начиная с XII в.» (Пропп, 1973: 204).

А тут богатыри перекружились,
А тут ёны да ведь переодились.

Идущие друг за другом мотивы изображают одномоментное действие, они являют собой семантическое тождество. Далее Илья, как положено богатырю, едет на добром (боевом, богатырском) коне, а Иванище, как положено калике, идет «пехотою».

В бою с поганым Идолищем Илья предстаёт каликой. Помимо собственных ему достоинств он наделён особой благодатью — духовной силой и Божьим благословением, т. е. всем тем, ради чего стремится в Иерусалим и к гробу Господню благочестивый паломник. Герой служит людям и Богу одновременно. Его победа — знак высшей заслуги и Божьего одобрения. Она сообщает герою ореол святости.

Но Иванищу богатырские доспехи и платье не помогают. Он плачет, едва удерживая доброго коня, поскольку даже конь противится ему и не признаёт в нём богатырских качеств. Герои снова противопоставлены друг другу, и если Илья прославлен, то Иванище окончательно посрамлён.

Забвение о себе и забота об общем счастье в ином виде, но отличает и Алексея человека Божия. Достоевский называет его так же, как Илью Муромца, среди наиболее почитаемых народом святых: «Лучшие люди <...>. У него <народа> Алексеи — человеки Божии» (24; 285; ср.: 23; 193). В черновой тетради 1880–1881 гг. запись:

«О лучших людях <...>. Лучшие пойдут от народа и должны пойти <...>. Правда, народ ещё безмолвствует, хоть и называет кроме Алексея человека Божия — Суворова, например, Кутузова, Гаса» (27; 53).

И ещё: «Я скажу: Алексей человек Божий — идеал народа...» (27; 55). В «Братьях Карамазовых» старец Зосима советует читать народу разные занимательные и поучительные рассказы и «из Четьи Миней хотя бы житие Алексея человека Божия...» (14; 267). Этот святой, герой жития и духовного стиха, не раз упомянутый в последнем романе, стал прототипом Алёши Карамазова, на что прямо указывает его имя³⁴.

Повествования об Алексее человеке Божиим в житии и духовном стихе, необычайно распространённом и записываемом собирателями во множестве вариантов, не вполне совпадают³⁵. Зная Житие св. Алексея в разных редакциях, Достоевский, как часто, когда у него был подобный выбор, предпочёл народную версию, духовный стих. Писатель увидел в нём и повторил в «Братьях Карамазовых» (и не только в них) оригинальную, в высшей степени глубокую и важную идею, выраженную (как часто в фольклорных текстах) с художественным блеском — парадоксально и удивительно лаконично.

³⁴ Хотя мне приходилось подробно писать на эту тему (см., например: Ветловская, 2007: 200–229), здесь нельзя обойти вниманием указанный сюжет. Постараемся ограничиться необходимым.

³⁵ Подробный анализ и сопоставление жития и стиха о св. Алексее см. в исследовании: [Адрианова-Перетц, 1917].

Алексей человек Божий (время его жизни относят к концу IV — началу V в.) родился в семье богатого и знатного римлянина. В день собственной свадьбы он, оставив родных, уходит из дома, снимает с себя роскошную одежду, облачается в нищенские лохмотья и в таком виде появляется в Эдесском (Иерусалимском) храме Богородицы, сначала на паперти или в притворе, а затем (по распоряжению Богородицы) и в самом храме. Здесь он предаётся молитвенным подвигам ради собственного спасения и (иногда) спасения своих близких:

...я пошёл в иншую землю,
За батюшкин грех помолиться,
За матушкин грех потрудиться!³⁶

По прошествии долгого времени, постоянных молитв и духовного совершенствования, по воле Божией (житие), по велению Богородицы (духовный стих) святой возвращается в свой дом — к отцу, матери и супруге. При этом Богородица, напутствуя его, иногда говорит:

Лексеюшка Божий человек!
Полно тебе Богу молиться,
Пора у свой дом подъявиться...³⁷

И здесь, как видим, ценность одинокого спасения отодвинута на второй план. Важнее оказывается жизнь Алексея среди своих в родном доме. Иногда Богородица то ли предсказывает святому ближайшее будущее, то ли предупреждает, как следует себя вести:

Поезжай ты во свой славен Рим-град,
Отец тебя мать в доме не спознают,
Ни младая обручная княгина³⁸.

Так и происходит. Святого никто не узнаёт. Его как нищего побирушку ссылают куда-то на задворки, он ест какие-то объедки, пьёт какие-то опивки. Рабы и слуги отца (да и его самого, поскольку он в действительности всё-таки господин и наследник) смеются и издеваются над ним. Только после смерти святого обнаруживается, кем он был на самом деле. Заключительная часть жития и стиха о св. Алексее передаёт плач отца, матери и супруги, узнавших в умершем праведнике сына и мужа. Именно в этой части, как заметила В. П. Адрианова-Перетц, духовный стих резко отличается от житийного текста: «Основная нота, которая звучит во всех плачах жития, — это горькие упреки по адресу Алексея, который не смягчился зрелищем безысходного горя своих родных и не открылся им при жизни. В стихе центр тяжести переносится на позднее сожаление родных о том, что претерпел в их доме святой. Здесь плач становится как бы покаянным» [Адрианова-Перетц: 336].

Ср. слова отца:

Алексей, Божий свет, человеце!
Какое терпел ты терпение!
От раб своих ты укорение!..
Чего ты мне тогда не явился?
Зачем ты пришёл во град не сказался?
Построил бы я келью <для тебя> не такую,
Ещё бы не в этакое месте:
В своём бы в княжнецком подворье
Возле бы своей каменной палаты...
Поил бы, кормил бы я тебя своим кусом!
Не дал бы рабам на поруганье³⁹.

С некоторыми вариациями примерно то же говорят мать и супруга.

По мнению В. П. Адриановой-Перетц, в сравнении с житием автор стиха, передавая плачи родных, сменил настроение и психологические акценты. Думается, однако, что дело не в психологии, дело в идее. И это главное. В стихе поведению св. Алексея в родном доме дано принципиально новое и неожиданное объяснение. Оно подготовлено мотивами, так же отличающимися от жития, как и плачи.

Так, в житии приход Алексея в родной дом по возвращении толкуется как нежелание его обременять кого бы то ни было. В стихе этот мотив опущен. Святой, встретив отца, просит принять его, убогого странника, ради спасения своей души и ради сына Алексея. На вопрос отца, откуда он знает о пропавшем сыне, святой отвечает:

Богатый князь Ефимьяне!
Остроишь убогую келью
Ближе своей каменной палаты,
Обрящешь любезного сына
В своей белокаменной палаты:
В одной стороны с ним пребывали,
В единой пустыне проживали,
Со единых трапезы воскушали,
Единую одежду с ним носили⁴⁰.

Предлагая отцу принять его вместо ушедшего из дома сына, святой, в сущности, предлагает родным выход из страдания и безутешной скорби. Ведь всякая скорбь прекратится, если родные признают в чужом, жалком и нищем страннике любимого сына, обрадуются ему как своему. И если бы родные согласились с Алексеем, они бы не ошиблись, поскольку не узнанный ими странник и был их сыном. Благодаря возможности парадоксального оборота ситуации оказывается, что испытанию в этом случае подвергаются обе стороны: Алексею достаточно назвать себя, и он будет жить в другой, лучшей «келье», питаться другим, лучшим «кусом».

³⁶ [Бессонов, 1861], вар. № 28, см. также: № 29, 30.

³⁷ Там же. Вар № 32.

³⁸ Там же. Вар. № 33, а также: № 34.

³⁹ Там же. Вар. № 28.

⁴⁰ Там же. Вар. № 33.

Мучения же его родных прекратятся. Но точно так же изменилась бы к лучшему его жизнь и обратилась в радость скорбь его близких, если бы эти близкие смогли, как предлагает им святой, в чужом разглядеть родного человека.

В результате твёрдость святого, не смягчившегося страданиями родных и не назвавшего им себя, получает высокое оправдание, ибо служит призывом к величайшей (не ограниченной избирательным чувством) любви. В стихе Алексей выдерживает трудный искушение и остаётся верен Богу не потому, что, любя Бога, забыл родных и родные стали ему чужими, а потому, что чужие для него — те же родные. Вот почему святой является своим близким как чужой и как родной одновременно и просит принять в нём, чужом, участие, какое вызвал бы у них родной сын. Начав с мысли о собственном спасении (или иногда и ближайших родных), Алексей человек Божий кончает мыслью о спасении (земном и небесном) всех вообще.

Надо думать, что эта идея и вызвала особый интерес Достоевского к житию Алексея человека Божия и его гениальным фольклорным работкам. Автор «Братьев Карамазовых» воспользовался фольклорным истолкованием жития, распространив понятие родственной любви на «всё и вся», на весь мир Божий. Такая любовь рождается в душе Алёши Карамазова, когда он, преодолев искушение избирательной, исключительной привязанности к духовному отцу, старцу Зосиме, повергается на землю в восторженном испуге, обнимает, целует её и клянётся любить «во веки веков». И далее:

«Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а “за меня и другие просят” <...> он чувствовал явно <...>, как что-то твёрдое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его <...>. “Кто-то посетил мою душу в тот час” — говорил он потом с твёрдой верой в слова свои...» (14; 328).

Идея, которая «воцарялась» в уме Алёши вслед за чувством, повергшим его на землю, была, конечно, идея неизбирательной, безграничной и не смущающейся никаким грехом любви⁴¹. А та, которая, сойдя свыше, посетила душу юного героя «в тот час», была, конечно, Богородица, играющая главную роль в стихе о св. Алексее. Именно с Ней, прежде всего, и соединяется в народе представление о неизбирательной и всепрощающей любви. Важно, что под Её святой покров, поручая Ей сына, в своё время протягивала маленького Алёшу его мать (14; 18). Важно также, что Богородица посетила Алёшу тогда, когда тот, упав на землю, обнимал и целовал её. В народных понятиях (об этом, в частности, говорят многочисленные духовные стихи) Богородица тесно связана с землёй. Общее материнское начало сближает родную мать, мать-землю и Богородицу. Однако, как пишет Г. П. Федотов, «их близость не означает ещё их тождественности. Певец не доходит до отождествления Богородицы с матерью-землёй

⁴¹ Ср. слова Исаака Сирина: «Кто всех равно любит, по состраданию и безразлично (т. е. не различая лиц. — В. В.) — тот достиг совершенства» [Исаак Сирин, 1858: 60].

и с кровной матерью человека. Но он недвусмысленно указывает на их сродство:

Первая мать — Пресвятая Богородица,
Вторая мать — сыра земля,
Третья мать — кая скорбь
(т. е. муки рождения. — В. В.) приняла»
[Федотов: 78].

От матери-земли зависит любая жизнь, поскольку жизнь — только результат созидательной мощи земли. Противостоя разделению, распаду, разложению и смерти, она всё связывает и одушевляет. Она непрерывно производит новые, всё более прекрасные формы. Начиная с каких-нибудь «насекомых» (14; 99), она кончает столь идеальной, просветлённо-чистой и одухотворённой плотью, что эта плоть становится достойной заключить в себе Господа Бога. На вершине упорядоченной лестницы живых существ, творимых матерью-землёй, оказывается Божия Матерь. В своём человеческом благородстве, в безупречной красоте души и тела Она возносится не только над каждым земным созданием, освящая их своим явлением в мир, но и над сонмом горних сил, уступающих Ей первое место перед престолом Бога. Она — «Царица неба и земли», «всего мира Владычица», неусыпная «Заступница рода человеческого», как Её именуют в обращённых к Ней молитвах⁴². И если мать-земля в неистощимо деятельной любви производит всё живое и хлопчет о бессмертии и продолжении жизни в её материальных, ограниченных временем формах, то Богородица освящает земную жизнь, благословляет и защищает её, а затем матерински печётся о ней в горних сферах. Она беспокоится о детях земли и здесь, и в жизни вечной⁴³. Ведь эти дети земли, согласно предсмертной воле Христа, — и Её дети (Ин. 19: 26–27).

Заступничество Божией Матери за род человеческий — тема апокрифа «Хождение Богородицы по мукам». Существующий в большом количестве русских списков, он отразился в фольклоре, прежде всего — в стихах о Страшном суде. В конце 1850-х — начале 1860-х гг. апокриф был опубликован в разных редакциях, иногда вместе с источником — греческим текстом. Нельзя сказать, на какую из этих редакций опирался Достоевский, поручивший Ивану кратко пересказать апокриф. Скорее всего, писатель знал все. Отличаются они лишь незначительными разночтениями и большей или меньшей полнотой приводимых мотивов⁴⁴.

⁴² См., например: Акафистник. М.: Изд-во «Даниловский благовестник», 1995. С. 66, 67, 80, 70 и др.

⁴³ Об этом см.: [Антоний: 40–41]. О теме Богоматери в «Братьях Карамазовых» подробно см.: [Ветловская, 2007: 361–392].

⁴⁴ Новейшую публикацию апокрифа с переводом на современный русский язык см.: Памятники литературы Древней Руси. XII век / подгот. текста, пер., коммент. М. В. Рождественской. М., 1980. С. 166–183. Публикация воспроизводит самый полный текст апокрифа, ранее напечатанный в издании: Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Куселевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 3. С. 118–124.

Богородица в сопровождении архистратига Михаила посещает ад. Она просит показать Ей все муки. Переходя от одного разряда грешников к другому, горько плачет вместе с ними и вместе с ними и за них молит Бога: «...слыша плач и крик грешников, сама зарыдала, причитая и говоря: “Господи, помилуй нас”» [Памятники, 1980: 177]. Справедливость Божьего наказания у Неё не вызывает сомнения: «По делом их буди тако» [Памятники, 1980: 176]. Богородица просит не о справедливости, которая присуща Богу раз и навсегда, но о милости. Ради этого Она готова разделить с «несчастливыми, окаянными, недостойными» (по Её же словам) [Памятники, 1980: 168] их страшную муку. Она говорит архистратигу: «Об одном молю тебя, да сойду и Я к ним, чтобы мучиться с христианами, потому что они назвали чадами Сына Моего» [Памятники, 1980: 178, 179]. Когда архистратиг отказал Ей в этом, Она приказывает ему позвать всё воинство ангелов: «...пусть услышит нас Господь Бог и помилует их» [Памятники, 1980: 179]. Архистратиг отвечает, что и ночью, и днём ангельское воинство просит об этом Бога, «но нисколько нас не слышит Владыка». Тогда Богородица продолжает: «...вели ангельскому воинству вознести Меня на небесную высоту и поставить перед невидимым Отцом» [Памятники, 1980: 179]. Далее в апокрифе Бог Отец и Бог Сын или совмещаются, или заменяют один другого (иногда к такой замене подключена Богородица).

Когда ангелы поставили Богородицу у престола невидимого Отца, Она «воздела руки к благодатному Сыну Своему и сказала: “Помилуй грешников, Владыка, так как Я видела и не могу переносить их мучений, да буду и Я мучиться вместе с христианами”. И раздался голос, Ей говоривший: “Как Я помилую их? Вижу гвозди в дланях Сына Моего и не знаю, как можно их помирить”» [Памятники, 1980: 179]. На это Богородица отвечает, что просит не за «неверных» и мучителей, а только за христиан, и слышит, что их тоже нельзя помиловать, поскольку они сами никого не миловали.

Божия Матерь снова и снова просит за грешников, призывая присоединиться к Её мольбе все небесные силы, пророков, апостолов, святых отцов и праведников. Когда же Господь и их не послушал и все, не смея Ему противоречить, отступились, Она взывает к чинам бесплотных и сонму святых, чтобы они вместе с Нею пали ниц перед Божьим престолом и не двинулись до тех пор, пока Бог не помилует грешников. Тогда Бог посылает к ним Сына, и Сын, напомнив о Своих благодеяниях людям и их чёрной неблагодарности, возвещает, что ради милосердия Своего Отца, заслуг святых, молитв и слёз Своей Матери, неотступно просящей о грешниках, даёт им избавление от мук от Великого четверга до Троицына дня. «И все отвечали: “Слава милосердию Твоему”» [Памятники, 1980: 179–183].

Так заканчивается хождение Богородицы по мукам и Её разговор с Богом, который, по мнению Ивана (и, конечно, самого Достоевского), «колоссально интересен». В самом деле поразительно упорство и дерзновение Богоматери в Её заступничестве за грешников. Правда, когда Бог напоминает Ей о крестной муке Её безгрешного Сына, Она уступает, говоря, что просит не за всех, томящихся в адской бездне, но только за христиан. В духовном стихе о Страшном

суде с Богородицей объясняется сам Христос, и этот разговор выглядит несколько иначе:

Притечет Мати Всепетая
 Ко престолу ко Божьему.
 Проглаголет Мати Всепетая,
 Госпожа Владычица и Богородица:
 — Иисус Христос, пресладкий Сын,
 На престоле Судья праведный!
 Моги ради Мене грешных рабов помиловать
 От злыя муки вечныя <...>.
 — Да можешь ли, Мати, Меня видети
 Во вторые на Христове на распятии?
 [Бессонов, 1863: 132–133; ср. 131–132].

Идея второго распятия возникает потому, что спасённые однажды люди продолжают грешить. Их новое избавление от мук требует новой искупительной жертвы⁴⁵. Услышав о распятии, Богородица, как и в апокрифе, тоже уступает, и здесь Она готова отказаться от защиты грешников вообще:

Не могу Я Тебя видети
 Во вторые на Христове на распятии,
 Не могу забыть Твое прежнее помучение,
 Не могу Я ту чару выпити,
 Горькими слезами плачучи.
 Не жаль Мне такового народа многогрешного,
 А жаль Мне Своего Сына родимаго,
 Христа Царя Богонеснаго!
 [Бессонов, 1863: 133, ср.132].

После этого Господь отправляет грешников в ад. Ситуация, однако, не такая простая, как кажется. В стихе говорится, что как только Господь возвестит Свой суд, —

Понесет <...> река огненная
 Человека многогрешнаго
 По мукам по различным <...>.
 Повелит Господь всем ангелам, архангелам,
 Брега с места содвигнути,
 Повелит Господи перстем засыпати,
 Святым духам замуравити,
 Чтот от грешных было не слышати
 Ни зыку, ни крику, ни рыдания
 Госпоже Богородице
 [Бессонов: 133–134; ср.: 134–135].

Предполагается, что любой «зык», «крик» и «рыдание» (в другом варианте — «писк», «визг» и «вереск» [Бессонов: 135]) заставит Богородицу немедленно принять свои меры. Настойчивость Царицы неба и земли

⁴⁵ См.: [Федотов: 112].

в заступничестве за грешников выражена завуалированно, но благодаря неожиданной концовке с особой художественной силой. Иногда эта мысль звучит открыто:

Матушка Владычица просит:
— О Сыне Мой, Сыне возлюбленный!
Прости эти души грешныя <...>.
«О Матушка, Пресвятая Богородица!
Хочешь ли Меня за грешных
Видети на вторым на распятии?»
— О Сыне Мой, Сыне возлюбленный!
Не токма что видети на распятии,
Не хочу это и слышати! —
Опять просит Матушка,
Владычица Богородица.
— Прости <...>.
Сыне Мой, Сыне возлюбленный!
— О Матушка, Пресвятая Богородица!
Прошу <...>
По Твоему по прошенью!
[Бессонов: 135–136].

Как ведомо Господу и в духовном стихе, и в апокрифе, никакие оговорки Божией Матери в защите грешников на самом деле ничего не значат. Её сострадание душам, упавшим с дарованной им высоты в глубину адской бездны, по истине беспредельно. Для Её сочувствия и живого отклика материнской любви достаточно любого несчастья и любого несчастного, где бы он ни обретался. Иван Карамазов прав: перед престолом Божиим «поражённая и плачущая» Богоматерь апокрифа «просит всем во аде помилования, всем <...> без различия», всем «без разбора» (14; 225). Ведь едва Она сказала, что просит у Бога милосердия только для христиан, как в эту категорию тотчас вошли и все остальные, включая тех, кто, согласно объяснению архангела Михаила, «не верил в Отца и Сына и Святого Духа, и в Тебя, Святая Богородица» [Памятники, 1980: 169]. Для Царицы неба и земли род христианский и род человеческий в своих границах совпадают. Уже отказавшись молиться за мучителей Сына, «снова сказала Пресвятая: “Помилуй, Владыка, грешников, помилуй, Господи, сотворённых Твоими руками, потому что они по всей земле произносят Твоё имя, и в мучениях, и во всех местах по всей земле, говоря: “Пресвятая Госпожа Богородица, помогай нам” и когда человек рождается, он говорит: “Святая Богородица, помоги мне”» [Памятники, 1980: 179].

Любое обращение к Богу, по убеждению Богородицы, означает мольбу и к Ней и любое обращение к Ней — мольбу к Господу Богу. Число людей, нуждающихся в Её заступничестве и имеющих право на него, для Богородицы, как и для Бога, не знает предела. Это все, сотворённые рукой Господней. Но ведь других нет.

Этот же мотив благодатного покрова, простирающегося на всех людей без изъятия, повторён и даже усилен в удивительных словах Богоматери: «...когда человек рождается, он говорит: “Святая Богородица, помоги мне”». Однако когда человек рождается, он, как известно, ничего не говорит, он кричит.

Выходит, первый нечленораздельный крик ребёнка, извещающий, казалось бы, только о том, что новый человек явился в мир и отныне сопричтён всем земнородным, Богородица воспринимает как ясно выговоренный и именно к Ней обращённый призыв о помощи. И далее — во всякое время и на всяком месте любое страдание, выражается оно словами или нет, для Ней звучит тем же призывом и, следовательно, той же необходимостью помочь и защитить и малое, и большое «дитё» (ср. в «Братьях Карамазовых»: «...есть малые дети и большие дети. Все — дитё», — 15; 31). Вдумавшись в этот мотив апокрифа, составитель стиха о Страшном суде с полным правом мог поместить (как он и сделал) этот «писк» и «вереск» за грань земной жизни, заставив его звучать из адской бездны, из преисподней земли. Ведь скорбь человеческой души отзывается в сердце Богоматери на всём пространстве этого и иного мира, в этом веке и в будущем.

В гейслеровской версии «Хождения Богородицы по мукам»⁴⁶ Божия Матерь, выходя из чистилища, выносит «на каждой нити своей одежды по грешной душе» [Веселовский: 233], разумеется, не сортируя и не задумываясь, какая из них более, а какая менее достойна Её сочувствия.

Известен апокрифический рассказ (или легенда), по-видимому, косвенно связанный с «Хождением Богородицы по мукам». В нём говорится о том, как апостол Пётр, стерегущий врата рая и пропускающий через них лишь чистые души, пришёл к Господу, чтобы сказать, что в раю появляются люди, которых он не пропускал. Господь, объясняя появление неизвестно откуда взявшихся насельников рая, вызвавших недоумение апостола, повёл его в самый дальний уголок райского сада, и тот увидел, как Богородица, проливая слёзы, спускала в ад верёвку, по которой карабкались грешники, непрестанно «молившие Её об избавлении от мук...» [Рубцова]. И здесь Она тоже, конечно, не разбирает, не сортирует тех, кому посчастливилось уцепиться за спасительную возможность, и никого не отвергает⁴⁷.

⁴⁶ Гейслеры — немецкая секта бичующихся XIII–XIV вв., вроде французских флагеллантов того же времени и наших более поздних хлыстов (XVII в.).

⁴⁷ В этой легенде, кстати сказать, со всею очевидностью обнаруживается несправедливость мнения, основывающегося, будто бы, на народных понятиях и противопоставляющего милосердие Богоматери суровости Христа. Но в легенде (и не только в ней) Господь видит всё и всех, а стало быть, и свою Мать, спрятавшуюся от Его глаз в дальнем уголке райского сада в трогательной надежде, что Он Её не заметит. Однако, замечая всё, Господь не мешает Богородице делать естественное для Ней и святое дело. Ясно, что Его чуткость и милосердие не уступают (да и не могут уступать) таким же свойствам Его Матери. Суровость Христа, преимущественно в духовных стихах о Страшном суде, их безнадежно, казалось бы, «пессимистический» тон, отмеченный Ф. И. Буслаевым, Г. П. Федотовым, К. В. Мочульским и др., как точно толкует С. Е. Никитина, полемизируя с такой мыслью, продиктован не общими положениями народной веры, а только дидактическими требованиями жанра: «Описание адских мук, так детально представленных в стихах <...>, было обращено к живым — с дидактической целью, — и уже поэтому в стихах не может быть безнадежной мрачности» [Никитина: 143, подробнее 142–146]. Страшный суд и адские муки в духовных стихах не безысходная эсхатологическая реальность, а только её угроза. Этот суд, по сути, действительно страшен лишь закоренелым, не раскаявшимся грешникам, поскольку не оставляет им надежды избегнуть заслуженного наказания.

В «Хожении Богородицы по мукам», оправдывая это своё заступничество за всех без разбора, Богородица говорит Богу, что к Её помощи люди взывают везде и всюду. Господь соглашается: «...нет того человека, кто не молился бы имени Твоему, и Я не оставляю их ни на небесах, ни на земле»⁴⁸. Но Богородица, как видим, старается помочь и тем, кто в преисподней. Даже тем, кто виновен в крестной муке Её родного Сына и, конечно, в крестной муке Её Самой. В безмерности Своей материнской любви Она уравнивает грешных, но тяжко страждущих детей земли со Своим божественно-безгрешным Сыном. Они все для Неё — «дитё».

Напомним примечательную концовку того варианта христианской легенды о стрелке, который собрался было стрелять в причастие, но вдруг увидел, что перед ним стоит «сама Мать Пресвятая Богородица и говорит: “Сын мой, что ты делаешь? Неужели же ты в Меня стрелять будешь?” У того и руки и ноги затряслись, и ружьё из рук выпало». На месте Христа и распятия здесь оказывается Богородица. Либо Она заслонила Собой родного Сына, либо Он, будучи заключённым в Её сердце, находится с Ней и здесь же. Как бы то ни было, Богоматерь, без сомнения, готова жертвовать Собой, чтобы защитить Своего ребенка, которому снова угрожает смертельная беда (своего рода новая расправа, «второе распятие»), и одновременно — защитить заблудшего, отпетого грешника, которого, исполни он своё намерение, ждёт самое суровое возмездие и вовеки неискупимая мука, поскольку он заранее отрёкся от спасения. Ведь «всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца» (1 Ин. 2: 23). Стало быть, несчастному на этом свете и на том уже не к кому было бы апеллировать и некого о чём бы то ни было просить. Пока этого не случилось, Богоматерь спешит избавить от мрачного конца «окаянного» и «недостойного», но тоже не чужого Ей сына (ср. Её обращение: «Сын мой...» и т. д.). И тот, дойдя до края пропасти и уже свесившись в неё, не смог, благодаря усилиям Богородицы, завершить начатое и решиться на самый страшный грех — грех матереубийства и богоубийства.

Безусловно, такая легенда и с такой концовкой могла сложиться лишь на почве глубокой веры в исключительную силу жертвенной и бескорыстной материнской любви, которую народ увязывает с образом Божией Матери.

⁴⁸ [Памятники, 1980: 179]. Слова Богородицы и Бога мог бы подтвердить рассказ П. И. Мельникова (Андрея Печерского) об общественных жертвоприношениях и языческих обрядах мордвы. Во время таких обрядов жрец из ветвей священного древа, обращаясь к остальным участникам торжественного действия, произносил молитву, а те кланялись и называли своих богов, начиная с главного (Чам-Паса) и кончая Богородицей: «Чам-Пас, помилуй нас, Волцы-Пас, Назаром-Пас, помилуй нас; Нишки-Пас, Свет Верешки-Велен-Пас, сохрани нас; Анге-Патяй-Пас (единственное женское божество этого пантеона. — В. В.), матушка, Пресвятая Богородица, умоли за нас!» [Мельников: 86 и след.]. По ходу жертвоприношения и обряда эти молитвы-воззвания повторялись с тем же заключительным обращением к Богородице. Так происходило при всех общественных требах и праздниках, посвящённых любому из языческих божеств, включая и Анге-Патяй-Пас: «Чам-Пас, помилуй нас, Анге-Патяй-Пас, матушка Пресвятая Богородица, умоли за нас...» и т. д. [Мельников: 119]. Сходное явление (присоединение имени Богородицы к сонму собственных богов) наблюдалось и среди других языческих и новокрещёных жителей разных регионов России.

В легенде стрелок видит не просто Пресвятую Богородицу, но именно «саму Мать Пресвятую Богородицу». Ведь в отличие от западного христианства, где Мадонна почитается прежде всего в Своей девственной сущности (Дева Мария), в восточном христианстве, в православии, культ Богородицы, как известно, связан, в первую очередь, с Её материнской природой (Матушка Пресвятая Богородица, Царица Небесная Матушка). Будучи воплощением идеальной любви (сострадания, самопожертвования, способности к неистощимому терпению и прощению) Богородица в народном восприятии естественно встаёт рядом с Христом, заповедавшим такую любовь Своим ученикам⁴⁹: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключены в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя» (Рим. 13: 8–9).

Идеалы, указанные верой, веками воспитывали народ. Их поддерживали традиции общинного быта — взаимопомощь и поддержка, одни и те же радости и беды, привычка преодолевать любые невзгоды совместными усилиями — «всей землёй», «всем миром», «соборне». Это создавало и крепило единство, подчиняющееся неписаному, но непререкаемому закону: «Один за всех и все за одного», создавало тот «пучок», который не так-то просто сломать. В отличие от России, писал и повторял Достоевский, на Западе люди давно

«отвергли происшедшую от Бога и откровением возвещённую человеку единственную формулу спасения его: “Возлюби ближнего как самого себя” и заменили её практическими выводами вроде: “Chacun pour soi et Dieu pour tous” («Каждый за себя, а Бог за всех», франц. — В. В.) — или научными аксиомами вроде “борьбы за существование”» (26; 90),

которые в иных словах просто воспроизводят смысл французской поговорки. Будучи руководством к действию, она оправдывает раздробленность и враждебный разлад, подчёркнутый Достоевским его насмешливым переводом: «Всякий за себя, а Бог за остальных» (21; 215).

Ценность братской, родственной связи здесь, на земле, духовного единства и в практической жизни, и церковных молитвах для русского народного сознания несомненны. С. П. Шевырёв писал: «Что касается до соборной молитвы народа в церкви, вот что мне случилось слышать от одного простолюдина: “В церкви все должны быть как один человек: каждый должен молиться за всех, а не за себя: тогда и будет Церковь. Если же каждый придёт с своим

⁴⁹ Существует даже мнение (иногда оно высказывалось в полемике с Достоевским), что народное православие скорее религия Богоматери, чем Христа. См., напр.: [Самарин]. Однако частое обращение к Богородице и более редкое к Христу не свидетельство меньшего почитания. Напротив, оно может быть проявлением благочестивой осторожности по отношению к тайнам, которые «не от мира сего». В почитании Божией Матери русскими людьми, как пишет современный богослов, видна надежда «на всесильное материнское заступничество перед Богом. Ведь Всевышний — не только великий благодетель, но и грозный судия. У русских, имеющих в характере такую ценнейшую черту, как покаяние, всегда с Боголюбовью соседствовала Богобоязнь» [Голубев: 25].

делом и один потянет в одну, а другой в другую сторону, тогда уже Церкви не будет. Можно быть в Церкви духом — и не быть телом, можно быть телом — и не быть духом». Вот какие ясные понятия имеет наш простой народ о Церкви! Не для всякого западного богослова они доступны» [Шевырëв: 69].

Церковь, и замкнутая и не замкнутая в стенах храма, но всегда сохраняющая дух единства и любви, обнимающей всех, кто готов такую любовь принять и на неё ответить, приобретает самый широкий, вселенский характер. В идеале это могло бы служить разрешению крайне больных и запутанных социальных проблем. «Цель и исход» православных чаяний, по утверждению Достоевского в единственном и последнем выпуске «Дневника писателя» за 1881 год, — «всемирная и вселенская Церковь, осуществлённая на земле, поколику земля может вместить её». Писатель полагал, что народ одушевляет идея («главная идея» в ряду других)

«великого, всеобщего, всемирного, всебратского единения во имя Христово. И если нет ещё этого единения <...> уже не в молитве одной, а на деле, то всё-таки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда её, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасётся лишь в конце концов всемирным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!» (27; 19).

Парадоксально, но как раз благодаря этой вере во «всесветное единение» людей по учению Христа, т. е. ради бескорыстной любви и братства, а следовательно, и равенства, и свободы, и общего счастья, вожаки коммунизма и социализма и победили в России, не ожидавшей, какими «механическими формами», многочисленными жертвами и часто трагическими последствиями это для них обернётся. Правда, Достоевский всё-таки допускал возможность подобного и чрезвычайно нежелательного оборота вещей. В том же выпуске «Дневника писателя» за 1881 год он писал об умонастроении, господствующем в народе:

«Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство; народ теперь именно «обеспокоен» нравственно. Я убеждён даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей «в народ», то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагандистов, не умевших даже и подойти к народу <...>. О, надо беречь народ. Сказано: «Будут времена, скажут вам: се здесь Христос, или там, не верьте». Вот и теперь как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас наверху» (27; 17).

Однако, несмотря на исторические вихри, сотрясавшие страну, все происходящие в ней подмены и перемены, многовековые идеалы народа продолжали жить в глубине его души, и они-то спасали Россию в дальнейшем.

В заключение подчеркнём: говоря о народных идеалах у Достоевского, можно было бы привлечь и другие примеры. Это расширило бы доказательную базу работы, но не повлияло бы на главные выводы. Преимущественно ссылаясь на легенды, апокрифы и духовные стихи, мы, как правило, следовали выбору писателя.

Список литературы

1. Адрианова-Перетц В. П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности: Дисс. Пг.: тип. Я. Башмаков и К°, 1917. 518 с.
2. Азадовский М. К. История русской фольклористики. М.: Учпедгиз, 1958. Т. 1. 479 с.
3. Аксаков К. С. Богатыри времён великого князя Владимира по русским песням // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М.: Современник, 1981. С. 89–139.
4. Антоний Сурожский, митр. Любовь всепобеждающая. Проповеди, произнесённые в России. М.: Клин, 2003.
5. Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. М.: Н. Щепкин и К. Солдатенков, 1859. 204 с.
6. [Афанасьев А. Н.] Народные русские легенды А. Н. Афанасьева. Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1990. 266 с.
7. Бессонов П. А. Калеки переходные: сборник стихов и исследование П. Бессонова: ч. 1–2. М.: тип. А. Семена, 1861–1864. Ч. 1, вып. 1. 1861. 268 с.
8. Бессонов П. А. Калеки переходные: сборник стихов и исследование П. Бессонова: ч. 1–2. М.: тип. А. Семена, 1861–1864. Ч. 2, вып. 5. 1863. 260 с.
9. Буслаев Ф. И. Русский народный эпос // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1861. Т. I. С. 401–454.
10. Буслаев Ф. И. Сравнительное изучение народного быта и поэзии // Русский вестник. 1873. № 4. С. 568–649.
11. Варенцов В. Сборник русских духовных стихов. СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1860. 248 с.
12. Веселовский А. Н. Опыт по истории развития христианской легенды. II. Берта, Анастасия и Пятница. V. Неделя Анастасия (Domenica — Anastasia) и Пятница-Параскева // Журнал министерства народного просвещения. 1877. Февраль. С. 186–252.
13. Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб.: Изд-во «Пушкинский дом», 2007. 636 с.
14. Ветловская В. Е. Фольклорные источники произведений Ф. М. Достоевского: «Мужик Марей» // Русский фольклор. XXXVII. Фольклоризм в литературе и культуре: Границы понятия и сущность явления (Сб. ст. и материалов памяти А. А. Горелова). СПб.: Нестор-История, 2018. С. 270–288.
15. Голубев В. П. Земная жизнь Богородицы // Богородица. Повествование о земной жизни, рассказы об иконах, молитвы. СПб.: Шпиль, 1997. С. 5–26.
16. Громько М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского, 1850–1854. Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1985. 168 с.
17. Зандер Л. А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Frankfurt am Main: Посев, 1960. 154 с.
18. Ивлева Л. М. Ряженья в русской традиционной культуре. СПб.: Российский институт истории искусств, 1994. 233 с.
19. Исаак Сирийский. Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископа христоролюбивого града Ниневии, слова подвижнические. М.: тип. В. Готье, 1858. 656 с.
20. Костомаров Н. Из могильных преданий. Легенда о кровосмесителе // Современник. 1860. Т. LXXX. Отд. I. С. 209–228.
21. Костомаров Н. Историческое значение южнорусского народного песенного творчества // Беседа. 1872. № 4. С. 5–68.
22. Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы // Мельников П. И. (Андрей Печерский). Полн. собр. соч. СПб.; М., 1898. Т. 12. С. 1–138.
23. Народная проза / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С. А. Азбелева. М.: Русская книга, 1992. (Б-ка русского фольклора; I. 12).
24. Неизвестный В. Я. Проп. Древо жизни. Дневник старости. Переписка. СПб.: Алетейя. 2002. 480 с.

25. Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.: Наука, 1981. Т. 1. 719 с.
26. Никитина С. Е. «Стихи духовные» Г. Федотова и русские духовные стихи // Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991. С. 137–153.
27. Никифоровский М. Русское язычество. Опыт популярного изложения научных сведений о языческой религии русских славян. СПб., 1875. 125 с.
28. Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. Вып. 3. СПб., 1862. 178 с.
29. Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.: Художественная литература, 1980. 704 с.
30. Петров Н. О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога (иноземные источники). Киев, 1875. 331 с.
31. Пиксанов Н. К. Достоевский и фольклор // Советская этнография. 1934. № 1–2. С. 152–180.
32. Плетнёв Р. В. Земля (Из работы «Природа в творчестве Достоевского») // О Достоевском. Сб. ст. под ред. А. Л. Бема. М.: Русский путь, 2007. С. 152–158.
33. Порфирьев И. Народные духовные стихи и легенды // Православный собеседник. 1869. Ч. 3. С. 54–92, 134–174.
34. Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1873. 312 с.
35. Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях: По рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. 471 с.
36. Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1955. 552 с.
37. Пропп В. Я. Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография русского Севера. Л.: Наука, 1973. С. 190–208.
38. Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М.: Наука, 1976. 330 с.
39. Пропп В. Я. Русская сказка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 335 с.
40. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. М.; Л.: Академия наук СССР. 1937–1959. Т. 8. Романы и повести. Путешествия. 1948. 494 с.
41. Ровинский Д. Русские народные картинки. Кн. III. Притчи и листы духовные. СПб., 1881. 751 с.
42. Рубцова И. Ходатаица спасения рода нашего // Православный Санкт-Петербург. 2020. № 9 (345).
43. Самарин Д. Богородица в русском народном православии // Русская мысль. Кн. 3–6. Март – июнь. М.; Пг., 1918. С. 1–38.
44. Смирнов С. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., 1914. 268 с.
45. Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. Т. 2. М., 1863. 455 с.
46. Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 1. Древняя русская литература. Предисл. А. Н. Пыпина. М.: М. и С. Сабашниковы, 1898. 603 с.
47. Туниманов В. А. Достоевский и Глеб Успенский // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1974. Т. 1. С. 30–57.
48. Уваров Гр. Образ ангела-хранителя с похождениями // Русский архив. М., 1864. Ст. 29–41.
49. Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 8 (Власть земли. Очерки и рассказы. 1882–1883). 647 с.
50. Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 7 (Крестьянин и крестьянский труд. Без определённых занятий и другие произведения. 1880–1882). 547 с.
51. Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991. 185 с.

52. Шевырёв С. История русской словесности. Лекции. Ч. 2. 2-е изд. М., 1860. 432 с.
53. Якушкин П. Русские песни. М., 1860. 89 с.

References

1. Adrianova-Peretz V. P. *Zhitie Alekseya cheloveka Bozhiya v drevnej russkoj literature i narodnoj slovesnosti: Diss.* [The Life of Alexei the Man of God in Ancient Russian Literature and Folk Literature: Diss.] Petrograd: type. Ya. Bashmakov and Co. Publ., 1917. 518 p. (In Russ.)
2. Azadovsky M. K. *Istoriya russkoj fol'kloristiki* [The History of Russian Folklore]. Moscow: Uchpedgiz Publ., 1958. Vol. 1. 479 p. (In Russ.)
3. Aksakov K. S. Heroes of the Time of Grand Duke Vladimir According to Russian Songs. In: Aksakov K. S., Aksakov I. S. *Literaturnaya kritika* [The Literary Criticism]. Moscow: Sovremennik Publ., 1981, pp. 89–139. (In Russ.)
4. Anthony Surozhsky, mitr. *Lyubov' vsepobezhdayushchaya. Propovedi, proiznesyonnye v Rossii* [Love is All-Conquering. Sermons Delivered in Russia]. Moscow: Klin Publ., 2003. (In Russ.)
5. Afanasyev A. N. *Narodnye russkie legendy* [Folk Russian Legends]. Moscow: N. Shchepkin & K. Soldatenkov Publ., 1859. 204 p. (In Russ.)
6. [Afanasyev A. N.] *Narodnye russkie legendy A. N. Afanas'eva* [Folk Russian Legends of A. N. Afanasyev]. Novosibirsk: Nauka Publ., Siberian Branch, 1990. 266 p. (In Russ.)
7. Bessonov P. A. *Kaleki perekhozhie: sbornik stihov i issledovanie P. Bessonova: ch. 1–2* [The Cripples of the Transition: a Collection of Poems and Research by P. Bessonov: ch. 1–2]. Moscow: A. Semen Publ., 1861–1864. Part 1, issue 1. 1861. 268 p. (In Russ.)
8. Bessonov P. A. *Kaleki perekhozhie: sbornik stihov i issledovanie P. Bessonova: ch. 1–2*. [The Cripples of the Transition: a Collection of Poems and Research by P. Bessonov: ch. 1–2]. Moscow: A. Semen Publ., 1861–1864. Part 2, issue 5. 1863. 260 p. (In Russ.)
9. Buslaev F. I. Russian Folk Epos. In: Buslaev F. I. *Istoricheskie ocherki russkoj narodnoj slovesnosti i iskusstva* [Historical Essays of Russian Folk Literature and Art]. St. Petersburg: D. E. Kozhanchikov, 1861. Vol. I, pp. 401–454. (In Russ.)
10. Buslaev F. I. Comparative Study of Folk Life and Poetry. In: *Russkij vestnik* [The Russian Bulletin]. 1873, no. 4, pp. 568–649. (In Russ.)
11. Varentsov V. *Sbornik russkih duhovnyh stihov* [Collection of Russian Spiritual Poems]. St. Petersburg: D. E. Kozhanchikov Publ., 1860. 248 p. (In Russ.)
12. Veselovsky A. N. Experience in the History of the Development of Christian Legend. II. Bertha, Anastasia and Friday. V. Anastasia Week (Domenica — Anastasia) and Friday-Paraskeva. In: *Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya* [The Journal of the Ministry of National Education]. 1877. February, pp. 186–252. (In Russ.)
13. Vetlovskaya V. E. Roman F. M. *Dostoevskogo "Brat'ya Karamazovy"* [Dostoevsky's Novel "The Brothers Karamazov"]. St. Petersburg: Pushkinsky dom Publ., 2007. 636 p. (In Russ.)
14. Vetlovskaya V. E. Folklore Sources of F. M. Dostoevsky's Works: *The Peasant Marei*. In: *Russkij fol'klor. XXXVII. Fol'klorizm v literature i kul'ture: Granicy ponyatiya i sushchnost' yavleniya (Sbornik statej i materialov pamyati A. A. Gorelova)* [The Russian Folklore. XXXVII. Folklore in Literature and Culture: The Boundaries of the Concept and the Essence of the Phenomenon (Collection of Articles and Materials in Memory of A. A. Gorelov)]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya Publ., 2018. pp. 270–288. (In Russ.)
15. Golubev V. P. The Earthly Life of the Bogoroditsa. In: *Bogorodica. Povestvovanie o zemnoj zhizni, rasskazy ob ikonah, molitvy* [Bogoroditsa. A Narrative about Earthly Life, Stories about Icons, Prayers]. St. Petersburg: Shpil Publ., 1997, pp. 5–26. (In Russ.)
16. Gromyko M. M. *Sibirskie znakomye i druž'ya F. M. Dostoevskogo, 1850–1854*. [Siberian Acquaintances and Friends of F. M. Dostoevsky, 1850–1854]. Novosibirsk: Nauka, Siberian Branch, 1985. 168 p. (In Russ.)
17. Zander L. A. *Tajna dobra (Problema dobra v tvorcestve Dostoevskogo)* [The Mystery of Goodness (The Problem of Goodness in Dostoevsky's Work)]. Frankfurt am Main: Posev Publ.,

1960. 154 p. (In Russ.)
18. Ivleva L. M. *Ryazhen'e v russkoj tradicionnoj kul'ture [Mummery in Russian Traditional Culture]*. St. Petersburg: Russian Institute of Art History Publ., 1994. 233 p. (In Russ.)
19. Isaak Sirin. *Izhe vo svyatyh otca nashego avvy Isaaka Sirianina, podvizhnika i otshel'nika, byvshego episkopa hristolyubivogo grada Ninevii, slova podvizhnicheskije [The Ascetic Words of Isaac the Syrian, who is Our Holy Abba, Ascetic and Hermit, Former Bishop of the Christ-Loving City of Nineveh]*. Moscow: V. Gautier Publ., 1858. 656 p. (In Russ.)
20. Kostomarov N. From the Grave Legends. The Legend of the Incestuous. In: *Sovremennik [The Contemporary]*. 1860. Vol. LXXX, section I, pp. 209–228. (In Russ.)
21. Kostomarov N. The Historical Significance of South Russian Folk Songwriting. In: *Beseda [The Conversation]*. 1872, no. 4, pp. 5–68. (In Russ.)
22. Melnikov P. I. (Andrey Pechersky). Essays of the Mordva. In: Melnikov P. I. (Andrey Pechersky). *Polnoe sobranie sochinenij [Complete Collection of Works]*. St. Petersburg; Moscow, 1898. Vol. 12, pp. 1–138. (In Russ.)
23. *Narodnaya proza / Sostavlenie, vstupitel'naya stat'ya, podgotovka tekstov i kommentarii S. A. Azbeleva [Folk Prose. Compilation, Introductory Article, Preparation of Texts and Comments by S. A. Azbelev]*. Moscow: Russkaya kniga Publ., 1992. 605 p. (Library of Russian Folklore; I. 12) (In Russ.)
24. Neizvestnyj V. Ya. *Propp. Drevo zhizni. Dnevnik starosti. Perepiska [Unknown V. Ya. Propp. The Tree of Life. Diary of Old Age. Correspondence]*. St. Petersburg: Aletya Publ., 2002. 480 p. (In Russ.)
25. Nekrasov N. A. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 15 tomah [Complete Collection of Works and Letters: In 15 Vols.]*. Leningrad: Nauka Publ., 1981. Vol. 1. 719 p. (In Russ.)
26. Nikitina S. E. "Spiritual Poems" by G. Fedotov and Russian Spiritual Poems. In: Fedotov G. *Stihi duhovnye (Russkaya narodnaya vera po duhovnym stiham) [Spiritual Poems (Russian Folk Faith in Spiritual Poems)]*. Moscow: Progress, Gnozis Publ., 1991, pp. 137–153. (In Russ.)
27. Nikiforovsky M. *Russkoe yazychestvo. Opyt populyarnogo izlozheniya nauchnyh svedenij o yazycheskoj religii russkih slavyan [Russian Paganism. The Experience of Popular Presentation of Scientific Information about the Pagan Religion of the Russian Slavs]*. St. Petersburg, 1875. 125 p. (In Russ.)
28. *Pamyatniki starinnoj russkoj literatury, izdavaemye grafom Grigoriem Kushelevym-Bezborodko. Lozhnye i otrechennye knigi russkoj stariny, sobrannye A. N. Pypinym. Vyp. 3. [Monuments of Ancient Russian Literature, Published by Count Grigory Kushelev-Bezborodko. False and Abjured Books of Russian Antiquity, Collected by A. N. Pypin. Issue 3]*. St. Petersburg, 1862. 178 p. (In Russ.)
29. *Pamyatniki literatury Drevnej Rusi. XII vek [Monuments of Literature of Ancient Russia. XII Century]*. Moscow: Hudozhestvennaya literatura Publ., 1980. 704 p. (In Russ.)
30. Petrov N. *O proiskhozhdenii i sostave slavyano-russkogo pechatnogo Prologa (inozemnye istochniki) [On the Origin and Composition of the Slavic-Russian Printed Prologue (Foreign Sources)]*. Kiev, 1875. 331 p. (In Russ.)
31. Piksanov N. K. Dostoevsky and Folklore. In: *Sovetskaya etnografiya [The Soviet Ethnography]*. 1934, no. 1–2, pp. 152–180. (In Russ.)
32. Pletnyov R. V. The Earth (From the Work "Nature in the Works of Dostoevsky"). In: *O Dostoevskom. Sbornik statej pod redakciej A. L. Bema [About Dostoevsky. The Collection of Articles Edited by A. L. Boehm]*. Moscow: Russky put' Publ., 2007, pp. 152–158. (In Russ.)
33. Porfiriev I. Folk Spiritual Poems and Legends. In: *Pravoslavnyj sobesednik [The Orthodox Interlocutor]*. 1869. Part 3, pp. 54–92, 134–174. (In Russ.)
34. Porfiriev I. *Apokrificheskie skazaniya o vethozavetnyh licah i sobytijah [The Apocryphal Tales about Old Testament Persons and Events]*. Kazan, 1873. 312 p. (In Russ.)
35. Porfiriev I. Ya. *Apokrificheskie skazaniya o novozavetnyh licah i sobytijah: Po rukopisyam Soloveckij biblioteki [The Apocryphal Tales about New Testament Persons and Events: The According to the Manuscripts of the Solovetsky Library]*. St. Petersburg, 1890. 471 p. (In Russ.)

36. Propp V. Ya. *Russkij geroicheskiy epos [The Russian Heroic Epic]*. Leningrad: Leningrad University Publ., 1955. 552 p. (In Russ.)
37. Propp V. Ya. George's Snake Fighting in the Light of Folklore. In: *Fol'klor i etnografiya russkogo Severa [The Folklore and Ethnography of the Russian North]*. Leningrad: Nauka Publ., 1973, pp. 190–208. (In Russ.)
38. Propp V. Ya. *Fol'klor i dejstvitel'nost'. Izbrannye stat'i [The Folklore and Reality. Selected Articles]*. Moscow: Nauka Publ., 1976. 330 p. (In Russ.)
39. Propp V. Ya. *Russkaya skazka [Russian Fairy Tale]*. Leningrad: LSU Publ., 1984. 335 p. (In Russ.)
40. Pushkin. A. S. *Polnoe sobranie sochinenij: V 17 tomah [Complete Collection of Works: in 17 Volumes]*. Moscow; Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Publ., 1937–1959. Vol. 81. Novels and Novellas. Journeys. 1948. 494 p. (In Russ.)
41. Rovinsky D. *Russkie narodnye kartinki. Kniga III. Pritchi i listy duhovnye [Russian Folk Pictures. Book III. Parables and Spiritual Plates]*. St. Petersburg, 1881. 751 p. (In Russ.)
42. Rubtsova I. The Intercessor for the Salvation of Our Kind. In: *Pravoslavnyj Sankt-Peterburg [The Orthodox St. Petersburg]*. 2020, no. 9 (345). (In Russ.)
43. Samarin D. Bogoroditsa in Russian Folk Orthodoxy. In: *Russkaya mysl' [The Russian Thought]*. Books 3–6. March — June. Moscow; Petrograd, 1918, pp. 1–38. (In Russ.)
44. Smirnov S. *Drevnerusskij duhovnik. Issledovanie po istorii cerkovnogo byta [The Ancient Russian Confessor. A Study on the History of Church Life]*. Moscow, 1914. 268 p. (In Russ.)
45. Tikhonravov N. *Pamyatniki otrenchennoj russkoj literatury [The Monuments of Apocryphal Russian Literature]*. Vol. 2. Moscow, 1863. 455 p. (In Russ.)
46. Tikhonravov N. S. *Sochineniya. Tom 1. Drevnyaya russkaya literatura. Predislovije A. N. Pypina [Writings. Vol. 1. Ancient Russian Literature. Preface by A. N. Pypin]*. Moscow: M.&S. Sabashnikov Publ., 1898. 603 p. (In Russ.)
47. Tunimanov V. A. Dostoevsky and Gleb Uspensky. In: *Dostoevskij. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Research]*. Leningrad: Nauka Publ., 1974. Vol. 1, pp. 30–57. (In Russ.)
48. Uvarov Gr. The Image of the Guardian Angel with Adventures. In: *Russkij arhiv [The Russian Archive]*. Moscow, 1864, columns 29–41. (In Russ.)
49. Uspensky G. I. *Polnoe sobranie sochinenij: V 14 tomah [Complete Collection of Works: in 14 Volumes]*. Moscow: Academy of Sciences of the USSR Publ., 1949. Vol. 8 (The Power of the Earth. Essays and Short Stories. 1882–1883). 647 p. (In Russ.)
50. Uspensky G. I. *Polnoe sobranie sochinenij: V 14 tomah [Complete Collection of Works: in 14 Volumes]*. Moscow: Academy of Sciences of the USSR Publ., 1950. Vol. 7 (Peasant and Peasant Labor. Without Certain Activities and Other Works). 1880–1882). 547 p. (In Russ.)
51. Fedotov G. *Stihi duhovnye (Russkaya narodnaya vera po duhovnym stiham) [Spiritual Poems (Russian Folk Faith in Spiritual Poems)]*. Moscow: Progress, Gnozis Publ., 1991. 185 p. (In Russ.)
52. Shevyrev S. *Istoriya russkoj slovesnosti. Lekcii. Chast' 2. 2-e izdaniye [The History of Russian Literature. Lectures. Part 2. 2nd ed.]*. Moscow, 1860. 432 p. (In Russ.)
53. Yakushkin P. *Russkie pesni [The Russian Songs]*. Moscow, 1860. 89 p. (In Russ.)

К. А. Баршт

«ГЕНЕРАЛ» ИЗ «БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ»: ЛЕГЕНДЫ, ФАКТЫ, ИСТОЧНИКИ

Аннотация. В статье анализируются предпосылки и источник возникновения внесюжетного персонажа романа «Братья Карамазовы», обозначенного в рукописях к произведению и в его окончательном тексте мезонимом «генерал» («Генерал»), а также истории о дворовом мальчике, затравленном собаками по прихоти помещика, любителя псовой охоты. Делается предположение, что основным прототипом этого персонажа может считаться Лев Дмитриевич Измайлов (1764–1834), тульский и рязанский помещик, прославившийся своей жестокостью и неукротимостью нрава. К известным источникам этой истории, отражённым в комментарии к произведению в Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского (статьи в «Русском вестнике» и «Колоколе»), необходимо добавить статьи А. Г. Пупарева и С. Т. Славутинского, в которых содержатся факты, связанные с сюжетом романа «Братья Карамазовы».

Ключевые слова: роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», «Генерал» из романа Ивана Карамазова, Л. Д. Измайлов, очерки С. Г. Славутинского и А. Г. Пупарева.

Информация об авторе: Константин Абрекович Баршт, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург.

E-mail: barsht@mail.ru

Konstantin A. Barsht

“GENERAL” FROM THE BROTHERS KARAMAZOV: LEGENDS, FACTS, SOURCES

Abstract. The article analyzes the prerequisites and the source of the emergence of the off-plot character of the novel *The Brothers Karamazov*, designated in the manuscripts to the work and in its final text by the mezzanine “general” (“General”), as well as the story of a yard boy hunted by dogs at the whim of a landowner, a lover of dog hunting. It is assumed that the main prototype of this character can be considered Lev Dmitrievich Izmailov (1764–1834), a Tula and Ryazan landowner, famous for his cruelty and indomitable temper. To the well-known sources of this story, reflected in the commentary to the work in the Complete Works of F. M. Dostoevsky (articles in *The Russian Bulletin* and *The Bell*), it is necessary to add articles by A. G. Puparev and S. T. Slavutinsky, which contain facts related to the plot of the novel *The Brothers Karamazov*.

Keywords: F. M. Dostoevsky’s novel *The Brothers Karamazov*, “The General” from a story by Ivan Karamazov, L. D. Izmailov, essays by S. G. Slavutinsky and A. G. Puparev.

Information about the author: Konstantin A. Barsht, PhD (Philology), Leading Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences, St. Petersburg.

E-mail: barsht@mail.ru

В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», во время разговора с Алёшей о справедливости и мировом зле, Иван упоминает некоего «генерала», который затравил сворой собак мальчика, бросившего камень в его борзую. Событие, которое названо «очень уж характерным» для «вре-

мени крепостного права», произошло, по его словам, в начале девятнадцатого столетия, о нём герой романа и сам писатель, как указано в тексте произведения, узнали из «сборников наших древностей, в “Архиве”, в “Старине”» (14; 221). В комментарии к этому произведению в 30-томном Полном собрании сочинений Достоевского указано, со ссылкой на Гроссмана [Гроссман, 1922], что речь идёт об историко-литературном сборнике «Русский архив» (1863–1917) и ежемесячном журнале «Русская старина» (1870–1918) и о том, что в библиотеке писателя находились комплекты этого журнала за 1876, 1877 и 1878 г. (15; 554) Какие именно материалы читал в этих изданиях персонаж «Братьев Карамазовых», в комментарии не проясняется. С другой стороны, комментаторами Полного собрания сочинений обнаружена аллюзия на «Воспоминания крепостного», опубликованные в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, где содержится следующий текст:

«Один старый вельможа с ватагой дармоедов переселился в жительство в свою усадьбу и завёл псовую охоту. Раз крестьянский мальчик (у него там было три тысячи душ) зашиб по глупости камешком ногу борзой собаки из барской своры. Барин как увидел, что его Налёт хромает, разгневался: спросил, “кто изувечил собаку?” Псари должны были указать. Привели мальчика, тот сознался. Велено в утро быть готовым к охоте в полном составе. Выехали в поле, около лесу остановились, гончих пустили, борзых держат в сворах. Тут привезли мальчика. Приказано раздеть, и бежать ему нагому по полю, — а вслед за ним со всех свор пустили вдогонку собак: значит, травить его. Только борзые добегают до мальчика, понюхают и не трогают... Подоспела мать, леском обежала и ухватила своё детище в охапку. Её оттащили в деревню и опять пустили собаку. Мать помешалась, в третий день умерла. Говорили, что обо всём узнал император Александр Павлович и повелел судить барина, но тот, сведав, что дело дошло до государя, сам наложил на себя руки»¹.

В комментарии указано также, что подобного рода история была опубликована в «Колоколе» А. И. Герцена (15; 554).

Без ответа остались вопросы: почему в статье «Русского вестника» упомянутый злодей назван «вельможей», а в романе «Братья Карамазовы» — «генералом», и что именно мог вычитать Достоевский из указанных выше «Архива» и «Старины»? Попутно заметим, что и в публикации «Колокола» также ничего не сказано о «генерале». Там приводятся следующие данные:

«Саратовской губернии, в Сердовском уезде, помещик Фёдоров, возвратился с охоты, собаки были спущены со свор; одна из них бросается на 9-летнюю девочку и начинает её кусать; на крик ребёнка прибегает отец; увидя окровавленную, искусанную свою дочь, — он хватает ребёнка на руки и желая защититься от ярости собаки, ударил собаку коромыслом. Псолюбивый барин, услыша визг собаки, вышел на двор и, в свою очередь, справедливо рассвирепел за обиду собаки, принялся за дерзкого раба. Бедняк забылся до того, что в порыве отчаяния оттолкнул псолюба; разумеется, за такую продерзость раба его сковали и ныне ссылают в Сибирь на поселение»².

¹ Щербань Н. В. Воспоминания крепостного 1800–1868. (По подлинной рукописи) Окончание // Русский вестник. 1877. Том 131. Сентябрь. С. 43–44; Гроссман Л. П. Последний роман Достоевского // Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы, т. I. М.: ГИХЛ, 1935. С. 36.

² Колокол. 1860. 15 июня. № 73 и 74. С. 621.

Маркирование специально выработанным мезонимом действующего лица задуманного произведения — характерная примета творческого стиля Достоевского, и формирование этого рабочего имени персонажа никогда не бывало случайным, подчиняясь определённой закономерности, связывающей оним и апеллатив³. В данном случае, по той же модели, по которой «воспитанница» в рукописи романа «Бесы» превращалась в «Воспитанницу», «наездница» в «Наездницу», а затем героини получили свои собственные имена, в рукописи романа «Братья Карамазовы» этот персонаж обозначен нарицательным именем «генерал», переходящим в мезоним «Генерал», но до настоящего имени собственного так и не дошедший, со всей очевидностью из-за излишней строгости со стороны редактора «Русского вестника» Н. А. Любимова. С самого начала работы над произведением Достоевский использовал именно это имя, о чём свидетельствуют записи в черновиках к роману: «Тут весь безудерж наших генералов... и проч.» (15; 212): «А можешь принять? <...> Можешь понять, как мать обнимет генерала и простит ему?» (15; 228); «Генерал. Расстрелять? Да» (15; 229). В своём письме к Н. А. Любимову от 10 мая 1879 г. Достоевский обозначает этим именем целый эпизод романа, не без оснований рассчитывая хорошо быть понятым:

«Всё, что говорится моим героем в посланном Вам тексте, основано на действительности. Все анекдоты о детях случились, были напечатаны в газетах, и я могу указать где, ничего не выдуманно мною. Генерал, затравивший собаками ребёнка, и весь факт — действительное происшествие, было опубликовано нынешней зимой, кажется, в „Архиве“ и перепечатано во многих газетах» (30₂; 64).

Отчитываясь 25 мая 1879 года о переделке, вызвавшей недовольство редактора сцены с затравленным собаками мальчиком, Достоевский снова маркирует её этим именем:

«Насчёт генерала я поправил по Вашему желанию. Действительно, у меня как бы ко всем генералам относилось. Собственно, факт ещё смягчён» (30₂; 46).

Таким образом, ясно, что для писателя, многократно подчёркивавшего связь жестокого убийства ребёнка с неким «Генералом», это имя было принципиально важно, и для этого должны были быть реальные основания.

В поиске ответа на эти вопросы следует отметить несколько характеризующих «генерала» деталей, упомянутых в рассказе Ивана Карамазова: он «со связями большими и богачейший помещик», глубоко уверенный, что его боевые заслуги перед Отечеством столь велики, что он имеет полное право распоряжаться «жизнью и смертью своих подданных». Среди других характерных черт «генерала» — чванство, бесцеремонное третирование «мелких соседей», презрительное обращение с окружающими как с «шутами», огромная псарня «с сотнями собак» и «чуть не сотней псарей». Поток беспримерных жестокостей «генерала» заканчивается, по словам Ивана, тем, что его «кажется, в опеку взяли» (14; 221). Этот характерный набор данных поможет нам в поиске ответа. Кроме того, обратим внимание на то, что сведений

о травле ребёнка собаками нет ни в «Русском архиве», ни в «Русской старине», указанных в комментарии к роману «Братья Карамазовы» в академическом собрании сочинений (15; 221). Однако такого рода материал о жестокостях «генерала-псолуба» содержится в издании Славутинского⁴. Вероятно, эта публикация стала для Достоевского источником информации о «генерале» и основой для формирования соответствующего внесюжетного персонажа «Братьев Карамазовых», на что указывает большое количество совпадений между данными о нём, приведёнными Иваном Карамазовым, и описаниями в публикации Славутинского. Статья в «Древней и новой России» суммирует множество исторических фактов, мифов и преданий, связанных с жизнью одного из крупнейших землевладельцев России, героя Отечественной войны 1812 года, легендарного генерал-лейтенанта Льва Дмитриевича Измайлова (1764–1834), прославившегося своей жестокостью и необузданным нравом. К этому нужно прибавить и небольшую публикацию Пупарева⁵, также о генерале Л. Д. Измайлове, в «Русской старине», упомянутой в романе «Братья Карамазовы». Ценность этого небольшого текста в том, что он явлен в открытой аллюзии в «Братьях Карамазовых», не замеченной комментаторами. Помимо указанных журнальных публикаций, Достоевский мог слышать истории об Измайлове в раннем детстве, особенно в пору летних посещений родительского имения Даровое, находящегося в той же Тульской губернии, что и вотчина легендарного генерал-лейтенанта.

Следует отметить, что в известных нам текстах Достоевского нет упоминания имени Льва Дмитриевича Измайлова; есть упоминания двух его однофамильцев — баснописца А. Е. Измайлова (1779–1831) (19; 39) и участника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. полковника А. Л. Измайлова, самовольно «покинувшего ставку и осевшего в Белграде, где он занимался исключительно распространением рассказов, явно направленных против действий и распоряжений генерала Черняева»⁶ (23; 412). Отказ от письменного упоминания имени человека, внушавшего Достоевскому чувство глубочайшего омерзения, был совершенно нормальным для его стиля мышления и повторялся в творческой практике. Хотя в связи с этим нельзя исключить и недовольство конкретизацией прототипа «генерала» со стороны издателей «Русского вестника», Н. А. Любимова и М. Н. Каткова. Не только среди дворян Тульской губернии, но и по всей Москве ходили легенды о безудержной наглости и жестокости Измайлова, вряд ли они могли миновать семью лекаря больницы для бедных на Божедомке. Прославленный своим характером генерал-солдафон получил и немало литературных отражений в произведениях,

⁴ Славутинский С. Т. Генерал Измайлов и его дворян. (Очерк помещичьего быта первой четверти нынешнего столетия) // Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический иллюстрированный сборник. 1876. № 9. С. 38–50 (гл. I–III); № 10. С. 157–169 (гл. IV и V); № 11. С. 255–282 (гл. VI–X); № 12. С. 349–384 (гл. XI–XVII. Окончание). Далее цитаты приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора и номера страницы в круглых скобках.

⁵ Пупарев А. Г. Лев Измайлов // Русская старина. 1872. Т. 6. Декабрь. С. 649–664. Далее цитаты приводятся в тексте статьи с указанием фамилии автора и номера страницы в круглых скобках.

⁶ Санкт-Петербургские ведомости. 1876. 19 сентября. № 259.

³ См. об этом: [Баршт, 2019].

хорошо известных Достоевскому с юности. В частности, как свидетельствует А. Г. Пупарев, именно реальный факт из биографии Измайлова положил А. С. Грибоедов в известные строки комедии «Горе от ума»:

Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окружённый слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменял борзые три собаки!!!⁷

«Влагая эти слова в речь Чацкого — автор комедии “Горе от ума” направлял их, как рассказывают москвичи-старожилы, — в генерал-лейтенанта Льва Измайлова» (Пупарев: 649). Слухи о богатстве и жестокости генерала Измайлова в обращении с крепостными ходили «четверть столетия», и он как «помещик Зарайского, Михайловского уездов, Рязанской губернии и Епифановского уезда, Тульской, не встречал преграды своему произволу. Только в 1827 г. официально выяснились поведение и домашняя жизнь Измайлова, а также поступки его с подвластными» (Пупарев: 650). Таким образом, сама топография, а не только печатные издания, заставляла семью Достоевских обратить внимание на их буйного соседа, регулярно травившего зайцев, лис и волков на полях ближайшего Зарайского уезда, не считаясь при этом с вытоптанными крестьянскими посевами, своих и соседних земель, а временами натравливавшего свору собак и на людей и особенно буйствовавшего в начале 1830-х гг., времени, когда семья Достоевских бывала в Даровом.

Лев Дмитриевич Измайлов — наследник старинного дворянского рода, вышедшего, по преданию, из Аравии. Родился он в 1764 году в селе Милославском Скопинского уезда Рязанской губернии; его старшая сестра Екатерина была замужем за князем С. Б. Куракиным. На Л. Д. Измайлове род его пресёкся, состояние унаследовал двоюродный племянник Измайлова граф Николай Дмитриевич Толстой. Измайлов начал службу в гвардейском Семёновском полку в возрасте семи лет. Повзрослев, получил чин подполковника и должность командира сначала драгунского (1794), в затем гусарского полка (1797). При Екатерине участвовал в Шведской войне и был пожалован орденом св. Георгия 4 степени. Александр I присвоил ему чин генерал-майора (1801), и он тут же вышел в отставку в возрасте 38 лет, поселившись в своём селе Хитровщина в Тульской губернии.

Во время Отечественной войны 1812 года Измайлов собрал в Рязани полк народного ополчения и сам возглавил его, участвуя во многих сражениях, пройдя с русской армией путь до Гамбурга. Именно за эти заслуги после войны с Наполеоном он получил чин генерал-лейтенанта и осыпанную бриллиантами табакерку с портретом государя. Затем вернулся в Тульскую губернию, именно там развернулась его деятельность по превращению своих крестьян в беспрестанно истязаемых и безвинно убиваемых рабов. Жалобы крестьян дошли до Александра I, который ещё 23 марта 1802 издал рескрипт с предупреждением тульскому губернатору:

«До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов, имеющий в Тульской губернии вотчину, село Хитровщину, ведя распутную и всем порокам отверзтую жизнь, приносит любострастию своему самые постыдные и для крестьян утеснительнейшие жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать, без огласки, и мне с достоверностию донести, без всякого лицепрятия, по долгу совести и чести» (Пупарев: 649).

Итогом рассмотрения было взятие имения Измайлова под опеку (Славутинский: № 12; 382, 383), сам генерал признан находящимся в состоянии «тяжкой болезни», пунктом вторым вердикта указывалось, что он обязан покаяться в церкви, чего он «долго не делал», крестьянам дозволялось ходить в церковь и вступать в брак, чего Измайлов им не дозволял, обвинения в богохульстве с него были сняты «при отсутствии доказательств», вопрос о его лихоимстве решено было продолжить расследовать, ложный донос коллежского регистратора Фёдорова о покушении на жизнь Измайлова со стороны крестьян был оставлен «в сильном подозрении», а мнимых «покушавшихся» решено освободить, приказано было также уничтожить орудия пыток («железные орудия», вероятно, рогатки), которыми Измайлов мучил крестьян и особенно своих непослушных наложниц, и т.д. (Славутинский: № 12; 383–384). После смерти Измайлова в 1834 году (похоронен в селе Дедново (Дединово) Зарайского уезда Рязанской губернии, ныне Луховицкий район Московской области), его жизнь и деяния стали одной из важнейших тем, занимавших общественное внимание. Следует отметить, что большая известность Измайлова в Тульской губернии была связана не только с его «подвигами» как помещика-самодура, но и с тем, что в течение своей жизни он занимал пост губернского предводителя дворянства, а также регулярно устраивал в своих имениях в Тульской и Рязанской губерниях шумные пиры со множеством гостей, организовывал разнообразные «праздники», часто сопровождавшиеся жестокими забавами, из которых самой гуманной была псовая охота.

Среди них, сообщает Славутинский, было хамское обращение

«взбалмошного генерала с высшими административными лицами губернии, дворяне легко сносили его бесцеремонное и, иногда, в высшей степени наглое обращение с некоторыми из мелкотравчатых их собратий, людей необразованных и ничтожных по характеру и нравственным качествам, — и нипочём было им слышать, даже видеть, что, из-за гнева генеральского, либо просто ради одной потехи, такой-то мелкотравчатый был привязан к крылу ветряной мельницы и, после произвольной прогулки по воздуху, снят еле живым, что другой подобный же дворянин был проташен под льдом из проруби в проруб, что такого-то дворянина-соседа зашивали в медвежью шкуру и, в качестве крупного зверя, чуть было совсем не затравили собаками, а такого-то, окунутого в дёготь и затем вывалянного в пуху, водили по окольным деревням с барабанным и со всенародным объявлением о какой-то провинности перед генералом» (Славутинский: № 9; 47–48).

Большой резонанс получил скандал с зарайским земским исправником:

это был «человек бедный, с большим семейством, для прокормления которого он и был избран на эту должность. Причудливый генерал принял исправника ласково, несколько не глумился над ним во время каких-то служебных объяснений (а это глумление

⁷ Грибоедов А. С. Горе от ума. 2 действие, 5 явление, монолог Чацкого.

над чиновниками Измайлов позволял себе постоянно)» и, более того, увидел тощую клячу, запряжённую в его телегу, и решил сделать подарок: «И он велел подать к крыльцу тройку очень хороших лошадей, запряжённую в большие крытые дрожки». Но бедный исправник зачем-то посмотрел коню в зубы. Тогда Измайлов подарил ему дрожки без коня, «предложив запрячься в них самому и так уезжать со двора» (Славутинский: № 9; 46).

Жестокие и весьма изобретательные «шутки», заставляющие вспомнить о стиле поведения Николая Ставрогина в романе «Бесы», были любимым делом Измайлова. Иногда для потехи он дурил целые дворянские сообщества, такова, например, его известная буффонада с ложным «визитом фельдгегера» (Славутинский: № 9; 43–44). В другом случае ехавшая по дороге бричка, в которой сидела знатная дама, пересекла путь своре собак, гнавшейся за зверем во время охоты Измайлова, — жертва, пользуясь случаем, ускользнула, обозлившийся Измайлов высадил даму на дорогу и пропустил свою свору собак через обе двери её брички;

«все охотники и все собаки, бывшие тогда в отъезде поле, прошли через карету, конечно, растревоживши этим донельзя бедную барыню. Она пожаловалась, но никакого удовлетворения не добила. Случай этот так и остался анекдотом, много потешавшим провинцию» (Славутинский: № 11; 262–263).

Осмелившегося выразить своё несогласие с отдачей дочери в гарем Измайлова крестьянин Евдоким Денисов был, вместе со своей женой, жестоко высечен, отчего женщина через некоторое время скончалась, их изба была разобрана по брёвнам, солому с крыши сожгли. Это было наказание за попытку защитить дочь от поругания. Но особые приступы свирепости находили на него во время охоты и в связи со всем, что было связано со здоровьем его собак. Выше уже упоминалась аллюзия на Измайлова в комедии Грибоедова «Горе от ума» — этот случай имел место в 1823 году, когда Измайлов менял своих слуг на собак в пропорции 1 : 1: «помещику Шебякину четырёх дворовых, служивших ему по 30 лет, на четыре борзые собаки (Пупарев: 652), это были люди, которые имели, казалось бы, немалую ценность в его хозяйстве: «камердинер, повар, кучери коню» (Славутинский: № 12; 358). Следует особо отметить, здесь и во многих других случаях, пристрастие Измайлова к использованию собак в его «шутках», это является важной приметой его зловещего юмора.

Скотское обращение с людьми сочеталось в Измайлове с исключительно нежным отношением к собакам: «Охотничьих его собак, борзых и гончих, везли в больших, нарочно для того устроенных, фургонах. Лучшие из этих собак имели особенный костюм: какие-то епанечки на спинах, какие-то шапочки на головах» (Славутинский: № 9; 49). Издевательства псолюба Измайлова над людьми не ограничивались бесконечными порками и рогатками с заключением в каземат без питья и воды, он прибавлял к этому и моральные издевательства, беседы о людях и собаках, унижая первых и возвышая вторых. Славутинский описывает такой случай: «однажды во время обеда, когда камердинер Николай Птицын из своих рук кормил барина, начинавшего уже страдать и хирагрою⁸, — он вдруг спросил Птицына

и тут же прислуживавшего дворового мальчика Льва Хорошевского: “А кто лучше, собака или человек?” — Птицын отвечал, что как же, дескать, можно сравнивать человека с собакою, с бессловесным, неразумным животным; мальчик же, всегда чрезвычайно боявшийся своего барина и совсем растерявшийся от его вопроса, пролепетал, что собака лучше человека. И за это Измайлов подарил мальчику рубль серебряный, а камердинеру Птицыну проткнул было вилкою руку» (Славутинский: № 11; 261). И, конечно, мимо внимания Достоевского при чтении публикации Славутинского не мог пройти эпизод с собакой, которая «ушибла ногу»: «Мальчик дворовый, кормивший щенков, в один и тот же день, был высечен троекратно за то, что одна из его собак ушибла себе ногу» (Славутинский: № 11; 274). Автор отмечает, что псаря у Измайлова были безусловными и полноценными заложниками своих собак, подвергаясь наказаниям

«за нечистоту, за худобу, за какое-либо повреждение их. А во время охоты в отъезжих полях несчастным псарям этим уже и никак нельзя было уберечься от наказаний: Измайлов придирался к самым ничтожным случаям, чтобы распорядиться тут по-своему. Вот, наиболее резкие примеры тому: раз, у мальчика-псарёнка слетел картуз с головы, — и барин пересёк за то поголовно всех бывших с ним тогда на охоте псарей своих» (Славутинский: № 11; 274).

Любовь к собакам доходила у Измайлова до уровня психического расстройства. В его распоряжении (Хитровщинской господской усадьбе) было 673 собаки разных пород, каждая из которых имела персонального псаря, головой отвечавшего за её здоровье, тщательно за ней следившего и питавшегося и жившего намного хуже своей подопечной. Помимо этого, псарни поменьше были во всех других усадьбах Измайлова,

«при Горенской усадьбе, как мне рассказывали, всегда было до трёхсот собак. “Они жили, — говорится в акте, — в хороших домах. Для каждой (собаки) было сделано особое гнездо, которое набивалось всегда свежей соломою. На корм этим собакам выходило ежегодно более тысячи шестисот четвертей овса”» (Славутинский: № 11; 260).

Отсюда понятно, какого уровня ценность представляли для него дворовые люди. Со страшной свирепостью он сёк и бил

«людей своих даже при гостях. Несчастных часто истязали в гостиной, в кабинете, в залах, в самой барской спальне. А когда случалось, что люди эти наказывались не под барскими глазами, то всё-таки иногда их приводили к барину для того, чтобы он мог наглядно удостовериться, достаточно ли они наказаны. И не было меры в истязаниях. У иных после наказаний спины гнили по несколько месяцев, иные, всё оттого же, долго-долго чахли в хитровщинском госпитале, иные умирали преждевременно» (Славутинский: № 11; 273).

Основанием для наказаний были, в основном, какие-то пусть даже незначительные промахи или недостатки, связанные с собаками. До полусмерти могли избить псаря, собаке которого наступила на лапу лошадь: «собака вдруг взвизгнула, и Жуков, Колкунов, Юсов были жестоко наказаны» (Славутинский: № 11; 273–274). Углубившись в историю, можно заметить, что юридические основания для этого и подобных эпизодов создала

⁸ Устаревшее название подагры.

Елизавета Петровна, своими указами лишив крепостных крестьян основных прав и свобод⁹. Это развязало руки помещикам-садистам типа Д. Н. Салтыковой (1730–1801) или Л. Д. Измайлова. Официально разрешалось бить крепостного лишь с одним ограничением — чтобы он не умер в течение 12 часов после этого, но правило это игнорировалось, конечно. При этом Измайлов пытался создавать некое подобие тождественности наказания проступку по принципу «око за око». Показателен случай:

«У Павла Белова борзая собака кашлянула. Измайлов спросил: “Отчего это?” А Белов отвечал: “От волоса и от цепей”. Но Измайлов возразил, что он не приказывал держать борзых собак на цепях. В итоге Белова посадили на цепь — заковали в железную рогатину. <...> Двадцать человек из псарей однажды были все пересечены за недочёт собак по шерстям» (Славутинский: № 11; 274).

Особый изыск в этом непрекращающемся потоке избиений и «рогаток» заключался в участии собак в наказании провинившихся или мнимых провинившихся. Таким образом, травля сворой борзых дворового мальчика, ранившего собаку, не была для Измайлова каким-то непредставимым злодеянием, но легко и логично помещалась в его давно сложившуюся картину мира и весьма специфическую систему ценностей. Вклад Л. Д. Измайлова в отечественную культуру можно назвать, одновременно, и значительным, в роли живого воплощения образа садиста и негодея, и отвратительным, вызвавшим множество откликов и аллюзий в литературных произведениях.

В картотеке Б. Л. Модзалевского, хранящейся в рукописном отделе Пушкинского Дома, помечено, что Л. Д. Измайлов «выведен Пушкиным в “Дубровском” под именем Троекурова». Обратим внимание на изначальную ошибочность представления Измайлова и многих таких же, как он, что заслуги перед Отечеством дают им право на бесчинства. Современники запомнили его не как георгиевского кавалера, но как изувера и садиста, замучившего множество ни в чём не повинных людей. Вероятно, именно широко известная история о том, как Измайлов приказывал протаскивать провинившегося через две проруби, описанная и у Славутинского, получила отражение в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Приехал в отпуск князюшка
И, подгулявши, выкупал
Меня, раба последнего,
Зимой в проруби! Да так чудно!
Две проруби:
В одну опустит в неводе,
В другую мигом вытянет —
И водки поднесёт
[Некрасов: 95].

⁹ В результате ряда указов императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) крепостные крестьяне потеряли статус полноценных членов общества: «их лишили всех прав, даже отстранили от присяги на верность» [Кирповская].

В итоге расследования бесчинств Измайлова строгий выговор за попустительство беззаконию получило губернское правление Тульской и Рязанской губерний: постановление Сената от 7 января 1831 г. было не только разослано в соответствующие ведомства, но и «распубликовано печатно от Сената о сделанном разным учреждениям и лицам строгом выговоре», в частности, это «рязанское губернское правление» и «через печатные сообщения в другие губернские правления» (Славутинский: № 12; 384). Разумеется, и отец Достоевского, владелец имения в Тульской губернии, и члены его семьи не могли не слышать об этих событиях.

Сходный сюжет о затравленном собаками человеке Достоевский мог также встретить в «исторической драме» Д. Л. Мордовцева «Степан Малый», в которой главная героиня Марица жалуется, что её «мужа затравили собаками» [Мордовцев: 238–239]. Следует добавить, что Л. Д. Измайлов послужил прототипом для одного из действующих лиц в повести Мельникова-Печерского «Старые годы» [Мельников-Печерский]. Г. И. Успенский писал об Измайлове как образце помещика, действующего в своём имении строго противоположно своему общественному долгу и собственной экономической выгоде:

«...всякий помещик, если он не был безумным или вырождком, вроде, например, Измайлова и других подобных ему зверей, из личной выгоды должен был поддерживать в своих крестьянах всё, что делает их настоящими крестьянами-землевладельцами» [Успенский: 131–132].

Обстоятельства жизни Измайлова получили также отражение в ряде исторических и мемуарных очерков ([Карабанов], [Степанов, Григорович: 38]). В документальном очерке С. Н. Терпигорева «Псовая охота», действие которого происходит в 1853 году, в качестве обыденного бытового случая описывается травля охотничьими собаками дьякона, осмелившегося противоречить помещику:

« — Там такой зверь сидит у меня — чудо! сказал он. — Волк? — Нет, не волк. — Лисица? — опять спросил я. — И не лисица, и не заяц — дьякон... Я так и уставился на него: — Дьякон? Какой дья... — Мой, здешний... из деревенской церкви — Иван... Третьего дня он глупости говорил, я велел его наказать, а эти дураки его упустили, он убежал в конопляник и до сих пор не выходит оттуда, скрывается там... А мы его вот сейчас возьмём оттуда... Запустишь туда гончих, они его живо нам представят, — говорил он совершенно так же покойно, как если бы шла речь действительно о зайце каком...» [Атава: 26–27].

Среди более поздних отражений ходивших по стране легенд о жестокости любителя собак Л. Д. Измайлова, следует назвать повесть Е. А. Фёдорова «Шадринский гусь» (1937), в которой, правда, история завершается благополучно — собаки, понюхав, не трогают мальчика, что вызывает приступ хохота у помещика, который делает из этого вывод, что даже собакам противно касаться его грязных холопов [Фёдоров]. Следует отметить, что в рассказе об этом случае Славутинского, равно как и в других перечисленных выше источниках аллюзии, нет утверждения, что собаки растерзали мальчика; возможно, интерпретация этой истории Е. А. Фёдоровым содержит отражение свидетельства об истинном завершении этого жестокого спектакля, дошедшего до автора «Шадринского гуся» через неизвестные нам источники.

Можно предположить, что в этом весьма значительном ряду писателей, использовавших недобрую славу Л. Д. Измайлова в своих произведениях, был и Достоевский. Вероятно, измайловский аллегоричный пласт не ограничивается романом «Братья Карамазовы». Не исключено, что отражение его не слишком светлого образа и некоторых свойств жизненного уклада находится и в романе «Идиот». Среди некоторых особенностей уклада жизни Измайлова мемуаристы упоминают его манеру брать к себе «на воспитание» детей из благородных семей. О любострастии Измайлова ходили легенды, и потому мемуарист удивляется:

«Замечательное дело: находились дворяне, которые отдавали детей своих, мальчиков и девочек, в дом Измайлова на воспитание. Правда, нет ни одного показания, из которого можно было бы заключить, что Измайлов с принятыми им на воспитание девочками, по возрасту их, поступал так же, как с своими крепостными девушками...» (Славутинский: № 12; 353),

но подозрение такого рода сохранялось в каждом, кто думал о судьбе этих «воспитанниц». Конечно, у Измайлова был гарем, предназначенный для него самого и его гостей и состоящий из нескольких десятков крепостных девушек. Но современники не были уверены в том, что дело ограничивалось гаремом. Мемуаристом отмечено скверное влияние на этих молодых девиц всей атмосферы дома Измайлова с бесконечными пьяными кутежами:

«сомнительно, чтобы не действовала на таких воспитанниц самым пагубным образом та страшно растленная сфера, в которой они постоянно находились в Измайловском доме. <...> доходило до них многое, что неминуемо должно было иметь вредное влияние в нравственном отношении» (Славутинский, № 12: 353).

О том, каким образом «воспитывал» Измайлов этих детей и подростков, можно догадаться, учитывая, что «в числе лиц, составлявших штат Хитровщинской господской усадьбы, не было вовсе ни губернёров, ни гувернанток, ни простых каких-нибудь учителей» и к тому же особенностью дома генерала Измайлова было, «что в нём нельзя было найти ни одной книжки» (Славутинский: № 12; 353).

«Воспитанницы» Измайлова, вместе с его побочными дочерьми, жили

«точно в тюрьме: на ночь их запирали; днём не смели они никуда выйти, только весною и летом, с особого дозволения Измайлова, выпускали их в сад на недолгую прогулку» (Славутинский: № 12; 354). «Отъезжая в Москву на зимнее житьё, Измайлов брал с собою, обыкновенно, и дочерей и воспитанниц своих», при переездах их возили в «наглухо закрытых фургонах» (Славутинский: № 12; 349).

История детства Настасьи Филипповны Барашковой, от которой пытается освободиться Тоцкий, сватаясь к одной из дочерей генерала Епанчина, имеет некоторое сходство с судьбами «воспитанниц» Л. Д. Измайлова, которые не без труда выдавались замуж с известным преодолением пятна на их репутации. Как и они, Настасья Филипповна является для своего соблазителя источником «невыносимого ужаса» его положения, при том, что он «не может раскаться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец

закоренелый и в себе не властен», однако грядущая жениться требует «всего от её благородного сердца», другими словами, выйдет за кого-нибудь замуж и тем самым окончательно решит эту мучительную для него проблему, хотя сама просьба такого рода с его стороны была бы «нелепа». Далее сюжет развивается в направлении поиска для неё хорошей партии, в роли основного кандидата выступает сын генерала Иволгина Ганя, «молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе». Далее, идущий по руслу, сформированному Тоцким, жизненный путь Настасьи Филипповны приходит к трагическому концу (8; 40–41). Здесь есть тематическая связь, а связь преемственности может быть доказана при получении фактов, свидетельствующих о знакомстве Достоевского с указанными обстоятельствами жизни Измайлова.

Можно заметить, что генерал Измайлов является самым близким по своему характеру «страстной личности», описанной в тетради 1860-х гг. :

«Страстные и бурные порывы, клокотание и вверх и вниз; тяжело носить самого себя (натура сильная, неудержимые, до ощущения сладострастия, порывы лжи (Иван Грозный)), много подлостей и тёмных дел, ребёнок (NB умерщвлён)...» (7; 156).

Измайлову также были свойственны «беспредельные яростные чувства», он обладал по-настоящему «страстной натурой». По Тульской губернии ходили слухи о том, что, повздорив с министром полиции А. Д. Балашёвым (1770–1837), он вырубил на его землях строевой лес и сплавил его в свои владения. Собравшись на ярмарку, он не стал искать гостиницу, но

«приказал своим “казакам”, псарям, конюхам и прочему бывшему с ним люду немедленно очистить от хозяев и постояльцев, буде таковые окажутся, первый приглянувшийся ему купеческий дом, что и было исполнено, несмотря на просьбы и возражения домовладельца. Поместившись в этом завоёванном доме, как в своём собственном, герой мой прожил в нём всё время ярмарки. Впрочем, он щедро, хоть и по своему усмотрению, расплатился с домовладельцем, который и не подумал жаловаться на то, что так, невзначай, был выгнан из собственного дома, причём и пожитки его были выброшены из обеих этажей прямо на улицу» (Славутинский: № 10; 169).

От подобного рода хулиганских поступков Измайлов не отказался и во время пребывания в Германии со своим ополчением во время войны с Наполеоном: он «задавал пиры про целые немецкие города», однажды городское правление устроило для него бал, где он ради шуток подкупил и подпоил музыкантов местного оркестра, и по его команде, вместо того, чтобы играть «они вдруг отложили инструменты в сторону, высунули языки и обеими руками сделали носы изумлённой публике» (Славутинский: № 9; 50). В другом случае, также в Германии, он поджёт «пышно накрахмаленные чепчики» у пожилых дам, расплатившись за нанесённый моральный ущерб «ценными подарками» (Славутинский: № 9; 50).

Основной принцип жизни Измайлова — ничем не ограниченное разнообразие наслаждений, можно сказать, тот самый принцип «всё позволено», который стал в творчестве Достоевского нижней точкой в отсчёте морального состояния человека. Измайлов без раздумий или сомнений делал то, что приносило ему удовольствие, особенно если это касалось унижения или

зверского избиения человека. Это и лукулловы пиры, и развлечения в гареме, и охота, и издевательства над дворовыми людьми — вплоть до детоубийства. И всё это на максимуме эмоционального воодушевления. Фактически, именно такого рода характер описал Достоевский в своей тетради в 1866 году:

«NB. Страстные и бурные порывы. Никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном. Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолима. Многообразие наслаждений и утолений. Совершенное сознание и анализ каждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабевает, потому что основано на потребности самой природы, телосложения. Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностью...» (7; 158).

Некоторые обстоятельства жизни Фёдора Павловича Карамазова в романе «Братья Карамазовы» также заставляют вспомнить об историях, ходивших в русском обществе о жизни Измайлова; подобно Измайлову, старик Карамазов «завёл в доме целый гарем и самое забубённое пьянство» (14; 9).

Вероятно, это далеко не полный список возможных аллегорических отражений личности генерала Л. Д. Измайлова в творчестве Достоевского, который, как и многие его современники, оказался в сфере влияния зловещего символа эпохи крепостного права.

Список литературы

1. Баршт К. А. Об именах собственных в подготовительных материалах к роману Ф. М. Достоевского «Бесы» // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2019. Том 78. № 4. С. 25–36 [Электронный ресурс]. URL: <https://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2021/07/181.-Stranitsy-iz-LiterYA20194.pdf> (21.02.2024).
2. Атава Сергей [Терпигорев С. Н.] Псовая охота. Впечатления раннего возраста // Русское богатство. 1883. № 8. С. 1–31.
3. Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии. М.: Гос. изд-во; Пг.: трест «Петропечать», 1922. 118 с.
4. <Карabanov П. Ф.> Фрейлины русского двора в XVIII и XX столетиях. Биографические списки П. Ф. Карabanова // Русская старина. 1871. Т. IV, июль. С. 59–67.
5. Кирповская Н. С. Сословная политика Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) // Вестник Таганрогского института им. А. П. Чехова. 2016. № 1. С. 258–263. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soslovnaya-politika-elizavety-petrovny-1741-1761-gg/viewer> (21.04.2024).
6. Мельников-Печерский П. И. Старые годы // Полное собрание сочинений П. И. Мельникова (Андрея Печерского): В 7 т. Изд. 2-е. СПб.: Изд. Т-ва А. Ф. Маркс. 1909. Т. 1. С. 81–152.
7. <Мордовцев Д. Л.> Степан Малый. Историческая драма в четырёх действиях. М., 1870. 266 с.
8. Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. Т. 5. Л.: Наука. 1982. 685 с.
9. <Степанов В. С., Григорович Н. И.> В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769–1869). СПб.: Тип. В. Д. Скарятин, 1869. 438 с.
10. Успенский Г. И. Власть земли // Успенский Г. И. Собр. соч.: в 9 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1956. С. 99–202.
11. Фёдоров Е. А. Шадринский гусь: Сатирическая повесть. М.: Правда, 1939. 48 с. (Библиотека «Огонёк», № 71).

References

1. Barsht K. A. On Proper Names in the Preparatory Materials for F. M. Dostoevsky's Novel "Demons". In: *Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya literatury i yazyka [Izvestia of the Russian Academy of Sciences. A Series of Literature and Language]*. 2019, vol. 78, no. 4, pp. 25–36. Available at: <https://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2021/07/181.-Stranitsy-iz-LiterYA20194.pdf> (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)
2. Atava Sergei [Terpigorev S. N.] Dog Hunting. Impressions of an Early Age. In: *Russkoe bogatstvo [The Russian Wealth]*, 1883, no. 8, pp. 1–31. (In Russ.)
3. Grossman L. P. *Seminarij po Dostoevskomu: Materialy, Bibliografiya i komentarii [The Dostoevsky Seminary: Materials, Bibliography and Comments]*. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo; Petrograd: Gosudarstvennyj trest "Petropechat" Publ., 1922. 118 p. (In Russ.)
4. <Karabanov P. F.> Ladies-in-Waiting of the Russian Court in the XVIII and XX Centuries. Biographical Lists of P. F. Karabanov. In: *Russkaya starina [The Russian Antiquity]*, 1871, vol. IV, July, pp. 59–67. (In Russ.)
5. Kirpovskaya N. S. The Estate Policy of Elizabeth Petrovna (1741–1761). In: *Vestnik Taganrogsogo instituta im. A. P. Chekhova [The Bulletin of the Taganrog Institute Named after A. P. Chekhov]*, 2016, no. 1, pp. 258–263. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/soslovnaya-politika-elizavety-petrovny-1741-1761-gg/viewer> (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)
6. Melnikov-Pechersky P. I. Old years. In: *Polnoe sobranie sochinenij P. I. Mel'nikova (Andreya Pecherskogo): V semi tomah. Izdanie vtoroe [The Complete Works of P. I. Melnikov (Andrei Pechersky): In 7 Vols. Ed. 2nd]*. St. Petersburg: Izdatel'stvo Tovarishchestva A. F. Marx Publ., 1909, vol. 1, pp. 81–152. (In Russ.)
7. <Mordovtsev D. L.> *Stepan Malyj. Istoricheskaya drama v chetyryoh dejstviah [Stepan Malyj. Historical Drama in Four Acts]*. Moscow, 1870. 266 p. (In Russ.)
8. Nekrasov N. A. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 15 tomah [Complete Collection of Works and Letters: in 15 Vols.]* Vol. 5. Leningrad: Nauka Publ., 1982. 685 p. (In Russ.)
9. <Stepanov V. S., Grigorovich N. I.> *V pamyat' stoletnego yubileya imperatorskogo Voennogo ordena Svyatogo velikomuchenika i Pobedonosca Georgiya (1769–1869) [In Memory of the Centenary of the Imperial Military Order of the Holy Great Martyr and Victorious George (1769–1869)]*. St. Petersburg: Tipografiya V. D. Skaryatina Publ., 1869. 438 p. (In Russ.)
10. Uspenskij G. I. The Power of the Earth. In: *Uspenskij G. I. Sobranie sochinenij: V 9 tomah [Collected Works: In 9 Volumes]*. Vol. 5. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury Publ., 1956, pp. 99–202. (In Russ.)
11. Fyodorov E. A. *Shadrinskij gus': Satiricheskaya povest' [Shadrinsky Goose: A Satirical Story]*. Moscow: Pravda Publ., 1939. 48 p. (Библиотека «Огонёк», № 71). (In Russ.)

М. А. Дубова

РАССКАЗ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ЧЕСТНЫЙ ВОР» В РЕЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Аннотация. В статье анализируется рецепция рассказа Ф. М. Достоевского «Честный вор» читателем XXI века. На основе ответов респондентов на вопросы разработанной автором статьи анкеты, акцентирующей внимание на первоначальном восприятии текста, оценке образной системы произведения, проблематике и её актуальности сегодня, систематизируется опыт прочтения рассказа современными студентами. Предлагаемый формат работы рассматривается как один из путей формирования читательского интереса и читательской культуры студента педагогического вуза.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, рассказ «Честный вор», рецепция, современный читатель.

Информация об авторе: Марина Анатольевна Дубова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, Государственный социально-гуманитарный университет, Московская область, г. Коломна.

E-mail: dubovama@rambler.ru

Marina A. Dubova

THE STORY OF F. M. DOSTOEVSKY *THE HONEST THIEF* IN THE RECEPTION OF A MODERN READER

Abstract. The article analyzes the reception of F. M. Dostoevsky's *Honest Thief* reader of the XXI century. Based on the respondents' answers to the questions of the questionnaire developed by the author of the article, which focuses on the initial perception of the text, the assessment of the figurative system of the work, the problems and its relevance today, the experience of reading the story by modern students is systematized. The proposed format of the work is considered as one of the ways to form the reader's interest and reader's culture of a student of a pedagogical university.

Keywords: F. M. Dostoevsky, *The Honest Thief*, reception, modern reader.

Information about the author: Marina A. Dubova, PhD (Philology), Professor, Department of Russian Language and Literature, State Social and Humanitarian University, Moscow Region, Kolomna.

E-mail: dubovama@rambler.ru

Русская классическая литература составляет, вне всякого сомнения, основной корпус отечественной и зарубежной культуры. С годами её произведения не теряют своей значимости, а, наоборот, их «прочтение» углубляется и расширяется приращениями смысла с учётом новых историко-культурных реалий, при условии, что эти реалии не становятся доминирующими и не затмевают тот историко-культурный контекст, в котором создавалось произведение.

Цель данной статьи состоит в анализе прочтений рассказа Достоевского «Честный вор» современными читателями — студентами Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна).

Небольшой по объёму рассказ «Честный вор» вместе с рассказом «Отставной», по замыслу писателя, должен был войти в цикл, состоящий из трёх

произведений, под единым заглавием «Рассказы бывалого человека» и был опубликован в «Отечественных записках» в 1848 году. Почти два столетия прошло со времени публикации этого произведения, которое до сих пор привлекает внимание как исследователей, так и читателей. И возникает вопрос, в чём загадка писательского таланта, позволяющего его произведениям оставаться интересными читателю эпохи стремительной цифровизации и глобализации: экзотичность, стилизация, лингвистические эксперименты или же вечные сюжеты и мотивы, которые неподвластны времени, которые составляют основу нашего национального менталитета, а также русской концептосферы как компонента национальной картины мира.

Наш читательский интерес связан с образом центрального героя произведения Емели, Емельяна Ильича, Емельянушки (обратим внимание на авторские номинации персонажа, свидетельствующие об изменении отношения к нему и оценок его поступков и жизни в целом со стороны Астафия Иваныча), который, как это ни парадоксально звучит, и есть «честный вор». Именно рассказ о его жизни и составляет основу повествования:

«... вор вору розь... <...> попал я и на честного вора. <...> Какой же вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл» (2; 84).

Интересна оговорка Астафия Иваныча «честный вор» или всё-таки «честный, кажется, человек был», или же это не оговорка, а авторская подсказка к раскрытию сложности и неоднозначности образа Емели, семантика имени которого в переводе с латинского обозначает «соперник», «участник соревнования», а с греческого — «льстивый»? И снова подчёркивается неоднозначность, двойственность образа персонажа, продолжающая реализацию принципа, положенного в основу названия рассказа «Честный вор», совмещающего слова со взаимоисключающей семантикой, что сразу же создаёт интригу и желание проникнуть в суть содержания произведения, «семантический радиус заглавия просвечивает читателю текст рассказа в непривычном ракурсе» [Дубова, Ларина: 73]. Справедливости ради напомним, что ещё В. Б. Шкловский отметил оксюморонность заглавия рассказа: «Название одной из повестей Ф. Достоевского “Честный вор” есть несомненный оксюморон, но и содержание этой повести есть такой же оксюморон, развёрнутый в сюжет» [Шкловский: 171].

Заглавие произведения проецируется на образ главного героя Емели — бездомного, безнадёжного пьяницы, бесприютного и абсолютно не устроенного в жизни человека:

«Пьянчужка такой, потаскун, тунядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный! <...> мозгляк такой!» (2; 85),

а с другой стороны —

«Да не буйан; характером смирен, такой ласковый, добрый, и не просит, всё совестится <...>. И бессловесный такой <...> как собачонка в глаза тебе смотрит» (2; 85).

И как относиться к подобному человеку? Как осознать истинные мотивы его поступков, причины образа жизни, который он ведёт? А ведь именно

с ним связаны «основные лейтмотивы рассказа: сиротства, блудного сына, покаяния» [Зыховская: 8]. Зародившись в произведениях 40-х годов XIX в., они станут сквозными в зрелом творчестве писателя и его крупных, известных всему миру романах. Тип созданного Достоевским героя и связанные с ним лейтмотивы отсылают читателя к основам религиозного мировосприятия самого автора и к христианской вере русского народа, извечно проявляющего жалость и сострадание к людям подобной судьбы. Хотя, если быть до конца точным, в нашем обществе до сих пор не установилось однозначное отношение к подобным людям: осуждать их или жалеть, подвергать критике или протягивать руку помощи? Как бы то ни было, сам автор подсказывает нам, современным читателям, что в постижении сути характера его героя наибольший интерес вызывает содержание концептуальной лексемы «судьба», которую В. А. Маслова справедливо определяет как «важнейшую категорию сознания, с помощью которой строится концептуальная картина мира народа. <...> Своя судьба есть у всего: у людей, вещей, событий. <...> Судьба — это божественно установленные сущность и будущность <...> каждого человека, но это сверхразумная сущность, в религиозном сознании — это Бог» [Маслова: 231]. Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова, семантическая структура лексемы «судьба» —

1. стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий;
2. доля, участь;
3. история существования кого-чего (н.);
4. будущее, то, что случится, произойдёт [Ожегов: 676] —

помогает нам понять, как в образе одного человека вполне органично соединяются «абсолютная неприютность и неустроенность в мире, наивная и детская открытость, близкая к юродству, и покаяние за содеянный грех» [Загидуллина: 162].

«В концепте “судьба” соединены две ключевые идеи русской культуры: идея непредсказуемости будущего и неконтролируемости происходящих с человеком событий» [Маслова: 233], что ярко демонстрирует финал произведения, где рассказчику, несмотря на все его благие намерения и усилия, не удастся наставить Емелю на истинный путь, однако в умирающем Емельянушке Астафию Ивановичу удастся увидеть Божье в человеке, который прожил безбожную жизнь:

«У меня, сударь, сердце по нём, забулдыге, разрывается: точно это я сына родного хороню. <...> — Рейтузы-то ... энтого ... это я их взял у вас тогда ... Астафий Иваныч... — Ну, Господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром... А у самого, сударь, дух захватило и слёзы из глаз посыпались...» (2; 93–94).

Таким образом, один из универсальных концептов «судьба», являющийся важным компонентом концептосферы русской культуры и национальной модели мира, объединяет в прочтении рассказа «Честный вор» разные поколения русских читателей, воспитанных на чувстве сострадания и помощи юродивым, к числу которых в итоге можно причислить и Емелю.

Невозможно не признать, что с годами, вследствие изменения историко-культурных эпох и экономических реалий, в условиях которых формируется новый тип читателя, с системой ценностей, отличной от современной писателю, меняется и рецепция его произведений. Именно этот процесс и определил объект нашего научного интереса, который составляет анализ рецепции рассказа «Честный вор» читателем XXI века. С этой целью студентам Государственного социально-гуманитарного университета (разных факультетов) была предложена анкета, состоящая из пяти вопросов:

1. Как Вы оцениваете содержание рассказа? Ответ обоснуйте (3–5 предложений).
2. Как Вы оцениваете образ Емельяна? Ответ обоснуйте (3–5 предложений).
3. Что больше всего заинтересовало Вас в рассказе? Почему? Ответ обоснуйте (3–5 предложений).
4. Сформулируйте проблему (проблемы), поднятую(ые) в рассказе. Актуальны ли они, на Ваш взгляд, в современном обществе?
5. Изменил ли этот рассказ Ваше отношение к людям? Ответ обоснуйте (3–5 предложений).

В исследовании принимало участие 172 респондента, которым было предложено прочитать рассказ Достоевского и ответить на вопросы анкеты.

Формулировка первого вопроса была продиктована желанием узнать общее впечатление реципиентов о прочитанном, так сказать, понять их первоначальное восприятие текста. К сожалению, анализ собранного материала показал, что студенты отдают предпочтение однословным ответам: интересно — неинтересно, понравился — не понравился, скучно, непонятно и т. п., избегая обоснованных развёрнутых письменных высказываний. Обработав полученные результаты, мы выявили ключевые из них и объединили в одну группу близкие, частично синонимичные ответы. Этого принципа мы придерживались при анализе ответов на все вопросы. Обобщение полученных на первый вопрос анкеты ответов представлено в *Таблице 1*.

Таблица 1

Рассказ произвёл неизгладимое впечатление, очень понравился, читался на одном дыхании	Понравился	Интересно	Неинтересно	Не понравился	Скучно читать	Трудно читать, непонятно написано	Вызвал противоречивые чувства
10	55	87	6	26	3	22	1

Сразу отметим, что в эксперименте участвовало 172 человека, но суммарное количество ответов в *Таблице 1* больше — их 210. Откуда появилась такая разница? Поясним, что некоторые опрашиваемые оценивали содержание рассказа двумя словами, например, «понравился» и «интересный», не различая семантических нюансов этих слов. Попробуем прокомментировать этот момент, тем более что у некоторых студентов слова «понравился» и «интересно» стоят рядом, то есть синонимизируются, а у некоторых эти качественные характеристики противопоставляются — «не понравился», но интересно.

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, «нравиться (понравиться)» — значит «быть по вкусу, располагать к себе» [Ожегов: 360], а «интересный» — «возбуждающий интерес, занимательный, любопытный» [Ожегов: 216]. Как мы видим, это слова с близкой, но не дублирующей семантикой, то есть они не являются синонимами при оценке художественного произведения.

Если мы систематизируем данные первой таблицы в процентном соотношении (по принципу убывания), то получим следующую статистику:

Таблица 2

№	Оценка	Количество ответов	В процентном соотношении
1.	Рассказ интересный	87	41,4 %
2.	Рассказ понравился	55	26,2%
3.	Рассказ не понравился	26	12,4%
4.	Рассказ трудно читался и был непонятен	22	10,5%
5.	Рассказ произвёл неизгладимое впечатление, читался на одном дыхании	10	4,8%
6.	Рассказ неинтересный	6	2,8 %
7.	Рассказ трудно читался	3	1,4%
8.	Рассказ вызвал противоречивые чувства	1	0,5%

Подытоживая данные двух таблиц, мы можем с полной уверенностью утверждать, что оценка рассказа была преимущественно положительной: 152 человека, что составляет 72,4% от общего количества анкетированных, несмотря на высказываемые критические замечания, оценили рассказ как понравившийся.

Проанализируем, опираясь на ответы студентов, чем же понравился и был интересен рассказ:

Таблица 3

№	Ответ	Количество ответивших	В процентном соотношении
1.	Изображённые типы героев, их характеры	21	12,21%
2.	Динамичный сюжет, в котором интрига держит до самого финала и хочется узнать развязку.	20	11,63%
3.	Воспитывает гуманное, сострадательное отношение к людям, чувство помощи человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации	17	9,88%
4.	Автор поднимает и осмысливает актуальные и сегодня проблемы алкоголизма, сострадания, честности, нравственности	15	8,72%
5.	Привлекает сложный язык, обилие устаревших слов и возможность разобраться в их значении	8	4,65%

6.	Возможность пережить сильные эмоции	6	3,49%
7.	Поучительный рассказ	6	3,49%
8.	Интересен образ Астафия, его жизненная позиция многому учит	5	2,91%
9.	Простое содержание, легко читается	5	2,91%
10.	Стиль написания доступен для понимания	5	2,91%
11.	Заставляет задуматься над проблемой исправления	5	2,91%
12.	Композиционный приём «рассказ в рассказе» оживляет повествование, делает его более динамичным	4	2,33%
13.	Чувствуешь себя сопричастным событиям, окунаешься в среду, описанную в рассказе	3	1,74%
14.	Глубина философских проблем	3	1,74%
15.	Учит отвечать за свои поступки, воспитывает чувство ответственности.	3	1,74%
16.	Обличает человеческие пороки	3	1,74%
17.	Психологизм	3	1,74%
18.	Поднятая в рассказе тема	2	1,16%
19.	Некоторая недосказанность и незавершённость сюжета	2	1,16%
20.	Глубина проблематики	2	1,16%
21.	Нетипичный для современного общества взгляд на маргинальную личность	2	1,16%

Подытоживая анализ ответов, нельзя не отметить, что 140 студентов из 172 нашли и обосновали причины положительной оценки рассказа, проявив интерес к типам и характерам двух центральных героев, особенностям развития сюжетной линии, держащей до финала интригу, а читателя заставляющего до конца прочитать текст, чтобы узнать развязку. Не менее значимым, показательным моментом считаем актуальность проблематики произведения и испытываемых при его прочтении чувств жалости, сострадания, взаимопомощи, так характерных для носителя русского менталитета. Одним словом, несмотря на время, отделяющее написание произведения от сегодняшних дней, проблемы, поднятые автором, до сих пор вызывают интерес и не оставляют читателей равнодушными. Подчеркнём, что наибольшее количество ответов было связано с первыми четырьмя пунктами:

- типами и характерами героев;
- сюжетом произведения;
- гуманным отношением к людям, нуждающимся в помощи;
- осмыслением актуальных в контексте современности проблем: сострадания, честности и т. д.

Теперь проанализируем причины, помешавшие читателям дать высокую оценку рассказу. Несмотря на то, что в численном отношении их гораздо меньше (всего 32 студента критически оценили произведение), они присутствуют.

Таблица 4

№	Ответ	Количество ответивших	В процентном соотношении
1.	Сложный язык, обилие устаревших слов, трудно читать	13	7,57%
2.	Непонятный текст, сложное содержание	6	3,49%
3.	Много «воды», ненужных подробностей	4	2,33%
4.	Изображена типичная ситуация, избитый сюжет	4	2,33%
5.	Нет захватывающих эпизодов, описана небогатая жизнь, а хочется красоты и счастья	2	1,16%
6.	Скучно и монотонно читается	2	1,16%
7.	Герои ведут себя по-библейски	1	0,58%

Анализ полученных ответов даёт нам основание сделать вывод о целевых установках, с которыми читался текст, о читательских предпочтениях и уровне читательской культуры реципиентов. Все перечисленные причины неприятия рассказа, к сожалению, вызваны низким уровнем читательской грамотности и читательской культуры. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что большинству читавших рассказ не понравился из-за «сложного» языка и большого количества устаревших, а значит, непонятных слов.

Проанализируем ответы на второй вопрос, посвящённый оценке образа Емельяна. Ответы были сгруппированы по принципу сходства и перекличек оценок, а также сделанных на их основе выводов. Данные в разных колонках характеристики могут показаться схожими, однако читатели, давая эти ответы, различают их.

Таблица 5

№	Ответ	Количество ответивших	В процентном соотношении
1.	Вызывает противоречивые чувства: презрение и жалость, неприязнь и восхищение, когда в финале рассказа герой признаётся в воровстве. С одной стороны, туеядец, выгнанный с работы за пьянство, а с другой — честный человек, с не прогнившей до конца душой. Неоднозначный, противоречивый, сложный образ, одновременно вызывает сочувствие и неприязнь, жалость и отвращение.	35	20,35%
2.	Честный и слабый, добрый и совестливый, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Человек с непростой судьбой, достоин сострадания. Заблудший, потерявший, наивный и неустроенный человек, по-детски открытый.	50	29,06%

3.	Одинокий и глубоко несчастный человек, осознающий свою проблему и сознательно губящий себя. Ему уже нечего терять, и он пускает жизнь на самотёк, так как утратил смысл жизни. Трагический образ.	21	12,2%
4.	Бездельник, пьяница, лентяй, падший человек, глупый и лживый, производит отталкивающее впечатление. Он не хочет и не умеет бороться за свою жизнь.	14	8,14%
5.	Вызывает массу негативных эмоций. Был шанс исправиться, но он его упустил. Не вызывает никаких положительных чувств. Чтобы выпить, способен на всё.	13	7,56%
6.	Слабовольность и слабохарактерность героя вызывают преимущественно негативные чувства, чем сострадание.	9	5,23%
7.	Не верит в возможность поменять жизнь в силу слабохарактерности, слабоволия и жалости к себе. Выход для него один — пьянство.	8	4,65%
8.	Поступок Емельяна в финале произведения, несмотря ни на что, заслуживает уважения.	8	4,65%
9.	На первый взгляд, несчастный человек, убогий пьяница. Однако финал произведения показывает, что он не совсем пропащий человек, окончательно потерявший чувство собственного достоинства. Человек, потерявший всё, яростно пытается не потерять в себе человека.	6	3,49%
10.	Человек сам творит свою судьбу. Емельян выбрал такую.	4	2,34%
11.	Образ Емельяна оцениваю нейтрально.	2	1,16%
12.	Интересный образ. Ассоциация с героем народной сказки «По щучьему велению...». Обоих героев зовут Емельями, и это сближает черты характера.	2	1,16%

В образе Емели большинством опрошенных подчёркивается двойственность и противоречивость, которые В. Б. Шкловский называл термином «оксюморонность» и считал определяющей характеристикой этого персонажа. Приятно радуется тот факт, что большинством студентов эта черта была отмечена в плоскости жизненных ценностей и характера героя. Реципиенты выявляют непримиримое столкновение в образе Емельяна таких черт характера, как слабохарактерность, безволие, убогость, называя его пропащим и падшим человеком, туеядцем, вором. Но это с одной стороны. С другой же — читатели отмечают совестливость, скромность, честность, доброту, неумение приспособиться в жизни. Как следствие, плывёт человек по течению, спивается и не видит никакого выхода из своей пропащей жизни, не предпринимает никаких попыток выбраться из тех условий, в которых оказался. Всё это так! А как же признание в краже, свидетельствующее о попытках не потерять в себе до конца человека? Даже перечисленных характеристик

персонажа достаточно, чтобы признать, насколько неоднозначен и сложен для понимания этот образ, а значит — и отношение к нему

Спектр негативных оценок образа Емели, данных студентами, очень широк: от нахлебника, тунеядца, лентяя, пьяницы до бездельника, вечно пьяного, манипулятора; от оценочного глагола «не понравился» до «вызывает неприязнь» и «полный негатив», «отвращение». Но не меньший ряд составляют определения с положительными коннотациями, приведённые нами выше. По сути, понимание неоднозначности, противоречивости образа в той или иной степени присутствует практически во всех ответах, что свидетельствует о неповерхностном прочтении текста, стремлении постичь его скрытый смысл. Некоторые сразу начинают характеризовать персонаж с признания его неоднозначности, другие же, обращаясь к отрицательным или положительным чертам характера, в итоге приходят к тому же: однозначно плохим или хорошим назвать Емельяна нельзя.

Проанализируем ответы на третий вопрос анкеты: «Что больше всего и почему заинтересовало в рассказе?»

Таблица 6

№	Ответ	Количество ответивших	В процентном соотношении
1.	Образ Астафия: его характер, смирение и терпение, жалость и всепрощение, необыкновенное человеколюбие, переживание за Емелю как за самого себя. Винит себя за произошедшее с Емелей. Вызывает глубокое уважение.	56	32,56%
2.	Эпизод про рейтузы. Его развязка держала в напряжении до конца рассказа. Хотелось узнать, признается ли Емеля или нет? Финал показал своеобразное противостояние героев и оказался довольно неожиданным. Интересно было наблюдать, как маленькими шажками приближался Емеля к осмыслению своего поступка и раскаянию. Раскаяние Емели произвело сильное впечатление. Финал необычен.	31	18,02%
3.	Образ Емельяна: душевное распутье, на котором он находится, душевная борьба, попытки, пусть и слабые, встать на путь исправления. Нашёл в себе силы перед смертью признаться в воровстве, что, безусловно, достойно уважения.	26	15,12%
4.	Образы Астафия и Емельяна в развитии их взаимоотношений по ходу сюжета, как они влияют друг на друга. Характеры героев приближены к реальным, подобные типы можно найти и в современном обществе.	20	11,63%
5.	Скучно, тема пьянства и бродяг не вызывает никакого интереса, нет к ним сочувствия, примитивный сюжет с предсказуемым финалом, никаких ярких чувств и эмоций.	9	5,23%

6.	Проблема пьянства и потерянных людей.	7	4,07%
7.	Речевые особенности: обилие устаревших слов и оборотов, яркая, образная, необычная манера повествования, оживляют повествование диалоги.	4	2,33%
8.	Проблема сострадания и гуманизма. Гуманизм способен в ответ породить совестливые поступки.	4	2,33%
9.	Эпизод с воровством бекешки.	4	2,33%
10.	Образ рассказчика и способы выражения его позиции.	3	1,74%
11.	Проблема «жить по совести».	2	1,16%
12.	Интерес вызвало заглавие рассказа, и по ходу развития сюжета я ждал ответа на него.	2	1,16%
13.	Нельзя изменить человека против его желания.	1	0,58%
14.	Проблема доверия.	1	0,58%
15.	Воровство у ближних.	1	0,58%
16.	Исследование жизни человеческой.	1	0,58%

Как видно из таблицы, ответы респондентов касаются самых разных сторон художественного текста: и системы персонажей, и развития сюжетной линии, и особенностей финала, и проблематики произведения, и структуры повествования, и образа рассказчика, и авторской позиции, и семантики заглавия. Всё-таки большинство читающих нашло для себя в рассказе интересные места, хотя были и такие, кто честно ответил, что читать было скучно, никаких ярких эмоций рассказ не вызвал, сюжет прост, а финал предсказуем. Но, думается, так ответили люди, формально подошедшие к анкетированию и не настроившиеся на серьёзное прочтение рассказа (а, как известно, тексты Достоевского независимо от своего объёма требуют именно такого).

Как показывает статистика, наибольший интерес вызвал образ Астафия Ивановича. Какие только разнообразие оценки его поведению, характеру, жизненной позиции, взаимоотношениям с Емельяном не давали студенты! Но все они были едины в одном: этот человек, бывший отставной военный, имеющий твёрдый стержень, обладает необыкновенным чувством сострадания и милосердия к ближнему, что часто непонятно современному читателю и заставляет его задуматься, проецируя ситуацию, описанную Достоевским, на нашу действительность. Не меньший интерес вызвал и образ Емели, на первый взгляд, никчёмного человека, горького пьяницы, «наглого лжеца», «хорошего актёра», как его называли разные читатели, но, как отметили респонденты, далеко не такого простого, как кажется на первый взгляд (об этом речь шла выше). Многие с интересом следили по ходу развития сюжета за поведением Емели и его объяснениями своей жизни в надежде увидеть его исправление. И в каком-то смысле признание в краже стало свидетельством победы в герое светлого начала, он «остался человеком и был честным, прежде всего, с самим собой». Но всё же этот ответ на втором месте. Как мы видим,

внимание многих привлекла сюжетная линия произведения и заложенная в её основу интрига, которая до финала держала читателей в состоянии напряжения: так хотелось узнать, оправдаются ли их ожидания или нет. На четвёртом месте по статистике — ответы о взаимоотношениях двух героев, столь разных, на первый взгляд, но, как это ни парадоксально звучит, обрётших необходимость друг в друге. Остальные ответы имеют единичный характер, но, несомненно, также заслуживают внимания в силу индивидуальности читательского подхода к произведению. В целом весь интерес после прочтения рассказа можно свести к двум вопросам «Зачем Астафий взял к себе Емельяна?» и «Признается ли Емельян в краже?». Все остальные ответы содержатся между двумя этими полюсами.

Ответы на четвёртый вопрос «Актуальна ли поднятая в рассказе проблема отношения к людям, подобным Емельяну?» распределились так, как представлено в *Таблице 7*. В вопросе заведомо отсутствуют номинации и характеристики Емельяна, что продиктовано стремлением автора анкеты получить эти определения от респондентов, что, в общем-то, и произошло.

Таблица 7

№	Ответ	Количество ответивших	В процентном соотношении
1.	Автор поднимает актуальную проблему алкоголизма, «пьющие тунеядцы» будут всегда, пока общество не изменит отношение к ним. Но большинству, особенно в наше время, до них нет никакого дела. Они вызывают отвращение и брезгливость, желание отравить их на принудительное лечение. Нахлебников никто никогда не любил, таких людей не жалеют, их презирают.	58	33,72%
2.	Актуальная сегодня проблема помощи ближнему, сострадания к человеческой беде, которого не хватает в современном обществе, тогда как подобные Емельяну, «опустившиеся» в силу разных причин люди нуждаются в помощи и поддержке. Актуальна проблема жалости и сопереживания ближним, призывающая нас «жить по совести».	23	13,37%
3.	В нашем мире не знаешь, как быть в подобной ситуации: можешь — предадут, не можешь — заест совесть. Современный мир суров и циничен, в нём много жестокости и безразличия. В нём каждый за себя. И человек скорее пройдёт мимо, чем окажет помощь. Трудно ответить, как правильнее: пожалеть или нет?	22	12,79%
4.	Скорее актуален вопрос не относительно Емельяна, а относительно Астафия Ивановича. Много ли на свете найдётся людей, готовых, как и он, на бескорыстную помощь постороннему человеку?	21	12,21%
5.	Проблема отношения к маленькому, несчастному, бесполезному человеку, который страдает, но не может сам справиться со своими проблемами.	12	6,97%

6.	Есть всегда шанс признаться и исправиться, но только человек должен захотеть сделать это, захотеть измениться. Нужно уметь признавать свою вину и отвечать за свои ошибки. Исправление нужно начинать с себя.	12	6,97%
7.	Нельзя позволять другим манипулировать тобой, всегда найдутся люди, готовые тебя «подставить», «кинуть», сесть на шею, ведь, кто везёт, на том и едут.	11	6,4%
8.	Проблема актуальна, так как всегда будут люди со сложными судьбами. И помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, нужно. Тогда человек может измениться в лучшую сторону.	6	3,49%
9.	Человек не всегда отвечает добром на добро, а часто, наоборот, злом.	5	2,91%
10.	Воры будут всегда, и они заслуживают осуждения.	2	1,16%

В колонке ответов нами представлены развёрнутые характеристики из анализируемых работ и даже близкие по оценке того или иного явления цитаты из анкет. Какие же выводы мы можем сделать, обработав и проанализировав ответы? Во-первых, формулировка вопроса позволила увидеть, какими определениями наделяют студенты Емельяна (причём нам важно было отметить, что героя респонденты называют Емеля, Емельян, но никто не назвал его уменьшительно-ласкательной формой Емельянушка, как называет в тексте Астафий Иванович, ведь уже одна эта номинация без всяких комментариев раскрывает отношение к персонажу): **«пьющий тунеядец», «нахлебник», «опустившийся», «маленький, несчастный, бесполезный человек»**. Это оценка современного читателя. Причём нельзя не отметить ещё один момент: анализ представленных ответов продемонстрировал, что читатели стремятся дать оценку изображённому в рассказе не с позиций морально-этических норм, действующих в современном Достоевскому обществе, а перенося события и героев в нашу действительность. Ещё больше убедит нас в этом утверждение анализ ответов на последний вопрос анкеты. Но, прежде чем перейти к нему, всё-таки хотелось бы прокомментировать, какие поднятые писателем проблемы современные читатели считают актуальными до сих пор? На первый взгляд, по представленным в таблице статистическим данным кажется, что это проблема алкоголизма: её обозначили почти 34% респондентов. Но это поверхностный взгляд, если мы внимательно вчитаемся в ответы, расположенные ниже, то увидим, что всё-таки на первом месте стоит проблема милосердия, сострадания, помощи ближнему, жизни «по совести», наконец, проблема жестокости и цинизма современного мира. И, безусловно, не может не радовать, что современные студенты остро чувствуют нравственные проблемы, поднятые автором, и правильно их оценивают.

Наконец, проанализируем ответы на последний, пятый, вопрос: «Изменило ли ваше отношение к жизни прочтение данного рассказа?»

Таблица 8

№	Ответ	Количество ответивших	В процентном соотношении
1.	Рассказ заставил задуматься, всегда ли правильно я веду себя. Нельзя презирать людей за их внешний вид и поступки, нужно с пониманием относиться к чужому горю, быть добрее, желаннее, милосерднее, и добро вернётся к тебе самому. Не судите, да не судимы будете. Рассказ помог мне разобраться в причинах поступков людей, мотивах, которые ими движут.	70	40,7%
2.	Рассказ ничего не изменил в моем отношении к людям. Я всегда знал, что есть люди хорошие, плохие, слабые, сильные, способные оступиться. Все люди разные.	37	21,51%
3.	Каждый имеет право на второй шанс, даже самый пропавший человек имеет право на прощение и раскаяние.	22	12,79%
4.	Я понял(а), что всегда будут люди, опустившиеся на дно жизни, которые сами выбрали такую жизнь, и будут ею жить, пока не поймут, что это не то, что им нужно.	15	8,72%
5.	Возможно, я пересмотрю своё отношение к людям, подобным Емельяну. Буду более избирателен в отношениях к людям.	10	5,81%
6.	Рассказ убедил меня относиться к людям по совести, чтобы она не мучила ни тебя самого, ни того, с кем ты так поступаешь.	7	4,07%
7.	Помогать нужно тем, кто достоин помощи. Нужно учиться вообще помогать людям.	7	4,07%
8.	Рассказ ещё раз убедил меня в том, что человек уникален и познать его до конца невозможно.	4	2,33%

К сожалению, описанную Достоевским ситуацию большинство студентов, прочитавших рассказ, как уже было отмечено нами, воспринимает очень буквально, прямолинейно, вписывая в современную жизнь, сравнивая Емельяна со знакомыми им людьми. Конечно, это внеисторическое прочтение. Мы, как люди совершенно иной эпохи, давая оценки и комментируя эпизоды рассказа, не должны забывать, тот историко-культурный контекст, в котором создавалось произведение, учитывая экстралингвистические параметры времени написания рассказа. Только этот путь прочтения будет объективен и правилен.

В конце статьи хотелось бы привести в полном объёме некоторые анкеты участвовавших в опросе студентов (речь, грамматика и пунктуация соблюдены авторские).

Анкета № 1

Рассказ «Честный вор» оказался для меня интересным. Его было легко читать, и смысл произведения довольно ясен. После прочтения рассказа легко сделать выводы, потому что в нём нет глубокого смысла, содержание довольно простое. Но, несмотря на это, эмоции после прочтения заставляют задуматься о том, как сильно нужно беречь свою жизнь, чтобы не страдать от пагубных привычек.

Образ Емельяна для меня оказался неоднозначным. Он описан как «пьянчужка, потаскун и туеядец», который раньше был чиновником, но был уволен. Но он также оказывается довольно совестным и честным человеком в конце, когда просит Астафия Ивановича продать свою шинель, чтобы заплатить ему за украденные рейтузы. Нельзя сказать, что Емельян — это положительный персонаж в рассказе, но он явно показал себя с лучшей стороны, пусть даже в последний момент, перед смертью.

Больше всего в рассказе меня заинтересовала тема честности. Я не могу решить для себя, как относиться к Емельяну. Чаще всего произведения делятся на положительных и отрицательных героев, и, как правило, легко определиться, какое отношение складывается к персонажу. Но в рассказе «Честный вор» мне крайне сложно понять своё отношение к герою. Пожалуй, именно это и заинтересовало меня.

Проблема, поднятая в рассказе, актуальна по сей день. Сколько бы времени ни прошло, воры будут существовать всегда. Общество относится с презрением к таким людям, как герой рассказа. Но человек чаще всего оказывается сам виноват в том, что с ним происходит. Именно поэтому не могу сказать, что отношение к таким людям должно быть другим.

Рассказ «Честный вор» не поменял моего мнения о людях, подобных Емельяну. Я отношусь к нему с жалостью, но при этом считаю, что главный враг такого человека — он сам. Именно поэтому могу с уверенностью сказать, что моё мнение осталось прежним.

Анкета № 2

Ситуация такая, вроде бы жизненная. И даже не та, где человек раскаивается в воровстве и отдаёт последнюю ценную для себя вещь, а та, где обычный смертный вдруг обнаруживает в себе сочувствие к нищему, фактически ничтожному человеку. Это глупо, да. Иногда идёшь, видишь какого-нибудь бездомного, который стоит возле мусорного контейнера, ищёт там что-то, и думаешь: «На его месте может быть каждый». Это реально! Кто знает, почему и как человек оказывается на улице, никому не нужный. Есть сломанные судьбы, обман, трагедии, но ведь в большинстве случаев это банальное пьянство, наркомания и нежелание работать. И всё... Потом жалостливый взгляд, просьба дать пять рублей и слёзы, слёзы, слёзы. Кто-то не выдерживает и вот, как герой данного рассказа, начинает волочь за собой пропавшего человека, который не хочет ничего менять. Вернее так: поменять хочет, но делать ничего не может. Трясутся руки, зрение на нуле, да вообще нет уже никаких способностей к труду, всё пропито сто лет назад. Такой человек сам себя считает ничтожным, никуда не годным, но всё равно не может не надеяться на то, что кто-то его такого несчастного пожалеет. И не совсем он вор, потому что ему в какой-то момент было всё равно, украсть или не украсть, так что это было что-то вроде сумасшествия. А потом уже, по мере исполнения своих физиологических потребностей, у «вора» просыпается моральный принцип, начинается раскаяние и волна тоски.

Хорошо быть добрым и видеть вокруг себя добрых людей, но мне больше жалко тех, кто в результате своего альтруизма, становятся ломовыми лошадками. Правильно

говорят: кто везёт, на том и едут! Помогать правильно слабым из-за их неспособности самим себя защитить и обеспечить, а не тем, кто просто хочет жить за чужой счёт. Иногда кажется, что некоторые не стоят жалости. Грустно, конечно, но правда же!

Герои не вызывают глубокого сочувствия, скорее — лёгкую жалость. Даже о самом поступке нечего говорить, ну, попытался он вернуть долги перед смертью, но разве нужно было этого дожидаться? Облегчить душу, ок, понимаю! Только всё равно некрасиво!

Анкета № 3

Восприятие произведения было трудным из-за большого количества просторечных и устаревших слов. Но, несмотря на всё это, текст оказался очень интересным и вызвал сострадание к главным героям рассказа. Было интересно наблюдать за их судьбой и жизнью. Я до последнего надеялась, что в финале произведения Емельян изменится, найдёт в себе силы исправить своё положение.

Но, к сожалению, Емельян не верит в то, что может изменить жизнь. Он уверен, что «никуда не годится». Из-за бесхарактерности, слабоволия и жалости к себе герой видит только один путь в жизни — беспробудное пьянство. К сожалению, алкоголь убивает личность, а вместе с этим и самого человека.

Больше всего в рассказе меня заинтересовала мысль о том, что другого человека невозможно изменить, пока он сам этого не захочет. Астафий Иванович изо всех сил пытается помочь Емельяну. Но, к сожалению, все его труды впустую.

Из-за сострадания, жалости, совестливости Астафий Иванович преподавал Емельяну уроки, которые тот, по простоте душевной, не понимал.

Проблема отношения к таким людям, как Емельян, актуальна и сегодня. Многие тратят большие усилия, чтобы помочь подобным людям.

Но повторюсь: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если человек не захочет выбраться из омуты, то никто ему в этом не поможет!

Анкета № 4

Я в восторге от текста. Его действительно интересно было читать, периодически возникала мысль: «А что же будет дальше?» Стоит также отметить, что текст содержит в себе устаревшие, ныне не употребляемые слова, что также делает чтение увлекательным и заманивающим читателя.

Образ Емельяна я оцениваю нейтрально. Да, человек пьющий, ни к чему не приспособленный, но есть в нем что-то «цепляющее», «душевное», если можно так сказать. Не зря под конец Астафий Иванович понял, что Емельян ему стал как родной.

Меня заинтересовало в рассказе то, что Астафий Иванович, в принципе, даже не думал о том, чтобы выгнать Емельяна. Наверное, правильнее будет сказать, что меня заинтересовал сам Астафий Иванович как персонаж. Не все так добродушно относятся к пьющим, безалаберным, чужим людям. И даже после признания Емельяна в воровстве Астафий Иванович не поменял к нему своего отношения.

Разумеется, данная проблема действительно актуальна и в наши дни. По моему мнению, она стоит даже более остро, чем тогда. В XXI веке порицается со стороны социума образ жизни Емельяна. К тому же, к слову о пристрастии вышеупомянутого к пьянству, сейчас более актуально вести здоровый образ жизни. Но тем не менее я не считаю, что к таким людям надо предвзято относиться. У каждого своя история.

Полагаю, что этот рассказ ничего не изменил в моём отношении к людям. Я всегда стараюсь хорошо относиться к людям, независимо от их образа жизни и поведения, и по возможности помогать им.

Подводя итоги нашему небольшому исследованию, считаем важным подчеркнуть, что привить в наше время подрастающему поколению «читательский интерес» как «предпочтительное отношение к произведениям <...> литературы», определяемый совокупностью многих факторов, к которым, в частности, относятся «культурный уровень общества, состояние литературы, возраст, кругозор и т. д.» [Педагогический словарь: 672], очень непросто. Нам представляется целесообразным и эффективным путь на кураторских часах, на дисциплинах филологического цикла предлагать студентам прочитать небольшое произведение русской классики и ответить на вопросы анкеты, после чего в формате дискуссии можно обсудить наиболее спорные моменты. А это вполне реальный путь к формированию читательского интереса. Тем более, ещё раз подчеркнём, это касается формирования читательской культуры студента — будущего педагога.

Список литературы

1. Дубова М. А., Ларина Н. А. Филологический анализ текста: рецепция рассказа И. А. Бунина «Эпитафия» // Филология: научные исследования. 2021. № 12. С. 71–81. DOI: 10.7256/2454-0749.2021.12.35179 [Электронный ресурс] URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35179 (24.02.2024)
2. Загидуллина М. В. Честный вор // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. / Сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. С. 189 [Электронный ресурс]. URL: <http://dostoevsky.rhga.ru/upload/iblock/ba8/3/%20РАЗДЕЛ%20I.pdf> (24.02.2024).
3. Зыховская Н. Л. Словесные лейтмотивы в творчестве Достоевского: автореф. дисс. канд. филол. наук.... Екатеринбург, 2000. 20 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/602/1/urgu0034s.pdf> (24.02.2024).
4. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. 5-е изд. М.: Флинта; Наука, 2011. 296 с.
5. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. 797 с.
6. Педагогический словарь: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во Академии пед. наук, 1960. 766 с.
7. Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. 267 с. [Электронный ресурс]. URL: https://imwerden.de/pdf/shklovsky_o_teorii_prozy_1929_reprint_ardis_1985_ocr.pdf (24.02.2024).

References

1. Dubova M. A., Larina N. A. Philological Analysis of the Text: Reception of I. A. Bunin «Epitaph». In: *Filologiya: nauchnye issledovaniya [The Philology: Scientific Research]*. 2021, no. 12, pp. 71–81. DOI: 10.7256/2454-0749.2021.12.35179 Available at: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35179 (Accessed on February 24, 2024). (In Russ.)
2. Zagidullina M. V. Honest Thief. In: *Dostoevskij: Sochineniya, pis'ma, dokumenty: Slovar'-spravochnik / Sostaviteli i nauchnye redaktory G. K. Shchennikov, B. N. Tikhomirov [Dostoevsky: Works, Letters, Documents: Dictionary-Reference Book. Compilers and Scientific Editors G. K. Schennikov, B. N. Tikhomirov]*. St. Petersburg: Pushkinsky Dom Publ., 2008, p. 189

Available at: [http://dostoevsky.rhga.ru/upload/iblock/ba8/3\)%20РАЗДЕЛ%20I.pdf](http://dostoevsky.rhga.ru/upload/iblock/ba8/3)%20РАЗДЕЛ%20I.pdf) (Accessed on February 24, 2024) (In Russ.)

3. Zykhevskaya N. L. *Slovesnye leitmotivy v tvorchestve Dostoevskogo: avtoreferat dissertacii ... kandidata filologicheskikh nauk [The Verbal Leitmotifs in the Work of Dostoevsky: Abstract of Diss. PhD (Philology)]*. Yekaterinburg, 2000. 20 p. Available at: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/602/1/urgu0034s.pdf> (Accessed on February 24, 2024) (In Russ.)

4. Maslova V. A. *Vvedenie v kognitivnyuyu lingvistiku: uchebnoe posobie. 5-e izdanie [The Introduction to Cognitive Linguistics: Textbook. 5th ed.]*. Moscow: Flinta: Nauka Publ., 2011. 296 p. (In Russ.)

5. Ozhegov S. I. *Slovar' russkogo yazyka: Okolo 57000 slov. Pod redakciej chlena-korrespondenta AN SSSR N. Yu. Shvedovoj. 18-e izdanie, stereotipnoe [The Dictionary of the Russian Language: About 57,000 Words. Edited by Corr. Academy of Sciences of the USSR N. Yu. Shvedova. 18th ed., stereotype]*. Moscow: Russky yazyk Publ., 1986. 797 p. (In Russ.)

6. *Pedagogicheskij slovar': V 2 tomah [The Pedagogical Dictionary: in 2 Vols]*. Vol. 2. Moscow: Academy of Pedagogical Sciences Publ., 1960. 766 p. (In Russ.)

7. Shklovsky V. B. *O teorii prozy [About the Theory of Prose]*. Moscow: Federatsiya Publ., 1929. 267 p. Available at: https://imwerden.de/pdf/shklovsky_o_teorii_prozy_1929_reprint_ardis_1985__ocr.pdf (Accessed on February 24, 2024) (In Russ.)

A. П. Дмитриев

**ЦЕРКОВЬ И ЛИТЕРАТУРА.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И Л. Н. ТОЛСТОЙ
В ДУХОВНОЙ КРИТИКЕ 1850–1890-Х ГОДОВ***

Аннотация. На материале литературно-критических оценок, принадлежавших перу авторов церковной периодики 1850–1890-х годов, прежде всего священнослужителей и представителей духовно-академической науки, выявлены основные направления в критике духовными писателями светской литературы — «полемическое» и «созерцательное»: с одной стороны, в художественном произведении обличались вредные, с точки зрения христианства, явления, с другой — определялся духовный смысл поднятых литераторами религиозно-нравственных проблем, позволявший выделить положительные моменты светской культуры. Дано описание основных этапов развития духовной критики во второй половине XIX века. Представлен библиографический обзор литературно-критических материалов в церковных изданиях, посвящённых Ф. М. Достоевскому и Л. Н. Толстому. Установлено, что критические интерпретации литературы, предложенные духовными авторами, содержали богословское оправдание русской словесности в её высших проявлениях и в полной мере выявляли духовно-нравственный потенциал литературы.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, проповедь, апологетика, церковная журналистика, духовно-академическая наука, богословский анализ, критический обзор.

Информация об авторе: Андрей Петрович Дмитриев, доктор филологических наук, заведующий Центром по изучению традиционалистских направлений в русской литературе Нового времени Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург.

E-mail: apdspb@gmail.com

Andrey P. Dmitriev

**THE CHURCH AND LITERATURE.
F. M. DOSTOEVSKY AND L. N. TOLSTOY
IN SPIRITUAL CRITICISM OF THE 1850s–1890s**

Abstract. The main directions in the criticism of secular literature by spiritual writers — “polemical” and “contemplative” — were revealed. The research is based on the material of literary and critical assessments written by the authors of the church periodicals of the 1850s — 1890s, primarily clergymen and representatives of spiritual and academic science. On the one hand, the artistic work denounced harmful, from the point of view of Christianity, on the other hand, the spiritual meaning of the religious and moral problems raised by writers was determined, which made it possible to highlight the positive aspects of secular culture. The main stages of the development of spiritual criticism in the second half of the XIX century are described. A bibliographic review of literary and critical materials in church publications dedicated to F. M. Dostoevsky and L. N. Tolstoy is presented. It is established that the critical interpretations of literature proposed by spiritual authors contained a theological justification of Russian literature in its highest manifestations and fully revealed the spiritual and moral potential of literature.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 18-012-90012 «Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881».

Keywords: F. M. Dostoevsky and L. N. Tolstoy, sermon, apologetics, church journalism, spiritual and academic science, theological analysis, critical review.

Information about the author: Andrey Petrovich Dmitriev, PhD (Philology), Head of the Center for the Study of Traditionalist Trends in Modern Russian Literature of the Institute of Russian Literature (Pushkinsky Dom) of the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg. E-mail: apdspb@gmail.com

Начиная с 1860-х годов, с эпохи либеральных реформ Александра II, в церковных изданиях появляется всё больше откликов на произведения светских литераторов. Духовные писатели обращаются к подробному изучению художественной литературы с позиций православного сознания, и эта профессиональная духовная критика явлений секулярной культуры начинает играть хотя и скромную, но всё более заметную роль в историко-литературном процессе. Именно авторы церковных изданий подчас глубже, чем светские критики, постигали религиозно-нравственные проблемы русской литературы, поэтому знание их критических работ помогает глубже понять творчество многих крупных писателей. Не случайно современные литературоведы всё чаще цитируют в своих исследованиях духовных критиков, порой прямо опираясь на их суждения и оценки.

Конечно, взаимоотношение между Церковью и светской культурой существовало и раньше. В XVIII и начале XIX века такие контакты были вообще обычным явлением, потому что духовная литература и светская во многом самоощущались как единая культура. Определяющую роль в оформленном разветвлении двух литератур, как известно, сыграла пушкинская языковая реформа, положившая в фундамент литературного языка не церковнославянскую традицию, а разговорную светскую речь. Способствовала такому размежеванию и историческая ситуация, сложившаяся в русском обществе, прежде всего — обособленность сословий и усиление лаических тенденций в культуре, также раскалывавших её на две составляющих: церковную и секулярно-светскую. Однако благодаря этому, пожалуй, и усиливается взаимный интерес: духовная словесность, видя в светской литературе нечто отличное от себя, начинает обращать на неё особое внимание.

Церковные деятели первой половины XIX века: митрополиты Евгений (Болховитинов) и Филарет (Дроздов), архиепископы Иннокентий (Борисов) и Григорий (Постников), святитель Игнатий (Брянчанинов) и другие — хотя и интересовались художественной литературой, но тем не менее их редкие отзывы — обычно в форме метких, сжатых характеристик — это чаще всего краткие ответы в письмах или беседах на недоумения своих почитателей-мирян, не рассчитанные на сколько-нибудь широкое обнародование. Имея вид частного пастырского увещания автору или читателям его произведения, отклики эти были, как правило, если не резко отрицательными, то весьма сдержанными (например, отзывы многих церковных деятелей на книгу Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», претендовавшую, так сказать, на статус душеполезного чтения).

В шестидесятые же годы XIX века, собственно говоря, вырвались на поверхность подспудные процессы, подготовлявшиеся уже давно. В церковной печати

этого времени получило впечатляющее отражение стремление духовенства покончить с обособленностью православного учительства от движения мирской жизни. В лучшем духовном журнале, возникшем в эти годы, «Православном обозрении», прямо ставилась задача оценки современности с позиций христианского вероучения: «Необходима живая судящая сила, которая освещала бы текущее движение жизни, обсуждала бы открывающиеся практические вопросы...»¹. Разумеется, духовные писатели не могли обойти вниманием художественную литературу, явившуюся, как известно, средоточием мировоззренческих, социальных, этических и собственно эстетических проблем времени.

Ярким свидетельством поворота в отношении образованного общества к вере и в то же время готовности церковных кругов удовлетворить новые нравственные потребности жизни явилось бурное развитие духовной журналистики после Крымской войны. Вплоть до 1855 года в России было только три журнала, в сущности, не выходящих из академических стен, да и по содержанию малодоступных широкому читателю: в них печатались в основном переводы святоотеческого наследия и отвлечённо-схоластические богословские диссертации. В 1860-х же годах выходило 14 «толстых» духовных журналов и 33 газеты (епархиальные ведомости).

Обновляются официальные академические издания, в столицах и даже провинции появляется целый ряд новых духовных журналов, которые быстро находят своего постоянного читателя. Среди них наиболее значимы «Православный собеседник», «Духовная беседа», «Душеполезное чтение», «Православное обозрение», «Руководство для сельских пастырей», «Странник», «Труды Киевской Духовной Академии», «Духовный вестник», «Дух христианина».

Кроме разработки догматических тем, в этих изданиях появляются так называемые «современные обозрения» — духовная журналистика присоединяет свой голос к спорам по текущим злободневным вопросам. Однако, хотя духовные авторы и откликнулись на самые острые общественные дискуссии, они ограничивались лишь оценкой нравственной сущности обсуждаемых вопросов, и потому их участие в идейных баталиях носило характер своеобразного невмешательства. Каноническую точку зрения на сей счёт отчетливо выразил архиепископ Анатолий (в миру Августин Васильевич Мартыновский; 1793–1872), церковный писатель и иконописец, отметив, что

«духовные лица, не вмешиваясь в дела мирские, но взвешивая мирские толки и желания, обязаны сообщать им направление, сообразное с духом Евангелия, ревностным поведением животворных его истин»².

Язвительной критике светских публицистов обычно подвергалось то обстоятельство, что церковные журналы выступали как бы единым фронтом. Однако это, с точки зрения духовных авторов, было достоинством церковных изданий. При опоре на объективные откровения предполагалось единомыслие в общих истинах веры и схожий подход к решению жизненных

¹ <Иванцов-Платонов А. М.> Духовная литература и журналистика // Православное обозрение. 1861. Т. 6. Декабрь. С. 577 (1-я паг.).

² Анатолий, архиеп. Гласность // Странник. 1862. Т. 1. Февраль. Отд. V. С. 12.

проблем, что избавляло от слепой тенденциозности, к которой приводили субъективные убеждения отдельной личности или представителя той или иной общественной группы. Всё же требование направления, видимо, не без влияния светской журналистики, выдвигалось в церковной печати, хотя вкладывался в это требование и особый смысл. Либеральный церковный историк и проповедник протоиерей *Александр Михайлович Иванцов-Платонов* (1835–1894)³, автор программной статьи «Православного обозрения», так рассуждал по этому поводу:

«Искреннему развитию религиозных убеждений часто препятствует у нас склонность принимать в догматическом смысле всякое обнаружение мысли о духовных предметах и тотчас же становиться в оппозицию к нему <...>, а между тем личное убеждение может быть проникнуто полною верою, полною преданностью Церкви»⁴.

С другой стороны, новые духовные журналы явно отличались не только от прежних, но и один от другого своей окраской, характерными особенностями. Это объяснялось как выбором предметов обсуждения, так и различной степенью религиозного сознания авторов публикаций, и, в свою очередь, непосредственно сказывалось на содержании литературно-критических материалов. Но, в отличие от светской журналистики тех лет, в церковной печати не допускалось бесцеремонной запальчивости в полемике, а наоборот — обычно раздавались призывы «обнаруживать мягкую терпимость к чужим суждениям...»⁵.

Раздражал светских литераторов и критический по преимуществу подход духовных писателей к мирской культуре. Но, например, А. М. Иванцов-Платонов справедливо подчёркивал, что именно критическое начало «по отношению к явлениям современной духовной жизни и литературы несомненно составляет главнейшую стихию духовной журналистики»⁶. На повестку дня выдвигался вопрос о необходимости разбора на страницах духовной печати различных сочинений:

«Каждый литературный труд предполагает определённые воззрения и направлен к известным целям: критика отвлекает эти воззрения, выясняет эти цели и ускоряет ту оценку данного труда, какую он должен получить в общем сознании. Без критики литературная деятельность <...> заглохла бы без жизни и движения»⁷.

Веление времени видел киевский профессор гомилетики *Василий Фёдорович Певницкий* (1832–1911) в том, что

«журналы более и более берут на себя обязанность быть руководителями общественной мысли и проводниками свежего литературного вкуса. Не только чувство читателей, но и сознание писателей нуждается в прояснении начал и способов и в указании лучших современных направлений в области литературных работ»⁸.

³ См. о нём: [Егоров: 161–170].

⁴ <Иванцов-Платонов А. М.>. Духовная литература и журналистика. С. 582.

⁵ Певницкий В. «Православному обозрению» // Труды Киевской духовной академии. 1870. Т. 1. Март. С. 721 (3-я паг.).

⁶ <Иванцов-Платонов А. М.>. Духовная литература и журналистика. С. 576.

⁷ Там же. С. 577.

⁸ Певницкий В. Требования по отношению к духовной журналистике в нашем читающем обществе // Труды Киевской духовной академии. 1861. Т. 3. Сентябрь. С. 85 (2-я паг.).

Автор харьковского журнала «Духовный вестник», Н. А. Амосов, говоря о недостатках церковной периодики, указывал:

«Сведения о более или менее замечательных явлениях светской литературы должны входить, по крайней мере, в состав „внутренних обозрений“, если уже не для каждой редакции удобно посвящать им особый отдел»⁹.

Задача регулярной литературной критики особенно тех произведений, которые оказывают «пагубное» влияние на общество, позже открыто ставилась в «Православном обозрении». Необходимо не только выяснять смысл обольстительных образов таких героев, как Базаров, Рахметов, Вера Павловна, но и с христианской точки зрения серьёзно проанализировать сочинения Белинского, Добролюбова, Писарева, — убеждён автор журнала. Споря с воображаемым оппонентом, он подчёркивает:

«Не скорее ли это составляет *прежде всего* прямую обязанность духовной журналистики? Разве знаменитый архипастырь наш, преосвященный Филарет, отвечая Пушкину на одно из его известных стихотворений <«Дар напрасный, дар случайный»>, вдавался в чужую область и не делал, лишь в другой форме, того же самого для религиозно-нравственного развития нашего общества, чего он желал достигнуть своими вдохновенными проповедями?»¹⁰.

Духовным авторитетом Первосвятителя Московского Филарета как бы благословлялось рассмотрение светской литературы с апологетической, обличительной целью. Не менее важен был другой, положительный аспект литературной критики, о котором говорит в одной из своих статей 1862 года либеральный церковный историк *Филипп Алексеевич Терновский* (1838–1884):

«...практическая задача, лежащая в настоящее время на деятеле духовной литературы по отношению к литературе светской, состоит не столько в том, чтобы отрицать — достойные отрицания, — сколько в том, чтобы сочувственно относиться к достойным сочувствия явлениям в светской литературе и разъяснять для самой светской литературы бессознательно заключающиеся в ней христианские элементы»¹¹.

Такой взгляд на мирскую культуру основывался на представлении, что «благотворное нравственное потрясение при чтении лучших литературных произведений» можно объяснить лишь «влиянием духа христианства, веющего в произведениях писателей, хотя светских, но проникнутых христианскими убеждениями»¹². К таким сочинениям относит Ф. А. Терновский не только книги Диккенса и Бичер-Стоу, но и романы Достоевского начала 1860-х годов. Принципиально важно и то, что эта аргументация позволяет киевскому учёному объяснить сильное влияние на общество произведений, подобных роману Чернышевского «Что делать?». Он пишет: «Нисколько не удивительно, если сочинения писателей, даже враждебных христианству,

⁹ Амосов Н. А. Заметки // Духовный вестник. 1863. Т. 5. Август. С. 630–631.

¹⁰ Г. Неустойчивость нашей общественной мысли и необходимость борьбы с современными последствиями её // Православное обозрение. 1875. Т. 1. Январь. С. 147.

¹¹ Терновский Ф. Об отношении между духовною и светскою литературою // Труды Киевской духовной академии. 1862. Т. 3. Сентябрь. С. 142 (2-я паг.).

¹² Там же. С. 137, 138.

своими лучшими сторонами и своим величием обязаны христианству»¹³. Как известно, сходная концепция легла в основу литературной деятельности ведущего духовного критика XIX века *Александра Матвеевича Бухарева* (в монашестве архимандрит *Феодор*; 1822–1871)¹⁴.

Эпоха реформ, обновляющих жизнь России, рождала у некоторых православных публицистов ощущение, что заканчивается долгий период (с Петровского времени) разобщённости церковной и светской культуры. Действительно, на рубеже 1850–1860-х годов становилось явным их сближение и взаимовлияние. Тот же Ф. А. Терновский писал по этому поводу даже об опасности отождествления двух литератур, поглощения одной другой. Он считал, что

«духовная литература, как представительница христианства, может стать в мирные и дружные отношения с светскою литературою как представительницею идей современного общества, с одной стороны, отыскивая и разясняя уже заключающиеся в сей последней христианские элементы, с другой стороны — способствуя умножению и раскрытию этих элементов»¹⁵.

Но независимо от того, считали ли духовные писатели, что необходимо воцерковление всей секулярной культуры или, опасаясь некоторого обмирщения православного учительства, ратовали за сохранение и в будущем определённой дистанции между духовной и светской культурой, — у них не было сомнений в необходимости литературной критики с христианских позиций как некоего корректива к ненормальной ситуации, сложившейся в духовно-нравственной жизни страны.

В период интенсивного развития церковной журналистики это важное начинание получило общественную трибуну. Потребность в регулярной оценке светской литературы была осознана и заявлена сначала в теоретическом плане — в редакционных манифестах ряда новых журналов. Тогда уже декларировалось, что эта критика должна допускать противоборство мнений (не затрагивающее, однако, догматическую область) и иметь откровенно публицистический, учительный характер.

Открытый морализм критических материалов, стремление дать нравственную оценку не только самому литературному произведению, но и жизненным процессам и социальным типам, отображённым в нём, свидетельствовали о том, что в этих материалах проявлялись существенные тенденции церковно-общественного бытия, когда, казалось бы, аскетическое по духу Православие начинало всё больше поворачиваться лицом к миру и активнее влиять на его жизнедеятельность. Несомненно поэтому генетическая зависимость литературной критики духовных авторов от зародившегося в те же годы нового типа публицистической проповеди (основоположник — епископ Иоанн Соколов), отменившей монополию традиционной нравственно-догматической и созерцательно-богословской проповеди (главными представителями были соответственно архиепископ Иннокентий Борисов и митрополит Филарет Дроздов).

Намечаются два основных направления критики духовными авторами светской литературы. Первое условно назовём *полемическим*. Очевидна практическая направленность этой критики на пагубные, вредные, с точки зрения христианства, явления современной литературы. Методологические основания такой критики содержались как в новейшей ориентации церковного учительства, так и в святоотеческом проповедничестве, богатом публицистическим элементом.

Другое направление — *созерцательное* — опирается прежде всего на традиции библейской экзегетики, выявляет в художественном произведении нравственные и богословские проблемы с целью уловить их духовный смысл, а также выделить положительные моменты светской культуры. Понятно, что для толкования такого рода духовный критик обращался преимущественно к литературе, в которой, по словам сторонника этого направления Ф. А. Терновского, «содержится много истинного и доброго и слышно тихое веяние животворного духа христианства»¹⁶.

Было бы ошибкой резко противопоставлять указанные направления литературной критики. Это, скорее, разные, достаточно отвлечённые установки, грань между которыми в практике конкретного анализа подчас оказывалась зыбкой. Тем более что по материалу различий могло и не быть: например, к разбору романов «Отцы и дети» и «Что делать?» духовные авторы подходили с довольно несхожих позиций. С одной стороны, некоторый разброс мнений при оценке того или иного литературного явления объяснялся широтой православного взгляда на мир, с другой же — при ближайшем рассмотрении обнаруживалось внутреннее единство двух подходов. Все духовные критики исходили из апостольской заповеди о различении духов: «Возлюбленные, не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аде от Бога суть» (1 Ин. 4: 1), но одни критики считали более важным сосредоточиться на осмыслении тёмных сторон изображённых в светской литературе явлений, а другие в чём-то корректировали односторонность их взгляда, обращаясь главным образом к выявлению положительного смысла художественных образов. И всё же перед каждым духовным критиком стояла двойная задача: с одной стороны, разоблачить антицерковные тенденции, существующие в светской литературе, а с другой — обнаружить в ней полезные для духовного совершенствования человека начала.

* * *

Несмотря на провозглашаемую церковными публицистами задачу сосредоточенного разбора отдельных произведений с христианских позиций, таких регулярных обзоров художественной литературы ни в одном из религиозных изданий поначалу не было. В 1860-е годы в церковной периодике преобладали обобщённые характеристики основных тенденций литературного развития, что осознавалось как принципиальная установка. Нелестный (не говоря уже о разносном) отзыв о каком-либо художественном явлении может непроизвольно привлечь к нему повышенное внимание. Учитывая психологию массового читателя, один из редакторов «Православного обозрения» замечает, что

¹⁶ Там же. С. 137.

¹³ Там же. С. 140.

¹⁴ См. об этом: [Дмитриев, 1995].

¹⁵ Терновский Ф. Об отношении между духовною и светскою литературою. С. 126.

«духовная литература должна опровергать общие начала атеизма, нигилизма, материализма, социализма, коммунизма и т. п. Обличение частных случаев скорее даст силу противникам, нежели ослабит их...»¹⁷.

Именно поэтому многие духовные критики разбору конкретных произведений предпочитали тематические обзоры сочинений разных писателей, как-то: изображение духовенства, семейной жизни, войны и т. д. в современной беллетристике.

Мало-помалу привычными и даже традиционными для церковной печати становятся обзоры художественных произведений о духовенстве, появившиеся в ряде изданий, что придаёт духовной критике всё более систематический характер. Интересно, что в 1860-е годы, когда бытописатели русской жизни выводили в своих книгах главным образом отрицательные типы духовенства, религиозные критики (священник А. К. Громаковский, С. Ф. Грушевский и др.) стремились прежде всего указать на редкие отрадные явления светской литературы и положительные черты пастырей, отображённые в ней. Позже, с 1870-х годов, такого рода обозрения становятся более регулярными, и поэтому принцип отбора материала, выигрышного для апологетической критики, оказывается несущественным. Чаще всего духовными писателями (А. В. Вадковский, А. Д. Воронов, Н. К. Калинин, протоиерей В. И. Протопопов, священник С. В. Протопопов и др.) выдвигалась на первый план в таких разборах практическая задача — указать, насколько художественный тип пастыря способствует разрешению общественно-церковных проблем.

Помимо работ архимандрита Феодора (Бухарева), а также А. М. Иванцова-Платонова и Н. П. Гилярова-Платонова, особенно выделяются в 1860–1870-е годы статьи киевского профессора В. Ф. Певницкого о романе Тургенева «Отцы и дети»¹⁸ и двух петербургских духовных писателей: расколоведа Александра Григорьевича Вишнякова (1836–1912) о романах «Что делать?» Чернышевского и «Соборяне» Лескова и профессора гомилетики Николая Ивановича Барсова (1839–1903), литературно-критическая деятельность которого была необыкновенно разносторонней. Если В. Ф. Певницкий и А. Г. Вишняков представляли полемическое направление духовной критики и обстоятельно выявляли антихристианский смысл базаровского типа или теории «разумного эгоизма», то Н. И. Барсов, сторонник созерцательного направления, подчас был склонен даже несколько преувеличивать духовные прозрения светской словесности (в частности, творчества Гоголя, Лескова, Достоевского, Л. Толстого).

В статьях А. Г. Вишнякова, кроме того, содержится одна из первых попыток самосознания качественного своеобразия духовной критики. Он показывает её отличие от «реальной» критики:

«...мы желаем от поэта не только живой и органической связи его произведений с окружающей действительностью, но трезвого, глубоко обдуманного и жизненного мировоззрения»¹⁹.

¹⁷ Д. М. Об отношении русской духовной литературы к современным вопросам // Православное обозрение. 1864. Т. 14. Май. С. 26.

¹⁸ См.: [Дмитриев, 1996 (1)].

¹⁹ Н. Н. <Вишняков А. Г.>. Наше духовенство по беллетристическим произведениям // Православное обозрение. 1876. Т. 1. Январь. С. 75.

Иными словами, неприемлемы для духовного критика как поверхностное, тенденциозное освещение жизни художником слова, так и те модные «передовые» воззрения, в свете которых оценивается изображённый в литературе мир, а кроме этого — утилитаризм в подходе к эстетическим достоинствам сочинений. Имея в виду писаревские статьи, Вишняков пишет:

«...самой по себе художественной форме произведений и художественным дарованиям писателя стали придавать самое ничтожное значение; ради либеральной идеи забывались и бездарность, и крайнее безвкусице писателя...»²⁰.

С другой стороны, отдавая должное эстетической критике, Вишняков огорчается, что разбор светской литературы «с специально-художественной точки зрения» не входит в планы духовного критика, который сознательно отстраняется от такого рода анализа²¹. В противном случае этот анализ будет подменять, дублировать эстетическую критику. Духовного автора интересует прежде всего художественный мир писателя в свете христианского мировоззрения. Такая критика, конечно, не мыслится как всеобъемлющая, однако она выявляет главное — духовно-нравственный потенциал литературы.

* * *

В 1870-е годы религиозная журналистика от бурного предшествующего периода с его живыми общественно-церковными проблемами словно бы вернулась к состоянию дореформенному, когда её содержание исчерпывалось специально-богословскими вопросами. В начале же 1880-х годов это затишье сменяется качественно новым этапом, наиболее существенной особенностью которого становится всё усиливающееся влияние духовной словесности на светскую: и опосредованное, связанное с обращением самих писателей к углублённой разработке религиозно-нравственных тем, и прямое — в виде вполне оформившейся к тому времени литературной критики духовных авторов. Некоторые журналы («Странник», позже — «Вера и разум», «Душеполезное чтение», «Вера и Церковь» и др.) одной из своих целей определяли регулярную оценку светской литературы и становились, таким образом, печатными органами — посредниками между церковной и мирской культурой.

Преподаватель Киевской семинарии священник Х. М. Орда (впоследствии епископ Ириней) отмечал:

«По всем признакам кризис общественно-религиозного развития в России прошёл благополучно... Нужен только внимательный уход и хорошее питание»²².

Добротное «питание» и должна была дать церковная печать, в частности оно показывая своё отношение к более привычной для образованного общества «духовной пище» — художественной и социально-философской литературе.

Всё чаще живые, злободневные проблемы, в том числе вопросы культуры, затрагиваются пастырской проповедью, которая только теперь становится

²⁰ Там же. С. 76.

²¹ См.: Н. Н. <Вишняков А. Г.>. Наше духовенство... // Там же. 1877. Т. 1. Январь. С. 152–153.

²² С. Х. О. <Орда Х. М., свящ.> Вести из книжной области // Благовест. 1883. № 2. 15 января. С. 14.

обычным элементом богослужения в Православной Церкви. Усиление общественно-литературной деятельности духовенства начиная с 1860-х годов было названо историком богословской мысли «пастырским возрождением» [Флоровский].

Среди наиболее прославленных церковных ораторов, чаще других обращавшихся к темам мирской культуры, в первую очередь следует назвать имена архиепископов Амвросия (Ключарёва) и Никанора (Бровковича), протопресвитера И. Л. Янышева, протоиереев В. П. Нечаева, А. М. Иванцова-Платонова и А. А. Лебедева. Все эти проповедники в своих богослужебных словах, главным образом приуроченных к поминовению усопших писателей, часто оказывались зорче светских критиков-профессионалов (особенно таких, как Д. И. Писарев, А. М. Скабичевский, Н. К. Михайловский) и своими оценками духовного существа различных литературных явлений подготавливали будущие достижения религиозно-философской мысли XX века.

* * *

В 1880-е годы литературная критика духовных авторов становится, наконец, довольно привычным явлением для церковной периодики и намечаются черты следующего этапа её развития, когда (с середины 1890-х годов) без рецензии на светскую книгу или разговора о Церкви и культуре редко обходился номер духовного журнала. Переломным моментом был 1881 год — время и национальной трагедии 1 марта (цареубийство), и кончины Достоевского. Становление духовной критики и происходило в попытках её деятелей осмыслить наследие писателя, открыто поставившего свой талант на служение Православию, а также в стремлении разъяснить обществу религиозное учение Л. Толстого. Причём это противоположение двух писателей (во многом искусственное, если смотреть на него с высоты нашего времени) оказывало существенное влияние на конкретные критические оценки, порождая заметное эмоционально-субъективное напряжение: чем суровее обличался Л. Толстой как некий новый ересиарх, тем более возрастал соблазн представлять автора «Братьев Карамазовых» в ореоле праведничества.

Большое значение, кроме того, имели многочисленные публикации о Пушкине, особенно после открытия ему памятника в Москве в 1880 году. Обращение к его творчеству благоприятствовало осмыслению духовными критиками важных религиозно-эстетических проблем, во многом развивающему бухаревские идеи. Так, к примеру, видный богослов *Александр Павлович Лопухин* (1852–1904) в своей статье о Пушкине (1899) говорит о призвании поэтов

«быть теми светочами, которые освещают путь духовного движения народов»: «Это отблески того высшего Божественного Света истины, который явился на земле для всего человечества — в лице Богочеловека...»²³.

Впрочем, подобная формулировка, едва ли возможная в церковной периодике 1850–1870-х годов, могла явиться, на наш взгляд, только после двух де-

²³ А. Л. <Лопухин А. П.>. Памяти великого поэта // Церковный вестник. 1899. № 21. 27 мая. Стб. 779. См. также: [Дмитриев, 2000].

сятилетий (1880–1890-е) осмысления творчества Достоевского в религиозном ключе.

Откликов на творчество Достоевского, появившихся в церковных изданиях при жизни писателя, немного. Первый по времени (1862), правда краткий, отзыв о его романах принадлежит историку Ф. А. Терновскому. В своей уже упоминавшейся статье 1862 года он, отмечая, что «в нашей отечественной литературе нет произведений, особенно богатых религиозным элементом», всё же указывает на «Униженных и оскорблённых» и «Записки из Мёртвого дома» как на романы, «проникнутые духом тёплого и кроткого сочувствия к страждущим», а значит, «способные произвести на читателя очень благотворное впечатление и, след<овательно>, близкие к духу христианства»²⁴.

В 1870 году выдающийся богослов А. М. Бухарев написал обстоятельную статью «О романе Достоевского „Преступление и наказание“ по отношению к делу мысли и науки в России»²⁵, явившуюся своего рода образцом приложения идей и инструментария христианской антропологии к исследованию художественного строя знаменитого романа (см. подробнее: [Дмитриев 1996 (2)], [Ашимбаева], [Зевалд]).

Однако затем наступает десятилетний перерыв: духовные писатели, лишь время от времени высказываясь о религиозных мотивах текущей светской литературы, осуждают нарочитую карикатурность при создании образов духовенства у писателей-шестидесятников (Ф. М. Решетникова, Н. В. Успенского и др.), превозносят лесковских «Соборян» и «На краю света» и даже произведения рядовых беллетристов вроде Н. Д. Хвоцинской («Баритон», 1857) или А. А. Лачиновой («Семейство Снежиных», 1872), но будто бы не замечают Достоевского периода его поздних романов и «Дневника писателя».

Показательный пример — профессор гомилетики Н. И. Барсов, только незадолго до кончины Достоевского отметивший по случайному поводу, что его сочинения «отличаются всегда нравственной тенденцией и производят глубоко нравственное впечатление...»²⁶. Однако, неоднократно на протяжении 1860–1870-х годов выступая с обзорами литературы, затрагивающей религиозно-нравственные проблемы²⁷, он ни разу не упоминает Достоевского. Писатель выпадает из поля зрения Барсова, даже когда тот составлял список авторов, произведения которых, по его убеждению, необходимо включить в семинарский курс словесности (в их числе Карамзин, Жуковский, Кольцов, Григорович, Даль, В. Одоевский, Хомяков, С. Аксаков, Мей и др.)²⁸.

²⁴ Терновский Ф. Об отношении между духовною и светскою литературою. С. 132.

²⁵ Впервые опубликована уже после кончины как автора, так и самого Достоевского: Православное обозрение. 1884. Т. 1. Январь. С. 12–60.

²⁶ Барсов Н. Наша светская печать — по вопросу о религиозности русского народа // Церковный вестник. 1881. № 2. 10 января. С. 6.

²⁷ Ср. характерную оценку его трудов анонимным рецензентом (подпись: М-ий): «Профессор Барсов отзывался — за последнее десятилетие — почти на всякое слово нашей периодической и непериодической печати о духовенстве и духовной науке...» (Церковно-общественный вестник. 1879. № 1. 1 января. С. 4).

²⁸ Барсов Н. И. Несколько слов о преподавании словесности в семинариях, применительно к новому Уставу // Христианское чтение. 1868. Ч. 1. Март. С. 442–443.

Самыми значительными критическими откликами на творчество Достоевского в духовной периодике, увидевшими свет ещё до завершения публикации «Братьев Карамазовых», стали две большие рецензии на этот роман. Первая — «Церковно-религиозные вопросы, затрогиваемые в романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“»²⁹ — принадлежала перу инспектора Донской духовной семинарии *Андрея Александровича Кириллова* (1856–1922), который, полемизируя с критиком газеты «Русская правда» А. Горшковым (Н. А. Протопоповым) (скептически воспринявшим «проповедь аскетизма» у Достоевского, от которой якобы веет «затхлым воздухом келий и подземных тюрем»³⁰), разъяснял, как образ старца Зосимы соотносится с христианской традицией, и утверждал его полную достоверность, сопоставляя его, в частности, с преподобным Серафимом Саровским. Кроме того, Кириллов подробно останавливается на анализе статьи Ивана Карамазова о церковно-общественном суде и его «поэмы» «Великий инквизитор» (как обличении католичества). Критик убеждён, что религиозно-церковные вопросы, о которых умалчивает светская печать, составляют «главный нерв романа»³¹.

Если статья Кириллова, напечатанная в провинциальной епархиальной газете, осталась практически незамеченной, то другая рецензия — «Идеалы будущего, набросанные в романе „Братья Карамазовы“»³², — была опубликована в самом знаменитом церковно-общественном журнале XIX века — «Православном обозрении» — и потому её, конечно, не обделили вниманием современники³³, и позже она находилась в поле зрения исследователей³⁴. Автор, молодой религиозный публицист *Сергей Дмитриевич Левитский* (1853–1917?), скрыл своё имя под криптонимом «С. Д. Л.», но через 9 лет включил эту статью в книгу «Православие и народность: Критические очерки по вопросам философско-богословским и нравственно-педагогическим» (М., 1889), вышедшую с указанием имени и места службы (Перервинское духовное училище).

Он характеризует Достоевского как мастера психологического анализа, под пером которого вполне «обнаруживается и облик внутреннего человека»:

«Вы видите пред собой как бы искусного, опытного анатома, который без жалости, но с величайшим интересом и наслаждением разлагает пред вами внутреннюю и наиболее сокровенную часть человеческого существа — его душу»³⁵.

²⁹ Донские епархиальные ведомости. 1880. Отд. неоф. № 8. 15 апреля. С. 291–295; № 16. 15 августа. С. 603–614; № 17. 1 сентября. С. 651–660; 1881. № 4. 15 февраля. С. 128–139; № 13. 1 июля. С. 476–490; № 18. 15 сентября. С. 684–699.

³⁰ Горшков А. Русская журналистика: Новый роман г. Достоевского «Братья Карамазовы». — Нравственные идеалы г. Достоевского. — Алёша Карамазов как исцелитель («Русский вестник», 1879 г.) // Русская правда. 1879. 22 июня. № 51. С. 1–2.

³¹ Донские епархиальные ведомости. 1881. Отд. неоф. № 18. 15 сентября. С. 698.

³² Православное обозрение. 1880. Т. 3. Сентябрь. С. 29–67; Октябрь. С. 215–244.

³³ См., например: <Без подписи>. Обзор журналов // Странник. 1880. Т. 3. Декабрь. С. 577–578; <Без подписи>. Новости духовной литературы // Московские церковные ведомости. 1889. № 1. 1 января. С. 12.

³⁴ Впервые её проанализировал Д. Д. Григорьев (впоследствии протоиерей) в своём очерке [Григорьев, 1968], см. также: [Григорьев, 2002].

³⁵ Православное обозрение. 1880. Т. 3. Сентябрь. С. 29.

Развивая эту метафору, Левитский представляет большинство героев писателя «нравственными калекими» в лазарете с «удушливою, спёртою атмосферой»³⁶. Однако эти наблюдения не приводят критика к осуждению писателя, как чуть позже Н. К. Михайловского в известной статье «Жестокый талант». Левитский считает, что Достоевского нельзя назвать пессимистом уже потому, что

«его нравственные стремления находят себе полное удовлетворение только в христианском идеале», который «есть живая деятельная сила, имеющая обновить человечество»³⁷.

Критик сосредотачивается на раскрытии церковно-общественного идеала писателя по тому, как он отразился в наставлениях старца Зосимы и во взглядах Ивана Карамазова.

Безоговорочно принимая саму идею постепенного воцерковления государства, критик воодушевляется и утопической верой Достоевского в неизбежное уже в земных условиях перерождение государства в Церковь, родственной хилиазму³⁸. О том, что надежды эти вполне реальны, свидетельствует, по мнению Левитского, монашеский мир братской любви, уже теперь противостоящий мирскому разъединению и эгоизму (впрочем, критик считает, что писатель идеализирует монашескую жизнь). Вторую половину статьи он посвящает анализу «поэмы» «Великий инквизитор», в которой, по его убеждению, наилучшим образом выявлен «трагизм» католичества как идеи «ложного человеколюбия», попытки исправить дело Христа³⁹.

Рассуждая о христианских основах мировоззрения Достоевского, Левитский лишь в исключительных случаях говорит о собственно эстетических особенностях тех или иных образов — например, характеризуя Ивана как «тип современного светски образованного молодого человека с неустановившимися воззрениями и мучимого разного рода сомнениями»⁴⁰. Статья эта написана скорее «по поводу» романа — в ней вполне проявился темперамент Левитского — по преимуществу публициста-теоретика, чем литературного критика в привычном понимании. Публикации этого разбора поспособствовал протоиерей А. М. Иванцов-Платонов, о чём можно судить по его письму к Достоевскому от 20 декабря 1880 г. Здесь же он даёт высокую оценку психологическому мастерству писателя, усматривая в нём дарование богослова:

«Никогда ещё ни одному из поэтов и романистов русских (кажется — и иностранных) не приходилось так глубоко касаться высших сторон духовной жизни и так сердечно освещать нас нравственно-христианской идеей, как Вы это делаете в своих произведениях. В Вашем лице художественная литература входит в ту область, которая обыкновенно считается специальным достоянием религиозно-нравственной литературы»⁴¹.

³⁶ Там же. С. 30.

³⁷ Там же. С. 33.

³⁸ Удивительно, но в этом вопросе с Достоевским и Левитским солидаризуется и рецензент, подписавшийся инициалами Н. Д. (Православное обозрение. 1889. Т. 1. Февраль. С. 400–403).

³⁹ Православное обозрение. 1880. Т. 3. Октябрь. С. 216, 238, 243–244.

⁴⁰ Там же. С. 219–220.

⁴¹ Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1992. Т. 10. С. 226. Публ. и коммент. Б. Н. Тихомирова.

Именно с таких позиций в церковной критике и начинается освоение наследия Достоевского: в нём подчас видели выдающегося духовного писателя, чуть ли не религиозного учителя-проповедника, а потому, подчас довольно поверхностно оценивая явленные в его творчестве особенности христианского мировидения, нередко идеализировали его художественные решения. Не случайно ни одному из русских писателей не было посвящено столько церковных надгробных слов, сколько их прозвучало по смерти Достоевского.

Яркая в литературном отношении поминальная речь духовного писателя священника *Иоанна Дмитриевича Петропавловского* (1844–1907) представляет прямо-таки иконописный образ Достоевского:

«...это муж Креста Христова, человек, ходивший пред Богом, искавший грядущего града с вечно устремлённым взором туда, куда ведут узкие врата...»⁴².

Как духовный пастырь отец Иоанн воздаёт должное писателю-психологу, осуждавшему «тончайшие переплетения удивительнейших контрастов и противоречий в душе человеческой», и выделяет в качестве основной черты его творчества укоренённый в Боге гуманизм: Достоевский выявляет в своих персонажах «ту блестящую искорку, по которой мы все сродны своему Творцу, Отцу светов»⁴³. При этом писатель представлен не только как духовный вождь нации:

«Он выразитель нашего народного духа, толкователь нашей жизни <...>. Он обратил нас к самим себе, к самопознанию и самоусовершенствованию»⁴⁴, — но и страдалец-исповедник: «Богатое содержание его духа не легко приобретено им: оно выстрадано им, вышло из горнила мучительных ощущений его сердца. <...> Он подобие праведника»⁴⁵.

Вторил отцу Иоанну *Иван Петрович Янышев* (ок. 1857–1886), автор «адреса» А. Г. Достоевской от студентов-богословов. Он писал, что писателю дорога была «самая даже маленькая чёрточка образа Божия в человеке» как залог будущего братства людей⁴⁶.

Редактор «Московских церковных ведомостей» протоиерей *Виктор Петрович Рождественский* (1826–1892) считал, что Достоевский «поистине может быть образцом» для самих священнослужителей, и объяснял «высокую человечность» его творчества тоже её укоренённостью во Христе:

«...поразительная по своей высоте и широте гуманность покойного происходила именно из религиозного источника, — была плодом искреннего и глубокого проникновения его души духом того Великого Учителя, Который звал к Себе всех труждающихся и обременённых...»⁴⁷.

⁴² Петропавловский И. Д., свящ. Земной жребий ревнителя правды: (Слово пред панихидою по Ф. М. Достоевском) // Православное обозрение. 1881. Т. 1. Февраль. С. 342 (то же, со стилистическими отличиями: Петропавловский И. Речь, сказанная на заупокойной литургии пред панихидой по Ф. М. Достоевском // Московские церковные ведомости. 1881. № 7. 15 февраля. С. 105).

⁴³ Петропавловский И. Д., свящ. Земной жребий ревнителя правды. С. 342.

⁴⁴ Там же. С. 342–343.

⁴⁵ Там же. С. 343.

⁴⁶ См.: Яхонтов И. Адрес студентов Московской духовной академии супруге покойного Ф. М. Достоевского // Московские церковные ведомости. 1881. № 7. 15 февраля. С. 105.

⁴⁷ <Рождественский В. П., прот.>. По поводу смерти Ф. М. Достоевского // Там же. 1881. № 6. 8 февраля. С. 83.

Член Комитета духовной цензуры архимандрит *Иосиф* (в миру *Иван Гаврилович Баженов*; 1829–1886) в своей проповеди предвещал, что

«взойдут некогда и заволнуются зрелыми колосьями благие семена его народно-русских мыслей и православно-христианских чаяний»⁴⁸.

Архимандрит *Евсевий* (в миру *Евгений Васильевич Лещинский*; ок. 1835–1889), в то время преподаватель Саратовской духовной семинарии, называя Достоевского «пламенным исповедником Православия», указывает на христоцентризм его творчества:

«Покойный всё желал сложить к стопам Спасителя, подчинить всё Христу как единому Пастырю единого христианского стада и Упокойтелю всех страждущих и обременённых...»⁴⁹.

Выдающийся проповедник и философ архиепископ *Никанор* (в миру *Александр Иванович Бровкович*; 1826–1890) в судьбе Достоевского видел явственное отображение евангельской притчи о блудном сыне (то есть покаянного возвращения интеллигента к народно-религиозной традиции). Поэтому, по мнению владыки, писатель и употребил свой высокий дар

«на создание многих трогательнейших образов блудных сынов и дочерей из среды нашего русского современного общества»⁵⁰.

Этот «обновлённый сын Отца Небесного», убеждён Никанор, в своём «служении идеалу добра» стоит неизмеримо выше всех остальных художников слова, которые «раскрашивают только беспросветный моральный мрак»⁵¹, не исключая и великих его предшественников — Пушкина и Гоголя, лишь изредка, считает владыка, углублявшихся во внутреннюю природу человека (см. подробнее: [Дмитриев, 1999]).

Священник *Александр Николаевич Кудрявцев* (1840–1888), профессор богословия Новороссийского университета, также видел явное мистическое указание в том, что проводы Достоевского (точнее, панихиды в 9-й день по кончине) состоялись в отмечаемую Церковью Неделю блудного сына. Печальное событие высветляло стержневую художественную мысль писателя:

«...он хотел показать, что, как бы глубоко человек ни пал, следы образа Божия в нём не изглаживаются, что, если только он верит в Бога и Его Провидение, он всегда может возвратиться на путь истины и добра...».

Существенно, что и отец Александр не усматривает никаких отклонений Достоевского от евангельского учения:

⁴⁸ Иосиф, архим. Речь, сказанная в Казанском соборе 5 февраля в присутствии членов Славянского благотворительного общества, пред панихидою в девятый день смерти Ф. М. Достоевского // Церковный вестник. 1881. № 7. 14 февраля. С. 12 (перепеч.: Ф. М. Достоевский и Православие / сост. А. Н. Стрижев. М., 1997. С. 37–39).

⁴⁹ Слово при поминании Ф. М. Достоевского, сказанное Саратовской духовной семинарии преподавателем, архимандритом Евсеем // С.-Петербургские ведомости. 1881. 29 июля. № 176. С. 2 (отд. отт.: СПб., 1881. 4 нум. с.).

⁵⁰ Никанор, архиеп. Поучение в неделю блудного сына, в день поминания раба Божия Феодора Достоевского: Мировое значение притчи о блудном сыне <1881> // Никанор, архиеп. Поучения, беседы, речи, воззвания и послания: <в 5 т.>. Т. 1. 3-е изд. Одесса, 1890. С. 221.

⁵¹ Там же.

«...слово его не было словом обыкновенным. Оно постоянно было воспроизведением того Божественного Слова жизни, которое возвестил Господь и Спаситель наш»⁵².

Протоиерей *Иоанн Константинович Яхонтов* (1819–1888), помощник главного наблюдателя за преподаванием Закона Божия в учебных заведениях Министерства народного просвещения, главной заслугой Достоевского считал его религиозно-общественную позицию и его убежденность в том,

«что Православие сроднилось, срослось с русским народом и что великая будущность предстоит русскому государству, русской Церкви, русскому народу — деятельность просветительная и примирительная»⁵³.

Особенно проникновенным было надгробное слово о писателе, произнесенное ректором столичной Духовной академии, протоиереем *Иоанном Леонтьевичем Янышевым* (1826–1910), впоследствии придворным духовником. Отец Иоанн указывает на глубину религиозного мироощущения Достоевского, идеалом жизни которого была, по словам Янышева,

«жизнь истинно-христианской любви, невозможной без самоотречения, и православной правды, в свою очередь немислимой без любви...»⁵⁴.

Произведения писателя он называет «искренней литературной исповедью»: их чтение, считает отец Иоанн, позволяет угадать в «многострадальной душе» Достоевского «отголосок Божественной любви». Впрочем, хотя Янышев признает, таким образом, Достоевского большим христианским писателем, он не всё в мировоззрении его принимал и даже полагал, что при разборе некоторых его суждений «с богословской точки зрения» требуются «не только значительные разъяснения и ограничения, но и решительное опровержение»⁵⁵.

Последнее суждение отца Иоанна (кстати, встречавшегося с Фёдором Михайловичем за границей, в Висбадене) можно считать редчайшим исключением. Однако, подытоживая посмертные оценки Достоевского в церковных проповедях о нём, надо признать, что священнослужители, имея высокое представление о личности писателя и о его жизненном подвижничестве, говорили только о верности его творчества духу евангельского учения, но не возводили его на пьедестал некоего религиозного учителя или специалиста-богослова.

⁵² Новороссийский телеграф. 1881. 10 февраля. № 1817. С. 1 (также см. под назв. «Речь, сказанная в Новороссийском университете пред панихидою о рабе Божием Феодоре Михайловиче Достоевском»: Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям». 1881. № 5. 1 марта. С. 123–127).

⁵³ Яхонтов И. К., прот. При поминовении Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский и Православие. С. 43. В этом сборнике при перепечатке проповеди отца Иоанна, произнесенной 8 февраля 1881 года, её ошибочно приписали несуществующему «приват-доценту Московской духовной академии по кафедре основного богословия» Ивану Андреевичу Яхонтову. Отчество приват-доцента было Петрович. Иван же Андреевич Яхонтов — магистр богословия Казанской духовной академии.

⁵⁴ Памяти Фёдора Михайловича Достоевского // Православное обозрение. 1881. Т. 1. Февраль. С. 439–440.

⁵⁵ Янышев И. Л., прот. Сочинение студента Касторского Михаила «Сочинения Ф. М. Достоевского с богословской точки зрения» // Протоколы заседаний Совета С.-Петербургской духовной академии за 1881–82 учебный год. СПб., 1882. С. 152.

Сразу после кончины Достоевского в ряде церковных изданий появляются материалы, которые, с одной стороны, показывали справедливость тех возвышенных характеристик, какие даны были ему духовными пастырями в поминальных речах, и развёрнуто комментировали их, но пока лишь подготавливали серьёзную разработку творчества писателя религиозно-философской мыслью; а с другой — эти материалы, как правило, вольно или невольно культивировали свойственный некрологам тон преувеличенных восхвалений, причём вторгаясь в сферу, во многом запредельную эстетике, — прежде всего нравственного, пастырского и сравнительного богословия и православной аскетики, где Достоевский стал провозглашаться не только специалистом, но и подчас реформатором.

Словно бы стремясь дать импульс этой предстоящей работе, автор журнала «Странник» — вероятнее всего, один из его соредакторов *Александр Иванович Пономарёв* (1849–1911), преподаватель теории словесности и истории иностранных литератур в С.-Петербургской духовной академии, — писал, что Достоевский отметил в Православии

«такие стороны, каких никто раньше его не коснулся, и поставил в художественных образах такие философские и религиозные проблемы, над которыми долго-долго будут думать философ, художник, учёный, мыслитель...»⁵⁶.

Профессор всеобщей истории той же Духовной академии *Андрей Иванович Предтеченский* (1832—1893) в редактируемом им «Христианском чтении» поместил статью, где особые заслуги «самого видного, искреннего и наиболее бесстрашного „исповедника“ бытия и верховных прав духа» усматривал в противостоянии «заморским» атеистическим идеям, изначальную порочность которых и выявлял в своих романах Достоевский — проповедник «всенародного братства»⁵⁷. Предтеченский признавал:

«В наш век много нужно писателю иметь мужества, чтобы выступать открыто с исповеданием убеждений подобного рода»⁵⁸.

Популяризации религиозно-нравственных аспектов творчества Достоевского способствовали и три статьи московского духовного писателя *Сергея Афанасьевича Пономарёва* (ок. 1858 – не ранее 1908), опубликованные в «Чтениях в Обществе любителей духовного просвещения». В первой из них — «Об иноке русском и возможном значении его: По поводу мыслей об русском иночестве в романе Ф. М. Достоевского» — освещаются взгляды писателя на монашество, причём в центре внимания оказывается «нравственное величие» старца Зосимы, образ которого, «при замечательной художественной отделке», представляется критику «светлым образцом» для современного иночества. Наставления старца разбираются особенно подробно, что в жанровом отношении сближает эту статью о романе с традиционным для духовной

⁵⁶ Пономарёв А. И. (?). Фёдор Михайлович Достоевский (некролог) // Странник. 1881. Т. 1. Февраль. С. 346.

⁵⁷ См.: Предтеченский А. И. Атеизм и народное развитие: (Памяти Ф. М. Достоевского) // Христианское чтение. 1881. Ч. 1. Март–апрель. С. 396, 397, 418.

⁵⁸ Там же. С. 401.

литературы «поучением инокам»⁵⁹. В том же ключе написана обширная работа «Православная идея», в которой ставится задача раскрыть «миросозерцание Достоевского как русского народного православного мыслителя»⁶⁰. Две трети статьи посвящены изложению его взглядов на инославие и взаимоотношения Церкви и государства. В отличие от других церковных публицистов своего времени, Пономарёв не ограничивается «Братями Карамазовыми», а широко использует идеи и образы «Дневника писателя», романов «Идиот», «Бесы» и «Подросток», в частности точно выявляет духовный смысл карамазовщины как бунта против Создателя, культа человекобожного своеволия и указывает на существенную идейную связь образов Ивана Карамазова, Ставрогина, Кириллова, Верховенского и других героев⁶¹.

Не удивительно, что в этот период возмущение церковных публицистов вызвала та часть брошюры К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане» (М., 1882), в которой язвительной критике с точки зрения православной аскетики подверглась Пушкинская речь Достоевского. Предвзятость леонтьевских аргументов, по мнению московского законоучителя и духовного писателя священника *Иоанна Ильича Соловьёва* (1854–1917), становится явной, стоит лишь вспомнить Катехизис: Достоевский прав, считая залогом спасения и счастья любовь, а не страх Божий (плод любви)⁶². С. А. Пономарёв более обстоятельно выясняет смысл «всепрощающей любви», ключевого понятия в воззрениях Достоевского, показывая (главным образом на материале «Братьев Карамазовых»), что она никак не сводится к гуманности, лежащей в основе утилитарного прогресса. Мироззрение писателя, убеждён Пономарёв, «вполне и строго православно»: «Называть его сентиментальным или розовым православием неуместно и несправедливо»⁶³.

Следовало бы упомянуть и другие (наиболее интересные) работы о Достоевском «популяризаторского» характера, написанные позднее, уже в 1890-х годах, авторами церковных изданий: П. И. Линицким, Д. Г. Наумовым,

⁵⁹ Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1881. Кн. 3. Ч. 1. Отд. I. С. 344–363. Статья подписана криптонимом «-в»; авторство С. А. Пономарёва устанавливается предположительно, но с большой долей вероятности. Отметим, что с его лёгкой руки в духовной журналистике впоследствии не раз появлялись сходные обзоры соответствующих страниц романа. См., например: Богословский И. Русский инок и его возможное значение, по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Воскресный день. 1888. № 22. С. 252–255; № 23. С. 266–268; № 29. С. 335–337; № 31. С. 362–364; № 32. С. 374–376.

⁶⁰ Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 58–59. Статья не подписана. Источник атрибуции: Там же. 1884. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 94.

⁶¹ См.: Там же. 1883. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 66–79.

⁶² Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Кн. 3–4. Ч. 2. Отд. II. С. 163–177. Рецензия подписана криптонимом «У-в» и потому приписывалась Н. А. Уманову; авторство свящ. И. И. Соловьёва указано К. Н. Леонтьевым (см.: В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: Материалы неизданной книги «Литературные изгнанные». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / сост. Е. В. Ивановой. СПб., 2014. С. 478).

⁶³ Пономарёв С. Любовь как начало единения: (По поводу брошюры о Ф. М. Достоевском) // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1884. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 101.

Е. В. Ливотовым, священником Н. Г. Побединским⁶⁴. Авторитет Достоевского — православного мыслителя в 1880–1890-х годах оказывается столь велик, что ссылки на его мнения или художественные решения встречаются даже в серьёзных богословских трудах (Н. Н. Глубоковский, А. С. Рождествен⁶⁵), не говоря уже о духовной публицистике (Н. И. Черняев, И. Т. Костырь, А. К. Яхонтов, Д. М. Берёзкин, И. П. Николин, священник Н. Тихомиров⁶⁶ и др.).

Думается, стимулирующее значение для перехода от такой подготовительной работы к более глубокому изучению религиозных проблем творчества Достоевского имела публикация упоминавшейся уже статьи А. М. Бухарева о «Преступлении и наказании» в 1884 году. Уже в следующем году в харьковском журнале «Вера и разум» было помещено большое исследование преподавателя местной семинарии *Александра Алексеевича Снегирёва* (1847–1917?), в котором он прямо опирается на бухаревское толкование образа Раскольникова. Ещё через три года печатает свою первую статью о писателе иеромонах *Антоний* (в миру *Алексей Павлович Храповицкий*; 1863–1936).

Работа А. А. Снегирёва примечательна тем, что представляет мирозерцание писателя как цельное и стройное единство его воззрений, «основной пункт» которых — мир людей, проблема жизни, решаемая с христианских позиций. Отметив «взаимопроникновение в мышлении Достоевского начал поэтического и философского»⁶⁷, Снегирёв главным образом на материале романов и формулирует «основные положения» мировоззрения писателя. Особое внимание критик уделяет такому важному мотиву, как «гордое посягательство на религиозно-нравственные основы жизни», связанному с образами Раскольникова, Ипполита, Кириллова, Ивана Карамазова, Великого инквизитора⁶⁸.

⁶⁴ Линицкий П. Изящная литература и философия // Вера и разум. 1892. № 8, 9, 11, 14, 16, 18, 22 (отд. изд.: Харьков, 1893. 343 с.); Н-в <Наумов Н. Г.>. Теократические и иерократические воззрения Владимира Соловьёва и Фёдора Достоевского пред судом канонического права Православной Церкви // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1891. Кн. 7. Ч. 3. Отд. II. С. 291–338; Ливотов Е. Русский инок в романе Достоевского «Братья Карамазовы» // Странник. 1893. Т. 2. Август. С. 426–449; Побединский Н. Г., свящ. Религиозно-нравственные идеи и типы в произведениях Ф. М. Достоевского // Вера и Церковь. 1899. Т. 1. Кн. 1. Отд. II. С. 112–128; Кн. 2. С. 278–301.

⁶⁵ Глубоковский Н. Свобода и необходимость (против детерминистов) // Вера и разум. 1888. № 14. Июль, кн. 2. Отд. философский. С. 93–94; № 15. Август, кн. 1. С. 115; Рождествен А. Очерки русской церковной и общественной жизни // Там же. 1889. № 15. Август, кн. 1. Отд. церковный. С. 191–193.

⁶⁶ Н. Ч. <Черняев Н. И.>. От «ец» Иоанн // Южный край. 1890. 21 июля. № 3282. С. 1–2; Костырь Ив. О. Иоанн Кронштадтский и старец Зосима... (письмо в редакцию) // Странник. 1890. Т. 3. Октябрь. С. 347–350; Яхонтов А. Жития святых в их значении для домашнего чтения // Там же. 1892. Т. 3. Декабрь. С. 697; Берёзкин Д. Истина бессмертия души и будущей жизни, её значение и достоинство в христианском нравоучении // Там же. 1895. Т. 2. Май. С. 39, 41; Николин И. О смирении (против Ницше) // Там же. 1900. Т. 3. Октябрь. С. 223–224; Тихомиров Н., свящ. Ф. М. Достоевский о графе Л. Н. Толстом // Пастырское собеседник. 1900. № 28. 8 июля. С. 430–432.

⁶⁷ Снегирёв А. Философское мирозерцание Ф. М. Достоевского // Вера и разум. 1885. Т. 2. Ч. 2. Ноябрь, кн. 1. Отд. философский. С. 411–412.

⁶⁸ Там же. С. 413–432.

В своей первой работе о писателе — заметке «В день памяти Достоевского» — отец Антоний (Храповицкий), впоследствии митрополит, глава Русской Зарубежной Церкви, стремясь осмыслить духовный подъём, объединивший людей на его похоронах («нечто подобное Голгофе»), видит значение его творчества в призыве слиться с христианскими устремлениями народной жизни, «внутренним образом» принять евангельское учение. Своеобразие Достоевского-художника, по его определению, состоит не только в «прозрении» им идеального, Божьего образа в человеке: «...он начертывает путь, по которому это доброе начало может развиваться»⁶⁹. В этой небольшой заметке отца Антония нетрудно заметить зерно его будущих работ о любимом писателе, вплоть до написанной в 1917 году книги «Словарь к творениям Достоевского: Не должно отчаиваться» (София, 1921) и 13 небольших статей о писателе, опубликованных в 1929–1934 годах.

Гносеологическая ценность художественного творчества Достоевского столь значительна, что духовный писатель смело использует его произведения не только в качестве пособия по нравственному, но и — главным образом — по пастырскому богословию. Его исследование 1893 года, или, по его собственному жанровому определению, «внеклассная лекция студентам», так и называется: «Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского». Не удовлетворённый попытками предшествующей критики определить «основные идеи» творчества писателя, отец Антоний предлагает своё решение проблемы. Он исходит из того, что «эта идея была из жизни внутренней, душевной, личной»; она была «не посылкой, не тенденцией»⁷⁰, вроде идеи патриотической, славянофильской или отвлечённо-религиозной.

«Возрождение, — подчеркивает отец Антоний, — вот о чём писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточённое самоубийство...»⁷¹.

Заслугу писателя он видит как в психологически достоверном изображении внутренней жизни «возрождаемых», так и в том, что «с особенною силою и художественною красотой» описывает Достоевский «служителей возрождения и любви».

В этом исследовании, приспособляющем содержание произведений писателя к изучению специально богословских вопросов, отец Антоний показывает прекрасное знание творчества Достоевского: он хорошо ориентируется в сюжетных переплетениях его романов, проницательно обнаруживая авторский замысел и с лёгкостью проводя идейно-образные параллели между героями. Пять типов «миссионеров» — сознательных, а обычно невольных — выявляет отец архимандрит в творчестве Достоевского: служители Церкви (старец Зосима, епископ Тихон), дети (Нелли, Поленька), люди из народа (мужик Марей, Макар Иванович, Лукерья), кроткие женщины (Соня, Неточка Незва-

⁶⁹ И. А. <Антоний (Храповицкий), иером.>. В день памяти Достоевского: (Письмо из Петербурга) // Русское дело. 1888. 30 января. № 5. С. 13.

⁷⁰ Антоний (Храповицкий), архиеп. Полн. собр. соч.: в 3 т. Т. 2. СПб., 1911. С. 469.

⁷¹ Там же.

нова, сестра Илюши) и, наконец, сами возрождённые «в своих страданиях». Подробно характеризуя этих героев и описывая сам процесс «уподобления одной воли другой», отец Антоний находит у Достоевского подтверждение центральной своей философской идее об онтологическом единстве человеческой природы как основе пастырского воздействия. Он уверенно выводит «формулу» писателя:

«...смиряться, любя и познавая людей, человек восходит или возвращается к первоначальному таинственному единству со всеми и, как бы переливая святое (через общение с Богом усвоенное) содержание своей души в душу ближнего, преобразует внутреннюю природу последнего...»⁷².

Статья отца Антония вообще богата ценными наблюдениями и глубокими умозаключениями. Укажем на лишь намеченное им сопоставление с толстовским творчеством:

«...герои, вроде Левина, Безухова и Болконского, — пишет отец Антоний, — под весьма неопределёнными влияниями приходят к неопределённым же результатам, установившись твёрдо только в осуждении прежнего самолюбия и в решимости следовать сострадательному чувству». Да и то эти типы Толстого «в его толстых романах как две-три фиалки в огромном букете красивых, но лишённых запаха цветов; у Достоевского же, как сказано, все, и первостепенные и второстепенные, герои вращаются около своей совести и призыва к покаянию и обновлению, как множество планет по разным орбитам кружатся вокруг одного солнца»⁷³.

Публикации Снегирёва и отца Антония своим появлением опередили более известные сегодня работы Мережковского, Розанова, Бердяева. Однако, как видим, церковные критики, исходя из художественной данности, не менее глубоко постигали духовно-нравственный смысл образов Достоевского. Заметная же идеализация писателя в первые десятилетия после его кончины, как выше упоминалось, совершалась в ходе невиданной по размаху критической войны, разгоревшейся в печати по поводу религиозно-философских сочинений Л. Толстого, когда два крупнейших писателя стали восприниматься как антиподы⁷⁴.

* * *

Труднообозримые материалы о Л. Толстом, публиковавшиеся в духовной журналистике, относятся скорее к области богословской апологетики, чем к традиционной литературной критике.

Существенно, что первые отклики появились ещё на рукописные списки толстовских трактатов, но поначалу казалось: можно только отмахнуться от «духовно незрелых» опусов знаменитого художника⁷⁵ или же, воспринимая их как «исторический документ» при изучении мировоззрения Толстого,

⁷² Там же. С. 492.

⁷³ Там же. С. 479. См. глубокую разработку темы «Митрополит Антоний и Достоевский» в статье: [Хондзинский].

⁷⁴ О рецепции Достоевского в церковной периодике см. подробнее: [Дмитриев, 2009].

⁷⁵ См.: <Без подписи>. Мнения печати по церковным вопросам // Церковный вестник. 1883. № 51. 17 декабря. С. 2–3.

рассматривать их «без всякого изобличительно-полюемического задора»⁷⁶. Общественная опасность религиозных сочинений писателя становится вполне явной к середине 1880-х годов, когда благодаря впечатляющему этическому пафосу они приобретают всё большее влияние и популярность.

Первым среди духовных писателей с обстоятельным разбором толстовской «Исповеди» выступил профессор церковного права Харьковского университета *Михаил Андреевич Остроумов* (1847–1920), который представил произведение Толстого, как «тяжёлое, толкущееся на одном месте болезненное описание этого пути к обоготворению собственного разума»⁷⁷. Поклонник художественного таланта писателя, Остроумов тем не менее видит то же «самообоготворение» уже в пантеистически окрашенной рефлексии Пьера Безухова, что позволяет ему подвергнуть сомнению признание Толстого о резком переломе в его религиозных убеждениях. Учение же графа, показывает профессор, лишь воспроизводит фейербаховский антропотезм.

Несамостоятельность толстовских построений, особенно воздействие на них модных западных доктрин в пылу полемики несколько преувеличивались. Так, пожалуй, самый известный из духовных критиков Толстого — казанский профессор по кафедре апологетики *Александр Фёдорович Гусев* (1845–1904) — в первой из своих восьми книг о писателе-моралисте, построенных как пособия по противосектантской пропаганде: «Граф Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» (М., 1890) — в основном опровергает спенсеровский позитивизм, который, по его убеждению, бессознательно исповедует Толстой в своем «пантеистически-социалистическом учении». В других своих работах Гусев подробно сопоставляет это учение и воззрения О. Конта, Шопенгауэра, Гартмана, Ренана и других, по его определению, «руководителей» Толстого. В центре внимания Гусева обычно не догматический нигилизм писателя, а его этические воззрения. Учёный показывает, что толстовская мораль искажает истинную нравственность, основанную на церковном вероучении, ибо в его построениях этика предшествует метафизике. Любопытно, что на страницах трудов Гусева некоторые не пропущенные цензурой сочинения Толстого приходили к читателю (так получилось, к примеру, с практически целиком процитированной «Исповедью»).

Конечно, критика толстовского учения (особенно на первых порах) не могла не быть довольно односторонней: духовная критика рассматривала «веру» графа в свете миссионерской задачи противодействия вредной ереси и прежде всего обращала внимание на те стороны его проповеди, которые больше привлекали симпатии общества. Серьёзная, а по охвату материала практически исчерпывающая критика экзегетических опытов Толстого была предложена в работах таких церковных оппонентов его учения, как протоиерей Т. И. Буткевич, священник Н. А. Елеонский, А. Г. Орфано, А. С. Рождественский, С. А. Соллертинский. Среди откликов на трактаты Толстого выделяются су-

⁷⁶ См.: <Пономарёв А. И.?. «Исповедь» гр. Толстого и разбор её в богословском журнале // Странник. 1885. Т. 3. Декабрь. С. 751–761.

⁷⁷ Остроумов М. Наши новые «философы и богословы»: Граф Лев Николаевич Толстой // Вера и разум. 1885. Т. 1. Ч. 2. Отд. церковный. Октябрь. Кн. 2. С. 539.

ждения таких авторитетнейших подвижников благочестия, как протоиерей Иоанн Кронштадтский (И. И. Сергиев) и святитель Феофан Затворник (Говоров), а также будущие патриархи архимандрит Тихон (Беллавин) и епископ Сергей (Страгородский)⁷⁸.

Широкую всероссийскую известность получили восемь бесед «против Льва Толстого» архиепископа Никанора (Бровковича), посвящённые не только опровержению отдельных положений толстовского учения, но и разбору художественной прозы писателя: повести «Крейцера соната» и рассказа «Три старца». Популярность этих гневных обличительных поучений архипастыря обеспечивалась как глубиной богословского анализа, так и их необыкновенно эмоциональным стилем, важная черта которого — мужественная авторская интонация, голос пастыря, наделённого духовной властью (см. подробнее: [Соловьёв]).

Имеют важное значение и работы, авторы которых стараются избежать одномерно-обличительного подхода к духовной драме Толстого; к примеру, воздают должное самому ценному в его проповеди — её нравственно-деятельному аспекту, знаменующему некоторый подъём общественного сознания, неудовлетворённость утилитарно-позитивистскими увлечениями эпохи. В то же время идеализация этического учения Толстого в статьях его апологетов: А. Л. Волинского, Н. Я. Грота, Л. Е. Оболенского и других — вызывала отпор со стороны церковных критиков (священников Ф. П. Преображенского, С. Г. Розанова и И. И. Филевского; М. Н. Ремезова, В. И. Троицкого, З. Цветкова и др.). Они стремились показать ущербность «морали любви», которая лишена высших метафизических основ, находится вне начал христианского теизма.

Существенное значение имели десять работ о Толстом Антония (Храповицкого), который принципиально отказывается от препирательства, выявления логических неувязок и противоречий — его метод родственен бухаревскому: он вместо полемики сравнивает воззрения Толстого с идеалами православной веры и с пастырским участием упрекает мыслителя в узком и одностороннем понимании им евангельских истин.

Благой замысел «народных рассказов» писателя («призыв к нравственному возрождению») портит, считает отец Антоний, то, что путь к этому возрождению, вопреки аскетическому учению Церкви, оказывается необыкновенно лёгким:

«По гр. Л. Толстому выходит, будто нравственное совершенство достигается не через постепенное тяжкое воспитание и упорную душевную борьбу, а является плодом единичного, чуть ли не мгновенного уразумения истины»⁷⁹.

Поэтому и столь неубедительны «типы бесхарактерных идеалистов» в его творчестве: Пьер, Левин, «молодой помещик». В одной из своих работ отец Антоний соотносит душевное состояние писателя и известных литературных героев: Онегина, Печорина, Раскольникова и др. Не зная Христа,

⁷⁸ См. также: [Пичурина].

⁷⁹ Русское дело. 1886. 23 августа. № 18. С. 2.

все «они ненавидят зло, но не приходят к добру», обречены «мучиться злом и не иметь возможности пребороть его, ибо оно-то и представляется для них основой мира»⁸⁰.

В своих работах отец Антоний рассматривает главным образом этические воззрения писателя. Обычно он удачно сочетает общедоступное изложение с глубоким анализом философских основ толстовской морали, доказывая их сокровенное родство с атеистическими доктринами. Любопытно, что сам Толстой пожелал познакомиться со своим оппонентом и после «мягкой, доброжелательной беседы» с ним говорил, что его «понимает только о. Антоний»⁸¹.

Но, конечно, хотя необходимость борьбы с «еретическими измышлениями» подчас заслоняла от духовных критиков художественное творчество писателя, такие оценки всё же в церковных изданиях были. Главным образом освещались произведения позднего периода, обыкновенно представляемые как «популярные иллюстрации» к религиозным взглядам Толстого. Обычно эстетические достоинства его прозы были как бы «отягчающим обстоятельством» для духовного критика, потому что ядовитая начинка вредных, с религиозной точки зрения, идей получала сладкую оболочку внешне безукоризненной художественности.

Например, в ряде духовных изданий перепечатывались статьи протоиерея *Александра Никаноровича Иванова* (1823–1916), редактора «Тулских епархиальных ведомостей», в которых осуждался, по его словам, «напускной мистицизм» «народных рассказов» Толстого, «Власть тьмы» была названа «порнографической драмой», а роман «Воскресение» — «клеветой злохудожной души».

Особенно много откликов богословов и религиозных публицистов вызвала «Крейцера соната». Соглашаясь (иногда без оговорок) с суждениями Толстого о состоянии современной семьи и брака в образованном обществе, духовные писатели (А. А. Бронзов, священник П. Д. Городцев, А. Ф. Гусев, А. А. Завьялов, архиепископ Никанор (Бровкович), священник Ф. П. Преображенский, архимандрит Тихон (Беллавин)) решительно опровергали «философию» писателя, преподносившую им как истинно христианские воззрения. Так, проповедуемый им брак целомудренный, без плотской любви, показывали богословы, является насилием и даже отрицанием человеческой природы, а вовсе не евангельским по духу подчинением физической стороны брака его нравственной стороне.

На этом фоне задиристо-полюемическим выглядит «внецерковное собеседование» священника *Михаила Ивановича Спасского* (1876–?) «Лев Толстой и христианский брак», отвергнутое редакциями духовных журналов и опубликованное в славянофильском «Русском труде». Упомянув, что «учитель-

⁸⁰ Антоний, иером. >. Беседы о нравственном превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Л. Толстого // Церковный вестник. 1888. № 34. 18 августа. С. 618.

⁸¹ Рклицкий Н. П. Краткое жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Белград, 1935. С. XXII.

ные выводы» Толстого возмутительны, Спасский исключительно высоко оценивает «пророчески вдохновенное» художественное творчество писателя последних лет. «Крейцера соната», по его словам, —

«это великое, бессмертное, явно божественное произведение», написанное в духе Достоевского, который тоже обличал общественный разврат, создавая типы вроде Свидригайлова⁸².

Не во всём бесспорная, работа Спасского замечательна новым, отнюдь не одномерно-обличительным подходом к Толстому. От прежних установок при анализе его произведений помогал отходить такой, например, вывод духовного критика о провиденциальном значении толстовского «богословствования»:

«Толстому была предназначена упорная борьба с Церковью к её вящей силе и славе. И кто знает, не больше ли всех иных послужит граф Толстой к возвеличению православной Церкви...»⁸³.

Понятно, что художественное творчество Толстого оценивалось духовными критиками только со стороны его религиозной проблематики, причём в контексте его «обновлённого христианства», и подчас создавалось впечатление, что анализируется не проза мастера слова, а некие публицистические трактаты. Всё же и такая критика имела свои достижения: лучшими её образцами были, на наш взгляд, проповеди о Толстом талантливого киевского профессора *Акима Алексеевича Олесницкого* (1842–1907), своими трудами внёсшего значительный вклад в развитие библейской археологии. Самое ценное в его по необходимости кратких характеристиках, отличающихся блестящей литературной формой, — внимание к идейному содержанию конкретных художественных образов.

Олесницкий, кроме того, был чуть ли не единственным духовным писателем, кто обращался к раннему периоду творчества Толстого. Ретроспективный взгляд позволял в нём увидеть (в свете последующей творческой эволюции) то, что почти не замечалось ранее. К примеру, в «беседе», адресованной читателям «Войны и мира», Олесницкий рассуждает о толстовской философии истории. Фатализм писателя, проповедуемая им «спекулятивная мысль» о господстве «тёмной стихийной силы случаев», полагает он, родственны «течению языческого неверия»⁸⁴. Антихристианский смысл этой философии видит Олесницкий и в отрицании «всякой разумно-нравственной деятельности», свободного выбора христиан, «героев долга и закона»⁸⁵.

Интересно сравнить с этими суждениями Олесницкого, представителя полемикаческого направления духовной критики, мнение сторонника созерцательного направления Н. И. Барсова. По его словам, Толстой в «Войне

⁸² См.: Спасский М. И., свящ. Лев Толстой и христианский брак // Русский труд. 1898. Особое приложение к № 1. 3 января. С. 25.

⁸³ Там же. С. 29.

⁸⁴ Олесницкий А. Беседа о так называемых случайных событиях и обстоятельствах: (Читателям исторического романа графа Л. Н. Толстого «Война и мир») // Прибавления к Церковным ведомостям. 1890. № 35. 25 августа. С. 1162.

⁸⁵ Там же. С. 1157.

и мире» «развивает (несколько мистически представляемую им) идею высшего божественного Промысла в судьбах человечества»⁸⁶. Барсов считает, что героям «величавой эпопеи» свойственна «полнота духовной жизни». Олесницкий же так характеризует нравственные метания князя Андрея: отвергнув «всё без остатка, всё учение о Боге», «он не дышит свободно на этом просторе безверия»⁸⁷.

Таким образом, как видим, взаимодействие различных подходов духовной критики к литературе и её оценок углубляло понимание творчества Достоевского и Л. Толстого, служа необходимым дополнением к традиционной светской критике, и — более того — способно и сегодня стимулировать исследовательскую мысль.

Кроме того, критические интерпретации литературы, предложенные наиболее проникновенными духовными писателями, содержали, по сути, богословское оправдание русской словесности в её высших проявлениях и, следовательно, значительно сглаживали остроту противостояния секулярной культуры и веры. Причём сопоставление авторами церковных изданий Достоевского и Л. Толстого как антиподов со временем отошло на второй план, позволяя сосредоточиться на изучении индивидуальности каждого из этих писателей. При этом ставилась задача борьбы с феноменом, в недавнее время названным «мирской святостью» [Панченко]. А. И. Пономарёв писал, что церковной критике надлежит «понизить в обществе преклонение пред поэтами, благодаря которому их творения нередко делаются чуть ли не Евангелием жизни, из которого почерпаются и мировоззрения, и правила нравственности»⁸⁸.

Этот призыв был услышан в следующий период развития духовной критики: в начале XX века деятельность её представителей, сотрудников не только уже известных изданий, но и множества новых общественно-церковных органов печати, была необыкновенно напряжённой. В этот период заметная тенденция к усилению роли созерцательного направления (богословского приятия светской культуры в принципе) входит во взаимодействие с новыми потребностями, прежде всего — необходимостью апологетического противодействия православно-модернистским интерпретациям литературы, подтачивающим позиции духовной критики изнутри. При этом Достоевский и Л. Толстой остаются в центре её внимания. Но это уже тема отдельного разговора.

Список литературы

1. Ашимбаева Н. Т. Архимандрит Феодор (Бухарев) и Достоевский // Достоевский: философское мышление, взгляд писателя / под ред. С. Алёя. СПб., 2012. С. 267–276. (Dostoevsky monographs; вып. 3).

⁸⁶ Н. Б. <Барсов Н. И.>. По поводу одного романа. «Монах»: роман Вас. Немировича-Данченко // Церковный вестник. 1890. № 12. 22 марта. С. 212.

⁸⁷ Олесницкий А. Беседа о бытии Божиим и богопознании // Прибавления к Церковным ведомостям. 1890. № 43. 20 октября. С. 1439.

⁸⁸ <Пономарёв А. И.>. Поход против роскоши в беллетристике // Странник. 1900. Т. 2. Июль. С. 497.

2. Григорьев Д. Д. Достоевский в русской церковной и религиозно-философской критике // Вольное слово. Мюнхен, 1968. № 4. Февраль. С. 88–92.

3. Григорьев Д., прот. Достоевский и Церковь: у истоков религиозных убеждений писателя. М., 2002. С. 102–106.

4. Дмитриев А. П. Дух Христов в мирском делании: религиозное оправдание культуры в деятельности архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) // Сфинкс: Петербургский философский журнал. 1995. № 1 (3). С. 50–61.

5. Дмитриев А. П. «Отцы и дети» И. С. Тургенева глазами духовных критиков // Литература в школе. 1996. № 5. С. 65–71. (1)

6. Дмитриев А. П. А. М. Бухарев (архимандрит Феодор) как литературный критик // Христианство и русская литература. СПб., 1996. Сб. 2. С. 189–197. (2)

7. Дмитриев А. П. Портрет в церковной проповеди как литературно-критический жанр: (О «поучениях» архиепископа Никанора (Бровковича)) // Русский литературный портрет и рецензия: Поэтика и концепции: сб. ст. СПб., 1999. С. 3–11.

8. Дмитриев А. П. «Продолжатель дела Христова на земле»: (А. С. Пушкин в оценке профессора А. П. Лопухина) // Христианская культура. Пушкинская эпоха: по материалам традиционных Христианских Пушкинских чтений. СПб., 2000. Вып. 12. С. 114–124.

9. Дмитриев А. П. «Муж Креста Христова» или «плоть от плоти общества»? (Духовные писатели и религиозные мыслители 1880-х – начала 1890-х гг. о Достоевском) // Достоевский и мировая культура: альманах. М., 2009. № 25. С. 445–470.

10. Зевалд Ю. А. «Преступление и наказание» в прочтении архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) // IV Летние чтения в Даровом / ред.-сост. В. А. Викторovich. Коломна, 2016. С. 92–97.

11. Егоров Б. Ф. А. М. Иванцов-Платонов — учёный, публицист, литературный критик // Егоров Б. Ф. От Хомякова до Лотмана. М., 2003. С. 161–170.

12. Панченко А. М. Русский поэт, или Мирская святость как религиозно-культурная проблема // Новый журнал. СПб., 1991. № 1. С. 11–25.

13. Пичурин О. А. Толстой и официальное православное богословие // Вече: альманах русской философии и культуры. СПб., 1994. Вып. 1. С. 145–179.

14. Соловьёв А. П. «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX–XX веков. Уфа, 2015. С. 327–345.

15. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983. С. 426.

16. Хондзинский Павел, прот. Догмат любви // (Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. М., 2007. С. LII–CVII.

References

1. Ashimbayeva N. T. Archimandrite Feodor (Bukharev) and Dostoevsky. In: *Dostoevskij: filosofskoe myshlenie, vzglyad pisatelya / pod red. S. Aloe [Dostoevsky: Philosophical Thinking, the Writer's View. Edited by S. Aloe]*. St. Petersburg, 2012, pp. 267–276. (Dostoevsky Monographs. Issue 3). (In Russ.)

2. Grigoriev D. D. Dostoevsky in Russian Church and Religious and Philosophical Criticism. In: *Vol'noe slovo [The Free Word]*. Munich, 1968, no. 4, February, pp. 88–92. (In Russ.)

3. Grigoriev D., Archpriest. *Dostoevskij i Cerkov': u istokov religioznyh ubezhdenij pisatelya. [Dostoevsky and the Church: at the Origins of the Writer's Religious Beliefs]*. Moscow, 2002, pp. 102–106. (In Russ.)

4. Dmitriev A. P. The Spirit of Christ in Worldly Work: The Religious Justification of Culture in the Activities of Archimandrite Theodore (A. M. Bukharev). In: *Sfinks: Peterburgskij filosofskij zhurnal [Sphinx: St. Petersburg Philosophical Journal]*. 1995, no. 1 (3), pp. 50–61. (In Russ.)

5. Dmitriev A. P. "Fathers and Children" by I. S. Turgenev through the Eyes of Spiritual Critics. In: *Literatura v shkole [The Literature at School]*, 1996, no. 5, pp. 65–71. (In Russ.) (1)

6. Dmitriev A. P. A.M. Bukharev (Archimandrite Theodore) as a Literary Critic. In: *Hristianstvo i russkaya literatura [Christianity and Russian Literature]*. St. Petersburg, 1996. Collection 2, pp. 189–197. (In Russ.) (2)
7. Dmitriev A. P. Portrait in Church Sermon as a Literary and Critical Genre: (On the “Teachings” of Archbishop Nikanor (Brovkovich)). In: *Russkij literaturnyj portret i recenzija: Poetika i koncepcii: sbornik statej [The Russian Literary Portrait and Review: Poetics and Concepts: Collection of Articles]*. St. Petersburg, 1999, pp. 3–11. (In Russ.)
8. Dmitriev A. P. “Continuer of the Work of Christ on Earth”: (A. S. Pushkin in the Assessment of Professor A. P. Lopukhin). In: *Hristianskaya kul'tura. Pushkinskaya epoha: po materialam tradicionnyh Hristianskih Pushkinskih chtenij [The Christian Culture. The Pushkin Epoch: Based on the Materials of Traditional Christian Pushkin Readings]*. St. Petersburg, 2000, Issue 12, pp. 114–124. (In Russ.)
9. Dmitriev A. P. “The Man of the Cross of Christ” or “Flesh of the Flesh of Society”?: (Spiritual Writers and Religious Thinkers of the 1880s — early 1890s about Dostoevsky). In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura: al'manah [Dostoevsky and World Culture: Almanac]*. Moscow, 2009, no. 25, pp. 445–470. (In Russ.)
10. Zevald Yu. A. “Crime and Punishment” in the Reading of Archimandrite Theodore (A. M. Bukharev). In: *IV Letnie chteniya v Darovom / red.-sost. V. A. Viktorovich [The 4th Summer Readings in Darovoe]*. Kolomna, Izdatel'skiy Dom Liga Publ., 2016, pp. 92–97. Available at: <http://darovoe.ru/wp-content/uploads/2020/06/IV-summer-reading.pdf> (accessed on February 26, 2024) (In Russ.)
11. Egorov B. F. A. M. Ivantsov-Platonov — Scientist, Publicist, Literary Critic. In: *Egorov B. F. Ot Homyakova do Lotmana [From Khomyakov to Lotman]*. Moscow, 2003, pp. 161–170
12. Panchenko A. M. Russian Poet, or Worldly Holiness as a Religious and Cultural Problem. In: *Novyj zhurnal [The New Journal]*. St. Petersburg, 1991, no. 1, pp. 11–25. (In Russ.)
13. Pichurina O. A. Tolstoy and Official Orthodox Theology. In: *Veche: al'manah russkoj filosofii i kul'tury [Veche: Almanac of Russian Philosophy and Culture]*. St. Petersburg, 1994, Issue 1, pp. 145–179. (In Russ.)
14. Solovyov A. P. “Soglasit' filosofiyu s pravoslavnoj religiej”: idejnoe nasledie arhiepiskopa Nikanora (Brovkovicha) v istorii russkoj mysli XIX–XX vekov [“To Reconcile Philosophy with the Orthodox Religion”: The Ideological Legacy of Archbishop Nikanor (Brovkovich) in the History of Russian thought of the XIX–XX centuries]. Ufa, 2015. pp. 327–345. (In Russ.)
15. Florovsky G., Archpriest. *Puti russkogo bogosloviya. 3-e izd. [The Ways of Russian Theology. 3rd edition]*. Paris, 1983, p. 426. (In Russ.)
16. Khondzinsky Pavel, Archpriest. The Dogma of Love. In: (Antonij (Hrapovickij), Metropolitan. *Izbrannye trudy. Pis'ma. Materialy (Anthony (Khrapovitsky), mitr. Selected Works. Letters. Materials*. M., 2007, pp. LII–CVII. (In Russ.)

Т. П. Баталова, Г. В. Федянова

НЕКРАСОВ — ЧИТАТЕЛЬ ДОСТОЕВСКОГО

Аннотация. В статье рассмотрены интертекстуальные отношения стихотворения Ф. М. Достоевского «На европейские события в 1854 году» с поэмой Н. А. Некрасова «Тишина», а также романа Достоевского «Бесы» с поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Применение методологии социологической поэтики П. Н. Медведева позволило выявить их идейные и эстетические связи, доказывающие, что Некрасов находился в непрерывающемся творческом диалоге с Достоевским. Жанровые и иные различия этому не помешали.

Ключевые слова: Некрасов, Достоевский, интертекст, жанр, роман, поэма, идея, П. Н. Медведев, социологическая поэтика.

Информация об авторах: Тамара Павловна Баталова, кандидат филологических наук, независимый исследователь, Санкт-Петербург.

E-mail: batalovatp@yandex.ru.

Галина Всеволодовна Федянова, кандидат филологических наук, независимый исследователь, Санкт-Петербург.

E-mail: fedyanovagv@yandex.ru.

Tamara P. Batalova, Galina V. Fedyanova

NEKRASOV IS A READER OF DOSTOEVSKY

Abstract. The article examines the intertextual relations of F. M. Dostoevsky's poem *On European events in 1854* with N. A. Nekrasov's poem *Silence*, as well as Dostoevsky's novel *Demons* with Nekrasov's poem *Who lives well in Russia*. The application of the methodology of P. N. Medvedev's sociological poetics made it possible to identify their ideological and aesthetic contacts, proving that Nekrasov was in an ongoing creative dialogue with Dostoevsky. Genre and other differences did not prevent this.

Keywords: Nekrasov, Dostoevsky, intertext, genre, novel, poem, idea, P. N. Medvedev, sociological poetics.

Information about the authors: Tamara Pavlovna Batalova, PhD (Philology), independent researcher, Saint-Petersburg.

E-mail: batalovatp@yandex.ru.

Galina Vsevolodovna Fedyanova, PhD (Philology), independent researcher, St. Petersburg.

E-mail: fedyanovagv@yandex.ru.

Интертекстуальные взаимосвязи в произведениях Некрасова и Достоевского закономерны и определяются глубинной духовной близостью. В 1840-е гг. это проявилось в их переходе в развитии литературы с западничества на «русский путь», что привело к конфликтам с Белинским, с помощью которого Герцен рассчитывал укрепить в «Современнике» западническое направление. В 1870-е гг. в «Отечественных записках (после публикации «Русских женщин») по просьбе Некрасова автор «Бесов» печатает свой новый роман («Подросток»).

Интертекстуальные взаимосвязи в произведениях Некрасова и Достоевского рассматривались в работах: [Скатов], [Гин], [Лебедев], [Викторович],

[Кладова] и др. Изучение этой проблемы было осложнено советской идеологией: Достоевский был фактически запрещён, в противоположность ему Некрасов объявлен «революционером-демократом». Такая вненаучная установка не объясняет, например, концептуальных противоречий между работами [Скатов], [Мостовская], с одной стороны, и [Мокеев] — с другой. Советская идеология обуславливала и то, что в литературоведении XX века рассматривались главным образом текстовые «заимствования» Достоевским у Некрасова. Они наглядны, но их причины и функции оставались невыясненными. Более глубокое взаимовлияние этих писателей вскрывается при исследовании их произведений методом социологической поэтики [Медведев], разработанной учёным в полемике с формалистами ([Тынянов], [Шкловский], [Эйхенбаум]) в монографии «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» [Медведев: 198–255]. Центральное значение в этом учении ([Захаров, 2007], [Заваркина]) имеет категория жанра. По определению П. Н. Медведева, жанр — «сложная система средств и способов понимающего овладения и завершения действительности» [Медведев: 205]. Таким образом, П. Н. Медведев подчёркивает, что у жанра две стороны: 1) понимающее овладение теми или иными сторонами объективной действительности, порождающее идею произведения, и 2) «завершение» — художественное выражение идеи произведения в образах героев, фабуле, сюжете.

Под этим углом зрения можно рассматривать интертекстуальные взаимосвязи стихотворения Достоевского «На европейские события в 1854 году» (1854) и поэмы Некрасова «Тишина» (1857).

Л. Н. Толстой, высоко оценивая «Тишину», выделяет её первую часть: «Это самородок, и чудесный самородок» [Переписка: 53]. Центральное место в этой части — образ сельского храма:

Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной¹
[Некрасов: т. 4, с. 52].

Недоумение цензуры по поводу этих строк Некрасов объяснил с точки зрения православия:

«Никакая мирская власть не может наложить оков на душу, равно как и снять их. Здесь разумеются ОКОВЫ ГРЕХА, ОКОВЫ СТРАСТИ, которые налагает жизнь и человеческие слабости, а разрешить может только Бог» [Некрасов: т. 4, с. 547].

Нетрудно заметить интертекстуальные взаимосвязи рассматриваемых некрасовских строк со стихами «На европейские события в 1854 году» Достоевского:

¹ Произведения цитируются по изданию: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л. — СПб., 1981–2000. В дальнейшем ссылка на издание даётся в тексте статьи в сокращении (Некрасов) с указанием номера тома и страницы в круглых скобках.

Вновь язвён Онъ, вновь приняль скорбь и муки,
Вновь плачуть очи тяжкою слезой,
Вновь распростерты Божескія руки
И тмится небо страшною грозой! (III; 41)²

В русской журнальной поэзии 1853–1857 гг. такого зримого образа Христа, как в стихотворении «На европейские события в 1854 году» и поэме «Тишина», нет [Федянова, Баталова]. Некрасов заимствует у Достоевского не только яркие детали: «руки» и «муки», но также и рифмует их, усиливая эту взаимосвязь ещё одной рифмой слогов в сильной позиции с клаузулами «-ой».

Это, казалось бы, неожиданное литературное явление объясняется (и художественно, и логически) при исследовании стихотворения Достоевского и поэмы Некрасова с точки зрения учения Медведева о жанре. Достоевский и Некрасов «понимающе овладевают» коренными чертами русской действительности 1850-х гг. Трагические события усиливали значение в русской жизни христианских традиций. Верность православию — основная идея рассматриваемых произведений — выражена в каждом из них в своих художественных образах, т. е. завершена по-своему.

Достоевский в стихотворении «впервые выразил свои не новые, но выстраданные идеи о России и Европе, об исторических судьбах и назначении России, о Христе и христианстве, Церкви и Православии, власти и самодержавии» [Захаров, 2013: 168]. В этом стихотворении две части. Первая — сатирична. По Достоевскому, источник враждебности Европы к России — в измене западных стран христианству, в поддержке ими Турции, угнетающей славянские народы: «Христианин за Турка на Христа!»

Позоръ на васъ, отступники Креста,
Гасители Божественнаго Свѣта! (III; 41)

В соответствии с поэтикой сатиры здесь необходимы пластические образы. Упрёком Западу возникает картина Распятия:

Иль не для васъ всходилъ на крестъ Господь,
И даль на смерть Свою святую плоть?

Смотрите всѣ, — Он распятъ и понинѣ,
И вновь течеть Его святая кровь! (III; 41)

Вторая часть стихотворения — одическая. В соответствии с поэтикой оды действительность в этой части выражена в обобщённых образах-идеологемах. Достоевский подчёркивает нравственное противостояние России и Европы, готовность русских за Христа, за свои духовные ценности «жизнь отдать» — в отличие от откровенно меркантильной позиции противника: «мерзительного алкания богатств». Проводится мысль и о том, что Русь в православной вере находит своё исцеление и спасение:

² Стихотворение Ф. М. Достоевского цитируется по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Канонические тексты. Петрозаводск, 1997. Т. III. С. 39–42.

Но знайте же, что и въ послѣдней мукѣ,
Намъ будетъ чѣмъ страданье перенести!

<...>

Спасемся мы въ годину наваждений.
Спасуть насъ крестъ, святыня, вѣра, тронъ! (III; 40)

Таким образом, христианская вера становится основанием поэтической концепции стихотворения Достоевского.

Та же идея, что и в стихотворении Достоевского, выражена в сюжете поэмы Некрасова «Тишина». Действительность в ней обобщается как идеальная, очевидно евангельское осмысление церквей, о чём напоминает и Достоевский: «Онъ тѣломъ Божьимъ ихъ велѣлъ назвать» (III; 41). В первой части «Тишины» смысловым центром является «убогий храм земли твоей», а в третьей оказывается, что вся Россия — храм под открытым небом, с кульминацией: «Ей солнце правды в очи блещет». Этот образ из Апокалипсиса Иоанна-евангелиста у Некрасова выражает покровительство Высших сил. Неразрывную связь всех частей произведения выражает и словообраз «Русский путь». Движение «по тропинке узкой» — «Под самый мост... оно верней!» (Некрасов: т. 4, с. 55) — имитирует евангельские «тесные врата», «тесный путь». В отличие от публицистичности оды, в поэме противопоставление России Западу выражено лиричнее, обобщёнными природными образами:

Всё рождь кругом, как степь живая, —
Ни замков, ни морей, ни гор!
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!

<...>

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
(Некрасов: т. 4, с. 51–52)

«Русская печаль» — одна из составляющих «Русского пути». По Некрасову, «горе» и «печаль», накопившиеся в сердце народном, «облегчаются» в Храме:

Храм воздыханья, Храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слышали
Ни римский Пётр, Ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегчённый уходил!
(Некрасов: т. 4, с. 52)

В этом единстве с православной верой связывается и символизируется некрасовский образ *тишины*: «Деревенек тишина» (Некрасов: т. 4, с. 51).

Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет
И думу думает она
(Некрасов: т. 4, с. 55).

Таким образом, при исследовании стихотворения «На европейские события в 1854 году» и поэмы «Тишина» в методологии социологической поэтики П. Н. Медведева вскрывается их глубинная взаимосвязь. Стихотворение Достоевского способствовало художественным «находкам» Некрасова, т. е. развитию русской поэзии.

Под углом зрения социологической поэтики П. Н. Медведева очевидны и интертекстуальные взаимосвязи романа Достоевского «Бесы» и поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». В этих произведениях «понимающе осмыслены» коренные черты русской действительности 1860–1870 гг., выражена идея необходимости укрепления православной веры в жизни России. «Завершены» эти произведения каждое по-своему, со своим «эпилогом» [Краснов: 39–49].

«Кому на Руси жить хорошо» можно рассматривать как ответ «Бесам». Эти произведения связаны по принципу противопоставления. «Бесовщина» оторвавшихся от родной почвы, «сбившихся с пути» противопоставит широкая картина жизни тех, «кому на Руси жить хорошо», — русского народа. О конкретных взаимосвязях этих произведений говорят, например, сопоставления имён героев: Марья Тимофеевна («Бесы») и Матрёна Тимофеевна («Кому на Руси жить хорошо»). О близости упомянутых героинь символизируют их имена и отчества, а противопоставляют — взаимоотношения с окружающим миром. Они им героинь синонимичны: Марья — госпожа (с еврейского), Матрёна — знатная (с латинского). Патронимы одинаковы: Тимофей — почитающий Бога (с греческого). Героинь сближает боль о «ребёночке» и черты характера, присущие русскому народу.

Николай Ставрогин — «Гришка Отрепьев», сила его «беспредельна» («Бесы»); «силу необъятную» чувствует и Гриша Добросклонов («Кому на Руси жить хорошо»). Сходство имён и характеристика сил Ставрогина и Добросклонова подчёркивают противопоставленность концепций образов этих героев. О значимости в романе образа Марьи Тимофеевны свидетельствуют дискуссии о нём, результаты которых обобщены в Полном академическом собрании сочинений Достоевского:

«Чистота сердца, детскость, открытость добру, простодушие, радостное приятие мира роднят Хромоножку с другими «светлыми» образами Достоевского. Ее, слабоумную и юродивую, писатель наделяет ясновидением, способностью прозревать истинную сущность явлений и людей» (12; 230).

Предложив «несколько изменить» эту «логику», Л. И. Сараскина рассматривает Хромоножку как «объект медицины» [Сараскина: 132–133],

но это — монологический подход, не соответствующий поэтике романа Достоевского. *Хромота* в символике «Бесов» — выражение обособленности, инакости, выделения из общего ряда. Учитель — *хромой*. На собрании «наших», готовых *идти* за Петром Степановичем, он один из всех сомневается: идти ли? — он *хромает*. Интерпретация образа Марьи Тимофеевны только в сопоставлении этой героини с Матрёшей [Криницын: 144–166] упрощает проблему. Сюжетно-композиционная роль образа Хромоножки и её трагедии — вскрыть безысходность судьбы Николая Всеволодовича, погубившего данную ему природой «избранную душу».

Марья Тимофеевна была потрясена насмешливой женитьбой на ней, рассудок её ослабел, усилив интуицию. Композиционная связь ряда ситуаций романа, «рифмующихся» с последней встречей Хромоножки и Николая Ставрогина, выражает закономерность прозрения Марьи Тимофеевны, её понимания преступности Николая Всеволодовича. При последней встрече с ним, во время его предложения жить всю жизнь с ним вдвоём в Ури Марья Тимофеевна вспоминает атмосферу в гостиной Варвары Петровны: «Столько богатства и так мало веселья — гнусно мне это всё» (10; 217). *Хромота* подчёркивает её чуждость этому миру: «Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке» (10; 147). Этот мир презирает её. Лизавета Николаевна в этой сцене воспринимает её как «какого-то гада» (там же). Интуитивно Хромоножка почувствовала связь между стремлением к богатству и «ножом». В ней восстало чувство человеческого достоинства, духовно возвысившее её над ужасом гибели от рук «Гришки Отрепьева» (для Петра Верховенского — «Ивана-Царевича»: «...не боюсь твоего ножа!») (10; 219).

Таким образом, Достоевский показывает, что во внутреннем мире Марьи Тимофеевны сконцентрированы духовные ценности, характеризующие национальные черты русского народа.

Эти качества присущи многим персонажам Некрасова в его поэме «Кому на Руси жить хорошо». Семь временнообязанных «друг дружке обещаются» «в домишки не ворочаться»,

Покуда не доведут
Как ни на есть — доподлинно,
Кому живётся счастливо,
Вольготно на Руси?
(Некрасов: т. 5, с. 15)

Яким Нагой спасает из горящего дома «картинки», «забывая» о деньгах (Некрасов: т. 5, с. 46). Крестьяне на ярмарке, поверив слову Ермилы Гирина, собирают деньги, необходимые ему для победы над купцом при покупке мельницы (Некрасов: т. 5, с. 57–60). «Холоп примерный» Яков Верный повесился перед своим барином, выражая таким образом чувство собственного достоинства, оскорблённое барином (Некрасов: т. 5, с. 196–199). На этом фоне образ Матрёны Тимофеевны особенно значим. Некрасов развивает мысль Достоевского о преступности убийства. В этом отношении

судьба героини противостоит судьбе Дедушки — «богатыря святорусского». Убийство немца Фогеля, «дьявол», перевоплотившийся в свинью, погубившую Дёмушку, песня о Кудеяре — выражение мысли о грехе убийства, даже «справедливого». В противоположность Дедушке Матрёна Тимофеевна добывается правды у Губернаторши, т. е. мирным путём. (Некрасов: т. 5, с. 176–184). Народ называет её счастливой, не смущаясь тем, о чём она молчит (о чём могла рассказать любая русская крестьянка).

Введённая Некрасовым в эпилог «Святая песня» Ангела милосердия:

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути
<...>
Одна просторная-
Дорога торная,
Страстей раба
По ней громадная,
К соблазнам жадная
Идёт толпа
<...>
Другая — тесная,
Дорога честная.
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные...
(Некрасов: т. 5, с. 228–229)

Симптоматично, что главка, посвящённая Грише Добросклонову, названа поэтом «Эпилог». В этом проявляется ответ Некрасова на «Заключение» «Бесов». Образно выражена и противопоставленность Николая Ставрогина и Григория Добросклонова по происхождению. Ставрогин признаётся, что в России ему «всё так же чужое, как и везде» (10; 514). Гриша Добросклонов кровно связан с «родной вахлатчиной». Николай Ставрогин понимает, что, потеряв связь с родиной, он «теряет и богов своих, то есть все свои цели» (10; 514). Гриша Добросклонов «лет пятнадцати»

...твёрдо знал уже,
Кому отдаст всю жизнь свою
И за кого умрёт
(Некрасов: т. 5, с. 228).

Николай Всеволодович убеждает Дарью Павловну, что быть вместе с «нашими отрицающими» ему «мерзило» (10; 514). Но, «потеряв богов своих», Ставрогин не возразил Петру Степановичу против его «программы» духовного оскудения русского народа (10; 322–326).

В действительности он становится фактическим идейным руководителем преступных «заблудившихся», «сбившихся с пути». Так, именно он составил для «общества» новый устав.

Перед Ставругиным, как «ученики» перед «учителем», преклоняются Кириллов и Шатов. Но именно Ставругин подсказывает, какой «мазью» «скрепить» «кружок», что способствовало убийству Шатова. Потеряв различие между добром и злом, Николай Всеволодович не находит применения своей силе «беспредельной». Его цинизм, убивающий душу, проявился в отказе от предложенного ему Тихоном искупления грехов.

С последним письмом Ставругина контрастируют песни Григория Добросклонова, выражающие любовь и понимание им сущности Руси, счастье жертвенности.

Таким образом, исследование романа Достоевского «Бесы» и поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в свете социологической поэтики П. Н. Медведева приводит к мысли о глубинной взаимосвязи этих произведений в русской культуре. Применение методологии социологической поэтики позволило выявить идейные и эстетические связи, доказывающие, что Некрасов находился в непрерывающемся творческом диалоге с Достоевским.

Список литературы

1. Викторovich В. А. Некрасов, прочитанный Достоевским // Карабиха. Вып. 2. Ярославль, 1993. С. 115–138.
2. Гин М. М. Достоевский и Некрасов. Два мировосприятия. Петрозаводск: Карелия, 1985. 184 с.
3. Заваркина М. В. Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы) // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 7–35 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582887863.pdf (10.02.2024). DOI: 0.15393/j9.art.2020.7562 (21.02.2024).
4. Захаров В. Н. Проблема жанра в «школе» Бахтина // Русская литература. 2007. № 3. С. 19–30.
5. Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 455 с.
6. Кладова Н. А. Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов: Творческий диалог. М.: Спутник, 2009. 81 с.
7. Краснов Г. В. Сюжеты русской классической литературы. Коломна, 2001. 141 с.
8. Криницын А. Б. Образ Хромоножки в перспективе мотивной структуры романов Ф. М. Достоевского // Достоевский и современность. Великий Новгород, 2010. С. 144–166.
9. Лебедев Ю. В. Н. А. Некрасов и Ф. М. Достоевский // Карабиха. Вып. 7. Ярославль, 2011. С. 105–126.
10. Медведев П. Н. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. Поэтика и психология творчества. СПб: Росток, 2018. 928 с.
11. Мейер И. М. Рифма ситуаций в одном романе Ф. М. Достоевского // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 1. М., 1962. С. 600–601.
12. Мокеев М. С. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 2017. 225 с.
13. Мостовская Н. Н. Храм в творчестве Некрасова // Русская литература. 1995. № 1. С. 194–202.
14. Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1987. 559 с.
15. Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М.: Советский писатель, 1990. 480 с.

16. Скатов Н. Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994. 411 с.
17. Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 5–29.
18. Федянова Г. В., Баталова Т. П. Стихотворения Ф. М. Достоевского 1853–1856 гг. в контексте русской поэзии периода Крымской войны // Ф. М. Достоевский в диалоге культур / Сб. ст. под ред. В. А. Викторovichа. Коломна, 2009. С. 13–15.
19. Шкловский В. Б. Розанов. Пг.: ОПОЯЗ, 1921. 56 с. (Сборники по теории поэтического языка. Вып. 4. Сюжет. 3).
20. Эйхенбаум Б. М. Некрасов // Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Л.: Художественная литература, 1986. С. 340–373.

References

1. Viktorovich V. A. Nekrasov, Read by Dostoevsky. In: *Karabiha [Karabikha]*. Vol. 2. Yaroslavl, 1993, pp. 115–138. (In Russ.)
2. Gin M. M. *Dostoevskij i Nekrasov. Dva mirovospriyatiya [Dostoevsky and Nekrasov. Two Worldviews]*. Petrozavodsk: Karelia Publ., 1985. 184 p. (In Russ.)
3. Zavarkina M. V. Genre as a Category of Poetics (Problems, Tendencies, Perspectives). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2020, vol. 18, no. 1, pp. 7–35. DOI: 10.15393/j9.art.2020.7562. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582887863.pdf (accessed on February 21, 2024). (In Russ.)
4. Zakharov V. N. The Problem of the Genre in Bakhtin's "School" (M. M. Bakhtin, P. N. Medvedev, V. N. Voloshinov). In: *Russkaya literatura [The Russian Literature]*, 2007, no. 3, pp. 19–30. (In Russ.)
5. Zakharov V. N. *Imya avtora — Dostoevskij. Oчерk tvorchestva [The Author's Name is Dostoevsky. An Essay on Creativity]*. Moscow: Indrik Publ., 2013. 455 p. (In Russ.)
6. Kladova N. A. *F. M. Dostoevskij i N. A. Nekrasov: Tvorcheskij dialog [Dostoevsky and N. A. Nekrasov: Creative Dialogue]*. M.: Sputnik Publ., 2009. 81 p. (In Russ.)
7. Krasnov G. V. *Syuzhety russkoj klassicheskoj literatury [The Plots of Russian Classical Literature]*. Kolomna, 2001. 141 p. (In Russ.)
8. Krinitsyn A. B. The Image of a Limp Foot in the Perspective of the Motivic Structure of F. M. Dostoevsky's Novel. In: *Dostoevskij i sovremennost' [Dostoevsky and Modernity]*. Veliky Novgorod, 2010, pp. 144–166. (In Russ.)
9. Lebedev Yu. V. N. A. Nekrasov and F. M. Dostoevsky. In: *Karabiha [Karabikha]*. Vol. 7. Yaroslavl, 2011, pp. 105–126. (In Russ.)
10. Medvedev P. N. *Sobranie sochinenij: V 2 tomah. Tom 2. Poetika i psihologiya tvorchestva [Collected Works: In 2 Vols. 2. Poetics and Psychology of Creativity]*. St. Petersburg: Rostock Publ., 2018. 928 p. (In Russ.)
11. Meyer I. M. The Rhyme of Situations in a Novel by F. M. Dostoevsky. In: *IV Mezhdunarodnyj s'yezd slavistov. Materialy diskussii [The 4th International Congress of Slavists. Materials of the Discussion]*. Moscow, 1962. Vol. 1, pp. 600–601. (In Russ.)
12. Mokeev M. S. *Nekrasov*. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 2017. 225 p. (In Russ.)
13. Mostovskaya N. N. Temple in the Works of Nekrasov. In: *Russkaya literatura [The Russian literature]*. 1995, no. 1, pp. 194–202. 1995. (In Russ.)
14. *Perepiska N. A. Nekrasova: V 2 tomah. Tom 2 [Correspondence of N. A. Nekrasov: In 2 Vols]*. 2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1987. 559 p. (In Russ.)
15. Saraskina L. I. *"Besy": roman-preduprezhdenie ["Demons": a Warning Novel]*. Moscow: Sovetskij pisatel' Publ., 1990. 480 p. (In Russ.)
16. Skatov N. N. *Nekrasov*. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1994. 411 p. (In Russ.)
17. Tynyanov Yu. N. Literary Fact. In: *Arhaisty i novatory [Archaists and Innovators]*. Leningrad: Priboy Publ., 1929, pp. 5–29. (In Russ.)

18. Fedyanova G. V., Batalova T. P. Dostoevsky's Poems of 1853–1856 in the Context of Russian Poetry of the Crimean War Period. In: *F. M. Dostoevskij v dialoge kul'tur / Sbornik statej pod redakciej V. A. Viktorovicha [F. M. Dostoevsky in the Dialogue of Cultures / Collection of Articles Edited by V. A. Viktorovich]*. Kolomna, 2009, pp. 13–15. (In Russ.)

19. Shklovsky V. B. Rozanov. Petrograd: OPOYAZ Publ., 1921. 56 p. (*Sborniki po teorii poeticheskogo yazyka. Vypusk 4. Syuzhet. 3 [Collections on the Theory of Poetic Language. Vol. 4. Plot. 3]*). (In Russ.)

20. Eichenbaum B. M. Nekrasov. In: *O proze. O poezii [On Prose. About Poetry]*. Lenin-grad: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986, pp. 340–373. (In Russ.)

А. В. Индзинская

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Аннотация. Ежедневная газета «Новое время» стала ценным источником информации о последнем периоде жизни Ф. М. Достоевского. В статье даётся обзор материалов издания за 1880 — начало 1881 года, которые повлияли на формирование общественного мнения о Достоевском как о национальном гении.

Ключевые слова: газета «Новое время», Ф. М. Достоевский, образ писателя, литературная критика, газетные жанры, А. С. Суворин, В. П. Буренин.

Информация об авторе: Анна Владимировна Индзинская, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Коломенской духовной семинарии (КДС), Коломна, Московская область.

E-mail: annain76@mail.ru

Anna V. Indzinskaya

THE LAST YEAR OF DOSTOEVSKY'S LIFE ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER NOVOYE VREMYA

Abstract. The daily newspaper *Novoye Vremya* has become a valuable source of information about the last period of F. M. Dostoevsky's life. The article provides an overview of the materials of the publication for 1880 — early 1881, which influenced the formation of public opinion about Dostoevsky as a national genius.

Keywords: *Novoye Vremya* newspaper, F. M. Dostoevsky, the image of a writer, literary criticism, newspaper genres, A. S. Suvorin, V. P. Burenin.

Information about the author: Anna Vladimirovna Idzinskaya, PhD (Philology), Senior Lecturer at the Department of Church and Practical Disciplines of the Kolomna Theological Seminary (KDS), Kolomna, Moscow Region.

E-mail: annain76@mail.ru

...всё это является в «Новом времени» — в газете, которую я люблю.
Ф. М. Достоевский — А. С. Суворину. 14 мая 1880 года

К концу жизни Ф. М. Достоевский стал, как бы сейчас сказали, медийной личностью: о нём много говорили, писали, пытались дать оценку творчеству — одним словом, начали создавать образ Достоевского — писателя и мыслителя — в отечественной культуре¹. Большую роль в этом процессе играла пресса, представленная в основном газетами и журналами (см.: [Викторович, Захарова]). Особое место среди них занимали столичные издания, и в частности — газета «Новое время», которая была самой читаемой и массовой в Санкт-Петербурге в последней четверти XIX века.

К 1880 году «Новое время» была ежедневным шестиполосным изданием, с семью колонками в каждой полосе. С 1881 года она выходила дважды

¹ «В свой последний год автор Пушкинской речи становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба» [Волгин: 12].

в день — утром и вечером, и формат её был большим: в развороте 96 см в ширину и 63 см в высоту. Все визуально-полиграфические усилия редакции были направлены на рекламу товаров и услуг, занимавшую 5 и 6 полосы, а «слепая» и однообразная вёрстка новостных страниц успешно компенсировалась оперативностью и увлекательностью изложения.

Редактор и издатель «Нового времени» с 1876 по 1912 г., Алексей Сергеевич Суворин, с которым Достоевского под конец жизни связывали приятельские отношения², стремился удовлетворить политические и культурные запросы постоянно увеличивающегося круга своих читателей³. При этом он имел чутьё «находить и вырабатывать газетных людей» [Снеессарев: 9], делать их своими единомышленниками и коллегами. И когда Достоевский стал человеком постоянно интересным отечественной публике (а это получилось, по-видимому, только к 1880 году), редакция «Нового времени» единодушно и профессионально начала работу по формированию общественного мнения о нём как о великом соотечественнике.

От выбранного курса Суворин не отказался и после смерти Достоевского, продолжая десятилетия спустя говорить о нём как о «фантастической личности» — художнике, гениально сумевшем выразить русскую «удивительно сложную душу, в которой наслонились веками рабство, свобода, самопожертвование, отрицание всего существующего, распутство, продажность тела и души, и сияющие призраки фантастического будущего...»⁴

Суворин печатался в «Новом времени» под псевдонимом Незнакомец, а отдел критики (цикл «Литературные очерки») вёл Виктор Петрович Буренин, взявший на себя, по мнению современников, задачу «обороны лучших заветов нашей литературы от всякого вторжения в неё сомнительных элементов, обороны её историко-идейной красоты, её чистоты словесной» [Глинский: 57].

«Напряжённый творческий диалог» [Баршт: 287], который начался между писателем и критиком в начале 1860-х, качественно изменился в 1876 году⁵, когда всю силу завоёванного в среде читающей публики авторитета⁶ критик «Нового времени» употребил для придания произведениям Достоевского статуса национального достояния, считая писателя феноменом, «которые посылаются редко, которые служат выражением народного гения»⁷. Достоевский, в свою очередь, ощущая симпатию к неподкупной

² Об истории отношений Суворина и Достоевского см.: [Прощенко].

³ Рост тиража «Нового времени»: 1876 год — 13–15 тыс. экз., 1889 год — 35 тыс. экз., 1900 год — 60 тыс. экз. Об увеличении тиража говорится в отчётах инспекторов типографий о продаже издания в розницу: 1877 г. — 3825 экз., 1880 г. — 4000 экз., 1890 г. — 1 824 857 экз. См.: [Есин: 137–138].

⁴ Суворин А. С. Тень Достоевского. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1895. С. 15–16.

⁵ Об эволюции отношения Буренина к творчеству Достоевского см. главы 4–6 в кн.: [Викторович, Захарова], в частности, отмечается, что «Буренин в конце 1876 года подытоживает предшествующую свою историю с Достоевским, и моментом истины становится для критика именно “Кроткая”» (там же, с. 359).

⁶ Об известности Буренина, «граничащей с подлинной славой», см.: [Куликова, Пенская].

⁷ Буренин В. Биография и письма Достоевского // Буренин В. Критические этюды. Тип. А. С. Суворина, 1888. С. 168.

самостоятельности суждений Буренина, дорожил его мнением⁸, о чём свидетельствовала и А. Г. Достоевская в письме к критику: «Покойный муж мой так уважал Вас; он ценил Ваши отзывы о нём и находил, что Вы, из всех писавших о нём, наиболее понимали его мысли и намерения»⁹. И в целом к суворинскому изданию Достоевский относился с большим вниманием, отзывался о ней как о «газете, которую я люблю» (30; 155).

В процессе формирования общественного мнения о писателе на страницах «Нового времени» участвовало по меньшей мере три стороны: редакция, задавшаяся целью всесторонне освещать явление Достоевского, читатели, выразившие своё доверие печатному органу увеличением числа подписчиков, и сам Достоевский, который был очень заинтересован в такой, говоря современным языком, рекламе и пристально отслеживал упоминание своего имени в издании. Так, в письме к жене 11 августа 1880 года он писал: «Сегодня в “Новом времени” второе объявление о “Дневнике”, и ни слова в газете, хотя бы в хронике. Икни Гончаров, и тотчас закричали бы во всех газетах: наш маститый беллетрист икнул, а меня, как будто слово дано, игнорируют» (30; 206).

Подробный анализ текстов газеты «Новое время» за 1880 – начало 1881 г.¹⁰ позволил, помимо литературной критики, принять во внимание и мельчайшие по значительности факты указания на личность Достоевского, чтобы понять, как из кусочков журналистской смальты создавался портрет писателя, закреплявшийся в национальной памяти.

Формирование образа Достоевского как выдающегося писателя и мыслителя в сознании современников стало в 1880 году своеобразной программой «Нового времени», которая последовательно проводилась даже в самых небольших публикациях с помощью разнообразных приёмов, создававших вокруг имени Достоевского ореол избранности.

События последнего года жизни обусловили разделение случаев упоминания в газете на три тематические группы, каждая из которых была поддержана на страницах издания своей системой жанров:

– выступление писателя на празднике открытия памятника Пушкину в Москве 6 июня 1880 года и его анализ (заметка, репортаж, аналитический и информационный отчёт; литературно-критическая статья);

– работа Достоевского по формированию «своего» читателя: «Дневник писателя», книжная торговля, публичные выступления (объявление, литературно-критическая статья);

– смерть, последовавшая 28 января 1881 года, и мемориальная хроника (информационная корреспонденция, репортаж, некролог, журналистское расследование, отчёт).

⁸ Достоевский в письме Суворину 14 мая 1880 г.: «Известие о Буренине <...> не напишет ли он чего-нибудь об моём последнем отрывке “Карамазовых” <...> ибо мнением его дорожу» (30; 155).

⁹ Письмо А. Г. Достоевской к Буренину от 15 мая 1888 г. // Байкал. 1976. № 5. С. 140.

¹⁰ Корпус текстов о Достоевском в газете «Новое время» см.: Достоевский в прижизненной критике. [Электронный ресурс] URL: <https://philolog.petrsu.ru/fmdost/> (20.02.2024).

Пушкинские торжества

К пушкинскому празднику в Москве, который был изначально запланирован с 26 по 28 мая ко дню рождения поэта, А. С. Суворин как опытный редактор и журналист начал готовиться заранее: почти за месяц он стал ежедневно размещать в издании разнообразные материалы, связанные с именем Пушкина, попутно вовлекая в круг задействованных лиц (под разными предложениями) современных литераторов, среди которых неизменно оказывался Достоевский.

Показательной с этой точки зрения стала статья В. П. Буренина, в которой уже в начале мая в полемике с автором «Вестника Европы» А. Н. <Пыпиным> использовал перифраз «юноши кружка Петрашевского», чтобы намекнуть на вовлечённость молодого Достоевского в идейные искания эпохи, хотя впрямую и не называя его, но рассчитывая на догадливость читателей:

«Г. А. Н. <...> находит, что дореформенные родители во многих отношениях были менее растленные, чем послереформенные. <...> Дореформенные юноши, видите ли, в большинстве не интересовались никакими политическими и религиозными вопросами, а коли иные интересовались ими и страдали, то, во всяком случае, не “глумились над ними”. Как они не глумились, это, например, можно отлично видеть из поэтических эпиграмм и из “Гаврилады” юноши-Пушкина, который, как известно, был любимец юношей своего времени и их представителем; как они не занимались политическими и религиозными вопросами, это, позднее, видно на юношах кружка Г<ерце>на и О<гарёв>ва и ещё позднее на юношах кружка Петрашевского»¹¹.

Приведём некоторые типичные случаи упоминания Достоевского в информационном потоке Пушкинского праздника на страницах «Нового времени».

4 мая на собрании Славянского благотворительного общества в Петербурге Достоевский был избран уполномоченным представителем для участия в московских торжествах, сообщение о чём появилось в газете:

«Во вчерашнем заседании окончательно решено об отправке в Москву от петербургского славянского общества приветственной депутации. В состав депутации войдут: Ф. М. Достоевский и И. Ф. Золотарёв, лично знавший Пушкина»¹².

В сообщении о предварительных планах Общества любителей российской словесности:

«После приличных торжеству церемоний, общество намерено: 1) выслушать оценку поэта из уст авторитетов литературы и науки; 2) воскресить образ его и 3) запечатлеть художественное слово, произнесённое лицами, достойно для того избранными. <...> До сих пор на участие в этих речах изъявили согласие, кроме председателя общества С. А. Юрьева, гг. Тургенев, Достоевский, Писемский, Островский, И. Аксаков и Я. Полонский»¹³.

¹¹ Буренин В. Литературные очерки // Новое время. 1880. 2 мая. № 1499. С. 2. Далее сокращённо: НВ.

¹² НВ. 1880. № 1510. 13 мая. С. 2.

¹³ К. Московский фельетон // НВ. 1880. № 1514. 17 мая. С. 2.

В статье педагога С. И. Миропольского при определении понятия «национальное литературное достояние»:

«Что сделано нами, интеллигентными людьми, чтобы дать народу возможность читать Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Григоровича, Достоевского, Кольцова, Никитина, Некрасова? — Ровно ничего!»¹⁴

В списке выдающихся писателей, рождённых в Москве, где, хотя и с ошибкой года рождения, Достоевский был указан в одном ряду с А. С. Пушкиным, А. С. Грибоедовым, М. Ю. Лермонтовым и... В. П. Бурениным¹⁵.

В подборке материалов, связанных со смертью императрицы Марии Александровны и перенесением открытия памятника Пушкину:

«Любимым чтением в Бозе почившей Государыни Императрицы были, как сообщает “St. Petersburg Herald”, сочинения лучших современных русских писателей. Так Её Величество охотно читала сочинения А. и Л. Толстых, Гончарова, Тургенева, Достоевского и Печерского. Последний роман, прочитанный покойной Государыне, был “Мирович” Данилевского»¹⁶.

6 июня в Москве состоялось открытие памятника А. С. Пушкину, и на следующий день в газете был опубликован список депутатов от разных организаций (в т. ч. Достоевского), принимавших в нём участие. Затем было отдельно отмечено:

«Из числа присутствовавших писателей обращали на себя особое внимание гг. Тургенев, Достоевский и Григорович»¹⁷.

Таким образом, повышенная частота упоминания имени Достоевского в текстах с заданными коннотациями не только выражала частное мнение редакции, но и прямо влияла на формирование общественного мнения, повышая интерес к фигуре писателя и расширяя жанровую систему информационного обслуживания творящейся на глазах публики биографии.

Знаменитая речь Достоевского, сказанная 8 июня и опубликованная в «Московских ведомостях» 13 июня, в «Новом времени» была частично републикована 15 июня: газетный вариант ее занимал 2 /3 полосы и включал «наиболее выдающиеся отрывки». Ещё 11 июня в издании был помещён подробный репортаж об утре 8 июня, позиция редакции была обозначена предельно ясно, а комментарий к выступлению (в том числе полемика с оппонентами Достоевского) длился на протяжении месяца.

«Событием дня и едва ли не всех празднеств в честь Пушкина было чтение Ф. М. Достоевского. Ни одна из речей, произнесённых на всех собраниях, чествовавших поэта, не одушевила слушателей таким поразительным энтузиазмом, как речь Федора Михайловича. По окончании её, он много раз должен был подниматься на кафедру, чтобы отвечать

¹⁴ Миропольский С. Об эстетическом образовании народа // НВ. № 1526. 10 июня. 1880. С. 2–3.

¹⁵ Писатели-уроженцы Москвы // НВ. 1880. № 1529. 1 июня. С. 3.

¹⁶ НВ. 1880. № 1529. 1 июня. С. 3.

¹⁷ Пушкинские дни в Москве. 5 июня, в городской думе (От корреспондента «Нового Врем.») // НВ. 1880. № 1535. 7 июня. С. 2.

поклонами на несмолкаемые, оглушительные рукоплескания и восторженные крики. Махали платками, шляпами, стучали...»¹⁸

«Мы далеки от того, чтобы считать речь Достоевского непогрешимой, но мы убеждаемся ежедневно, как ничтожны все его возражатели со своими шаблонными фразами и азбучными приёмами»¹⁹.

29 июня Суворин засвидетельствовал как очевидец внутреннюю готовность Достоевского к произнесению речи как к своеобразному гражданскому подвигу²⁰. А в июле, отстаивая непреходящее значение Пушкинской речи для отечественной культуры, Буренин сформулировал её концепцию: «Определить и уяснить национальную идею на основании творчества национального гения»²¹.

Таким образом, редакция «Нового времени» не только взяла на себя обязательство по формированию «нового читателя», сочувствующего «новой эстетической реальности» [Викторович, Захарова: 499–505], которую создавал Достоевский, но и достаточно последовательно выполняла их, используя широкий арсенал журналистских приёмов: высокую частоту упоминания, использование информационных и аналитических жанров, подразумевающих интеллектуальное участие публики, неизменно положительную (и часто — в высшей степени) оценку деятельности писателя.

Созидание читателя: «Дневник писателя», книжная торговля, публичные выступления

Возросшая в последний год жизни популярность стала результатом деятельности Достоевского, открывшей массе людей возможность непосредственного общения с ним — присутствие на публичных выступлениях, «обратная связь» посредством «Дневника писателя», широкое обсуждение произведений в периодике.

Особого внимания заслуживают материалы, связанные с выходом двух последних номеров «Дневника писателя»²².

Во-первых, это были объявления (всегда на первой полосе) о двух выпусках «Дневника» 1880 и 1881 годов, где проявление редакционного отношения к публикуемому — в силу жанра — было минимальным, но неизменным.

Во-вторых, литературно-критическая статья, в которой были впервые выявлены родовые качества публицистики Достоевского — самобытность, искренность и убедительность:

¹⁸ НВ. 1880. № 1538. 11 июня. С. 2.

¹⁹ Профессор Градовский и Достоевский // НВ. 1880. № 1553. 26 июня. С. 2.

²⁰ Незнакомец <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки // НВ. 1880. № 1556. 29 июня. С. 2–3.

²¹ Буренин В. Литературные очерки // НВ. 1880. № 1561. 4 июля. С. 2.

²² Важно заметить, что «Новое время» стало первым изданием, в котором была опубликована информация о возобновлении «Дневника писателя» с 1 января 1881 года: первое объявление появилось на страницах издания 16 ноября 1880 г. (№ 1696), а вовсе не 27 ноября, как указано в «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» (СПб., 1999. Т. 3. С. 499).

«... «Дневник», без сомнения, представляет в текущей бесцветной и банальной журналистике явление столь же примечательное, сколько оригинальное. <...> Достоевский <...> пишет и думает “по-своему”; его можно упрекнуть в каких угодно недостатках, но уж никак в шаблонности мысли, не в повторении чужого. Притом он обладает кроме качеств великого таланта ещё двумя превосходными качествами: искренностью и силой убеждения»²³.

Не случайно на третий день после похорон мужа А. Г. Достоевская, доверяя редакции часть финансовых забот, именно со страниц «Нового времени» обратилась к подписчикам «Дневника» с уведомлением о возможном возвращении денег и передаче пожертвованных средств в магазин «Нового времени» для последующего строительства школы и возведения памятника²⁴.

Редакция «Нового времени» старалась использовать каждый повод для упоминания о Достоевском, поэтому выход 9 декабря 1880 г. романа «Братья Карамазовы» сопровождался не только объявлением 11 декабря об «отдельном издании» в книжной торговле Достоевских, но и предваряющей статьёй В. П. Буренина, где он одним из первых в истории отечественной критики в своей ироничной манере определил природу реализма Достоевского как фантастическую²⁵:

«Возьмите кого угодно из лучших современных романистов, ну, примерно, хоть г. Боборыкина или г. Евгения Маркова: есть у них в романах черти? <...> Почему же г. Достоевский не следует примеру этих авторов, являющихся представителями последнего слова в беллетристике? Потому, что он ужасно отстал от века, потому, что он старомодный писатель, выезжающий в своих писаниях больше на субъективных фантазиях, чем на протокольном наблюдении изображения настоящей действительности.

Так скажут строгие критики, и, конечно, от таких речей и г. Достоевский, и бедный чёрт, изображённый им в «Братьях Карамазовых», должны будут присмиреть и стушеваться. Но я, однако же, позволю себе, читатель, если не г. Достоевского взять под своё покровительство — он, как великий талант, не нуждается в таком маленьком покровителе, каким являюсь я — то хоть его чёрта. Мне очень понравился его чёрт и его беседы с Иваном Карамазовым. И я — может быть ошибочно — нахожу, что фантастический чёрт г. Достоевского гораздо реальнее всех остальных героев гг. Боборыкина и Маркова...»²⁶.

Заслугой В. П. Буренина можно считать то, что он один из немногих современников Достоевского начал применять научный подход к исследованию творчества писателя. Так, он пытался поделить творческий путь Достоевского на периоды, предлагая «Бедных людей», «Униженных и оскорблённых» считать лишь преддверием, «подготовкой могучего и оригинального таланта» к «наиболее зрелым плодам творчества» — «Запискам из Мёртвого дома», «Преступлению и наказанию», «Бесам» и «Братьям Карамазовым»²⁷. Критик доказывал непреходящую ценность и смысл Пушкинской речи в связи с гениальностью автора, стремился определить стилистические черты публицистики Достоевского и выявить природу реализма Достоевского, которой,

²³ Буренин В. Литературные очерки // НВ. 1880. № 1603. 15 августа. С. 2–3.

²⁴ Хроника // НВ. 1881. № 1774. 4 февраля. С. 3.

²⁵ См. об истории вопроса: [Захаров: 378–386], а также [Баршт: 283–306].

²⁶ Буренин В. Литературные очерки // НВ. 1880. № 1631. 12 сентября. С. 2–3.

²⁷ Буренин В. Литературные очерки // НВ. 1881. № 1817. 20 марта. С. 2–3.

по его мнению, были не чужды фантастичность, сатира и оригинальный способ изображения типического с «вывёртыванием наизнанку души героев»²⁸. Однако справедливости ради нужно отметить, что Буренин, при всём почтении к Достоевскому, хотел оставаться объективным и позволял себе отрицательные высказывания о приёмах психологизма, которыми пользовался писатель и которые казались критику нарочито сильными:

«Все эти надорванные сцены с надорванными истерическими героями, нагроможденные г. Достоевским с какой-то лихорадочной монотонностью одна за другой, без передышки, без отдыха, наконец, просто угнетают воображение читателя, да, если не ошибаюсь, и самого автора: кажется, что это кошмар какой-то изображается, а не действительная жизнь»²⁹.

Именно на страницах «Нового времени» хорошо видна возраставшая популярность Достоевского как публичного чтеца. Уже в марте 1880 года он сетовал: «...я столько раз читал последнее время, что перечитал решительно всё, и буквально не знаю, что выбрать» (30; 145), а в мае не мог удержаться от констатации успеха: «...и эффект без преувеличения и похвальбы был... чрезвычайно сильный» (30; 152). Фрагменты газетной хроники осени 1880 года, анонсирующие чтения, многочисленны и по-своему информативны, так как демонстрируют читательские предпочтения самого Достоевского. В круг выбранных для декламации текстов, помимо собственных, он вводил произведения Пушкина, отрывки из «Мёртвых душ» Гоголя, сцену Репетилова из «Горя от ума» Грибоедова.

Утром 28 января на первой полосе было опубликовано и самое трагическое объявление, последнее, — об отмене выступления Достоевского на Пушкинском вечере из-за болезни. Задиристая интонация публикации в большой мере позволяет предположить авторство Буренина. Выполненный в форме информационной заметки, материал приобрёл характер манифеста, выразившего кредо редакции:

«В сообщаемой сегодня программе пушкинского вечера читатели не найдут возмущённого прежде имени Ф. М. Достоевского. Он сильно занемог, вечером 26 января, и лежит в постели. Люди, не так давно попрекавшие его тем, что он слишком часто принимает овации на публичных чтениях, могут теперь успокоиться: публика услышит его не скоро. Лишь бы сохранилась для русского народа дорогая жизнь глубочайшего из его современных писателей, прямого преемника наших литературных гениев!»³⁰

Подводя итог сказанному, отметим, что информация о Достоевском как о выдающемся современнике принимала на страницах «Нового времени» почти все формы, доступные печатному органу. А объявления и заметки хроники стали не только достоверным биографическим источником, но и получили, благодаря усилиям редакции, не свойственную малому жанру дополнительную субъективно-эмоциональную окраску.

²⁸ Буренин В. Литературные очерки. Последние главы «Братьев Карамазовых» // НВ. 1880. № 1687. 7 ноября. С. 2–3.

²⁹ Буренин В. Литературные очерки // НВ. 1880. № 1603. 15 августа. С. 2–3.

³⁰ НВ. 1881. № 1767. 28 января. С. 1.

Уход Достоевского

Материалы посмертной хроники ещё в большей степени, чем прижизненные публикации, были направлены на создание образа Достоевского как великого соотечественника и отличались большим жанровым разнообразием.

Интересно отметить, что в палитре характеристик (основной из которых стала *гениальность*) — появилась идеологическая доминанта: редакции было важно показать, что деятельность писателя получила основообразующее для отечественной культуры значение, а среди почитателей Достоевского были представители всех социальных слоёв России — от царя до крестьянина. Поэтому внимание редакции было сосредоточено не только на подробной хронике траурных событий, но и на их оценке.

Так, о самой смерти, последовавшей 28 января 1881 года, было сообщено в объявлении 29 января с информацией об официальных панихидах 29 и 30 января, которые совершались два раза в день из-за большого количества желающих проститься, а также о переносе тела 31 января в Свято-Духовский храм Александро-Невской Лавры и погребении 1 февраля. Отдельными объявлениями на первой странице (4, 16 февраля, 8 марта) сопровождалась заупокойные литургии и панихиды в Александро-Невской Лавре на 9-й, 20-й и 40-й дни после смерти:

В материале <А. С. Суворина> «Кончина Ф. М. Достоевского», появившемся 29 января на первой полосе и написанном в жанре репортажа, были сохранены впечатления очевидца. Здесь же была сделана и первая попытка целостной оценки жизненного пути Достоевского:

«Жизнь, полная страданий, юность, прерванная безжалостно каторгой, зрелый возраст, проведённый в нужде и борьбе с нею, в борьбе с тяжким недугом, падучей болезнью, в борьбе за свои мнения, за святую правду, за права русского человека и, наконец, эта приближавшаяся старость, полная зрелого ума, глубокой мысли, горячих слов утешения и любви, самой высокой и чистой любви к ближнему — такова жизнь этого человека. Что он перенёс и выстрадал — то кровью своею он написал в своих сочинениях, олицетворил в своих героях, в своих страдальцах»³¹.

И если 29 января траурные материалы занимали только первую полосу, то 30 января издание в информационной своей части было посвящено памяти писателя. В подборке, озаглавленной «Память Ф. М. Достоевского», были обозначены первые события посмертной петербургской хроники. Так, говорилось об «обычной четверговой лекции в VII аудитории университета», которую прочёл Вл. С. Соловьёв. Философ назвал Достоевского пророком, который «идею высшей правды» проводил «помимо своих произведений всю свою жизнь». И здесь же была описана благодарная солидарность слушающих: «Многочисленная аудитория как от электрического удара вскочила с мест — в воздухе стоял стон от аплодисментов и восторженных кликов сочувствия лектору».

³¹ НВ. 1881. № 1768. 29 января. С. 1.

Далее описывался вечер памяти Пушкина в зале Кононова, во втором отделении которого должен был выступить Достоевский, и корреспондент также отмечал единодушный порыв собравшихся: глядя на посмертный портрет писателя, выполненный накануне Крамским и выставленный в окружении венков на сцене,

«вся зала встала, как один человек, и устремила взоры на портрет. Несколько минут продолжалось гробовое молчание, все точно замерли и точно чего-то ждали. <...> Г-жа Бенау в это время исполняла на рояли известный похоронный марш Шопена».

Тогда же, отмечалось репортёром, было собрано 308 рублей на памятник писателю.

Четвёртая полоса вышла с анонимным некрологом, в котором роман «Братья Карамазовы» был назван «последним трудом великого психолога и изобразителя болезненных блужданий русского общества».

В номере от 31 января также содержалось немало свидетельств о всенародном признании Достоевского. На первой полосе было размещено объявление журнала «Осколки», в котором редакция предлагала всем желающим портрет и автограф почившего, а в книжном магазине Н. Г. Мартынова (Невский проспект, 46) можно было приобрести все его произведения. В коллаже хроники «Память Ф. М. Достоевского» было сказано о ежегодной пенсии А. Г. Достоевской в 2000 рублей, которую назначил император, объединяя себя со всей скорбящей нацией и признавая величину личности почившего:

«...заслуги писателя, прах которого завтра мы будем провожать, оценены всем русским обществом, начиная с русского Царя. Русский Царь становится во главе того почёта, который оказывается памяти русского писателя, мыслителя, защитника бедных и униженных, писателя, который искал Божию искру во всяком человеке, как бы низко ни стоял он на общественной лестнице».

Здесь же было трогательное свидетельство очевидца о раздаче цветов детьми в память о покойном и о находке в гробу пакета со вложенными в него двумя рублями и запиской: «В пользу голодающих на память о рабе Божиим Фёдоре Михайловиче Достоевском, радетеле бедных и угнетённых от небогатого».

Материал содержал и подробности договора о траурной церемонии: погребении в Александро-Невской лавре и совершении богослужения наместником Лавры, лично знавшим покойного, и безвозмездном отпевании «одного из викариев в сослужении с архимандритами» при содействии хора Исаакиевского собора, певчие которого «взяли на себя труд дважды в день петь при панихидах и отпевать прах покойного в Лавре». Отдельно оговаривалось распределение депутатий, которые участвовали в перенесении тела писателя из квартиры в Лавру. Организовалось пять групп, каждая из которых включала членов нескольких организаций, пожелавших участвовать в шествии, и распорядителя. Главным распорядителем процессии назначался Д. В. Григорович. Сообщалось также, что движение «железнодорожных дорог по Владимирской и Невскому будет приостановлено за час или за два до выно-

са тела» и что из-за малых размеров квартиры покойного доступ в неё будет только по билетам.

Упоминались и университетские новости. Так, 30 января к 12.00 часам все занятия были прекращены, чтобы всем было возможно попасть на панихиду по Достоевскому, которая была отслужена в здании университетской церкви: присутствовали почти все профессора и администрация заведения, а также «из учащейся молодёжи все русские студенты, знавшие о панихиде». Восковые свечи в тот день были «за счёт университета».

Развивая идею масштабности и универсальности личности Достоевского, газета «Новое время» в дни траура дала возможность самым разным людям высказаться о писателе. К материалам названного типа можно отнести статью студента А. Кояловича (31 января), которая свидетельствовала, «каким горячим сочувствием пользовался покойный писатель в среде университетской молодёжи»; публикации речей: Вл. С. Соловьёва на могиле Достоевского (3 февраля), студента Д. И. Козырева (5 февраля); телеграммы А. Г. Достоевской от Великих князей Сергея и Павла Александровичей, от студентов Московской духовной академии, в которой говорилось о потере «общего друга» (1 февраля), от учеников трёх старших классов кронштадтской классической гимназии с обещанием научить «детей наших уважать и любить» писателя (5 февраля), от служащих Тверской гимназии и реального училища 2 февраля), частных лиц; подборку стихотворений о Достоевском таких известных авторов, как В. Буренин, К. Случевский, М. Хитрово и др., и неизвестных, в том числе и крестьян, обнаруживающих «глубокое в своей простоте понимание сущности тех идеалов, которым служил Достоевский» (4 февраля), серию воспоминаний и свидетельств о писателе (2, 5 февраля).

Похороны Достоевского состоялись на пятый день после смерти, и первую полосу № 1771 за 1 (13) февраля 1881 года занял репортаж с места событий. «Никогда и ничего подобного не было в Петербурге», — свидетельствовал корреспондент: похоронная процессия растянулась «на две слишком версты» и двигалась более трёх часов. Интересно его замечание о полиции, которая «почти не вмешивалась»: публика «сама соблюдала порядок, образуя цепи, оберегавшие строй процессии». Наряду с подробным описанием погребения, журналист стремился передать и содержание речей некоторых выступавших.

На страницах «Нового времени» было отражено и феноменальное впечатление, оставшееся от похорон Достоевского. И если поначалу факт смерти воспринимался как национальная трагедия:

«Эта смерть отзовется великою скорбью по всей России. Потеря гениального писателя — это не только потеря для искусства, это великая общественная потеря»³², —

то позже был отмечен миротворческий, объединяющий характер события, объясняющийся большим значением личности Достоевского для людей разных сословий и мировоззрений:

³² Буренин В. Литературные очерки // НВ. 1881. № 1769. 30 января. С. 2.

«Мирное тожество, правда, невиданное и неслыханное, торжество, вызывавшее умиление в зрителях, торжество, в котором участвовал стар и млад, в котором соединились люди всех профессий, всех званий и всех возрастов»³³.

Наконец, и сам А. С. Суворин в статье «Недельные очерки и картинки. О покойном», фрагмент которой был повторён в его рассказе «Тень Достоевского» (1895), показал, как кончина Достоевского стала явлением пробуждающим, возрождающим национальное самосознание:

«...Похороны его, вынос его тела — общественное событие, невиданное ещё торжество русского таланта и русской мысли, всенародно и свободно признанных за русским писателем. Зрелища более величавого, более умильного ещё никогда не видал ни Петербург и никакой другой русский город... Это были не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни, её воскресение...»³⁴

Тональность прощальных переживаний редакции обусловила высокую частоту упоминаний Достоевского в газете в течение последующего полугодия. Реестр мемориальных жанров, кроме стихотворений на погребение и воспоминаний очевидцев, был пополнен новыми жанровыми формами, предполагающими серийность и продолжительность: журналистское расследование³⁵; материалы о сохранении памяти о писателе в Петербурге³⁶ и Отечестве³⁷, отчёт о пожертвовании на устройство школы и памятник³⁸.

Подводя итог сказанному, нужно отметить газету «Новое время» как один из значительных источников информации о последнем годе жизни Достоевского и как собрание литературно-критических материалов, созданных и подобранных В. П. Бурениным и А. С. Сувориным в этот период. Особо следует подчеркнуть единодушие главного редактора и ведущего литературного критика издания в деле упрочения за Достоевским статуса гениального писателя в последний период жизни.

Выбранному редакцией направлению неуклонной и всесторонней поддержки деятельности Достоевского был посвящён почти год работы с мая 1880 г. по апрель 1881 г.: упоминание имени Достоевского можно было найти почти в каждом номере, а для обслуживания каждого из информационных направле-

ний (Пушкинской речи, общения с читателями, ухода и мемориальной хроники) была подобрана система печатных жанров. Особенностью функционирования малых форм стало неизменное включение в текст сообщения наивысшей положительной оценки и интонации одобрения.

Список литературы

1. Баршт К. А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор-История, 2019. 456 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2021/05/Barshht-Dostoevskij-Etimologiya-povestvovaniya.pdf> (21.02.2024).
2. Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М.: АСТ, 2017. 780 с.
3. Викторovich В. А., Захарова О. В. Ф. М. Достоевский в русской критике: 1845–1881. Коломна: Лига, 2021. 536 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128043#1 (21.02.2024).
4. Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. СПб.: Тип. тов-ва А. С. Суворина, 1914. 572 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003814946/ (21.02.2024).
5. Есин Б. И. Путешествие в прошлое (газетный мир XIX в.). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 158 с.
6. Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 455 с.
7. Куликова Е. Ю., Пенская Е. Н. Литературные и эстетические парадоксы Виктора Буренина // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 152–167. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnye-i-esteticheskie-paradoksy-viktora-burenina/viewer> (21.02.2024).
8. Проценко А. А. «Достоевец» Суворин: от противоборства к сближению // Известный Достоевский. 2019. № 2. С. 149–170. DOI: 10.15393/jio.art.2019.4061 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1562686094.pdf (21.02.2024).
9. Снегсарев В. Мираж Нового времени. Почти роман. СПб.: Тип. М. Пивоварского и А. Типографа, 1914. 135 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_1984486/ (21.02.2024).

References

1. Barsht K. A. *Dostoevskij: etimologiya povestvovaniya* [Dostoevsky: Etymology of Narration]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya Publ., 2019. 456 p. Available at: <https://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2021/05/Barshht-Dostoevskij-Etimologiya-povestvovaniya.pdf> (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)
2. Volgin I. L. *Poslednij god Dostoevskogo* [The Last Year of Dostoevsky]. Moscow: AST Publ., 2017. 780 s. (In Russ.)
3. Viktorovich V. A., Zaharova O. V. F. M. *Dostoevskij v russkoj kritike: 1845—1881* [Dostoevsky in Russian Criticism: 1845–1881]. Kolomna: Liga Publ., 2021. 536 p. Available at: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128043#1 (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)
4. Glinskij B. B. *Sredi literatorov i uchenyh* [Among Writers and Scientists]. St. Petersburg: Tipografiya tovarishchestva A. S. Suvorina Publ., 1914. 572 p. Available at: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003814946/ (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)
5. Esin B. I. *Puteshestvie v proshloe (gazetnyj mir XIX v.)* [Journey into the Past (The Newspaper World of the XIX Century)]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta Publ., 1983. 158 p. (In Russ.)
6. Zaharov V. N. *Imya avtora — Dostoevskij. Oчерk tvorcestva* [The Author's Name is Dostoevsky. An Essay on Creativity]. Moscow: Indrik Publ., 2013. 455 p. (In Russ.)

³³ Quousque tandem // НВ. 1881. № 1774. 4 февраля. С. 1.

³⁴ НВ. 1881. № 1771. 1 февраля. С. 2–3.

³⁵ Газета провела расследование медицинской причины смерти Достоевского, в котором приняли участие А. С. Суворин, брат писателя Андрей Достоевский, доктор Яновский (1, 8 февраля 24 февраля).

³⁶ См., например: об идее публичного чтения «всех главных произведений покойного в хронологическом порядке» (4 февраля), об «Чествование памяти Ф. М. Достоевского СПб. Славянским благотворительным обществом» (НВ. 1881. № 1786. С. 2); учреждении премии им. Достоевского в рождественской женской гимназии (2 февраля).

³⁷ См., например: о пожертвовании на «устройство деревенской школы в память покойного Ф. М. Достоевского» (4 февраля), о постановлении Киевской городской думы «открыть приходское училище для детей обоого пола в беднейшей части города» имени Достоевского (5 февраля).

³⁸ Решение о сборе средств на памятник было опубликовано 29 января, и с этого времени регулярно выходили отчёты о собранных суммах и о жертвователях, если они разрешали огласить свои имена. Памятник был поставлен в 1883 году.

7. Kulikova E. Yu., Penskaya E. N. *Literary and Aesthetic Paradoxes of Viktor Burenin*. In: *Sibirskij filologicheskij zhurnal [The Siberian Philological Journal]*. 2018, no. 1, pp. 152–167. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnye-i-esteticheskie-paradoksy-viktora-burenina/viewer> (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)

8. Proshchenko A. A. *F. M. Dostoevsky and A. S. Suvorin: Relationship History*. In: *Neizvestnyj Dostoevskij [The Unknown Dostoevsky]*, 2019, no. 2, pp. 149–170 DOI: 10.15393/jio.art.2019.4061 Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1562686094.pdf (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)

9. Snessarev V. *Mirazh Novogo vremeni. Pochti roman [The Mirage of Modern Times. Almost a Novel]*. St. Petersburg: Tipografiya M. Pivovarovskogo i A. Tipografa Publ., 1914. 135 p. Available at: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_1984486/ (Accessed on February 21, 2024). (In Russ.)

T. C. Карпачёва

**«СЛЕЗИНКА РЕБЁНКА»: ЛОЛИТА И МАТРЁША
(КОНТЕКСТ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В РОМАНЕ В. В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА»)**

Аннотация. В статье сопоставляются образы Матрёши (пропущенная глава «У Тихона» романа «Бесы» Ф. М. Достоевского) и Лолиты («Лолита» В. В. Набокова). Развенчивается миф о «шаблонности» Лолиты, который сформирован в романе самим Гумбертом. Делается вывод о том, что «Лолита» В. В. Набокова — это роман о «слезинке ребёнка», органично впитавший художественные открытия Достоевского, а изображённые в романе психология жертвы и психология маньяка находят подтверждение в современных уголовно-правовых и криминологических работах.

Ключевые слова: Достоевский «Бесы», Набоков «Лолита», психология маньяка.

Информация об авторе: Татьяна Сергеевна Карпачёва, кандидат филологических наук, магистр права, доцент кафедры русской литературы, Московский городской педагогический университет.

E-mail: filology888@yandex.ru

Tatiana S. Karpachyova

**«A CHILD'S TEAR»: LOLITA AND MATRYOSHA
(THE CONTEXT OF F. M. DOSTOEVSKY IN V. V. NABOKOV'S NOVEL LOLITA)**

Abstract: The article compares the images of Matryosha (the missing chapter *At Tikhon's* of the novel *Demons* by F. M. Dostoevsky) and Lolita (*Lolita* by V. V. Nabokov). The myth of Lolita's "template" is debunked, which is formed by Humbert himself. It is concluded that *Lolita* by V. V. Nabokov is a novel about the "teardrop of a child" that organically absorbed Dostoevsky's artistic discoveries, and the psychology of the victim and the psychology of the maniac depicted in the novel are confirmed in modern criminal law and criminological works.

Keywords: Dostoevsky's *Demons*, Nabokov's *Lolita*, psychology of a maniac.

Information about the author: Tatyana Sergeevna Karpachyova, PhD (Philology), Master of Law, Associate Professor of the Department of Russian Literature, Moscow City Pedagogical University.

E-mail: filology888@yandex.ru

Тема рецепции Достоевского в художественном наследии В. В. Набокова неоднократно привлекала внимание исследователей, несмотря на декларируемую Набоковым нелюбовь к Достоевскому (см., напр. [Берберова], [Сараскина], [Горковенко], [Уэст], [Лем], [Долинин], [Шепелев], [Шадурский], [Карякин], [Злочевская]). На реминисценции из Достоевского в романе «Лолита» указывала ещё Н. Н. Берберова. Она же впервые сопоставила образы Лолиты и Матрёши — девочки, растлённой Ставрогиним в пропущенной главе романа «Бесы», и назвала Ставрогина самым «набоковским» героем из всех героев Достоевского [Берберова: 658], а также первая заметила [Берберова: 661] аллюзию в романе Набокова на слова Мармеладова — сейчас в основном исследователи не обходят её

своим вниманием: «Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти»¹. Сопоставляет сюжет растления Матрёши с растлением Лолиты и Л. И. Сараскина в статье «Набоков, который бранится». Однако и у Берберовой, и у Сараскиной, и у многих других исследователей, безусловно, с оговорками, но употребляется слово «любовь» по отношению к преступлению Гумберта, с чем согласиться невозможно. Л. И. Сараскина пишет о перерождении в «бессмертную любовь» «гносного порока», апеллируя к словам Гумберта: «Всё равно, даже если эти её глаза потускнеют до рыбьей близорукости, и сосцы набухнут и потрескаются, а прелестное, молодое, замшевое устье осквернят и разорвут роды — даже тогда я всё ещё буду с ума сходить от нежности...», и, сопоставляя с попыткой покаяния Ставрогина, задаётся вопросом: «Мог ли желать большего старец Тихон?» [Сараскина: 185]. Однако приведённые слова Гумберта вряд ли можно соотносить с покаянием. Набоков в очередной раз показывает его маниакальную сосредоточенность на физиологической стороне жизни, типичную для преступника, совершающего половые преступления (о характеристике такого типа преступников речь пойдёт ниже).

Сопоставляет Гумберта со Ставрогиным и А. А. Шепелев, посвятивший рецепции «темы “ставрогинского греха”» в творчестве Набокова диссертационное исследование. Учёный, убеждённый в том, что творчество Достоевского является «подтекстом» романа «Лолита», проводит как социальные, так и психологические параллели между двумя романами и их героями:

«...аномалия Ставрогина здесь, в современной Америке, воплощена в массовом сознании. Роман Достоевского — о том, как для одного человека (курсив авт. — Т. К.) утрачивает смысл разница между добром и злом и как от этого очага пошла зараза — “бесовство”. Роман Набокова — “продолжение”, живописующее результат — целое общество, устроенное по замыслу “зверя”. Для Ставрогина насилие над детством имеет сакральный метафизический смысл — дойти до последней черты, переступить её. Для Гумберта это страсть, психосоматическая патология, включающая, однако, идеологический элемент — бунт против цивилизации, в которой нет места любви, личности. Для Куильти — просто развлечение, которому не придаётся никакого особенного значения. Для него и таких, как он — достигших высших благ буржуазного общества — богатства и знаменитости — это нормально. Нормально и для Лолиты, маленькой Ло, с молоком матери впитавшей эту пресловутую “новую правду”, “новую веру”, лежащую в основании общества нового типа — бездуховного и лицемерного общества потребления» [Шепелев: 83].

С последними словами однако нельзя согласиться, хоть они у автора больше относятся к «влюблённости» Лолиты в Куильти, которому, в силу его популярности, «всё позволено». Но ни связь с Гумбертом, ни оргии с наркотиками и пьянством Куильти Лолита не считает «нормальным». В отличие от Матрёши, она, американский ребёнок середины XX века, знает свои права, но всё равно не может себя защитить. После совершённого преступления Гумберта Лолита говорит ему, что должна была вызвать полицию (Набоков: 155); во время их «путешествия» спрашивает своего похитителя, «сколько ещё

времени <он> собира<ется> останавливаться с нею в душных домиках, занимаясь гадостями и никогда не живя как нормальные люди» (Набоков: 175), а позже отель «Зачарованные охотники» в разговоре с Гумбертом называет тем отелем, «где ты меня изнасиловал» (Набоков: 244), в чём, на самом деле, совершенно права. Квалификация деяния Гумберта содержится непосредственно в тексте произведения: «формальное изнасилование» или «содомский грех второй степени» (Набоков: 164) и указывается на предусмотренный срок наказания — 10 лет лишения свободы. Поэтому Гумберт всячески запугивает свою жертву, чтобы она молчала. Роман, по сути, именно об этом — о беззащитном ребёнке, оказавшемся в плену маньяка и пытающемся сбежать, неспроста Набоков в своём стихотворении-пародии на Пастернака называл Лолиту «бедной девочкой».

На наш взгляд, исследователи вообще сильно упрощают образ Лолиты, остающийся, по большому счёту, непонятым в литературоведении. В романе, написанном от лица маньяка, от его же лица дана и характеристика героини, которую учёные часто принимают за чистую монету. Так, А. А. Шепелев видит в Лолите «дитя» современного автору «общества потребления», и только:

«Она живёт в мире урбанистическом, индустриальном, в призрачной реальности симулякров. Для неё существуют только объекты, маркированные и санкционированные массовой культурой — различные “массовые” развлечения и услуги, радиопередачи, гляцевые журналы, комиксы, рекламные плакаты и т. п. “Лолита не только была равнодушна к природе, но возмущённо сопротивлялась моим попыткам обратить её внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта...”. <...> Гумберт опять пытается противостоять системе, взять воспитание “дочки” в свои руки, но тщетно: “...ни угрозами, ни мольбами я не мог убедить её прочесть что-либо иное, чем так называемые “книжки комиксов” или рассказы в журнальчиках для американского пре-красного пола. Любая литература рангом чуть выше отзывалась для неё гимназией”» [Шепелев: 105–106].

Очевидно, что педофил, играющий роль педагога и пытающийся «образовать» свою жертву, выглядит совершенно абсурдно, и такой абсурд вполне вписывается в художественный мир автора. Мечты Лолиты попасть в Голливуд, стать киноактрисой исследователь также считает «олицетворением пошлости» («у Набокова всегда является олицетворением пошлости» [Шепелев: 107]). На самом же деле, несмотря на всю чудовищность происходящего с ней, Лолита играет увлечённо, и оказывается, что у неё есть талант, в отличие, например, от совершенно пустой Магды («Камера обскура»), и хотя бы поэтому, на наш взгляд, нельзя видеть в ней «предшественницу» Лолиты. То же самое уже сам Гумберт отмечает и касательно игры в теннис: «...если бы я не надломил в ней чего-то (в то время я не отдавал себе отчёта в этом!), её идеальный стиль совмещался бы с волей к победе, и она бы развилась в настоящую чемпионку» (Набоков: 259).

Вообще, понимание Лолиты как недалёкого подростка, набитого «штампами», давно укрепилось среди читателей и исследователей романа. Польский писатель С. Лем не находит ни одной «положительной черты» в «бедной девочке» и уверенно «предопределяет» её судьбу:

¹ Набоков В. В. Лолита. М.: АСТ, 2007. С. 156. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием автора и номера страницы в круглых скобках.

«...эта крохотная душа доверху набита комиковым, перечно-мятным, рекламным хламом, хотя автор в самом начале лишил её ореола “растоптанной невинности”, наделив эту школьницу тривиальным половым опытом, и сделал всё, чтобы мы не могли сомневаться в полнейшей обыкновенности, даже заурядности её особы, которую ничего великопленного в жизни не ожидало, даже если бы в неё не вмешался фатальный Гумберт...» [Лем: 325].

Р. Уэст, хоть и справедливо считает книгу «трагической» и убеждена в том, что она утверждает постоянство нравственных ценностей «и что человек, обходящийся с другим, как с вещью, существо пропащее», всё же называет Лолиту «прожорливое и пустое дитя американского материализма» [Уэст: 302].

Наше же понимание романа и самого образа Лолиты полностью совпадает с их осмыслением женой писателя, Верой Евсеевной, которой уж точно нельзя отказать в понимании художественного творчества мужа. Именно ей мы обязаны спасением «Лолиты», которую Набоков собирался сжечь. После выхода романа Вера Евсеевна пишет сестре мужа:

«...не суди о книге, пока не прочтёшь до конца. Это <...> непостижимая, в высшей степени корректная попытка проникнуть в душу жуткого маньяка, а также раскрытие трагической судьбы беззащитной маленькой девочки»; «В. опасается, что книга шокировала тебя <...> Не суди о ней, пока не дойдёшь до конца. Он (Гумберт — Т. К.) ужасен. Но книга — великая» [Шифф: 268–269] (курсив авт. — Т. К.).

Позже Вера Евсеевна записывает в своём дневнике:

«На “Лолиту” накинута как на гадкое дитя, маленькое чудовище, низкое, похотливое и на редкость мерзкое отродье. <...> Но хотелось бы, чтоб кто-нибудь оценил, с какой нежностью описана вся беспомощность этого ребенка, оценил её <...> зависимость от кошмарного Г. Г., а также её отчаянную отвагу, нашедшую такое яркое отражение в жалком, хотя в основе своей чистом и здоровом браке. <...> Все критики проходят мимо того факта, что Лолита <...> по сути своей истинно положительна — в противном случае она никогда не поднялась бы после того, как её так жестоко сломали, и не обрела бы нормальной жизни с беднягой Диком, которая ей оказалась больше по душе, чем та, другая» [Шифф: 316].

Из современных исследователей к образу «бедной девочки» наиболее сочувственно подходит А. В. Злочевская:

«Как и у Достоевского, в “Лолите” свершилось надругательство над невинностью и беззащитностью ребёнка. Отсюда и поразительное совпадение видений, которые преследуют Ставрогина и Гумберта Г.» [Злочевская, 1998: 184].

Автор впервые обращает внимание на сходство выражений лиц обеих жертв:

«Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком» (1; 22) — это личико Матрёши, а вот Лолиты: “выражение у неё на лице — трудно описуемое выражение беспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило в безмятежность слабоумия — именно потому, что чувство несправедливости и непреодолимости дошло до предела» [Злочевская, 1998: там же].

Действительно, нельзя не обратить внимания на то, что в обоих романах представлено соотношение: «развитый», «интеллектуальный» преступник и «недалёкая», «обыкновенная» жертва. После совершившегося преступления Ставрогин признаётся: «Лицо её мне показалось вдруг глупым» (1; 16), фактически в этом же — «глупости» и «шаблонности» Лолиты пытается уверить читателя и Гумберт Гумберт на протяжении всего романа: дескать, она не читает «серьёзную» литературу, не понимает красоты природы, лексикон её вульгарен и т. д. И это первое сходство обеих жертв, которое «вводит в искушение» читателя, уже готового симпатизировать насильнику: «глупую» жертву не так жалко, как «умную».

Ещё одно сходство, сразу бросающееся в глаза, не обходят стороной исследователи: практически все обращают внимание на то, что Матрёша, поражённая вниманием к ней «барина» Ставрогина и его ласками, «обхватила <его> за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама» (1; 16). Ещё Нина Берберова соотносит этот эпизод с эпизодом растления Лолиты: «Ту же ответственность, хотя и менее простодушно, встретил и Гумберт Гумберт в Лолите» [Берберова: 659]. Именно на этом эпизоде и «попадают» некоторые читатели, принимая «моральное экспериментирование» (по терминологии Бахтина) подростка (в случае Лолиты) и поиск любви и ласки, которой она никогда не знала (в случае Матрёши), за ответное чувство. Очевидно, что никакие действия ребёнка не могут служить оправданием для педофила. В обоих романах лишь психологически верно воспроизведено поведение жертвы половых преступлений. По наблюдению уже современного исследователя Ю. А. Островецкой, изучающей половые преступления ненасильственного характера в отношении детей (а именно такой способ половых преступлений — без применения собственно физического насилия, объединяет деяния Ставрогина и Гумберта),

«дети 12–15 лет в силу возрастных и физических особенностей почти не имеют жизненного опыта, неспособны верно осознавать характер и социальную значимость не только своего поведения, но и поведения других лиц. Они очень легко расширяют круг общения, стремятся показаться взрослыми, самостоятельными, независимыми, но при этом нередко оказываются неготовыми к встрече с людьми, которые пользуются их доверчивостью и неопытностью» [Островецкая: 117].

Третье искушение читателя романа Набокова заключается в акцентировании внимания на том, что мать Лолиты недостаточно любила дочь, а в глазах Гумберта — так вообще «ненавидела»: «Ах, как она ненавидела дочь!» (Набоков: 87), так что иной читатель, считающий «устаревшими» нормы морали, уже готов оправдывать маньяка, «избавившего» жертву от деспотичной матери и ещё взявшегося её «образовывать». О матери Матрёши читатель тоже узнаёт из уст насильника: она «её любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на неё по-бабьи» (1; 15). Очевидно, что, встретив ласку со стороны жильца, Матрёша с детской наивностью тянется к нему. Поддавшись этим «искусениям», читатель готов поверить маньяку, что тот действительно «полюбил» Лолиту. Пожалуй, протоистория Матрёши и её сходство с Лолитой служит предостережением для таких поспешных выводов: вряд ли

можно усмотреть в преступлении Ставрогина хотя бы намёк на «любовь» к Матрёше. Гумберт же недвусмысленно признаётся в том, что Лолита была «первой в его жизни нимфеткой, до которой <он> мог доскрестись неуклюжими, ноющими, робкими когтями», потому что дьявол хотел, чтобы он «ему ещё послужил игральным» (Набоков: 58). На протяжении всего романа Гумберт боится потерять её и боится ответственности перед законом. Страсть маньяка по отношению к другим девочкам Лолитинового возраста не утихает, а напротив, ещё более распаляется. Верящие в «любовь» Гумберта исследователи целомудренно «не замечают» эпизодов, когда тот заставляет Лолиту оказывать ему сексуальные услуги, в то время как он смотрит из окна машины на девочек, выходящих из школы (Набоков: 176), или непосредственно в классе, где учится Лолита, когда сидящая перед ними девочка вызывает его вожделение (Набоков: 219). Лолита — буквально — находится в сексуальном рабстве у Гумберта, на что он сам правдиво указывает, называя её «своей избалованной девочкой-рабыней» (Набоков: 207). Даже потеряв Лолиту, Гумберт не избавился от своего влечения к «нимфеткам» (Набоков: 288), а своё одиночество скрашивает общество Риты. Мнимое чувство Гумберта выражается в тех же категориях сосредоточенного на физиологической стороне жизни маньяка: «сосцы набухнут и потрескаются», «устыице осквернят и разорвут роды» (Набоков: 312).

Экзистенциальный ужас от происходящего, выраженный словами Матрёши «Бога убила» (11; 18), свойственен на самом деле и Лолите, вовсе не считающей «нормальным» происходящее с ней. Так, при посещении парка Магнолий в южном штате Гумберт со своей пленницей видит рекламный плакат, призывающий посетить его, «потому что дети <...> пройдут, полные благоговения, с сияющими от умиления глазами, через это предвкушение Рая, впивая красоту, могущую наложить отпечаток на всю их жизнь» (Набоков: 168–169). Осквернённая Лолита саркастически и «мрачно» замечает: «Не мою» (Набоков: 169). Упоминание рая, хоть и в таком сниженном стиле рекламного плаката, недвусмысленно намекает на то, что преступление Гумберта против половой неприкосновенности ребенка — это посягательство на «райскую» чистоту детского возраста, таким образом, педофил (конечно же, а не жертва) «убивает Бога». Впоследствии та же тема более отчётливо отразится в галлюцинации Гумберта, когда он слышит играющих детей: «взрыв светлого смеха», «бряк лапты или грохоток игрушечной тележки» и начинает испытывать «пронзительно-безнадёжный ужас», состоящий «не в том, что Лолиты нет рядом <...>, а в том, что её голоса нет в этом хоре» (Набоков: 344–345).

«Шаблонность» Лолиты, которую, доверяя Гумберту, видят в ней и исследователи, на самом деле обманчива. В конце романа, когда Гумберт, казалось бы, близок к раскаянию, он вспоминает то, на что, ослеплённый своей низменной страстью, вообще никогда не обращал внимания, — мысли Лолиты, её рассуждения об «отвлечённых предметах», в частности о смерти: «Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен самому себе» (Набоков: 319), — говорит она своей подруге. С Гумбертом Лолита предпочитает не делиться подобными размышлениями:

«живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютного зла, мы испытывали странное стеснение, когда я пытался заговорить с ней о чём-нибудь отвлечённом (о чём могли бы говорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальный возлюбленный, я и Аннабель <...> об искусстве, о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритой голове Бодлера, о Боге и Шекспире, о любом *настоящем* (курсив авт. — Т. К.) предмете. Не тут-то было! Она одевала свою уязвимость в броню дешёвой наглости и нарочитой скуки...» (Набоков: 319).

Как отмечает А. А. Шепелев (и здесь с автором нельзя не согласиться), «таким образом Набоков проводит черту, разграничивающую авторство двух авторов — своё отличие от Гумберта он видит в том, что ему доступны сокровенные переживания героини» [Шепелев:110]. Конечно, Лолита не может и не должна открывать внутренний мир своему растлителю. В «обособленном мире абсолютного зла» никакого диалога быть не может, и, изъясняясь «подростковыми штампами», одеваясь в «броню дешёвой наглости», Лолита с Гумбертом фактически молчит — так же, как молчит Матрёша (на протяжении всего эпизода со Ставрогиным Матрёша не произносит ни слова).

Очень важно, что и у Достоевского, и у Набокова педофил лишён покаяния. Казалось бы, Достоевский, видя и изображая человека в эсхатологической перспективе, надеется на возрождение, «восстановление» любого грешника (см. об этом, напр.: [Захаров]; [Дунаев: 520]²), а Набоков вообще скептически относится к теме религии, но в этом вопросе они сходятся: педофил «казнён» невозможностью раскаяться. В этом антропологическое открытие обоих писателей, подтверждённое всей литературной традицией. Действительно, если в русской литературе можно встретить образы любых раскаявшихся злодеев, в том числе и убийц, то ни одного образа раскаявшегося педофила нет — ни один писатель «не дерзает» «воскресить» такого злодея. На эпизод несостоявшегося раскаяния Гумберта «в кружевном от инея Квебеке» и соотношение «доброго аббата» со старцем Тихоном уже обращали внимание исследователи, начиная с Н. Берберовой. В несостоявшейся исповеди Гумберта «доброму аббату», помимо отсылки к образу Ставрогина, можно увидеть параллель ещё и с другим романом Достоевского:

«...Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что какое бы духовное утешение я ни снискал, какая бы литофаническая вечность ни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть всё то дикое, грязное, к чему моё вожделение принудило её. Поскольку не доказано мне <...>, что поведение маньяка, лишившего детства северо-американскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены, ни веса в разрезе вечности — поскольку мне не доказано это (а если можно это доказать, то жизнь — пошлый фарс), я ничего другого не нахожу <...>, как унылый <...> паллиатив словесного искусства» (Набоков: 317–318).

² Напр., М. М. Дунаев сформулировал принцип изображения человека у Достоевского так: «раскрыть вечность образа и временность повреждённости через проникновение сквозь внешнее уродство к внутренней скрытой под ним красоте».

В этом монологе явно слышатся аллюзии к вопросу Ивана Карамазова: «зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?» — в интерпретации Гумберта: зачем моё покаяние и что оно изменит в вечности, если Лолита никогда не сможет забыть всё то «дикое и грязное»? Есть грань, за которой восстановление падшей человеческой природы уже невозможно, и в этом Набоков сходится со своим литературным оппонентом.

Уже после написания «Лолиты» Набокову случайно попала редкая книга — сборник статей его отца, известного юриста В. Д. Набокова по уголовному праву, куда входила развёрнутая статья «Плотские преступления по проекту уголовного уложения» (1904 г.), которая показалась писателю пророческой [Зверев: 26]. Отец писателя начинал уголовно-правовой анализ «плотских преступлений» с размышления о том, что само наличие этой главы в уголовном законе «служит вечным напоминанием о том, что и в культурном и просвещённом человеке часто дремлет злое и сладострастное животное» [Набоков В. Д.: 87]. Интересно, что тот же образ человека-зверя при осмыслении половых преступлений прослеживается уже в работах современных учёных. Известный криминолог Ю. М. Антонян характеризует подобные преступления следующим образом:

«человек <...> теряет своё человеческое обличье, с облегчением сбрасывая непрочные покровы цивилизации, рвет её узы, с упоением и яростью отдаваясь инстинктам и влечениям, преступая все мыслимые запреты» [Антонян: 142].

Так же, как и Набоков, Антонян не принимает всерьёз «прозрения» «венского шамана» (Набоков: 308) З. Фрейда и рисует психофизиологический портрет педофила так:

«Фрейд <...> допускал, что иногда сексуальные извращения кажутся не просто отвратительными и чудовищными, но как будто соблазнительными и вызывающими в глубине души тайную зависть к тем, кто ими наслаждается. В действительности же извращенцы скорее жалкие существа, очень дорого расплачивающиеся за своё трудно достижимое удовлетворение. В самом деле, половые извращенцы, за исключением, пожалуй, серийных сексуальных убийц, обычно представляют собой убогое зрелище, они запуганы, тревожны, неуверенны в себе, тем более что среди них много алкоголиков и других маргинальных личностей. Так что эти опровергатели цивилизации далеко не всегда предстают грозными мужами, не почитающими условность. Их отличительной особенностью является то, что они центрированы, т. е. в большинстве случаев подчинены своему половому влечению, которое образует центр всех их интересов и личности в целом. Они всё время испытывают страх, что об этом станет известно другим, отсюда нарастание, заострение паранойяльных черт их личности» [Педофилия: 59].

Образ Гумберта, а отчасти и Ставрогина, вполне соответствует этой характеристике.

Глубоко чуждый дидактике, Набоков тем не менее в уста «прозревшего» или «прозревающего» Гумберта вкладывает вполне оформившуюся в мораль мысль:

«Моя шаблонная Лолита за время нашего с ней неслыханного, безнравственного сожительства постепенно пришла к тому, что даже самая несчастная семейная жизнь предпочтительна пародии кровосмешательства — а лучше этого в конечном счёте я ничего не мог дать моей бездомной девочке» (Набоков: 322).

Учитывая, как мы выяснили ранее, что Лолита вовсе не «шаблонна» и лишь скрывает свой внутренний мир от маньяка, завладевшего её телом, не давая ему завладеть ещё и её душой, и опираясь на слова В. Е. Набоковой о том, что Лолита «по сути своей истинно положительна», в её отказе вернуться к вдруг прозревшему Гумберту, чтобы жить и умереть с ним, и покинуть «своего случайного Дика» рискнём увидеть аллюзию на любимый автором роман «Евгений Онегин» и на знакомые всем слова Татьяны «Но я другому отдана...». Кстати, Татьяна — княгиня N — и Онегин упоминаются как бы вскользь и в самом романе: «Никогда не уедет с Онегиным в Италию княгиня N» (Набоков: 297–298).

Итак, роман «Лолита» — это роман о «слезинке ребёнка», органично впитавший художественные открытия Достоевского; психология жертвы и психология маньяка, изображённые в нём, находят подтверждение в современных уголовно-правовых и криминологических работах. При этом Лолита — не только жертва; подобно Татьяне, она одерживает, что называется, нравственную победу над своим растлителем, выстраивая свою жизнь по «нормальному» сценарию, как бы банально это ни звучало.

Литература

1. Антонян Ю. М. Особенности сексуальной преступности // Россия и современный мир. 2000. № 2. С. 142. 140–146.
2. Берберова Н. Н. Набоков и его «Лолита» // Набоков и его «Лолита». Чайковский. Железная женщина. Рассказы в изгнании. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 650–671.
3. Горковенко А. Е. Достоевский в художественном сознании Набокова // Дисс. ... канд. филол. наук, М., 1999. 122 с.
4. Долинин А. А. Набоков, Достоевский и достоевщина // Старое литературное обозрение. 2001. № 1 (277). С. 39–46.
5. Дунаев М. М. Православие и русская литература. Ч. III. Изд. 2-е, исправленное и доп. М.: Храм св. мч. Татианы при МГУ, 2002. 768 с.
6. Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петру, 2001. № 6. С. 5–20.
7. Зверев А. М. Набоков. 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 2016. 475 с.
8. Злочевская А. В. Набоков и Достоевский // Достоевский и мировая культура. Альманах. М., 1996. № 7. С. 72–95.
9. Злочевская А. В. Роман В. Набокова «Лолита» в контексте литературной традиции Ф. М. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах. М., Классика плюс, 1998. № 10. С. 180–195.
10. Карякин Ю. Ф. Набоков о Достоевском // Карякин Ю. Ф. Достоевский и апокалипсис. М.: Фолио, 2009. С. 366–372.
11. Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче // Классик без ретуши: литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 311–333.

12. Набоков В. Д. Плотские преступления по проекту уголовного уложения // Сборник статей по уголовному праву. СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1904. С. 86–146.
13. Островецкая Ю. А. Ненасильственные сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты. М.: Юрлитинформ, 2018. 160 с.
14. Педофилия: криминологический диагноз. Монография. Под ред. проф. Ю. М. Антоняна. Колл. авторов. М.: ВНИИ МВД России, 2010. 256 с.
15. Сараскина Л. И. Набоков, который бранится // Октябрь. 1993. № 1. С. 176–189.
16. Уэст Р. «Лолита»: Трагический роман с ехидной ухмылкой // Классик без ретуши: литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 301–303.
17. Шадурский В. В. Интертекст русской классики в прозе Владимира Набокова. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. 95 с.
18. Шепелев А. А. Ф. М. Достоевский в художественном мире В. В. Набокова. Тема нимфолепсии как рецепция темы «ставрогинского греха» // Дисс. ... канд. филол. наук, Тамбов, 2003. 212 с.
19. Шифф С. Вера. Миссис Владимир Набоков. М.: Изд-во «Независимая газета», 2002. 616 с.

References

1. Antonyan Yu. M. Features of Sexual Crime. In: *Rossiya i sovremennyy mir [Russia and the Modern World]*. 2000, no. 2, pp. 140–146. (In Russ.)
2. Berberova N. N. Nabokov and His *Lolita*. In: *Nabokov i ego "Lolita". Chajkovskij. Zheleznaya zhenshchina. Rasskazy v izgnanii [Nabokov and His "Lolita". Tchaikovsky. The Iron Woman. Stories in Exile]*. Moscow: Sabashnikov Publ., 2001, pp. 650–671. (In Russ.)
3. Gorkovenko A. E. *Dostoevskij v hudozhestvennom soznanii Nabokova [Dostoevsky in Nabokov's Artistic Consciousness]*. Diss. ... PhD (Philology), Moscow, 1999. 122 p. (In Russ.)
4. Dolinin A. A. Nabokov, Dostoevsky and Dostoevshchyna. In: *Staroe literaturnoe obozrenie [The Old Literary Review]*, 2001, no. 1 (277), pp. 39–46. (In Russ.)
5. Dunaev M. M. *Pravoslavie i russkaya literatura. Chast' III [Orthodoxy and Russian Literature. Part III]*. Moscow: Church of St. Tatiana at Moscow State University, 2002. 768 p. (In Russ.)
6. Zakharov V. N. Christian Realism in Russian Literature (Problem Statement). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. PetrSU Publ., 2001, no. 6, pp. 5–20. (In Russ.)
7. Zverev A. M. *Nabokov*. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 2016. 475 p. (In Russ.)
8. Zlochevskaya A. V. Nabokov and Dostoevsky. In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura. Al'manah [Dostoevsky and World Culture. Almanac]*. Moscow, 1996, no. 7, pp. 72–95. (In Russ.)
9. Zlochevskaya A. V. Nabokov's Novel *Lolita* in the Context of the Literary Tradition of F. M. Dostoevsky. In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura. Al'manah [Dostoevsky and World Culture. Almanac]*. Moscow: Klassika plyus Publ., 1998, no. 10, pp. 180–195. (In Russ.)
10. Karyakin Yu. F. Nabokov on Dostoevsky. In: Karyakin Yu. F. *Dostoevskij i apokalipsis [Dostoevsky and the Apocalypse]*. Moscow: Folio Publ., 2009, pp. 366–372. (In Russ.)
11. Lem S. *Lolita*, or Stavrogin and Beatrice. In: *Klassik bez retushi: literaturnyy mir o tvorchestve Vladimira Nabokova [Classic without Retouching: The Literary World about the Work of Vladimir Nabokov]*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2000, pp. 311–333. (In Russ.)
12. Nabokov V. D. Carnal Crimes According to the Draft Criminal Code. In: *Sbornik statej po ugovnomu pravu [The Collection of Articles on Criminal Law]*. St. Petersburg: Printing house of the association "Obshchestvennaya pol'za" Publ., 1904, pp. 86–146. (In Russ.)
13. Ostrovetskaya Yu. A. *Nenasil'stvennye seksual'nye posyagatel'stva v otnoshenii nesovershennoletnih: ugovno-pravovoj i kriminologicheskij aspekt [The Nonviolent Sexual*

- Assaults against Minors: Criminal Law and Criminological Aspects]*. Moscow: Yurlitinform Publ., 2018. 160 p. (In Russ.)
14. *Pedofiliya: kriminologicheskij diagnoz. Monografiya [Pedophilia: Criminological Diagnosis. Monograph. Edited by Prof. Yu. M. Antonyan]*. Moscow: Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2010. 256 p. (In Russ.)
15. Saraskina L. I. Nabokov, Who Cwears. In: *Oktyabr' [The October]*, 1993, no. 1, pp. 176–189. (In Russ.)
16. West R. *Lolita: A Tragic Novel with a Malicious Grin*. In: *Klassik bez retushi: literaturnyy mir o tvorchestve Vladimira Nabokova [Classic without Retouching: The Literary World about the Work of Vladimir Nabokov]*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2000, pp. 301–303. (In Russ.)
17. Shadursky V. V. *Intertekst russkoj klassiki v proze Vladimira Nabokova [The Intertext of Russian Classics in Vladimir Nabokov's Prose]*. Veliky Novgorod: NovSU Publ., 2004, 95 p. (In Russ.)
18. Shepelev A. A. F. M. *Dostoevskij v hudozhestvennom mire V. V. Nabokova. Tema nimfolepsii kak recepciya temy «stavroginskogo grekha»*. Diss. ... kand. filol. nauk [F. M. Dostoevsky in the Art World of V. V. Nabokov. The Theme of Nympholepsy as a Reception of the Theme of "Stavrogin's sin". Dissertation ... PhD (Philology)]. Tambov, 2003. 212 p. (In Russ.)
19. Shiff S. Vera. *Missis Vladimir Nabokov*. Moscow: Nezavisimaya Gazeta Publ., 2002. 616 p. (In Russ.)

А. В. Кулагин

ДОСТОЕВСКИЙ В ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА

Аннотация. В статье рассмотрены стихотворения Александра Кушнера, содержащие мотивы произведений или биографии Достоевского: «Среди знакомых ни одна...», «Мы обсудили Чехова с тобой...», «Отец настоял, чтобы сын-гимназист...», «Представляешь, каким бы поэтом...» и др. Раскрыта полемичность этих стихов по отношению к миросозерцанию Достоевского, который по мнению поэта, «слишком неистов, фанатичен и мучителен». Кушнер же провозглашает в стихах, напротив, благодарное приятие мира, чувство счастья и гармонии жизни, не поддающейся жёстким идеологическим и религиозным постулатам.

Ключевые слова: Достоевский, Кушнер, реминисценция, полемика, гармония.

Информация об авторе: Анатолий Валентинович Кулагин, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, Государственный социальный-гуманитарный университет, Московская область, г. Коломна.

E-mail: kula-mariya@yandex.ru

Anatoly V. Kulagin

DOSTOYEVSKY IN THE POETRY OF ALEXANDER KUSHNER

Abstract. The article examines Alexander Kushner's poems which include motifs from Dostoevsky's works or biography: *Not a single one among my acquaintances...*, *We discussed Chekhov with you...*, *Father insisted that his son a high school student...* and others. The polemical nature of these verses in relation to Dostoevsky's worldview, which, according to the poet, is "too violent, fanatical and painful", is revealed. Kushner proclaims in verse, on the contrary, a grateful acceptance of the world, a feeling of happiness and harmony of life, not amenable to rigid ideological and religious postulates.

Key words: Dostoevsky, Kushner, reminiscence, polemic, harmony.

Information about the author: Anatoly V. Kulagin, PhD (Philology), Professor, Department of Russian Language and Literature, State Social and Humanitarian University, Moscow Region, Kolomna.

E-mail: kula-mariya@yandex.ru

Данная работа продолжает серию наших статей, посвящённых творческим откликам Александра Кушнера на произведения русской классической литературы (см.: [Кулагин, 2017]). К списку имён, привлекающих особое внимание поэта (Пушкин, Толстой, Чехов и другие), нужно добавить и имя Достоевского. Пройти мимо него Кушнер, поэт Петербурга [Кулагин, 2020], не мог, ибо «петербургский текст» русской литературы без Достоевского немислим. И у Кушнера Петербург, конечно, неотделим от Достоевского: «В Ленинграде мне повезло родиться, // И умру, даст бог, в Петербурге, — город, // Сколько помню себя, как в воде, двоится, // Достоевская сырость течёт за ворот» («В Ленинграде мне повезло родиться...», ок. 1992) [Кушнер, 2020: 139].

Для начала нужна краткая биографическая справка. В «дооттепельные» годы школьной учёбы будущего поэта (школу он окончил в 1955

году) произведения Достоевского в школьную программу не входили. Зато в Педагогическом институте имени Покровского, где юный Кушнер учился до слияния этого вуза с ЛГПИ имени Герцена, лекции о Достоевском читал один из лучших тогдашних знатоков его творчества Аркадий Семёнович Долинин. Но, несмотря на это, у поэта выработалось критическое отношение к классику.

Прочитываем письмо к автору статьи от 12 января 2020 года, в котором Александр Семёнович делится по нашей просьбе своим мнением о Достоевском:

«...уже давно его не читаю, предпочитая ему Толстого и Чехова. Достоевский, на мой вкус, слишком неистов, фанатичен и мучителен, иногда неправдоподобен, и, как сказал Чехов, ему не хватало скромности. И какая-то подначка, подковырка в его стиле мне тоже чужда. Разумеется, огромный писатель, но его герои, поступающие вопреки должному поступку, наоборот, — уже не обманывают ожидание: именно этой странности от них и ждешь»¹.

Поэтому наиболее значимые поэтические отклики на произведения или на отдельные высказывания Достоевского у Кушнера оказываются полемичны. Это заметно уже в самой ранней по времени «достоевской» лирической реплике — в стихотворении «Среди знакомых ни одна...» (1966):

Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнётся, впад в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесёт, и слава богу,
Шестизарядный револьвер².

«Пачка денег» отсылает, конечно, к сцене из романа «Идиот», где деньги в огонь бросает Настасья Филипповна (строки же о «концертном холоде» и «револьвере» поневоле напоминают об эпизоде с покушением Лары на Комаровского в «Докторе Живаго» на ёлке у Свентицких, то есть тоже при большом скоплении людей, хотя револьвер берёт с собой, отправляясь к Свидригайлову, и Дуня Раскольникова; кстати, брата Лары, как и брата Дуни, зовут Родионом, и мотив жертвенности по отношению к брату у Пастернака тоже ощутим). Напоминающая Настасью Филипповну героиня стихотворения словно разрушает устойчивый мир души героя, которому трудно противостоять ассоциирующемуся с ней «бреду»:

¹ Любопытно, что мнение поэта о персонажах Достоевского совпадает с мнением Льва Толстого, зафиксированным его секретарём: «Действующие лица делают как раз не то, что должны делать. Так что становится даже пошлым: читаешь и наперёд знаешь, что они будут делать как раз не то, что должны, чего ждешь» [Булгаков: 416]. Сам Александр Семёнович, по его признанию, книгу Булгакова «кажется, не читал или читал очень давно и забыл» (письмо от 4 февраля 2020 г.).

² Кушнер А. Избранное. М., 2005. С. 71. Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием (в круглых скобках) только номера страницы.

Я так и думал бы, что бред —
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.

Между тем, в концовке всё-таки проступает лёгкая ирония по отношению к подобным аффектам:

Разят дешёвые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щёк стирает слёзы с пудрой
И любит жуткие стихи.

Любопытно, что «Идиот» — роман, который Кушнеру-читателю, по его признанию, «нравился больше других» романов Достоевского. Но это не помешало ему (роману) оказаться в поле поэтического переосмысления. В том, что уже тогда такая полемичность была для поэта принципиальна, что к аффектам он относится без доверия, убеждает другое стихотворение той поры:

Эти бешеные страсти
И взволнованные жесты —
Что-то вроде белой пасты,
Выжимаемой из жести.
Эта видимость замашек
И отсутствие расчёта —
Что-то, в общем, вроде шашек
Дымовых у самолёта»
(«Эти бешеные страсти...», 1963; 49).

Спустя десятилетие этот мотив отозвался в стихотворении «На петербургских старинных гравюрах...» (1976), в котором Петербург увиден как бы из прошлого, из начальной поры своей истории, когда он ещё не обрёл известного современному человеку классического облика. Как нередко бывает у Кушнера, отправной точкой лирического сюжета становятся произведения искусства — в данном случае «петербургские старинные гравюры», на которых пока ещё нет знаменитых впоследствии достопримечательностей:

Мойка, Фонтанка, Миллионная, Невский...
Улиц, где мог бы гулять Достоевский,
Нет. Значит, может не быть
Этих горячечных снов, преступлений?
Или, как дом, запланирован гений:
Строить здесь будут и рыть. (265)

Достоевский в этом стихотворении упомянут, казалось бы, наравне с другими классиками («Пушкин ещё не родился...»; «Гоголь? Ещё для него рано-

вато...»), но он единственный, чьё имя сопровождается пусть очень краткой, но всё-таки характеристикой. Поэту душевной нормы, каковым является Кушнер, «горячечные сны» (не говорим уже о «преступлениях») по-прежнему не близки, в чём он и проговаривается, придавая мимолётной, казалось бы, фразе заметный внимательному читателю оценочный колорит.

Куда более этот колорит заметен в написанном вскоре (начато в 1977-м, доработано в 1981-м) стихотворении «Мы обсудили Чехова с тобой...» Тема Достоевского проступает в финальной строфе, где он оказывается антиподом того писателя, которого «обсуждают» лирический герой и героиня (напомним фразу из письма: «...предпочитая ему Толстого и Чехова»):

Я не люблю, когда меня берут
За горло. В нём, не знаящем ответов,
И не сидел витийства грозный зуд
С огнём в очах, с возвратами билетов,
Любил ли он кого-нибудь? Какой
Спокойный взгляд, не знающий иллюзий!
Мы обсудили Чехова с тобой
По телефону. Не был он во вкусе
Ахматовой, Цветаевой — они
Своих отцов в нём как-то узнавали.
О, детский стыд: подалее от родни!
Им в достоевском радостней скандале!
[Кушнер 2020: 82–83]

Помимо упоминания Достоевского в последнем стихе (которое мы сейчас прокомментируем), обращает на себя внимание реминисценция из «Братьев Карамазовых». Поэт обыгрывает известный эпизод романа, где Иван заявляет: «...от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного <...> замученного ребёнка... <...> Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу вернуть обратно»³. Реминисценция, конечно же, — реплика на присущий Достоевскому и его героям (в данном случае неважно, что Иван не является *alter ego* автора романа) максимализм.

Ключ к пониманию этих стихов и, в частности, концовки даёт позднейшее эссе Кушнера «Почему они не любили Чехова?» (2002). В нём собраны многочисленные факты, свидетельствующие о том, что поколение Серебряного века в самом деле не любило Чехова, ибо «XX век делал ставку на сильную личность, твёрдую волю, на героя». Образно и остроумно сравнив Достоевского с хирургом, а Чехова — с терапевтом, автор эссе полагает, что первый отвечал запросам новой эпохи гораздо больше, чем второй: «Вот почему обратились к Достоевскому с его ожесточённостью, отсутствием полутонов, антитезами и катастрофизмом» [Кушнер, 2011: 405] — и, добавим слово из стихотворения, — «скандалами» (вспомним, например, сцену поминок

³ Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 9. 1958. С. 307, 308. Сознательно цитируем произведения писателя по этому, имеющемуся в личной библиотеке поэта, изданию.

в «Преступлении и наказании» или сцену в салоне Варвары Петровны Ставрогиной с пощёчиной Шатова Ставрогину в «Бесах»⁴). Но лирическому герою стихотворения Чехов, разумеется, ближе. Да и в финале эссе Кушнера приведены высказывания доживших до середины столетия деятелей Серебряного века (Пастернака, Адамовича, Ахматовой), которые вдруг «дружно полюбили Чехова. <...> Потому и полюбили, что революционная волна окончательно выдохлась; <...> что выяснилось, что лучше всё-таки “ждать”, чем “торопить”» [Кушнер, 2011: 407]. Любопытно, что «революционным» оказывается у Кушнера Достоевский, революционных идей категорически не принимавший. Можно подумать, что дело тут не в политике, а в творческом темпераменте, в максимализме нравственных претензий к человеку. Но и в политике тоже: неслучайно Д. С. Мережковский назвал свою статью о Достоевском «Пророк русской революции». К мотиву «революции» мы ещё вернёмся, он у Кушнера не случаен.

Главные, наиболее принципиальные поэтические отклики Кушнера на творчество, на этическую позицию Достоевского были, между тем, впереди. В 2000 году написано стихотворение «Отец настоял, чтобы сын-гимназист...», в котором обыгран один из эпизодов фактически последнего года жизни писателя (1880), связанный с именем и другого литератора, принадлежащего уже к младшему по отношению к Достоевскому поколению, в ту пору пятнадцатилетнего юноши:

Отец настоял, чтобы сын-гимназист,
Уж коли он пишет стихи, его Дима,
Пошёл к Достоевскому с ними: ершист
И сумрачен мальчик, и сердце ранимо, —
Авось и понравится что-нибудь в них
Писателю.
Мрачно хозяин и злобно
Внимал гимназисту. Тот сбился, затих.
«Бессмысленно. Слабо. Неправдоподобно».
У мальчика слёзы вот-вот из-под век
Закапают. Стыд и обида какая!
«Страдать и страдать, молодой человек!
Нельзя ничего написать, не страдая»... (618)

Стихотворение навеяно чтением «Автобиографической заметки» Мережковского. Прочитируем её:

«В Петербурге в 1880 году, познакомившись у графини Толстой, вдовы поэта, с Достоевским, отец повёз меня и к нему. Помню крошечную квартирку в Кузнечном переулке, с низенькими потолками, тесной прихожей, заваленной экземплярами “Братьев Карамазовых”, и почти такой же тесный кабинет, где Фёдор Михайлович сидел за корректурами. Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские, жалкие стишонки. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою. Мы ему, должно быть, помешали.

— Слабо... плохо... никуда не годится, — сказал он наконец. — Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

— Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! — возразил отец» [Мережковский, 2004].

В этом диалоге симпатии Кушнера-читателя (и лирического героя его стихотворения), конечно, на стороне отца Мережковского. В пользу этого говорят некоторые другие, более ранние, стихи поэта. Например, ещё в 1979 году им было написано стихотворение, словно предвосхищающее будущий лирический отклик на позицию Достоевского:

Как уголь чистит белых лошадей,
Как чад печной песком стирают с днища...
Но потопчись, ненастье, у дверей...
Душа не хочет выгоды своей,
Как ей скажу: там сделаешься чище?!
Она, при виде горя и обид,
Всё, озираясь, бедная, твердит,
Что радость тоже сажу оттирает,
Что поцелуй, что живопись, что вид
На даль морскую... плачет, умоляет
(«Как уголь чистит белых лошадей...»; 283).

Позже, в 1985-м, в стихах Кушнера своеобразным союзником Достоевского оказался... Лев Толстой:

Летит на яркий свет мучительное слово,
Добытое в огне и горечи земной.
Жить надо... — в дневнике есть запись у Толстого, —
Как если б умирал ребёнок за стеной.
Жить надо на краю... чего? Беды, обрыва,
Отчаянья, любви, всё время этот край
Держа перед собой, мучительно, пылливо,
Жить надо... не могу так жить, не принуждай!
(«Как дома хорошо, — вернувшись из больницы...»; 388).

Ситуация тем более неожиданна и парадоксальна, что вообще-то Толстой критически относился к идее Достоевского о необходимости страдания⁵ — как критически относится к ней и Кушнер, предпочитающий страданию счастье. Такова его лирическая философия.

В какой-то момент поэтическая мысль вроде бы готова согласиться с идеей страдания. Разве не лежит оно, в самом деле, в основе человеческого сопереживания всему существу? Разве не страдание открыло истинные ценности бытия Онегину или Болконскому? И разве не подтвердила правоту Достоевского наша история как минимум последнего столетия? И вот в финальной строфе «мережковского» стихотворения читаем: «А русская жизнь, этой фразе под стать, // Неслась под обрыв обречённо и круто. // И правда, нельзя ничего написать...» И тем не менее, поэт не сдерживается — как не

⁵ См.: [Кошелев]. О процитированном стихотворении Кушнера в связи с его источником см. подробнее в нашей статье «А всё-таки всех гениальней Толстой...» [Кулагин, 2017: 54–55].

⁴ См. подробнее: [Креницын: 407–422].

сдерживается развеселившийся школьник, изо всех сил старающийся быть серьёзным. Но — не получается: «...И всё-таки очень смешно почему-то»⁶.

И, наконец, ключевое для нашей темы — и позднейшее хронологически — «достоевское» стихотворение Кушнера, написанное в 2004 году:

Представляешь, каким бы поэтом —
Достоевский мог быть? Повезло
Нам — и думать боюсь я об этом,
Как во все бы пределы мело!

Как цыганка б его целовала
Или, целясь в костлявый висок,
Револьвером ему угрожала.
Эпигоном бы выглядел Блок!.. (639)

Поэт использует здесь приём, который Н. Н. Шаховская называет «сюжетным допущением» [Шаховская, 2017]. Суть его в том, что в стихотворении как бы проигрывается другой вариант некоего события исторической или частной жизни («Когда б я родился в Германии в том же году...», «Если бы Пушкин убил Дантеса...» и др.). В данном случае поэт «переквалифицирует» прозаика-классика. Впрочем, это допущение не так уж и фантастично. Достоевский писал в годы ссылки верноподданнические оды (не становящиеся большим поэтическим явлением даже при учёте всех вызвавших их биографических и политических обстоятельств⁷), сочинял стихи на случай, пародии, эпиграммы и наделил стихотворными опусами некоторых своих персонажей. Достаточно назвать абсурдистское «творчество» капитана Лебядкина из «Бесов», словно предвосхищающее поэзию обэриутов и вызвавшее творческую рефлексию у Зощенко и Шостаковича, да и у самого Кушнера. Он вспомнил о Лебядкине в своём стихотворении «Зачем, подумал я, в стихах обэриута...» (1977; последнее слово у поэта записано именно так), в герое которого узнаётся поэт Николай Олейников, писавший, как и Лебядкин, стихи о насекомых: «И кухня, с шелестом печного таракана, // И клоп, роняющий себя на табурет... // Не энтомолог он, но помнил капитана // Из Достоевского, его бессвязный бред» [Кушнер, 1981: 187].

⁶ Ср. со стихами Кушнера о Гоголе, в которых тоже сталкиваются мотивы литературной «серьёзности» и улыбки, смеха:

«Меня теперь нужно беречь и лелеять,
Так пусть же приедут за мной из Москвы
Аксаков и Щепкин», — писал он, доверить
Готов им сосуд свой, непрочный, увы!
Тут не было даже и тени улыбки,
Ни капли иронии: в Риме ему
Себя, как вино, расплескать по ошибке
Казалось опасным. Такому письму
Цены нет: смешнее, чем «Мёртвые души»
Или «Ревизор», ошастлививший всех...
[Кушнер, 2020: 158].

⁷ См.: [Тихомиров].

Но Достоевского — даже если бы он в самом деле обладал серьёзным поэтическим даром — и невозможно представить сочиняющим традиционные лирические стихи: для этого он, по представлению Кушнера, (напомним) «слишком неистов, фанатичен и мучителен». Обращаем внимание на втягивание в лирический сюжет и литературных имён из двадцатого века (Блок, Пастернак с его «пределами»), явно проигрывающих перед «поэтом» Достоевским: у них такого «фанатизма» точно нет, так что рядом с Достоевским Блок может показаться разве что «эпигоном». Заметим, кстати, и вторичное появление в «достоевском» контексте «револьвера».

Следующее четверостишие: «Вот уж точно измышленный город // В гиблой дымке растаял сплошной // Или молнией был бы расколот // Так, чтоб рана прошла по Сенной», — уже становилось предметом нашего рассмотрения в связи с петербургской темой. Нам уже доводилось писать о том, что словосочетание «измышленный город» есть изменённая формула Достоевского из его «Записок из подполья» («самый отвлечённый и умышленный город на всём земном шаре»), о топографической точности поэта (Сенная площадь — характерное «достоевское» место, и к тому же проходящая через неё Садовая улица, с её поворотами, на карте города и впрямь может напомнить молнию) и о том, что эти стихи резонируют с «петербургским мифом» русской культуры о гибельности построенного «на болоте и на костях» города [Кулагин, 2020: 53–57, 218]. Уместно привести здесь и цитату из романа «Подросток», герой которого размышляет:

«А что, как разлетится этот туман и уйдёт кверху, не уйдёт ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото...»⁸

Правда, сам поэт по поводу этого мифа высказывается критически, отталкиваясь от того же Достоевского, в частности — от приведённой нами цитаты из «Подростка»:

«...и вовсе это не город, где Раскольников идёт убивать старуху-процентщицу. И ещё идёт разговор о том, что весь город испарится, и возникнет болото и туман. Нет, понимаете, это город, где можно жить»⁹.

Полемика с классиком слышится и здесь.

«Мучительность» Достоевского акцентируется необычным пейзажным мотивом и подразумеваемым сравнением потенциального «поэта» с его современником и даже ровесником — Некрасовым: «Как кленовый валился б, разлапист, // Лист, внушая прохожему страх. // Представляешь трёхстопный анапест // В его сцепленных жёстких руках!» Падающий кленовый лист обычно ассоциируется с осенней красотой природы — здесь же он «валится»

⁸ Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 8. 1957. С. 151.

⁹ Александр Кушнер у Алексея Лушникова, 17 сентября 2001 г. — https://www.youtube.com/watch?v=fjRTrKyqJl&list=PLiWlro_YDo7mwjGVUBs9ksf_ifenNk5h&index=10 (18.02.2024). Аллюзия на фигуру Раскольникова появляется и в более раннем стихотворении поэта, тоже связанном с «петербургским мифом», — «Когда бы град Петров стоял на Чёрном море» (1995): «...Тогда б ни топора под мышкой, ни шинели, // Венеция б в веках подругой нам была...» (531)

(будто это тяжёлый предмет) и «внушает страх». Анапест же характерен для Некрасовской поэзии («Мы с тобой бестолковые люди...», «Я за то глубоко презираю себя...»¹⁰ и др.). Казалось бы, два этих автора — Достоевский и Некрасов — близки друг другу своей острой социальностью, обращённостью к теме «униженных и оскорблённых». Но по части «тяжести» Некрасов у Кушнера явно уступает своему коллеге, «в сцепленных жёстких руках» которого (очень точная аллюзия на известный портрет писателя кисти Перова) этот стихотворный размер страшно даже и «представить».

Коснувшись в стихотворении и национального вопроса, обыграв известную нелюбовь Достоевского к представителям некоторых наций и его приверженность христианской вере как панацею от социальных проблем («Как евреи, поляки и немцы // Были б в угол метлой сметены, // Православные пели б младенцы, // Навевая нездешние сны»), автор приближается к кульминации лирического сюжета:

И в какую бы схватку ввязалась
Совесть — с будничной жизнью людей.
Революция б нам показала
Ерундой по сравнению с ней.

Парадокс, но неприятие Достоевским насильственной переделки мира оборачивается в стихах авторитаризмом (если не тоталитаризмом) куда большим, чем «революция». Схватка «совести с будничной жизнью людей» пострашней схватки белых и красных, ибо поле битвы проходит здесь через человеческую душу и раскалывает её, подобно «молнии», рана от которой «прошла по Сенной»¹¹. И более того: она (схватка) грозит уничтожить силой своей категоричности, неприятия полутонов русскую литературу и даже саму Россию:

До свидания, книжная полка,
Ни лесов, ни полей, ни лугов,
От России осталась бы только
Эта страшная книга стихов!

Но не покажется ли читателю, что и сам Кушнер не менее категоричен, чем Достоевский? Нет, ибо воспринимать стихотворение слишком уж всерьёз не нужно. Есть видеозапись авторского чтения стихотворения, завершающаяся лёгкой иронической улыбкой Александра Семёновича (см.: [Кушнер, 2007]). Ирония ощущается порой и в самом стихотворении («Православные пели б младенцы...»). Поэт не столь «серьёзен», как его оппонент. Так, может быть,

¹⁰ Последнее стихотворение вызвало у самого Кушнера лирический отклик — стихотворение, открывающееся именно этой строкой как цитатой (1996).

¹¹ Ср. в уже упоминавшейся нами статье Мережковского: «Красные знамена политических восстаний бледнеют перед <...> невиданным ультрапурпуровым цветом религиозной революции» (Мережковский, 1991: 343). Впрочем, Мережковский «религиозную революцию» трактует в позитивно-одобрительном ключе. Александр Семёнович признаётся, что статьи этой не читал.

усмешка («И всё-таки очень смешно почему-то») и есть противовес, который позволяет сохранить ощущение гармонии жизни, не поддающейся жёстким идеологическим и религиозным постулатам? И во всяком случае — ставящей под сомнение «витийства грозный зуд», который слышится всегда чуждающемуся разговорам о «пророческой миссии» литературы Кушнеру в произведениях классика.

Помалкивай, безумец! Что сегодня?
Какие сны живут в душе твоей?
Вот клён, вот дом, фонарь и подворотня.
О будущем ни слова. Будь скромней, —

пишет он, тоже не без иронии, в стихотворении «Поэзия, пророчица родная...» (2010) [Кушнер, 2010: 82]. Напомним слова Чехова о Достоевском, на которые ссылается поэт в приведённом в начале статьи письме: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий» (из письма к Суворину, 5 марта 1889 года) [Чехов].

И сам спор Кушнера с Достоевским тоже не надо абсолютизировать (мы помним его слова: «Разумеется, огромный писатель...»). Это не претендующая на объективность оценка литературоведа, а оценка художника, когда один мастер воспринимает другого с позиции личного жизненного опыта, собственного творчества и собственных этических и эстетических представлений. Именно так (хотя и завуалированно) сам Достоевский полемизировал когда-то с Гоголем (см.: [Тынянов]). Развития литературы без этого и не бывает¹².

Список литературы

1. Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М.: Гослитиздат, 1957. 536 с.
2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 10 т. М.: Гослитиздат, 1956–1958.
3. Кошелев В. А. «Мудрая мысль» Достоевского в интерпретации Льва Толстого // Наука говорить с другими: Сб. науч. трудов к 70-летию В. А. Викторovichа. Коломна: ГСГУ, 2020. С. 102–112.
4. Криницын А. Б. Поэтика и семантика скандала в поздних романах Ф. М. Достоевского // Преподаватель. XXI век. 2016. № 2. С. 407–422.
5. Кулагин А. В. Кушнер и русские классики: Сб. статей. Коломна: ГСГУ, 2017. 240 с.
6. Кулагин А. В. Поэтический Петербург Александра Кушнера: Монография. Статьи. Эссе. Коломна: ГСГУ, 2020. 424 с.
7. Кушнер А. С. Избранное. М.: Время, 2005. 718 с.
8. Кушнер А. С. Избранные стихотворения: [DVD с прилож. буклета с текстом]. СПб.: Геликон Плюс, 2007. 60 с.
9. Кушнер А. С. Канва: Из шести книг. Л.: Советский писатель, 1981. 208 с.

¹² Отдельные упоминания имени Достоевского и реминисценции из его произведений встречаются у Кушнера также в следующих стихотворениях (в тех случаях, когда они не входили в книги, указываем место публикации): «Прусту Джойс не понравился: пьяный...» (1996); «Сад» (2003); «Эти дамы на пляже без лифчиков, голые...» (Звезда. 2005. № 1. С. 6); «Наше небо, не то что на юге...» (Знамя. 2005. № 2. С. 3); «В сквере клён поспешно облетает...» (ок. 2015).

10. Кушнер А. С. «Эти дамы на пляже без лифчиков, голые...» // Звезда. 2005. № 1. С. 6.
11. Кушнер А. С. «Наше небо, не то что на юге...» // Знамя. 2005. № 2. С. 3.
12. Кушнер А. С. Мелом и углём. М.: Астрель [и др.], 2010. 128 с.
13. Кушнер А. С. Почему они не любили Чехова? // Кушнер А. С. По эту сторону таинственной черты: Стихотворения. Статьи о поэзии. СПб.: Азбука, 2011. С. 401–407.
14. Кушнер А. С. Обстоятельства времени: Из стихов, не вошедших в книги. М.: Булат, 2020. 408 с.
15. Мережковский Д. С. Пророк русской революции: (К юбилею Достоевского) // Мережковский Д. С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М.: Советский писатель, 1991. С. 310–349.
16. Мережковский Д. С. Автобиографическая заметка // Русская литература XX века: 1890–1910 / Под ред. С. А. Венгерова; Послесл., подгот. текста А. Н. Николоюкина. М.: Респубблика, 2004. С. 174.
17. Тихомиров Б. Н. Достоевский стихотворный // Жил на свете таракан...: Стихи Ф. М. Достоевского и его персонажей; «Витязь горестной фигуры...»: Достоевский в стихах современников. М.: Бослен, 2017. С. 175–190.
18. Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь: (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 198–226.
19. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974–1983. Письма: В 12 т. Т. 3. 1976. С. 164.
20. Шаховская Н. Н. Сюжетное допущение как когнитивный приём в поэзии Александра Кушнера // Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Рус. филология. 2017. № 3. С. 138–144.
21. Шаховская Н. Н. Русская история в художественном сознании А. С. Кушнера: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГОУ, 2018. 172 с.

References

1. Bulgakov V. F. L. N. Tolstoj v poslednij god ego zhizni [L. N. Tolstoj in the Last Year of His Life]. Moscow: Goslitizdat Publ., 1957. 536 p. (In Russ.)
2. Dostoevsky F. M. *Polnoe sobranie sochinenij: V 10 tomah* [The Complete Works: In 10 Volumes]. Moscow: Goslitizdat Publ., 1956–1958. (In Russ.)
3. Koshelev V. A. Dostoevsky's "Wise Thought" in the Interpretation of Leo Tolstoj. In: *Nauka govorit's drugimi: Sbornik nauchnyh trudov k 70-letiyu V. A. Viktorovicha* [The Science of Talking to Others: The Collection of Scientific works on the 70th anniversary of V. A. Viktorovich]. Kolomna: GSGU Publ., 2020, pp. 102–112. (In Russ.)
4. Krinitsyn A. B. The Poetics and Semantics of Scandal in the Late Novels of F. M. Dostoevsky. In: *Prepodavatel'. XXI vek* [The Teacher. XXI century]. 2016, no. 2, pp. 407–422. (In Russ.)
5. Kulagin A. V. *Kushner i russkie klassiki: Sbornik statej* [Kushner and Russian Classics: The Collection of Articles]. Kolomna: GSGU Publ., 2017. 240 p. (In Russ.)
6. Kulagin A. V. *Poeticheskij Peterburg Aleksandra Kushnera: Monografiya. Stat'i. Esse.* [Alexander Kushner's Poetic Petersburg: A Monograph. Articles. Essay]. Kolomna: GSGU Publ., 2020. 424 p. (In Russ.)
7. Kushner A. S. *Izbrannoe* [The Favorites]. Moscow: Vremya Publ., 2005. 718 p. (In Russ.)
8. Kushner A. S. *Izbrannye stihotvoreniya: DVD s prilozheniem bukleta s tekstom* [The Selected Poems: DVD with Attachment the Booklet with the Text]. St. Petersburg: Helikon Plus Publ., 2007. 60 p. (In Russ.)
9. Kushner A. S. *Kanva: Iz shesti knig* [The Canvas: From Six Books]. Leningrad: Sovetskij pisatel' Publ., 1981. 208 p. (In Russ.)
10. Kushner A. S. These Ladies on the Beach without Bras, Naked... In: *Zvezda* [The Star]. 2005, no. 1, p. 6. (In Russ.)
11. Kushner A. S. Our Sky, not Like in the South ... In: *Znamya* [The Flag]. 2005, no. 2, p. 3. (In Russ.)

12. Kushner A. S. *Melom i ugljom* [With Chalk and Coal]. Moscow: Astrel' Publ., 2010. 128 p. (In Russ.)
13. Kushner A. S. Why didn't they Like Chekhov? In: Kushner A. S. *Po etu storonu tainstvennoj cherty: Stihotvoreniya. Stat'i o poezii* [On this Side of the Mysterious Line: The Poems. The Articles about Poetry]. St. Petersburg: Azbuka Publ., 2011, pp. 401–407. (In Russ.)
14. Kushner A. S. *Obstoyatel'stva vremeni: Iz stihov, ne voshedshih v knigi* [Circumstances of Time: From Poems not Included in Books]. Moscow: Bulat Publ., 2020. 408 p. (In Russ.)
15. Merezhkovsky D. S. The Prophet of the Russian Revolution: (To the Anniversary of Dostoevsky). In: Merezhkovsky D. S. *V tihom omute: Stat'i i issledovaniya raznykh let* [In a Quiet Pool: Articles and Studies from Different Years]. Moscow: Sovetskij pisatel' Publ., 1991, pp. 310–349. (In Russ.)
16. Merezhkovsky D. S. Autobiographical note. In: *Russkaya literatura XIX veka: 1890–1910. Pod redakciej S. A. Vengerova; Posleslovije, podgotovka teksta A. N. Nikoljukina* [The Russian Literature of the Twentieth Century: 1890–1910. Edited by S. A. Vengerov; Afterword, Preparing the Text by A. N. Nikoljukin]. Moscow: Respublika Publ., 2004, p. 174. (In Russ.)
17. Tihomirov B. N. Dostoevsky Poetic. In: *Zhil na svete tarakan...: Stihy F. M. Dostoevskogo i ego personazhej; "Vityaz' gorestnoj figury...": Dostoevskij v stihah sovremennikov* [There Lived a Cockroach in the World...: Poems by F. M. Dostoevsky and His Characters; "The Knight of a Sorrowful Figure...": Dostoevsky in the Poems of Contemporaries]. Moscow: Boslen Publ., 2017, pp. 175–190. (In Russ.)
18. Tynyanov Yu. N. Dostoevsky and Gogol: (On the Theory of Parody). In: Tynyanov Yu. N. *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [The Poetics. The History of Literature. The Cinema]. Moscow: Nauka Publ., 1977, pp. 198–226. (In Russ.)
19. Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 tomah* [The Complete Works and Letters: In 30 Volumes] Moscow: Nauka Publ., 1974–1983. *Pis'ma* [The Letters]: In 12 Vols. 3. 1976, p. 164. (In Russ.)
20. Shakhovskaya N. N. Plot Assumption as a Cognitive Technique in the Poetry of Alexander Kushner. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya* [The Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Russian Philology], 2017, no. 3, pp. 138–144. (In Russ.)
21. Shahovskaya N. N. *Russkaya istoriya v hudozhestvennom soznanii A. S. Kushnera: Dissertaciya ... kandidata filologicheskikh nauk* [The Russian History in the Artistic Consciousness of A. S. Kushner: Dissertation ... PhD (Philology)]. Moscow: MGOU Publ., 2018. 172 p. (In Russ.)

А. А. Черенкова

**ИЛЛЮСТРАЦИИ Ф. Д. КОНСТАНТИНОВА
К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»:
ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
КАК СПОСОБ ПРОЧТЕНИЯ**

Аннотация. Предложен анализ графических иллюстраций Ф. Д. Константинова к роману Достоевского «Преступление и наказание». Они были созданы в 1945–1946 гг. и впервые изданы в 1946 г. В фондах Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» представлена наиболее полная коллекция гравюр, поступившая от художника в 1989 году. Особенности творческого метода Константинова определяют содержание и формы прочтения романа.

Ключевые слова: Ф. Д. Константинов, Ф. М. Достоевский, роман «Преступление и наказание», иллюстрация как интерпретация, ксилография, Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».

Информация об авторе: Анастасия Андреевна Черенкова, заведующий научно-экспозиционным отделом, Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль», Московская область, г. Зарайск.

E-mail: kremlexpo@yandex.ru

Anastasia A. Cherenkova

**ILLUSTRATIONS BY F. D. KONSTANTINOV FOR THE NOVEL
CRIME AND PUNISHMENT: GRAPHIC MEANS OF EXPRESSION
AS A WAY OF READING**

Abstract. The analysis of F. D. Konstantinov's graphic illustrations to Dostoevsky's novel *Crime and Punishment* is proposed. They were created in 1945–1946 and first published in 1946. The funds of the State Museum-Reserve Zaisk Kremlin present the most complete collection of engravings received from the artist in 1989. The features of Konstantinov's creative method determine the content and forms of reading the novel.

Keywords: F. D. Konstantinov, F. M. Dostoevsky, novel *Crime and Punishment*, illustration as interpretation, woodcut, Zaisk Kremlin Museum-Reserve.

Information about the author: Anastasia Andreevna Cherenkova, Head of the Scientific and Exposition Department, State Museum-Reserve Zaisk Kremlin, Moscow region, Zaraysk.

E-mail: kremlexpo@yandex.ru

Иллюстрации Народного художника СССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Фёдора Денисовича Константинова (1910–1997) к роману «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского составляют особую группу в коллекции графики Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». В экспозиционно-выставочной деятельности они важны для представления творчества писателя, связанного с зарайской землёй, а также графического наследия Ф. Д. Константинова, уроженца д. Макеево Зарайского уезда тогда ещё Рязанской губернии.

Гравюры на дереве (ксилография) к роману «Преступление и наказание» были созданы Константиновым в 1945–1946 гг. и впервые пришли к читателям в послевоенном 1946 году¹. В фондах музея «Зарайский кремль» представлена полная коллекция данных гравюр (см.: [Черенкова]). Их ценность обусловлена и источником поступления — от автора в 1989 году.

Из двадцати двух листов одна половина — полностраничные иллюстрации, а вторая — сюжетные заставки и концовки. Если первые решены как самостоятельные графические листы, ограниченные чётким контуром по периметру, то заставки, напротив, деликатно вписаны в страничное пространство благодаря плавным очертаниям.

Титульный лист к роману решён в соответствии с принципами оформления книги, сформулированными выдающимся советским графиком В. А. Фаворским, учителем Константинова (Илл. 1). Единство художественного решения всех элементов и их пространственная динамика создают индивидуальный образ бумажного издания, тональность которого определяется уже первым листом.

Интересен выбор пейзажного фона для титула — не портрет писателя или одного из главных героев, а город становится у Константинова образом, встречающим читателя. Действительно, у Достоевского город — не просто фон для разворачивающегося действия [Боровская: 83], поэтому Константинов сразу погружает зрителя практически на всё время развития событий в атмосферу места действия романа. В пространство этого пейзажа, который одновременно мог бы являться и самостоятельным произведением, вписаны рельефы букв. Константинов резко отделяет фамилию Достоевского чёткой линией под верхней строкой, а название произведения вписывает в пейзажный фон. Таким образом, не давая названия городу, Константинов сразу локализует пространство.

В сюжетное поле включено как название романа, его содержание, так и подпись художника. Динамика присутствует и в композиционной структуре гравюры: первый план представлен ритмическим строем букв, в то время как второй план выстроен глубиной городского пейзажа. В этом контексте противоречие между плоскостным и не плоскостным изображением, выход из которого Фаворский видел в пространственном решении [Фаворский: 85], Константиновым решено в единстве начертания шрифта и изображения второго плана. Таким образом, ограниченные возможности графики в данном случае побудили художника к решению нескольких задач, в числе которых и сообщение необходимой на титуле информации, и введение в место действия, и придание эмоционального настроения всему дальнейшему повествованию.

Совершенно иным образом решен фронтиспис к роману, в котором Константинов создал один из ярчайших в советской графике образов Родиона Раскольникова (Илл. 2). Психологический портрет главного героя, погружённого

¹ Достоевский Ф. М. Избранные сочинения. М.: Гослитиздат, 1946 (переизд.: 1947). В 1948 г. то же издательство выпустило отдельное издание «Преступления и наказания» с иллюстрациями Константинова (авантитул, фронтиспис, титул, 8 иллюстраций на отдельных листах, 7 концовок).

в размышления, лишён гротескной трактовки и излишнего иллюзионизма — художник увлечён внутренним конфликтом, а не созданием портрета конкретного человека. Поворот и наклон головы, тяжёлый опущенный взгляд, прижатые к телу руки ярко характеризуют его напряжённое состояние. Энергичная манера штрихов усиливает драматизм образа, контрастные чёрно-белые линии делают рельеф фигуры отчётливо выделенным и объёмным. Эта иллюстрация — единственное из цикла изображение героя крупным планом, и примечательно, что именно её художник выбирает для фронтисписа.

Константинов, находясь в рамках реалистической традиции, графическими средствами выражения стремится раскрыть нравственные переживания персонажей. Он остро чувствует, что у Достоевского роман «оказывается нравственно-пространственным, где герой то предмет, то пространство, мы то во внешнем, то во внутреннем мире героя, но главным образом во внутреннем» [Фаворский: 123].

Достоевский, по словам Л. М. Розенблюм, «с большой симпатией рисует <...> личность Раскольникова, человека сильного и гуманного» [Розенблюм: 20]. Константинов близок именно к такому пониманию героя². Образ задумчивого молодого человека, на лице которого лежит печать тяжёлых размышлений, становится у Константинова определяющим его прочтение романа. Если П. М. Боклевский в 1880-е годы создаёт портретные образы героев «Преступления и наказания» как галерею «русских типов», формируя «эмоционально-ироничную связь с текстом романа» [Чичварина: 270], то Константинов выстраивает ключевые сцены вокруг центральной, властно притягивающей к себе фигуры Раскольникова (чем он отличается и от главного своего «соперника», объективного и полицентричного Д. Шмаринова, заполонившего советские издания романа). Художник, используя подробности и детали сцен, фокусирует внимание зрителя именно на состоянии главного героя.

Меняющаяся обстановка вокруг фигуры Родиона Романовича зримо воплощает движение его мысли: пустота каморки усиливает болезненную напряжённость («Раскольников в своей каморке», *Илл. 2*), льющийся свет из окон в доме старухи создаёт чувство потерянности и страха («Раскольников у процентщицы», *Илл. 3*), а тень от собственной фигуры обостряет тревожность и усугубляет ощущение преследования («Раскольников после убийства», *Илл. 4*). Здесь же необходимо подчеркнуть парадоксально живописный подход Константинова к графике, в котором мастер признавался сам, считая, что в живописи и графике «одно дополняет другое» [Константинов. Каталог: 8]. Его работам свойственна тонкость в лепке формы и ощущение мягких, как будто бы цветных оттенков, создаваемых чёрно-белыми переходами. Однако нельзя не отметить, что чаще всего иллю-

² Довольно характерному для советской эпохи (монография В. Кирпотина, бесчисленные предисловия к роману К. Тюнькина, спектакль Завадского в Театре Моссовета и фильм Кулиджанова, в обоих Раскольникова играли весьма харизматичные актёры) вплоть до разрушавших стереотип Ю. Карякина и Театра на Таганке. — *Ред.*

страторы в целом подходили к текстам Достоевского именно с этой гаммой, ведь даже по утверждению исследователей творчества писателя, он «по самой природе своего творчества, по всем его установкам — графичен» [Гончарова: 56].

Большая часть иллюстраций Константинова к роману является, по сути, портретами Раскольникова в различных ситуациях, сопровождающими всю линию развития сюжета. К художественному решению фронтисписа близка заставка «На какое дело иду» — их роднит схожий ракурс опущенной и прижатой к плечам головы, согнутая левая рука и, конечно, эмоциональная наполненность образа (*Илл. 5*). Если проникновенный психологизм фронтисписа создан минимальным набором средств, то заставка является уже сюжетной зарисовкой, в которой Раскольников изображён на мосту. Динамичная линия парапета и дробный, неровный контур всего рисунка усиливают напряжённость композиции. Константинов уходит от повествовательного перечисления «субъектов» — жителей города и его заведений. Он изображает молодого человека, который «впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытьё, и пошёл, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать» (6; 6). Этому состоянию вторит задний план, на котором дробная рябь воды служит отголоском выражения чувств героя.

В связи с этим примечательна иллюстрация «Ты убивец», сюжетом для которой послужила фраза, брошенная мещанином Раскольникову (*Илл. 6*). Момент, когда герой «...поровнялся с ним и заглянул ему сбоку в лицо» (6; 209), Константинов обыгрывает, помещая в центр композиции «помертвевшие» глаза на бледном лице бывшего студента. В отличие от предыдущей работы, здесь художник последовательно разрабатывает окружающее пространство — улица Петербурга становится третьим действующим лицом. Архитектурный облик города занимает большую часть листа, причем Константинов даже более, чем обычно, локализует место — заканчивающаяся на «-ная» надпись на вывеске одного из домов намекает на распивочную, которую герой вспоминает в своей каморке после неприятной встречи.

Обострённое восприятие Петербурга в станковой графике роднит эту иллюстрацию с творческим методом М. В. Добужинского. Однако Константинов творчески переосмысливает пейзаж, который вторит эмоциональному состоянию главного героя: практически половину композиции занимает изображение дома, монотонную ровную поверхность которого разбивает ритм окон. Если Добужинский в качестве основы для сюжета произведений предпочитал виды города со спрятанными старыми домами в окружении каменных многоэтажных зданий («Домик в Петербурге», 1905; «Садик в городе», 1905), то Константинов лишь подмечает эту черту города, не заостряя на ней внимание.

Советский график с новой стороны подходит к изображению тесной улочки, не дублируя уже найденную в титульном листе композицию и бросая на фасад тень противоположного дома. Очертания дома с клубящимся от него дымом усиливает состояние напряжённости, в котором находится

главный герой, что подчеркивает контрастный силуэт здания на дальнем плане. Эта последовательная разработка перспективы мастерски выполнена Константиновым — ему удалось не рассеять в подробностях ключевую идею иллюстрации.

По-иному решена сцена «Кающийся мещанин», в которой художник уже не конкретизирует окружающую обстановку (Илл. 7). Он разделяет Раскольникова и «вчерашнего человека *из-под земли*» (6; 274) дверным проёмом в центре композиции. Константинов ловит момент, когда «помертвевший Раскольников» ещё держит дверь, а мещанин уже изображён в поклоне. То «вдруг», которое использует Достоевский, ярко выражено композиционными средствами: отказом от детализированного разработанного интерьера, включением абстрактного мрачного фона коридора и даже контурами самого рисунка. Его очертания прерваны жёсткой линией двери, которая усиливает порыв движения героя. Вместе с тем эта динамика устроена в общем абрисе — расширяющаяся правая часть, останавливаясь на двери, сужается к фигуре Раскольникова. Решённая таким образом сцена проиграла бы от живописного решения — именно графическая техника даёт возможность при минимальном наборе средств достичь наивысшей выразительности.

В данном контексте интересно проследить мотив двери, который встречается на протяжении всего цикла. В концовке к части IV дверь становится важной деталью, которую Константинов обыгрывает несколько иначе, чем автор романа. Если у Достоевского дверь «стала отворяться сама», «дверь отворялась медленно и тихо», а мещанин уже «ступил шаг в комнату» (6; 274), то у Константинова эти детали стираются. Такая трактовка позволяет уйти от загадочности сцены, которой она кажется на первый взгляд.

Практически та же самая дверь из комнаты Раскольникова изображена в рисунке «Спрятался», посвящённой сцене после убийства (Илл. 8). Здесь дверной проём уже становится проходом к убежищу для отчаявшегося героя. Абстрактное пространство на лестнице из концовки «Кающийся мещанин» (Илл. 7) уступает место незванным гостям, включение которых обусловлено раскрытием чувств Раскольникова. Момент выжидания и, следовательно, нервного напряжения, подчёркнут поднимающимися фигурами — неотвратимость обнаружения (читатель понимает, кем — опасность становится зримой) усиливает ощущение отчаянного состояния героя.

Художник использует реалистические методы в этой иллюстрации, предназначенной для расположения на всей странице книги. Повествовательный подход ярко воплощён в деталях: окрашенных полах, кадке и черепке с краской. Однако не все они являются просто описательными. Так, активность сцены воплощена в неприметной детали — дверной ручке, которая имеет явно функциональное значение. Она указывает на то, что, кроме психологического восприятия, Константинов учитывает и кинетические ощущения. Распахнутая дверь замыкает правую часть композиции, тем самым зримо воплощая образ неожиданно открытой спасительной квартиры, которая в необходимый момент оказывается пустой.

В листе «Раскольников у процентщицы» этот образ вновь активно работает, намекая на уже произошедшую сцену прохода Раскольникова в квартиру старухи (Илл. 3). Моменту их препирательства Достоевский уделяет особое внимание, так как изначально Раскольников уже чувствует, что допустил ошибку. Художник вновь воспринимает обычную часть интерьера как возможность развернуть хронометраж сцены, напоминая отворённой дверью о предыдущем мгновении. Пауза, на которой акцентирует внимание писатель, та минута, которая могла выдать героя, на рисунке Константинова как бы замирает.

Примечательно, что жесты рук героя повторены в рассматриваемой выше работе «На какое дело иду» (Илл. 5). Однако если в заставке ключевое место занимает наклон тела и опущенная голова, то в иллюстрации «Раскольников у процентщицы» — его широко раскрытые глаза (Илл. 3).

Изображение дверного проёма расширяет художественные возможности гравюры — оно позволяет создать силуэт, который становится или ключевым элементом композиции, или усложняющим её элементом. В полосной иллюстрации к началу III части романа (Илл. 9) представлена сцена не в интерьере комнаты, а уже на лестнице, особом элементе пространства у Достоевского [Мехтиев]. Подглядывающая фигура создаёт впечатление напряжённого разговора, происходящего в тёмном углу на лестнице, что усиливает застывшая поза Настасьи. Она, согласно тексту Достоевского, стоит на нижней ступени и держит керосиновую лампу в руках (6; 153). Чередование тёмных и светлых линий, создающих ощущение рассеянного света, безусловно, обогащают выразительные средства иллюстрации.

Ярким примером тому является заставка к части IV: Раскольников и Соня за столом (Илл. 10). Эту сцену, выражающую у Достоевского предельно широкий диапазон чувств героев, Константинов решает удивительно тонко: прижатая к груди рука Сони, выбившаяся прядь из причёски, раскрытые губы выдают её чрезвычайное волнение, а поза Раскольникова — его нервное состояние. Найденный мотив усилен построением тел — если вытянутая тонкая шея Сони сразу даёт возможность зрителю ощутить её возвышенные чувства, то прижатая к телу голова Раскольникова, напротив, их приземляет.

Два духовных мира уравновешены изображением стола, в центре которого стоит свеча с расходящимся ореолом, напоминающим свет от звезды. Художник создаёт образ девушки с «вечной книгой» как источника света, который определит дальнейший путь мятущегося героя.

Мотив свечи в этой сцене использовал и Илья Глазунов, который «...проявляет себя как художник, изображающий действие внутреннее, подчёркнутое замедлением движения в иллюстрации, близкой к неподвижности» [Чичварина: 275]. В его воплощении свеча играет вспомогательную роль, давая необходимое мягкое свечение лицу девушки. В отличие от пастели, гравюра обладает другим диапазоном средств выразительности, поэтому Константинов лишает сцену утрированной мягкости, акцентируя внимание именно на источнике света, что даёт возможность изобразить чувства сразу обоих героев.

Если Достоевский обладает возможностью выстраивать диалоги, то Константинов в этом плане ограничен средствами изобразительного искусства. Работая в рамках реалистической традиции, художник выбирает ключевые на его взгляд, сложные для изображения моменты. Зрительный ряд выстроен на основе минимального набора деталей, создающего при этом законченные точные образы и демонстрирующего множество вариантов иллюстративных решений.

Большую роль при этом играет жест, который в гравюре является одним из наиболее действенных средств выразительности. Так, в иллюстрации «Порфирий Петрович и Раскольников» (Илл. 11) Константинов ловит движение лукаво улыбающегося следователя и нервное напряжение главного героя, в листе «Свидригайлов и Раскольников» (Илл. 12) — щегольскую позу вдовца и пристально вглядывающегося в него собеседника. В сцене из главы IV пятой части, когда Соня понимает, что Раскольников — убийца старухи и Лизаветы, главным акцентом изображения становится жест ужаснувшейся и уже начавшей подниматься с кровати девушки (Илл. 13). В отличие от Д. А. Шмаринова, который в трактовке этой сцены использует схожий недоверчивый жест, но расширяет границы рисунка, выхваченного словно рамкой видоискателя [Герчук: 72], Константинов отказывается от глубины пространства для сосредоточенной разработки психологического состояния персонажей.

Во всех ксилографиях к роману «Преступление и наказание» Константинов развивает целостный подход к изображению литературного текста, подходя к листу с точки зрения сложившегося в довоенное время понимания законов печатной графики. Он учитывает стержневые моменты и выделяет эпизоды, наиболее важные для понимания мотивации героев, стараясь при этом не отрываться далеко от текста. Весь цикл демонстрирует лаконичность и выразительность художественного языка, доступность трактовки произведения писателя без лишней повествовательности.

Оставаясь самостоятельными произведениями, его оттиски в то же время воплощают воспетый Фаворским синтез искусств в книге [Фаворский: 93]. Можно сказать, что рисунки Ф. Д. Константинова доносят до нас эмпатию художника: «Люблю Достоевского» [Константинов. Каталог: 9].

Список литературы

1. Боровская Е. А. Ф. Достоевский и М. Добужинский. Образы Петербурга // Творческое наследие Ф. М. Достоевского в изобразительном искусстве: коллект. монография по мат-лам Межд. науч.-практич. конф. «Творческое наследие Ф. М. Достоевского в изобразительном искусстве. К 200-летию со дня рождения писателя». М.: ПАХ, 2021. С. 81–90.
2. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика. М.: Знание, 1986. 124 с.
3. Гончарова Н. Г. Достоевский в зеркалах графики и критики. М.: Совпадение, 2005. 512 с.
4. Константинов Ф. Д. Каталог выставки к 70-летию со дня рождения. М.: Изобразительное искусство, 1980. 56 с.
5. Мехтиев В. Г. Ещё о символах Санкт-Петербурга в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // *Studia Humanitatis*, 2021. № 3 (Электронный ресурс). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/esche-o-simvolah-sankt-peterburga-v-romane-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie> (19.03.2024).

6. Розенблюм Л. М. [Вступ. ст.] // Фёдор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах / Под ред. В. С. Нецаевой. М.: Просвещение, 1972. С. 5–37.
7. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / Сост. и вступ. ст. Е. С. Левитина. М.: Книга, 1986. 238 с.
8. Черенкова А. А. Иллюстрации к произведениям Ф. М. Достоевского в фондах Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» // Достоевский в смене эпох и поколений: материалы II Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, Омск, 14 ноября 2021 г. Омск: Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, 2021. С. 295–300 (Электронный ресурс). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47454422_84984109.pdf (19.03.2024).
9. Чичварина О. Г. Идеология духовных поисков как диалог между художником и писателем. Парадигма творчества П. М. Боклевского, Д. А. Шмаринова, И. С. Глазунова в иллюстрациях к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Творческое наследие Ф. М. Достоевского в изобразительном искусстве: коллект. монография по мат-лам Межд. науч.-практич. конф. «Творческое наследие Ф. М. Достоевского в изобразительном искусстве. К 200-летию со дня рождения писателя». М.: ПАХ, 2021. С. 265–276.

References

1. Borovskaya E. A. F. Dostoevsky and M. Dobuzhinsky. The Images of St. Petersburg. In: *Tvorcheskoe nasledie F. M. Dostoevskogo v izobrazitel'nom iskusstve: kolektivnaya monografiya po materualam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferenzii "Tvorcheskoe nasledie F. M. Dostoevskogo v izobrazitel'nom iskusstve. K 200-letiyu so dnya rozhdeniya pisatelya"* [The Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in Fine Art: A Collection Monograph on the Materials of the International Scientific and Practical Conference "The Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in the Visual Arts. On the 200th Anniversary of the Writer's Birth"]. Russian Academy of Arts Publ., Moscow, 2021, pp. 81–90. (In Russ.)
2. Gerchuk Yu. Ya. *Sovetskaya knizhnaya grafika* [The Soviet Book Graphics]. Moscow: Znanie Publ., 1986. 124 p. (In Russ.)
3. Goncharova N. G. *Dostoevskij v zerkalah grafiki i kritiki* [Dostoevsky in the Mirrors of Graphics and Criticism]. Moscow: Sovpadenie Publ., 2005. 512 p. (In Russ.)
4. Konstantinov F. D. *Katalog vystavki k 70-letiyu so dnya rozhdeniya* [The Catalog of the Exhibition Dedicated to the 70th Anniversary of His Birth]. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1980. 56 p. (In Russ.)
5. Mekhtiev V. G. More about the Symbols of St. Petersburg in F. M. Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment". In: *Studia Humanitatis*, 2021. № 3. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/esche-o-simvolah-sankt-peterburga-v-romane-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie> (Accessed on March 19, 2024). (In Russ.)
6. Rosenblum L. M. [Introductory article]. *Fyodor Mihajlovich Dostoevskij v portretah, illyustracijah, dokumentah* / Pod red. V. S. Nechaevoj [Fyodor Mikhailovich Dostoevsky in portraits, illustrations, documents. Edited by V. S. Nechaeva]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1972, pp. 5–37. (In Russ.)
7. Favorsky V. A. *Ob iskusstve, o knige, o gravyure* / Sost. i vstup. st. E. S. Levitina [About Art, about the Book, about the Engraving / Comp. and the Introductory Article by E. S. Levitin]. Moscow: Kniga Publ., 1986. 238 p. (In Russ.)
8. Cherenkova A. A. Illustrations to the Works of F. M. Dostoevsky in the Funds of the State Museum-Reserve "Zaraisky Kremlin". In: *Dostoevskij v smene epoch i pokolenij: materialy II Mezhdunarodnoj nauchnoj konferenzii, posvyashchyonnoj 200-letiyu so dnya rozhdeniya F. M. Dostoevskogo, Omsk, 14 noyabrya 2021 g* [Dostoevsky in the Change of Epochs and Generations: The Materials of the II International Scientific Conference, Dedicated to the 200th

Anniversary of the Birth of F. M. Dostoevsky, Omsk, November 14, 2021. Omsk: Omsk State University named after F. M. Dostoevsky, 2021, pp. 295–300. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47454422_84984109.pdf (Accessed on March 19, 2024). (In Russ.)

9. Chichvarina O. G. The Ideology of Spiritual Searches as a Dialogue between an Artist and a Writer. The Paradigm of Creativity of P. M. Boklevsky, D. A. Shmarinov, I. S. Glazunov in Illustrations for the Novel by F. M. Dostoevsky “Crime and Punishment”. In: *Tvorcheskoe nasledie F. M. Dostoevskogo v izobrazitel'nom iskusstve: kollektivnaya monografiya po materualam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferenzii “Tvorcheskoe nasledie F. M. Dostoevskogo v izobrazitel'nom iskusstve. K 200-letiyu so dnya rozhdeniya pisatelya” [The Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in Fine Art: A Collection Monograph on the Materials of the International Scientific and Practical Conference “The Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in the Visual Arts. On the 200th Anniversary of the Writer’s Birth”]*. Russian Academy of Arts Publ., Moscow, 2021, pp. 265–276. (In Russ.)



ПОЛЕМИКА



Е. А. Фёдорова

**ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО:
К ВОПРОСУ О МАСОНСТВЕ ПИСАТЕЛЯ**

Аннотация. В статье предлагается критический опыт прочтения монографии «Богословие Достоевского», которая вышла в свет в 2021 году под редакцией Т. А. Касаткиной. В результате исследования предложенных интерпретаций творчества Достоевского делается вывод об антропоцентрической концепции исследователей, которую нельзя назвать богословием. «Анагогический» способ прочтения текста Достоевского, который предлагает Т. А. Касаткина, возводится к гностической истории человечества, при этом посредниками между земным миром и миром духов объявляется личность, «развившая свое сознание», а также женщина как «сакральное существо». Роман Мечтателя и Настеньки показан как история призраков масона и утопленницы («Белые ночи»), Нелли — как «ангел», который посылается для восстановления разрушенных связей между героями («Униженные и оскорблённые»). Данные интерпретации не учитывают авторские идеи, опираются на субъективное восприятие художественных произведений. Гипотеза о масонстве Достоевского строится на допущении, при этом она документально не подтверждается. Духовную проблематику романов Достоевского можно раскрыть с помощью методологии А. А. Ухтомского, для которого истина не субъектна, а абсолютна.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, богословие, интерпретация, методология, масонство, гностицизм.

Информация об авторе: Елена Алексеевна Фёдорова, доктор филологических наук, профессор кафедры теории и практики коммуникации, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова; ORCID: 0000-0001-7756-2499.

E-mail: solen@yandex.ru

Elena A. Fyodorova

**PROBLEMS OF INTERPRETATION OF DOSTOEVSKY'S WORK:
ON THE QUESTION OF THE WRITER'S FREEMASONRY**

Abstract. The article offers a critical experience of reading the monograph *Dostoevsky's Theology*, which was published in 2021 under the editorship of Tatiana A. Kasatkina. As a result of the study of the proposed interpretations of Dostoevsky's works, a conclusion is made about the anthropocentric concept of researchers, which cannot be called theology. The "anagogical" way of reading Dostoevsky's text, which is offered by Tatiana A. Kasatkina, is raised to the Gnostic history of mankind, while the intermediaries between the earthly world and the world of spirits are declared to be a person who "has developed his consciousness", as well as a woman as a "sacred being". The novel of the Dreamer and Nastenka is shown as the story of the ghosts of a mason and a drowned woman (*The White Nights*), Nelly is shown as an "angel" who is sent to restore the destroyed ties between the heroes (*The Humiliated and Insulted*). These interpretations do not consider the author's ideas, they are based on the subjective perception of artistic works. The hypothesis about Dostoevsky's Freemasonry assumes, while it is not documented. The spiritual problems of Dostoevsky's novels can be revealed using the methodology of A. A. Ukhomsky, for whom the truth is not subjective, but absolute.

Keywords: F. M. Dostoevsky, theology, interpretation, methodology, Freemasonry, Gnosticism.

Information about the author: Elena Alekseevna Fyodorova, PhD (Philology), Professor, Department of Theory and Practice of Communication, P. G. Demidov Yaroslavl State University; ORCID: 0000-0001-7756-2499.

E-mail: soleu@yandex.ru

В год 200-летия в рамках проекта РФФИ появились 30 научных монографий, благодаря которым можно представить современное состояние науки о Достоевском. Монография «Богословие Достоевского» [Богословие Достоевского] вышла в свет под редакцией Т. А. Касаткиной, она включает в себя четыре главы, авторами которых являются А. Г. Гачева, Т. Магарил-Ильяева, Н. Н. Подосокорский и Т. А. Касаткина. В трёх главах, кроме первой, утверждается идея, что «общей подкладкой духовного мировидения» Достоевского является «масонская мысль» [Богословие Достоевского: 280].

Возникает вопрос: насколько аргументирована эта точка зрения? Не является ли это утверждение стремлением авторов «навязать» писателю свои взгляды? Что составляет методологическую основу исследования?

В главе «Духовные пути Достоевского в период 1830–1840-х гг.» Т. Г. Магарил-Ильяева обращается к романтизму как «форме развития мистического сознания» [Богословие Достоевского: 277] и, опираясь на работы Жирмунского, Вайскопфа, Флоровского, рассматривает «окультурные истоки» романтизма. Слова Достоевского о том, что время первой половины XIX в. — это эпоха «в первый раз сознательно на себя взглянувшая», автор вводит в контекст размышления об общей активизации масонской мысли в обществе того времени [Богословие Достоевского: 280]. Доказательством «гностицистического мировидения» Достоевского становится письмо 16-летнего будущего писателя к брату, которое цитируется четыре раза в главе [Богословие Достоевского: 281, 283, 290, 292], и работы Т. А. Касаткиной. Кроме того, знаменитое письмо Достоевского о «тайне человека» также вводится в контекст методологических работ Т. А. Касаткиной [Богословие Достоевского: 280]. Какие же идеи присваивает автор главы Достоевскому?

Слова Достоевского из письма к брату — «человек есть тайна» (28; 63) — Т. Г. Магарил-Ильяева произвольно вводит в контекст работ немецкого католического мистика Карла Эккартсгаузена и даже не скрывает, что объяснение слов писателя — это субъективная интерпретация:

«Мы можем соотнести понимание тайны, подразумеваемой Достоевским, с той интерпретацией, которую предложил немецкий философ, и предположить, что “разгадать тайну” значит за немощью разглядеть живое сердце, таящее свет, и найти пути для его проявления» [Богословие Достоевского: 280].

Как же нам предлагают разгадать тайну человека? Ссылка на слова Т. А. Касаткиной не оставляет сомнения, что это путь избранных: «по-настоящему глубоко понять тайну жизни можно, только изучая себя

самого» [Богословие Достоевского: 290]. Обращаясь к произведению Бальзака «Евгения Гранде», автор главы утверждает, что посредниками между земным и духовным миром являются поэты, дети, женщины, и особенно останавливается на «сакральной роли женщины» [Богословие Достоевского: 292–293].

«Постоянная рефлексия» Достоевского над «внутренним ощущением неисправности мира, ставшего жёсткой оболочкой для духа» [Богословие Достоевского: 281], рассматривается автором главы на материале фельетонов «Петербургской летописи» (1847) и романа «Униженные и оскорблённые» (1861). Мотив «поиска путей» преодоления «косной оболочки мира» связывается Т. Г. Магарил-Ильяевой с концептом «солнце» [Богословие Достоевского: 296]. Автор главы обращает внимание на появление луча солнца в текстах фельетона и романа. Затем делает неожиданный вывод, что луч солнца, «работая с душой человека», меняет его взгляды и мысли на новые [Богословие Достоевского: 297]. Так, герой-литератор Иван после того, как его посетил луч солнца, испытывает «обновление» и «начинает предчувствовать» «что-то необыкновенное». Ему встречается старик с собакой, и, благодаря этой «мистической встрече», он находит квартиру, где его посещает «ангел» Нелли [Богословие Достоевского: 297–298]. Почему Нелли называется «ангелом»? Т. Г. Магарил-Ильяева считает, что эта героиня восстанавливает мир в семье Ихменевых: «Иван отзывается на призыв другого мира и в лице Нелли получает средство восстановления разорванных связей» [Богословие Достоевского: 298]. Это утверждение никак не связано с сюжетом воскресения старика Ихменева, который находит в себе силы простить дочь и примириться с ней накануне Светлого Христова Воскресения.

В этой главе о богословии в строгом смысле этого слова не говорится, поскольку Бог не упоминается, а утверждают «посредники» между земным миром и миром духов. В главе «Масонский след в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского в связи с богословием писателя» Н. Н. Подосокорский выстраивает свою аргументацию следующим образом: он ищет масонов среди окружения Достоевского, при этом связь писателя с масонами, разделение масонских идей Достоевским никак не показывается. Вся гипотеза строится на допущении, сделанном Т. А. Касаткиной: Достоевский мог быть инициирован в одну из подпольных масонских организаций в период его сближения с обществом петрашевцев [Богословие Достоевского: 306]. Автора главы не смущает то, что эта гипотеза документально не подтверждена.

Героя романа «Белые ночи» Н. Н. Подосокорский считает масоном, поскольку он одушевляет здания, созданные из камня [Богословие Достоевского: 318], встречающиеся ему «люди и вещи являются своего рода отражениями его души» [Богословие Достоевского: 324], соединение его руки с рукой Настеньки — это символ масонского единения [Богословие Достоевского: 325]. Но самое оригинальное в интерпретации Подосокорского — утверждение, что Мечтатель и Настенька — это призраки:

«В тексте присутствует немало намеков на то, что главный герой — Мечтатель — прежде был масоном и, вероятно, погиб при пожаре, а встретившаяся ему Настенька — душа самоубийцы-утопленницы, вынужденная блуждать между своим прежним жилищем и местом гибели» [Богословие Достоевского: 317].

О каких «намёках» идет речь? Это сравнения, которые использует автор и герои: «брожу как тень» [Богословие Достоевского: 318], «упала на стул как мертвая» [Богословие Достоевского: 331], а также отсылки Мечтателя к восстанию мертвецов в опере Джакомо Мейербера [Богословие Достоевского: 319].

С какой целью была предложена столь оригинальная интерпретация? В чём её смысл? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к главе монографии, написанной Т. А. Касаткиной, — «Богословие Достоевского: описание изнутри». Утверждая процесс чтения как герменевтику, Т. А. Касаткина считает, что высшим уровнем прочтения текста является «анагогический», «самый глубокий и устойчивый и потому наиболее близко подходящий к запредельному», «эсхатологическому» уровню прочтения текста [Богословие Достоевского: 249]. Поэтому предположение о смерти героев до начала истории, сделанное Н. Н. Подосокорским, по мнению редактора монографии, утверждает «любовь, что превосходит свойственную наличной человеческой природе» [Богословие Достоевского: 252]. Кроме того, история Настеньки и Мечтателя, призраков и привидений, обращает нас к «базовой анагогической истории»:

«Это гностическая история о сотворении мира как о падении духа в материю или о возникновении материи из низших движений материей, о блуждании его в материи в кругах перевоплощений» [Богословие Достоевского: 255].

В главе А. Г. Гачевой в большей степени рассматривается русская и богословская мысль XIX–XX вв., при этом основными понятиями являются «богочеловечество» и «синергия» (соучастие человека в спасении души) [Богословие Достоевского: 137–140]. Когда же А. Г. Гачева переходит к творчеству Достоевского, то также опирается на работы Т. А. Касаткиной: она видит вклад исследователя в распространении принципа иконы на всё пространство романного текста, выделяет идею двусоставности образа у Достоевского: художественный образ восходит к Первообразу [Богословие Достоевского: 37–42]. Нам представляется, что некорректно сопоставлять икону с художественным произведением и писать о «богословии художественной литературы» [Богословие Достоевского: 37].

Какая методология лежит в основе интерпретаций, предложенных в монографии «Богословие Достоевского»? В качестве аргументов своего «анагогического» прочтения Достоевского Т. А. Касаткина рассматривает два произведения Достоевского — «Маша лежит на столе» и «Социализм и христианство» [Богословие Достоевского: 160]. Исследователь утверждает, что «Достоевский в своих текстах практически совсем не говорит о Боге», а «говорит только о человеке» [Богословие Достоевского: 158–159]. Возникает вопрос: можно ли в таком случае писать о «бого-

словии» Достоевского? Тем более что далее Т. А. Касаткина рассматривает «закон личности» как оболочку, сковавшую личность [Богословие Достоевского: 163], и утверждает, что «личность — это то, что только и может впервые создать это новое всё» [Богословие Достоевского: 168]. Таким образом, мы имеем дело с антропоцентрической концепцией интерпретатора, в центре которой оказывается человек, «проводник» и «посредник» между земным миром и миром духов, развивший в себе «личное сознание» [Богословие Достоевского: 200].

Задача личности, считает Т. А. Касаткина, — стать «вторым Христом» [Богословие Достоевского: 239]. Между тем «состоявшейся» и «совершенной» личностью интерпретатор называет женщину [Богословие Достоевского: 169]:

«...Женщина для Достоевского здесь видится той самой всегда отдающей, безраздельно и беззаветно, “личностью на высшей ступени развития”, о которой он будет говорить ещё в “Зимних заметках о летних впечатлениях”, а как алчная, посягающая, несовершенная личность видится именно мужчина» [Богословие Достоевского: 166].

Подтверждение этой мысли Т. А. Касаткина находит не только в отрывке «Маша лежит на столе», но и в романе «Преступление и наказание» — в образе Сони Мармеладовой:

«Женщина у Достоевского — божество и место присутствия божества», «часто раненое (авторская орфография. — Е. Ф.) и поруганное божество», «но таков и есть Бог в христианстве» [Богословие Достоевского: 167].

Т. А. Касаткина пишет о Христе и Церкви, но понимает всё по-своему: Иисус Христос для неё «явление человека не в виде зерна, а в виде колоса» [Богословие Достоевского: 211] (только зерно — это человек), Церковь — «телесное соединение всех людей в созидаании тела Христова» [Богословие Достоевского: 218]. По мнению редактора монографии,

«во власти людей создать пространство, где судьба умершего оказывается не окончательной и завершённой, где она может развернуться и кардинально измениться» [Богословие Достоевского: 245]; «с точки зрения гностика, главное, что должен сделать человек в течение своей жизни — это попытаться разбить жёсткую материальную оболочку, сковывающую его, как и всё в этом мире, преодолеть материю, окружающую человека своими порождениями» [Богословие Достоевского: 256].

Эту задачу интерпретатор ставит перед собой и своими последователями, но почему тогда монография называется «Богословие Достоевского»? Впрочем, Т. А. Касаткиной приходится признаться, что «с точки зрения христианина выход будет иным» [Богословие Достоевского: 256]. Безусловно, утверждается **магическая, а не мистическая** возможность «самого полного общения с целым вселенной» [Богословие Достоевского: 261].

Понять философскую составляющую концепции личности Т. А. Касаткиной можно, обратившись к трудам А. А. Ухтомского (1875–1942), учёного и религиозного мыслителя, выпускника Московской духовной академии, создателя теории доминанты и закона «заслуженного собеседника».

Современной науке о Достоевском имя А. А. Ухтомского известно во многом благодаря работам: [Хализев], [Ашимбаева], [Фёдорова], [Даренский]. Если В. Е. Хализев рассматривал фундаментальную проблему определения места Ухтомского в отечественной и европейской философии, то В. Ю. Даренский определял его методологию как герменевтику [Даренский: 52–53]. Н. Т. Ашимбаева и автор данной статьи, обратившись к теории доминанты и закону «заслуженного собеседника», исследовали духовно-нравственную проблематику романа Достоевского «Преступление и наказание», в частности изучали динамику личности Раскольникова — его переход от Двойника к Собеседнику.

Теорию доминанты, закон «заслуженного собеседника» Ухтомский сформулировал на материале повести Достоевского «Двойник» и романа «Братья Карамазовы» [Хализев: 25], поэтому его работы являются методологически важными для исследования произведений великого русского писателя. Доминанта — это ценностная установка личности, которая находится между его мыслями и действительностью, «направление внутренней активности» человека [Золотарёв: 686]. В повести Достоевского «Двойник» Ухтомский обнаружил «порочный круг», в который попадает человек, видящий в других своих «двойников». До тех пор, пока человек не сможет отказаться от своего Двойника и не сформирует в себе доминанту на «лицо Другого», картина мира будет искажаться и человек не сможет стать Собеседником для другого, каким Ухтомский считал Зосиму, героя романа «Братья Карамазовы» [Ухтомский, 1996: 249, 251–252]. Очевидно, что «анагогический» способ прочтения художественного текста направлен на культивирование «двойника» в себе.

А. А. Золотарёв в своём очерке об Ухтомском цитирует его письма, отрывки из работ, которые до нашего времени не сохранились (были уничтожены в начале 1930-х гг. из-за опасения ареста). Вот размышления учёного об истине:

«Для нас, христиан, Истина не есть абстрактное положение, спекулятивный продукт человеческого ума, цепь умозаключений и т. п. Истина для нас есть живая, независимая от нас реальность, обладающая свободой и личными свойствами, Христос» [Золотарёв: 682].

Думается, методология А. А. Ухтомского позволяет выйти к духовно-нравственной проблематике произведений Достоевского, к чему так стремится Т. А. Касаткина [Богословие Достоевского: 257]. Но для этого надо признать, что Истина не «субъектна», как утверждает Т. А. Касаткина [Богословие Достоевского: 173], а абсолютна, как это напоминает нам Ухтомский.

Список литературы

1. Ашимбаева Н. Т. Двойник или «заслуженный собеседник»: некоторые вопросы поэтики Достоевского в свете взглядов на человека и его отношения с окружающим миром / Достоевский и мировая культура. Вып. 13. / Сост., отв. ред. Б. Н. Тихомиров, Н. Т. Ашимбаева. СПб.: Серебряный век, 1999. С. 123–131.
2. Богословие Достоевского / Отв. ред. Т. А. Касаткина. М.: ИМЛИ РАН, 2021. 416 с.

3. Даренский В. Ю. Философия А. А. Ухтомского как экзистенциальная герменевтика // Философский полилог: Журнал Международного центра изучения русской философии. 2019. № 2(6). С. 46–58.
4. Золотарёв А. А. Campo santo моей памяти: Мемуары. Художественная проза. Стихотворения. Публицистика. Философские произведения. Высказывания современников / Ред.-сост. В. Е. Хализев; отв. ред. Д. С. Московская. СПб.: Росток, 2016. 960 с.
5. Ухтомский А. А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб.: Петербургский писатель, 1996. 528 с.
6. Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997. 576 с.
7. Ухтомский А. А. Доминанта души: Из гуманитарного наследия. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000. 608 с.
8. Фёдорова Е. А. Доминанта души и хронотоп Раскольникова: от «Двойника» к «Собеседнику» (по А. Ухтомскому) // Социальные и гуманитарные знания. 2016. Т. 2. № 4 (8). С. 327–332.
9. Хализев В. Е. Интуиция совести (теория доминанты А. А. Ухтомского в контексте философии и культурологии XX в.) // Проблемы исторической поэтики. 2001. № 8. С. 21–42 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2512> (12.03.2024).

References

1. Ashimbaeva N. T. *The Double or the “Honored Interlocutor”: Some Questions of Dostoevsky’s Poetics in the Light of Views on Man and His Relationship with the Outside World*. In: *Dostoevskij i mirovaya kul’tura. Vypusk 13 / Sost., отв. red. B. N. Tikhomirov, N. T. Ashimbaeva and the World Culture. Compilers, responsible editors B. N. Tikhomirov, N. T. Ashimbaeva, no. 13*. St. Petersburg: Serebryanyj vek Publ., 1999, pp. 123–131. (In Russ.)
2. *Bogoslovie Dostoevskogo / Отв. ред. Т. А. Касаткина [T. A. Kasatkina (ed.) Dostoevsky’s Theology]*. Moscow: Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2021. 416 p. (In Russ.)
3. Darensky V. Yu. Philosophy of A. A. Ukhtomsky as Existential Hermeneutics. In: *Filosofskij polilog: Zhurnal Mezhdunarodnogo centra izucheniya russkoj filosofii [The Philosophical Polylogue: The Journal of the International Center for the Study of Russian Philosophy]*. 2019, no. 2(6), pp. 46–58. (In Russ.)
4. Zolotar’ov A. A. *Campo santo moej pamyati: Memuary. Hudozhestvennaya proza. Stihotvoreniya. Publicistika. Filosofskie proizvedeniya. Vyskazyvaniya sovremennikov / Red.-sost. V. E. Halizev; отв. red. D. S. Moskovskaya [Campo Santo of My Memory: The Memoirs, Fiction, Poems, Journalism, Philosophical Works and Statements of Contemporaries. Compiled by V. E. Khalizev, Executive Editor D. S. Moskovskaya]*. St. Petersburg: Rostok Publ., 2016. 960 p. (In Russ.)
5. Ukhtomsky A. A. *Intuiciya sovesti: Pis’ma. Zapisnye knizhki. Zametki na polyah [The Intuition of Conscience: The Letters, Notebooks, Notes in the Margins]*. St. Petersburg: Peterburgskij pisatel’ Publ., 1996. 528 p. (In Russ.)
6. Ukhtomsky A. A. *Zasluzhennyj sobesednik: Etika. Religiya. Nauka [The Honoured Interlocutor: The Ethics, Religion, Science]*. Rybinsk: Rybinskoe podvorje Publ., 1997. 576 p. (In Russ.)
7. Ukhtomsky A. A. *Dominanta dushi: Iz gumanitarnogo naslediya [The Dominant of the Soul: From the Humanitarian Heritage]*. Rybinsk: Rybinskoe podvorje Publ., 2000. 608 p. (In Russ.)

8. Fyodorova E. A. "The Dominant of the Soul" and Raskolnikov's Chronotope: From "The Double" to "The Interlocutor" (According to A. A. Ukhtomsky). In: *Social'nye i gumanitarnye znaniya [The Social and Humanitarian Knowledge]*. 2016, Volume 2, no. 4(8), pp. 327–332. (In Russ.)

9. Khalizev V. E. Intuition and Conscience (A. A. Ukhtomsky's Dominant Theory in the Context of Philosophy and Cultural Studies of the 20th Century). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. 2001, no. 6. pp. 21–42. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2512> (Accessed on March 12, 2024). (In Russ.)

Г. Н. Крапивин

КРИПТОПОЭТИКА БЕЗ ГРАНИЦ (О КНИГЕ С. А. КИБАЛЬНИКА)

Аннотация. Рассматривается та часть монографии С. А. Кибальника «Тайнопись русских писателей: от Пушкина до Набокова» (2022), которая посвящена творчеству Ф. М. Достоевского и А. С. Пушкина. Подвергается критике термин «криптопоэтика». Предложенные автором монографии гипотетические прочтения Достоевского («Братья Карамазовы», «Записки из подполья», «Двойник», «Идиот») и Пушкина («Анджело»), за некоторым исключением, лишены убедительной доказательной базы. Предлагается открыто признать за исследователем собственное авторство и не приписывать интерпретируемому писателю плоды параллельного творчества интерпретатора, то есть разграничить науку и беллетристику.

Ключевые слова: криптограмма, криптопоэтика, прототип, Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, границы интерпретации.

Информация об авторе: Георгий Николаевич Крапивин, независимый исследователь, г. Сочи.

E-mail: korovyev@yandex.ru

Georgy N. Krapivin

CRYPTOPOETICS WITHOUT BORDERS (ABOUT THE BOOK BY S. A. KIBALNIK)

Abstract. The article considers that part of the book by S. A. Kibalnik *The Secret Writing of Russian writers: from Pushkin to Nabokov: A Monograph* (2022), which is devoted to the works of F. M. Dostoevsky and A. S. Pushkin. The term "crypto-poetics" is criticized. The hypothetical readings of Dostoevsky (*The Brothers Karamazov*, *Notes from the Underground*, *The Double*, *The Idiot*) and Pushkin (*Angelo*) proposed by the author of the book, with some exceptions, lack a convincing evidence base. It is proposed to openly acknowledge one's own authorship and not attribute to the interpreted writer the results of the interpreter's parallel creativity, to distinguish between science and fiction.

Keywords: cryptogram, crypto-poetics, prototype, F. M. Dostoevsky, A. S. Pushkin, boundaries of interpretation.

Information about the author: Georgy Nikolaevich Krapivin, a freelance researcher, Sochi. E-mail: korovyev@yandex.ru

«Не надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности».
Из письма Пушкина к Вяземскому

В последнее время слово «крипто» применительно к чему-либо стало невероятно популярным. От криптовалюты до криптоодежды. Древнегреческие *κρυπτός* (скрытый) + *γράφω* (пишу) дают «криптографию» — скрытое письмо, в дальнейшем — искусство шифрования.

Считается, что слово «криптограмма» в литературе было впервые использовано Эдгаром По в рассказе «Золотой жук» 1843 г. Его герой Вильям Легран

именно так называет случайно найденный зашифрованный документ. В литературоведении впервые, насколько нам известно, к термину «криптограмма» обратился Б. В. Томашевский, исследуя пушкинский шифр десятой главы «Евгения Онегина», открытый П. О. Морозовым [Томашевский].

Производный от криптограммы термин «криптопародия» (когда «объект пародии обнаруживается лишь посредством специального анализа») был применён Р. Г. Назировым в статье «Пародии Чехова и французская литература» [Назирова]. В. Н. Топоров использовал понятие «криптограмматический уровень структуры текста» в статье «Ещё раз об “умышленности” Достоевского»:

«На этом уровне автор решает для себя (и только для себя) некоторые проблемы, признаваемые им существенными в связи с тем личным жизненным субстратом, которому суждено пресуществовать в художественный текст и в его автора. Речь идёт о введении в текст неких *скрытых* указаний на автобиографические (или некоторые другие, но непременно автобиографизируемые) реалии, почему-либо важные для автора (например, даже в психотерапевтическом отношении) и совершенно не рассчитанные на восприятие их читателями (при этом следует иметь в виду, что каждый элемент криптограмматического уровня входит и в состав какого-либо другого уровня структуры текста, разумеется, хотя бы частично, с иными функциями). Строго говоря, от читателя ничего не скрывается *сознательно*. Подобная авторская интенция обычно отсутствует: просто предполагается, что читатель истолкует данные элементы, используемые и как криптограммы, в той наиболее естественной форме, которая предопределяется замыслом текста как художественного произведения, и, не имея ключа для дешифровки, даже и не приблизится к сфере возможных биографических реалий (в этом смысле шифруемое автором не является и криптограммой ни для него самого, знающего решение, ни для читателя, не предполагающего наличия в тексте криптограммы)» [Топоров: 453. Курсив автора. — Г. К.].

Сама мысль очень важная, но высказана, на наш взгляд, неточно. Жизненный опыт и элементы биографии писателя являются важнейшей составляющей, а иногда скелетом художественного произведения, и такой уровень структуры текста правильнее назвать «автобиографическим подтекстом» [Тихомиров: 416–417]. Что же касается собственно криптографии, она есть не что иное, как шифрование. Основное правило шифрования гласит: «исходный текст должен однозначно восстанавливаться по шифротексту, то есть функция шифрования должна быть обратимой» [Романьков: 8]. В литературе, с небольшими поправками, применимы те же принципы, что и в традиционной криптологии. Так, писатели прибегают к шифрованию какой-либо информации или замысла.

Здесь могут быть два варианта.

Первый, когда автор шифрует непубликуемый текст (черновики, дневниковые записи) исключительно для себя, с целью предохранить его от постороннего прочтения. Наиболее яркий пример — зашифрованные стихи десятой главы «Евгения Онегина». Томашевский даёт чёткое определение: «“шифрованный” листок, так называемая криптограмма» [Томашевский: 389]. Она предназначена не для читателя.

Второй вариант шифрования можно назвать литературным, так как в нём криптограмма заключена в публикуемом тексте. Автор создаёт криптограмму (её, на наш взгляд, более уместно называть криптотекстом), которая может быть предназначена как для всей читательской аудитории, так и для определённого её круга, а иногда для одного конкретного читателя. Всё зависит от разноступенности ключей, которые писатель обязательно даёт для расшифровки в том же произведении, а иногда как дополнение в последующих публикациях. Литературный криптотекст растворён в основном тексте произведения, и само его наличие нужно обнаружить и доказать. Не следует путать криптотекст с биографичностью, автобиографичностью, аллюзиями, реминисценциями, интертекстом и т. д. Всё вышеперечисленное может служить как ключами к криптотексту, так и его составляющей.

С. А. Кибальник в книге «Тайнопись русских писателей: от Пушкина до Набокова» (2022) предлагает ещё один термин: «криптопоэтика».

«... понятие “криптопоэтика” необходимо и ничем не заменимо именно как понятие синтетического типа — не совпадающее со смежными по отношению к нему явлениями политического и автобиографического (или “прототипического”) подтекста, “эзопова языка”, скрытого автобиографизма, аллюзионности, “энигматичности”, анаграмматичности, произведений “с ключом” и т. п., но включающее в себя их все. Существование некой общей “криптопоэтики” позволяет осмыслить все эти родственные явления в рамках общей теории, а также описать действие и взаимодействие основных категорий поэтики литературного произведения, на которых строится криптопоэтика: аллюзий, анаграмм, криптонимов, криптопосов, криптограмм, интертекстуальных маркеров и других признаков криптографичности» [Кибальник: 9].

Определение рождает ряд вопросов.

По сути, С.А. Кибальник делает ту же ошибку, что и Топоров, не вникая в конкретное значение заимствуемого термина «крипто». Мы имеем дело с попыткой подменить чёткий термин «криптография», который означает наличие в исследуемом тексте зашифрованного авторского смысла (см.: [Романьков]), весьма неопределённым в своей «синтетичности» термином «криптопоэтика». Последняя, по Кибальнику, не нуждается в доказательствах своего наличия: есть в тексте аллюзия — значит есть криптопоэтика; есть прототипы — значит есть криптопоэтика и т. д. Подобная практика размывает научность подхода к действительно существующей проблеме обнаружения и дешифровки авторских криптотекстов (то есть зашифрованной автором информации). Слишком общий термин даёт благодатную почву для фантазий и вольных трактовок любого текста.

Так, в книге С. А. Кибальника криптопоэтика часто сводится к лихорадочному поиску гипотетических прототипов. Невольно создаётся впечатление, что выдающиеся авторы «от Пушкина до Набокова» писали по единому прототипическому шаблону и не могли создавать своих персонажей, руководствуясь лишь творческим воображением. К тому же выявление прототипа в художественном произведении — дело ответственное и деликатное, поскольку требуется установить подлинную глубину влияния прототипа

(или прообраза) на персонаж. Если при этом имеет место криптограмма, то должны присутствовать и ключи для обнаружения авторского замысла. Чаще всего прототипы используются фрагментарно или в качестве первотолчка на начальном этапе создания персонажа, к тому же последний может иметь несколько прототипов.

В книге С. А. Кибальника следует отметить криптопародию, выявление которой, на наш взгляд, обеспечено достаточно чёткой доказательной базой. В главе «О закамouflированном прототипе Ракитина: К вопросу о криптопоэтике “Братьев Карамазовых”» в качестве прототипа Ракитина предлагается Н. Н. Страхов, что ещё ранее было сделано В. А. Тунимановым в статье «Отречение от Достоевского. Попытки исповеди» [Туниманов: 268–288]. Сергей Акимович указывает читателю на три ключа, которые Достоевский вводит в роман.

Первый. Ракитиным трижды обыгран аллюзия на эпиграф статьи Страхова «Наблюдения»: «Можешь ли ты рассказать мне сон, который я видел и сказать, что он значит?»¹: «– Скажи ты мне, Алексей, одно: что сей сон значит? <...> “Что, дескать, сей сон означает?”» (14; 72–73) и «– Это ещё что за сон? Ах вы... дворяне!» (14; 76)].

Второй. Достоевский делает Ракитина, как и Страхова, «семинаристом».

Третий. Ракитин не только четыре раза упоминает Клода Бернара, которого переводил Страхов, но даже сравнивается с ним [Кибальник: 208–210, 223–226].

Совокупность этих трёх ключей, указывающих на Страхова (и наверняка увиденных им), даёт некоторую доказательную базу наличия криптопародии.

Нечто иное происходит при исследовании «Записок из подполья» [Кибальник: 122–134]. Интересные параллели героя повести Зверкова с И. С. Тургеневым, которые имеют текстуальное подтверждение, перестают восприниматься на фоне попытки объединить Достоевского с Подпольным. Здесь С. А. Кибальник предлагает в качестве подтверждения своей гипотезы автопрототипизма не авторские подсказки, а свидетельства Панаевой, имевшей о Достоевском, как минимум, предвзятое мнение.

Также и в случае с «Двойником» автор книги [Кибальник: 96–109] убеждён, что прототипом Голядкина является Достоевский, но не приводит ни одного текстуального подтверждения. С. А. Кибальник упомянул других исследователей «Двойника» (Н. Е. Осипов, И. М. Кадыров, Л. Брегер), которые полагают, что в этой повести Достоевский использовал собственный психологический опыт (что, впрочем, и так достаточно очевидно). Однако по логике С. А. Кибальника, предлагающего параллель Достоевского с Голядкиным, первый предстаёт психически расстроенным пациентом, а не автором-психологом.

Поиск прототипов не всегда оправдан, так как порой не дополняет, а разрушает созданный писателем художественный образ. Возьмём, к примеру,

¹ Н. Н. Страхов о Достоевском / Публ. и коммент. Л. Р. Ланского // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. Т. 86: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. С. 560.

Веру Лебедеву из романа «Идиот»: «...молодая девушка лет двадцати, вся в трауре и с грудным ребёнком на руках» (8; 159). Авторская аллюзия на Мадонну не вызывает сомнений. Но интерпретатору этого мало:

«Для того, чтобы образ Веры Лебедевой вызывал ассоциации с Богородицей, в романе есть ещё кое-какие немаловажные основания. Начать можно с того, что само по себе словосочетание “Вера Лебедева” представляет собой неполную консонантную анаграмму слова “Богородица” с заменой сквозной гласной “е” на сквозное “о” и с одинаковым ударением на третьем слоге. И это тем более значимо, что вторая же часть её фамилии представляет собой слово “дева”.

Можно видеть в этой фамилии и также и полную фонетическую (разве что с неударенным мягким “д”) анаграмму выражения “Лебедева”, что напоминает уже героиню пушкинской “Сказки о царе Салтане...”. У Пушкина “лебедь” оборачивается “девой”, которую Князь (!) Гвидон спасает от гибели и которая впоследствии становится его женой. “Дева” эта оказывается сказочным “дивом”...» [Кибальник: 154].

Не кажется ли, что это просто произведение исследовательской фантазии? Зачем Достоевскому такие сложности, когда он одним штрихом и так добивается нужной читательской ассоциации? И какая связь между Верой Лебедевой и Царевной Лебедь? Только анаграмматическая! Но даже она весьма сомнительна, так как чиновник Лебедев объявляет свою фамилию на первых страницах (8; 11), и у нас нет никаких оснований утверждать, что Достоевский с самого начала планировал наличие у него дочери, которая появляется только во второй части (8; 292). А какая связь между Мышкиным и Гвидоном? Только то, что оба князья? Ну хоть малейший авторский намёк в сторону подобных ассоциаций! А главное, какой может быть в этом смысл? Подобные гипотезы только разрушают целостный образ.

«По мысли автора, Вера с князем Мышкиным предназначены друг для друга, как пушкинская царевна Лебедь с князем Гвидоном. Однако сюжет романа Достоевского развивается диссонансно по отношению к этому интертекстуальному плану» [Кибальник: 155].

Оказывается, у Достоевского был такой стратегический «интертекстуальный план»? Однако в подготовительных материалах реальный план в отношении Веры несколько иной: на ней мог жениться Ганя — «из странности, получив отказ от Аглаи, для фанфаронства» (9; 270).

И ещё одно любопытное заявление относительно Веры Лебедевой:

«Вместе с Лизаветой Прокофьевной и Колей Иволгиным она, безусловно, входит в ряд других “положительно прекрасных” образов романа, которые в известной степени даже более безусловно “положительно прекрасны”, чем сам Мышкин» [Кибальник: 152].

Для таких заявлений нужны очень веские и конкретные доказательства. Оказывается, кроме Мышкина, в романе есть ещё целый «ряд положительно прекрасных» героев! Но выражение «положительно прекрасный человек» Достоевский не использует в романе даже в отношении Мышкина, а только в письме к Соне Ивановой, да и то как возможный план. Невольно вспоминается фраза, сказанная Б. В. Томашевским в адрес

Н. Л. Бродского, пытавшегося расшифровывать X главу «Онегина» методом «социального литературоведения»: «Насильственное истолкование вреднее откровенного непонимания» [Томашевский: 416].

Бездоказательной предположительностью, на наш взгляд, страдает большинство заявленных С. А. Кибальником гипотез. Одну хочется выделить особо. Это разбор пушкинской поэмы «Анджело» [Кибальник: 12–42]. Исследователь находит параллели между Дуком и Александром I, между Анджело и Николаем I, между Изабеллой и Натальей Гончаровой. В качестве основания для сопоставлений берётся легенда, возникшая уже **после публикации** пушкинской поэмы: царь Александр, по этой легенде, вовсе не умер в Таганроге, а подобно Дуку удалился от государственных дел и проживал в Сибири под именем старца Фёдора Кузьмича. На этом все поводы для сравнений, как личностных, так и событийных, заканчиваются. Александр не удалился от дел с дальнейшим намерением вернуться, а просто умер. Николай принял трон в качестве второго наследника не на время, а до конца своей жизни. От этой смены государей Пушкин несказанно выиграл, ведь Николай освободил его из ссылки, в которую отправил Александр, так что поэт вовсе не был заинтересован в возвращении последнего. Сходство Изабеллы с Гончаровой вообще отсутствует (разве что молодость и красота). С. А. Кибальник в качестве доказательств своей гипотезы делает предположения, основанные на личных ассоциациях: «Кстати, ключи к “Анджело”, возможно, разбросаны в пушкинском “Дневнике” намеренно — в расчёте на будущего читателя». Но мог ли Пушкин рассчитывать, что его дневниковые записи опубликуют? К тому же и в «Дневнике», как и в самой поэме, конкретных ключей С. А. Кибальник не находит и прибегает к путаным пространственным рассуждениям о любвиобилии Николая.

Зададимся главным вопросом: нужны ли были Пушкину прототипы для героев, давно придуманных Шекспиром? Переделка их была минимальной и никак не связана с российской историей. Пушкин даже имена героев не поменял. Однако исследовательская интуиция всё же не подвела С. А. Кибальника: криптотекст в пушкинской поэме действительно есть. Он не имеет отношения к предлагаемым прототипичным параллелям, а представляет криптосистему открытого типа, основанную на *переписывании* шекспировского произведения «Мера за меру» (что само по себе и есть ключ для такой системы). Пушкин говорил о своей поэме в 1834 году: «Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал»². Что побудило поэта высказаться таким образом? Ответ невероятно прост: Пушкин взялся за переделку шекспировской пьесы с целью улучшить её. И у него получилось! Он убрал некоторые второстепенные сцены и несколько изменил акценты. И, конечно, восхитительный пушкинский язык! У российского поэта появились все основания считать, что в данном

² А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: [В 2 т.] / Вступ. ст. В. Э. Вацура; сост. и примеч. В. Э. Вацура, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и др. 3-е изд. СПб.: Академический проект, 1998. Т. 1. С. 233.

случае он написал то же самое лучше самого Шекспира. Кто из авторов может похвастаться подобным?

Варианты и параметры авторской криптографии в литературе мало изучены. При отсутствии строгой доказательной базы научность может легко подменяться исследовательской фантазией. «Криптопоэтика» без границ, как мы это наблюдали, даёт возможность выдвигать неаргументированные гипотезы, выдавая их за авторскую волю.

По сути, мы наблюдаем жанр (не такой уж новый) квазинаучной литературы, которая занимается генерированием параллельных смыслов относительно классических произведений. Сам по себе жанр может быть очень интересным, если он разрабатывается талантливыми литераторами, соревнующимися в оригинальности. Проблема только в том, что прибавочные смыслы приписываются автору, а тот в соревновании не участвует. Не пора ли сверхинтерпретаторам открыто признать собственное **авторство** и не нагружать классические произведения своими «открытиями» (иногда, признаемся, довольно популярными в читательской аудитории)? Не пора ли разграничить науку и околонуучную беллетристику для пользы обеих?

Список литературы

1. Кибальник С. А. Тайнопись русских писателей: от Пушкина до Набокова: Монография. СПб.: ИД «Петрополис», 2022. 434 с.
2. Назиров Р. Г. Пародии Чехова и французская литература // Назиров Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сб. ст. Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 150–158.
3. Романьков В. А. Введение в криптографию. Курс лекций. М.: Форум, 2012. 239 с.
4. Тихомиров Б. Н. Еще один «оптинский комментарий» к роману «Братья Карамазовы» // Тихомиров Б. Н. От «Белых ночей» до «Братьев Карамазовых»: Статьи о Достоевском. СПб.: Серебряный век, 2022. С. 411–417.
5. Томашевский Б. В. Десятая глава «Евгения Онегина»: История разгадки // Литературное наследство. Т. 16/18. М., 1934. С. 379–420 [Электронный ресурс]. URL: <https://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l16/lit-379-.htm?cmd=p> (03.03.2024).
6. Топоров В. Н. Еще раз об «умышленности» Достоевского // Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. С. 453–458.
7. Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений: Избранные статьи. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. 588 с.

References

1. Kibalnik S. A. *Tajnopis' russkih pisatelej: ot Pushkina do Nabokova: Monografiya* [The Secret Writing of the Russian Writers: from Pushkin to Nabokov: The Monograph]. St. Petersburg: Petropolis Publ., 2022. 434 p. (In Russ.)
2. Nazirov R. G. Chekhov's parodies and French literature. In: Nazirov R. G. *Russkaya klassicheskaya literatura: sravnitel'no-istoricheskij podhod. Issledovaniya raznyh let: Sbornik statej* [The Russian Classical Literature: A Comparative Historical Approach. The Studies of Different Years: Collection of articles]. Ufa: Bashkir State University Publ., 2005, pp. 150–158. (In Russ.)
3. Romankov V. A. *Vvedenie v kriptografiyu. Kurs lekciy* [The Introduction to Cryptography. The Course of Lectures]. Moscow: Forum, 2012. 239 p. (In Russ.)

4. Tikhomirov B. N. Another “Optina Commentary” on the Novel “The Brothers Karamazov”. In: Tikhomirov B. N. *Ot “Belyh nochej” do “Brat’ev Karamazovyh”: Stat’i o Dostoevskom* [From “The White Nights” to “The Brothers Karamazov”: The Articles about Dostoevsky]. St. Petersburg: Serebryanyj vek Publ., 2022, pp. 411–417. (In Russ.)

5. Tomashevsky B. V. The Tenth Chapter of “Eugene Onegin”: The Story of the Solution. In: *Literaturnoe nasledstvo* [The Literary Heritage]. Vol. 16/18. Moscow, 1934, pp. 379–420. Available at: <https://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l16/lit-379-.htm?cmd=p> (Accessed on March 03, 2024). (In Russ.)

6. Toporov V. N. Once again about Dostoevsky’s “Premeditation”. In: Toporov V. N. *Peterburgskij tekst* [The Petersburg Text]. Moscow: Nauka Publ., 2009, pp. 453–458. (In Russ.)

7. Tunimanov V. A. *Labirint sceplenij: Izbrannye stat’i* [The Labyrinth of Clutches: The Selected Articles]. St. Petersburg: Pushkinsky Dom Publ., 2013, 588 p. (In Russ.)



АРХИВ



Т. Н. Дементьева, Л. А. Воронкина

«ПОТЕРЯННЫЕ» ПУСТОШИ ДОСТОЕВСКИХ

Аннотация. В 1831 г. мать писателя М. Ф. Достоевская стала владелицей имения Даровое (Каширский уезд Тульской губернии), в состав которого, кроме сельца Дарового и деревни Даровой, согласно купчей на имение, входили участки в соседних с Даровым пустошах: Нечаевской, Треполь, Чертковой, Харинской, Шелеповой-Чертовой. Достоевские не были единственными владельцами перечисленных пустошей, земельные участки внутри них принадлежали другим помещикам. После смерти супругов Достоевских всё имение унаследовали их дети, а в 1852 г. оно перешло к их дочери В. М. Ивановой. В раздельном акте братьев и сестёр Достоевских пустоши Треполь, Черткова, Харинская, Шелепова-Черкова не были названы. Выяснить причину этого помогают обнаруженные в ЦГА г. Москвы дела о размежевании некоторых из них. В настоящей статье выполнен анализ всех имеющихся на данный момент документов специального межевания. Выяснилось, что к 1852 году во время специального размежевания земли в пустошах Треполь, Чертковой и Хариной Достоевские обменяли с соседями-помещиками на земли деревни Даровой и близлежащей Нечаевой пустоши, в результате чего они стали единоличными владельцами Дарового.

Ключевые слова: имение Достоевских Даровое, архивные документы, чересполосное землевладение, пустоши, размежевание.

Информация об авторах: Татьяна Николаевна Дементьева, младший научный сотрудник МБУ «Коломенский археологический центр», Коломна, Московская область.

E-mail: baktria@rambler.ru

Любовь Александровна Воронкина, ландшафтный архитектор-реставратор, ООО «Реставрационно-строительная компания “Гефест”», Москва.

E-mail: voronkina.la@yandex.ru

Tatyana N. Dementieva, Lyubov A. Voronkina

THE “LOST” WASTELANDS OF DOSTOEVSKY

Abstract. In 1831, the writer’s mother Mariya. Dostoevskaya became the owner of the Darovoe estate (Kashirsky district of Tula province), which, in addition to the village of Darovoe, according to the deed to the estate, included plots in the wastelands adjacent to Darovoe: Nechaevskaya, Trepol, Chertkova, Kharinskaya, Shelepova-Cherkova. Dostoevskys were not the only owners of the listed wastelands, the land plots inside them belonged to other landlords. After the death of the Dostoevsky spouses, their children inherited the entire estate, and in 1852 it passed to their daughter Vera Ivanova. In the separate act of the Dostoevsky brothers and sisters, the wastelands of Trepol, Chertkova, Kharinskaya, Shelepova-Cherkova were not named. To find out the reason for this, cases of separation of some of them are found in the Central State Archive of Moscow. In this article, an analysis of all currently available documents of special surveying is carried out. It turned out that by 1852, during a special demarcation of land in the wastelands of Trepol, Chertkova and Kharina, Dostoevskys exchanged with neighboring landowners for the lands of the village Darovaya and the nearby Nechaev wasteland, because of which they became the sole owners of Darovoe.

Keywords: Dostoevsky’s estate Darovoe, archival documents, land interlace, wastelands, demarcation.

Information about the authors: Tatyana Nikolaevna Dementieva, Junior Researcher at the Kolomna Archaeological Center, Kolomna, Moscow Region.

E-mail: baktria@rambler.ru

Lyubov Aleksandrovna Voronkina, landscape architect-restorer, Restoration and Construction Company "Gefest", Moscow.

E-mail: voronkina.la@yandex.ru

*«В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено.
Не опоздайте: скосите и скосите скорей».*

Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели (3; 138)

7 августа 1831 г. Ольга Александровна Глаголевская продала Марии Фёдоровне Достоевской за 29 000 рублей ассигнациями имение в Каширском уезде Тульской губернии, расположенное

«в сельце и деревне Даровой <, > так равно и в принадлежащих к оным пустошам <, > доставшихся <...> по той же купчей и состоящих в том же уезде <, > именуемых Нечаевской <, > Триполье <, > Шелеповой <, > Чертковой тож <, > Хариной и Чертковой»¹.

Позже, в феврале 1833 г. М. А. Достоевским была куплена соседняя деревня Черемошня, но в купчей не был назван состав имения. Однако об этом можно судить по документам 1836 г., где Михаилом Андреевичем были перечислены земли, принадлежащие ему и его жене.

В 1840 г. имение супругов Достоевских перешло в общее и нераздельное владение к их детям, а в 1852 г. всё землевладение было выкуплено В. М. Ивановой (в девичестве Достоевской). Однако в раздельном акте 1852 г. у Веры Михайловны, кроме сельца Дарового, были упомянуты только деревня Черемошня и отхожие пустоши Грустынка, Старая Черемошня и Нечаева, а пустоши Треполь, Харинская, Черткова и Шелепова-Черкова названы не были [Дементьева, Воронкина: 117].

В «Специальном алфавите Тульской губернии Каширского уезда», датированном 1905 г.², Достоевские числятся владельцами первой части д. Даровой, а В. М. Иванова — владелицей третьего участка д. Черемошни и второй части пустоши Нечаевой. Но в пустошах Треполь (разделённой на семь участков)³, Харинской (два участка)⁴, Чертковой (шесть участков)⁵ и Шелеповой-Черковой (шесть участков)⁶ ни Достоевские, ни В. М. Иванова среди владельцев не значатся.

Таким образом, в рассмотренных документах зафиксирована утрата наследниками Достоевскими четырёх пустошей, входивших в 1830–40-х гг.

¹ ЦГА г. Москвы. Ф. 50. Оп. 14. Д. 1678. Л. 159.

² Специальный алфавит Тульской губернии Каширского уезда, хранящимся в Чертежном архиве планам с книгами. РГАДА. Ф. 1354 оп. 541. Часть 2. 1905 г.

³ Там же. Л. 67 об.

⁴ Там же. Л. 73 об. Владельцем первого участка значится Бартоломей, а второго — Иевлевы.

⁵ Там же. Л. 79–79 об.

⁶ Там же. Л. 81 об.

в имение М. Ф. Достоевской. Обстоятельства, при которых Достоевские перестали быть владельцами земель названных пустошей, представлены в делах о размежевании, хранящихся в Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА г. Москвы), а именно: «Дело посредника 2-го участка Каширского уезда о специальном размежевании дачи пустоши Триполи»⁷, «Дело Каширского посредника 2-го участка о специальном размежевании дачи пустоши Чертковой»⁸ и «Дело Каширского посредника 2-го участка о специальном размежевании дачи пустоши Шелепова Черковой тож»⁹. Дополнительную информацию можно почерпнуть из планов генерального и специального размежевания указанных пустошей Российского государственного архива древних актов (РГАДА) и из межевого дела «Каширского посредника 2-го участка. О специальном размежевании дачи деревни Даровой» (ЦГА г. Москвы).

Прежде чем перейти к рассмотрению дел, отметим, что Достоевские были не единственными владельцами земельных дач, а обладали им наряду с другими помещиками. В связи с этим в 1847 г. все они стали участниками специального полюбовного размежевания с целью отвода своих земель к одним местам. Размежеванием этих пустошей, как и других земель, принадлежавших Достоевским, занимался посредник Каширского уезда 2-го участка гвардии полковник и кавалер Сергей Алексеевич Волоцкой. В связи с тем, что никто из наследников Достоевских лично не присутствовал при размежевании, все они доверили ведение дел старосте Дарового Савину Макарову, что известно из приложенных к делам доверенностей.

Пустошь Треполь¹⁰

Из документов, входящих в названное выше «Дело посредника 2-го участка Каширского уезда о специальном размежевании дачи пустоши Треполи», известно, что в 1847 г. кроме Достоевских владельцами пустоши Треполь были П. П. Хотяинцев, В. Д. Дашкова, Л. М. Долгова, сёстры Л. Д. и С. Д. Иевлевы, сёстры М. И. Еропкина и О. И. Треснинская, К. П. Афросимов и И. В. Пущинский¹¹.

2 сентября 1847 г. в селе Моногарове состоялось совещание владельцев пустоши Треполь. Из позднейшего письма С. А. Волоцкого к П. П. Хотяинцеву от 27 сентября 1848 г.¹² известно, что на совещании владельцы договорились

⁷ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. В документах встречаем разное написание названия пустоши: Треполь, Треполье; Триполь, Триполье.

⁸ Там же. Д. 54.

⁹ Там же. Д. 7.

¹⁰ Подробное описание см.: Воронкина Л. А. Ландшафт Дарового // [Даровое Достоевского: 164–166].

¹¹ Поверенными помещиков были: у Долговой — староста С. Маркелов, у В. Д. Дашковой — М. Егоров, у О. И. Треснинской и М. И. Еропкиной — П. Петров, у Иевлевых — И. Иванов.

¹² ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 26 об.

«с частным землемером Переслегиным относительно съёмки чересполосности в с. Моногарове и прочих прилегающих к нему дачах»¹³,

вследствие чего 12 сентября 1847 г. Переслегино было предписано «отправиться в с. Моногарово и немедленно приступить к измерению земли с верным показанием на планах чересполосности земель каждого владельца особо»¹⁴.

5 июля 1848 г. владельцами пустоши Треполь был составлен полюбовный акт для отвода земель к одним местам по проекту, предложенному посредником С. А. Волоцким. Всего в пустоши Треполь по плану генерального межевания и по поверке и исчислению землемера Переслегина насчитывалось 634 десятины 1768 кв. саженей земли¹⁵, которые были размежеваны на шесть участков. Первый из них числился за И. И. Пущинским, владевшим 8 десятинами 50 кв. саженями. Второй принадлежал П. П. Хотяинцеву, у которого до размежевания было 146 десятин 35 кв. саженей. Ещё 64 десятины 1726 кв. саженей было получено им от В. Д. Дашковой за землю в пустоши Нечаевой и 17 десятин за землю в с. Моногарове. 17 десятин отданы были П. П. Хотяинцеву Достоевскими за землю в пустоши Нечаевой. Всего после размежевания у П. П. Хотяинцева в пустоши Треполь должно было стать 252 десятины 1761 кв. сажень земли¹⁶.

Третий участок принадлежал В. Д. Дашковой, у которой было 158 десятин 94 кв. сажени, но после уступки П. П. Хотяинцеву у неё оставалось 68 десятин 768 кв. саженей¹⁷.

Владельцем четвёртого участка числился К. П. Афросимов, у которого было 3 десятины 240 кв. саженей, и ещё 2160 кв. саженей ему уступила Л. М. Долгова. Таким образом, у него стало 4 десятины земли. В пятом участке у М. И. Еропкиной и О. И. Треснинской было 27 десятин 305 кв. саженей. У Л. М. Долговой в шестом участке после уступки К. П. Афросимову вместо 66 десятин 44 кв. саженей осталось 65 десятин 284 кв. сажени. Седьмой участок принадлежал девицам Л. Д. и С. Д. Иевлевым, у которых было 209 десятин 400 кв. саженей земли. Достоевским, как уже говорилось, в пустоши Треполь до размежевания принадлежало 17 десятин, но

«для удобнейшего раздела уступили они г. Хотяинцеву взамен принимаемого ими такого же количества из владения его в пустоши Нечаевой»¹⁸.

После подписания полюбовного акта землемером Переслегиным была произведена съёмка дачи, однако уже 31 августа 1848 г. С. А. Волоцкому поступила жалоба от поверенных. Выяснилось, что Переслегиным были допущены серьёзные ошибки, а именно: по его съёмке у Л. М. Долговой числилось 66 десятин 44 кв. сажени, в то время как по прежней частной поверке и по

¹³ Там же. Л. 24.

¹⁴ Там же.

¹⁵ В экспликации на «Геометрическом специальном плане Тульской губернии Каширского уезда дачи пустоши Треполи» 1847 г., входящем в рассматриваемое дело, указано, что удобной и неудобной земли было 634 десятины 168 кв. саженей. Там же. Л. 4.

¹⁶ На плане у П. П. Хотяинцева обозначено 253 десятины 1064 кв. сажени.

¹⁷ На плане у В. Д. Дашковой 67 десятин 1468 кв. саженей.

¹⁸ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 6 об.

действительному владению у неё было примерно 80 десятин. Во владении Достоевских не было показано на плане кустовой земли 7½ десятин. Во владении Дашковой некоторые полосы пахотной земли показаны за П. П. Хотяинцевым, а во владении О. И. Треснинской и М. И. Еропкиной стало не хватать 2½ десятин пахотной земли. Во владении Л. Д. и С. Д. Иевлевым в пустоши Харинской не было показано на плане около 10 десятин земли. Ещё одна жалоба была получена С. А. Волоцким 6 сентября 1848 г. уже от И. В. Пущинского, приславшего на проверку посреднику план своего участка, в котором, по его предположению, «недостанет земли десятины»¹⁹.

Из-за ошибок землемера и назначенной в связи с этим проверки в августе 1848 г. С. А. Волоцкой взял с поверенных подписку, по которой они обязались до окончания проверки

«сохранять прежнее чересполосное владение в том же виде и ни под каким предлогом не приступать к разделу между собою земель по указанным нам в натуре нарезочным линиям»²⁰

и не вступать во владение новыми участками до утверждения уездным судом полюбовных актов и до утверждения в натуре формальных меж, а также

«не допускать друг друга к нарушению сей подписки и если бы кто из нас вопреки сей подписке вступил в распоряжение новым участком <,> то мы немедленно должны донести об этом <...> в чём и подписуемся»²¹.

Однако, судя по письму С. А. Волоцкого от 27 сентября 1848 г., П. П. Хотяинцев всё же приказал «смешать чересполосность и вступить во владение новых участков», поручив «землемеру Переслегино разбивать поля в десятины»²², в связи с чем посредник потребовал от П. П. Хотяинцева «сохранить <...> чересполосность в том же виде, тем более что это необходимо и для съёмки»²³.

С. А. Волоцкой 27 сентября 1848 г. направил частного землемера Ф. Филиппова для съёмки дач пустошей Треполь, Нечаевой, Хариной и Чертковой и сверки на плане чересполосности каждого владельца²⁴, о чём он сообщил владельцам этих дач²⁵. А через месяц, 23 ноября посредник известил

¹⁹ Там же. Л. 22.

²⁰ Там же. Л. 20, 20 об.

²¹ Там же.

²² Там же. Л. 26 об.

²³ Там же.

²⁴ Письмо к частному землемеру Филиппову от 27 сентября 1848 г. за № 379. Там же. Л. 29.

²⁵ Извещение «Гг. Владельцам пу<стоши> Треполи, Нечаевой, Хариной и Чертковой от 27 сентября 1848 г. за № 378» (Там же. Л. 28). П. П. Хотяинцеву С. А. Волоцкой сообщил письмом от 27 сентября 1848 г., что планы землемера Переслегина не могут быть приняты так как «оказались совершенно не годными и не могли служить руководством к окончательному размежеванию» (Там же. Л. 24–25), в связи с чем для съёмки чересполосности в пустоши Треполь и других дачах был привлечён частный землемер Филиппов, с которым все владельцы, кроме П. П. Хотяинцева, уже договорились об оплате. Что касается денег, уплаченных Переслегино, то С. А. Волоцкой предложил вернуть их через суд: «с моей стороны я могу удостоверить, что представленные Переслегиным планы оказались никуда не годными, а потому забранные им деньги должны быть возвращены гг. владельцам» (Там же. Л. 24 об. – 25).

поверенных о получении им от Ф. Филиппова чересполосных поверочных планов пустошей Треполь и Хариной и пригласил их на 25 ноября в с. Останкино для объяснений по размежеванию дач. Отметим, что на это совещание П. П. Хотяинцев своего поверенного не выслал и письмом от 25 ноября 1848 г. сообщил С. А. Волоцкому, что он подал

«в посредническую комиссию прошения с изъяснением неудовольствия и по которым <...> просил передать всё дело о сём размежевании другому посреднику»²⁶.

С. А. Волоцкой 29 ноября 1848 г. отправил письмо Чернскому уездному землемеру Кандиано, в котором он объяснял причину недовольства некоторых из владельцев пустошей Треполь и Хариной. К письму им были приложены планы, составленные Филипповым и Переслегиным, в которых посредник нашёл *«значительную разницу, как в съёмке чересполосности, так и в положении внутренней ситуации»* и предложил Кандиано

«дабы удостовериться, которые из представленных ко мне планов могут служить основным и точным руководством к размежеванию помянутых дач <,> поверить оные в натуре при сторонних понятых людях, и которые из таковых планов окажутся правильные утвердить Вашею подписью с объяснением ошибок, какие Вами будут найдены»²⁷.

Сверив планы, Кандиано сообщил С. А. Волоцкому²⁸, что планы Филиппова верны и могут служить *«точным и основательным руководством при размежевании означенных дач»²⁹*, а в планах Переслегина найдено много ошибок, и в них нет *«не только верности, но даже и никакого сходства с положением некоторых оных в натуре»³⁰*.

На совещании в с. Останкине 13 мая 1849 г. поверенные владельцев пустоши Треполь уничтожили утверждённые ими 5 июля 1848 г. план с нарезками и полюбовный акт из-за ошибок, допущенных землемером Переслегиным. В то же время поверочный план землемера Филиппова был ими утверждён и подписан, а на его основе решено было составить окончательный полюбовный акт³¹.

14 августа 1849 г. владельцы пустоши Треполь были приглашены С. А. Волоцким в с. Моногарово, где ими был подписан новый полюбовный акт.

²⁶ На это письмо С. А. Волоцкой отвечал: *«Отношением моим от 23 числа сего ноября месяца за № 434 я имел честь просить Вас выслать вашего поверенного не столько для сличения представленных планов по пустошам Треполи и Хариной, сколько для совещания к размежеванию пустоши Чертковой, которая до сего времени остаётся не согласованной. Собственно, за неявкой Вашего поверенного, в ответе Вашем об этом предмете вы ничего не изволили упоминать и отказываетесь выслать поверенного под предлогом <,> несколько не относящимся до размежевания означенной дачи»* (Там же. Л. 32 об. – 33).

²⁷ Письмо к Чернскому уездному землемеру Кандиано от 29 ноября 1848 г. за № 439 // Там же. Л. 34–34 об.

²⁸ Письмо от Чернского уездного землемера Кандиано к С. А. Волоцкому от 7 декабря 1848 г. за № 54 *«С представлением 4-х планов с показанием чересполосных владений на пустоши Треполь и Харину»* (Там же. Л. 35–35 об.).

²⁹ Там же. Л. 35.

³⁰ Там же. Л. 35 об.

³¹ Там же. Л. 37–38 об.

По съёмке Филиппова в даче оказалось 640 десятин 2018 кв. саженей земли. Теперь в первом участке у И. В. Пущинского числилось 8 десятин 1800 кв. саженей, во втором у девиц Л. Д. и С. Д. Иевлевых — 182 десятины 1706 кв. саженей, в третьем у М. И. Еропкиной и О. И. Треснинской — 28 десятин 1094³² кв. сажени, в четвёртом у К. П. Афросимова — 2 десятины 13 кв. саженей, но после того, как Долгова уступила ему часть земель, у него стало 2 десятины 2173 кв. сажени. Пятый участок числился за В. Д. Дашковой, которая из своих 190 десятин 601 кв. сажени уступила П. П. Хотяинцеву 84 десятины 1834 кв. сажени за земли в пустоши Нечаевой и 25 десятин за земли в с. Моногарове. В итоге у неё осталось 80 десятин 1167 кв. саженей. В шестом участке у Л. М. Долговой была 71 десятина 1038 кв. саженей, после уступки 2160 кв. саженей К. П. Афросимову у неё осталось 70 десятин 1278 кв. саженей.

Последний седьмой участок принадлежал П. П. Хотяинцеву, у которого было 137 десятин 1258 кв. саженей земли, после прибавки к ним земель, полученных от В. Д. Дашковой и наследников Достоевских, у него стало 267 десятин 2 кв. сажени³³.

Достоевским *«в нераздельном владении хотя и следовало в этой даче двадцать четыре десятины тысяча семьсот десять квадратных саженей <,> количество это уступили мы все вполне г. Павлу Петровичу Хотяинцеву в число принятых нами из владения его в д. Даровой»³⁴.*

Таким образом, Достоевские из владельцев Треполи вышли, взамен разрешив наконец многолетнюю проблему чересполосного владения с Хотяинцевым в Даровом.

Нарезочный план пустоши Треполь, составленный Ф. Филипповым в октябре 1848 г., представляет особый интерес как наиболее достоверный по съёмке и зафиксировавший именно те участки земли, которые принадлежали Достоевским (на плане под номером 8)³⁵ (Илл. 1).

С. А. Волоцкой 24 декабря 1849 г. отправил полюбовный акт в Каширский уездный суд³⁶, однако 1 февраля 1850 г. акт ему вернули неутверждённым, так как *«в доверенностях гг. Треснинская и Еропкина не представили права своим поверенным размежеваться в дачах здешнего уезда, и не сказано о показанной пустоши <,> и первая не представила за себя права подписания акта»³⁷.*

С. В. Волоцкой 3 апреля 1850 г. с объяснениями повторно препроводил полюбовный акт пустоши Треполь в Каширский уездный суд и 19 июня 1850 г. документ был утверждён³⁸. На его основе в июле 1851 г. был составлен

³² На чересполосном плане Тульской губернии Каширского уезда пустоши Треполь 1848 г. указано 1092 кв. сажени. РГАДА. План 1848 г. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 963.

³³ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 50; РГАДА. План 1848 г. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 963.

³⁴ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19.

³⁵ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 963.

³⁶ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 53–54.

³⁷ Там же. Л. 56–56 об.

³⁸ Это засвидетельствовано в надписи на полюбовном акте (Там же. Л. 52), в записи журнала Каширского уездного суда (Там же. Л. 63). 18 ноября 1850 г. посредник получил из Каширского уездного суда дела с двумя утверждёнными актами, в том числе и по пустоши Треполь (Там же. Л. 64).

«Геометрический специальный план Тульской губернии Каширского уезда пустоши Триполи»³⁹.

29 ноября 1851 г. уездный землемер Кандиано сообщил С. А. Волоцкому, что дела по дачам пустошей Харинской и Треполь

«формально окончены <, > межи в тех дачах согласно полюбовным актом утверждены <, > и вновь составлены планы с межевыми книгами и всем производством»⁴⁰.

Пустошь Черткова⁴¹

Исходя из «Дела Каширского посредника 2-го участка о специальном размежевании дачи пустоши Чертковой»⁴² 1848–1855 гг., владельцами здесь, кроме наследников Достоевских, были: П. П. Хотяинцев, В. Д. Дашкова, И. А. Бартоломей⁴³, Е. М. Повалишина, сёстры М. И. Еропкина и О. И. Треснинская, В. Д. Логвенова, А. П. Жадовская, сёстры Е. А. Вальтер фон Кронек и М. А. Балкашина.

В с. Моногарове 25 мая 1849 г. было проведено совещание для предварительного соглашения на размежевание пустоши Чертковой и составлен полюбовный акт. Всего в пустоши было 147 десятин 789 кв. саженей земли. В первом участке у И. А. Бартоломея числилось 8 десятин 299 кв. саженей земли. С прибавлением к ним 3 десятины 227 кв. саженей, отданных Достоевскими за такое же количество земли в пустоши Хариной, у И. А. Бартоломея стало 11 десятин 526 кв. саженей. Во втором участке у Е. А. Вальтер фон Кронек и М. А. Балкашиной было 8 десятин 2003 кв. сажени. В третьем у В. Д. Логвеновой 36 десятин земли. У Е. М. Повалишиной в четвёртом участке — 38 десятин 754 кв. сажени. Ещё 18 десятин 604 кв. сажени перешло к ней от П. П. Хотяинцева за земли в пустоши Хариной и 9 десятин 1042 кв. сажени от Достоевских за земли в пустоши Хариной. Всего же Е. М. Повалишиной стало принадлежать 66 десятин. В пятом участке у М. И. Еропкиной и О. И. Треснинской было 2 десятины 660 кв. саженей, у Жадовской — 23 десятины и у П. П. Хотяинцева — 18 десятин 604 кв. сажени земли, но отдав их Е. М. Повалишиной, он из владельцев пустоши Чертковой вышел.

Наследникам Достоевским, В. М. Карепиной и В. М. Ивановой, в пустоши Чертковой принадлежало 12 десятин 1269 кв. саженей. Все они были отданы в обмен (в конечном счёте) за 12 десятин чересполосной земли в Даровом:

³⁹ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 962.

⁴⁰ Письмо от Кандиано к С. А. Волоцкому от 29 ноября 1951 г. за № 136. ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 67–67 об.

⁴¹ Подробное описание см.: Воронкина Л. А. Ландшафт Дарового// [Даровое Достоевского: 167–168].

⁴² ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 54.

⁴³ 7 мая 1853 г. Волоцкой получил от полковника П. Г. Трубачёва письмо с извещением о том, что «недвижимое имение, принадлежащее гвардии штабс-капитану Ивану Алексеевичу Бартоломео, состоящее в Каширском уезде, перешло от него в моё владение по купчей крепости», в связи с чем просил «по всем делам, где г-н Бартоломей имел земельное владение и которые подлежали и подлежат размежеванию <, > считать владельцем меня» (Там же. Л. 47).

«Нам <, > Достоевским, Карепиной и Ивановой по действительному владению следовало 12 де<сятин> 1269 кв. саж<еней> <, > из этого количества уступаем мы г-же Повалишиной 9 дес<ятин> 1042 кв. саж<ени> за принятую от неё в таком же количестве в пустоши Хариной и г. Бартоломео 3 дес<ятин> 227 кв. сажень; следующие по полюбовному акту пустоши Хариной в число 12 дес<ятин> <, > принятых нами от него в деревне Даровой, и за тем уже из владельцев означенной дачи мы выходим»⁴⁴.

В результате этих операций Достоевские из владельцев пустоши Чертковой вышли, взамен очищая своё Даровое от чересполосицы.

На основе полюбовного акта был составлен «Геометрический специальный план пустоши Чертковой»⁴⁵, где указаны владельцы и их участки до и после размежевания.

29 декабря 1849 г. Волоцкой отправил полюбовный акт на утверждение в Каширский уездный суд, но 1 февраля 1850 г. акт был ему возвращён «за неполнотою доверенностей <, > выданных от гг. Треснинской <, > Еропкиной и Логвеновой»⁴⁶. 10 февраля 1850 г. посредник вновь направил акт на утверждение с опровержением решения суда.

Важная информация представлена в этом деле по поводу залога имения Достоевских: на запрос уездного суда в Каширскую дворянскую опеку, не состоит ли имение Достоевских в её ведомстве за долг кредитному месту, опека 16 июня 1850 г. сообщила, что лежащий «на имени гг. Достоевских долг Московского опекунского Совета ныне уплачен»⁴⁷.

6 сентября 1850 г. посредник вновь отправил на рассмотрение в Каширский уездный суд исправленные им полюбовные акты по пустошам Хариной и Чертковой⁴⁸ и 29 сентября 1854 г. в Каширском уездном суде на полюбовном акте была сделана запись: «по слушании оногo дела приказали полюбовный акт по пустоши Чертковой утвердить»⁴⁹. Однако в этой записи есть ошибка, так как уже 23 октября 1850 г. суд выслал С. А. Волоцкому утверждённые полюбовные сказки на пустоши Черткову и Харину, а в письме С. А. Волоцкого говорится о том, что акты были утверждены судом 29 сентября 1850 г.⁵⁰

⁴⁴ Там же. Л. 5 об. – 6.

⁴⁵ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 2189.

⁴⁶ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 54. Л. 22.

⁴⁷ В деле также сказано, что «дела о размежевании земли <, > принадлежащей малолетним Достоевским <, > по сельцу Даровому, деревне Даровой, пустоши Нечавой, Хариной и Чертковой <, > при означенных рапортах в палату представленные из Каширской дворянской опеки <, > не утверждены, так как требовались дополнительные сведения о времени залога имения Достоевских и к какому именно имени принадлежат размежёванные дачи, сведения эти доставлены 18 мая. Опека доложила, что долг за имение Достоевских Опекунскому совету заплачен» (Там же. Л. 31 об. – 32).

⁴⁸ Согласно документу 14 августа полюбовные акты по пустошам Хариной и Чертковой были возвращены посреднику для исправления, но документ № 1687 к делу не приложен (Там же. Л. 34).

⁴⁹ Там же. Л. 8 об.

⁵⁰ Письмо от посредника Каширского и Алексинского уездов мая 30 дня 1854 года № 178 в Каширский уездный суд. Там же. Л. 52.

2 мая 1852 г. С. А. Волоцкой направил землемерному помощнику Александру утверждённые полюбовные акты для размежевания нарезок в натуре. При поверке Александровым были обнаружены погрешности, и оказалось, что в пустоши Чертковой на одну десятину земли больше, чем обозначено в полюбовной сказке 25 мая 1849 г., а именно 148 десятин 780 кв. саженей. В связи с этим Александровым была составлена дополнительная полюбовная сказка, подписанная владельцами 26 февраля 1853 г.⁵¹, а к ней новый план пустоши Чертковой, датируемый августом 1852 г.⁵²

Дополнительный полюбовный акт был утверждён Каширским уездным судом 1 августа 1854 г.⁵³

21 марта 1855 г. С. А. Волоцкой известил владельцев пустоши Чертковой, «что в предстоящее лето сего 1855 года последует формальное утверждение меж в натуре»⁵⁴, и просил их прибыть на места своих владений или выслать поверенных с узаконенными доверенностями.

В мае 1855 г. Чернским уездным землемером Кандиано был составлен «Геометрический специальный поверочный план Тульской губернии Каширского уезда пустоши Чертковой»⁵⁵, на котором среди владельцев Достоевские уже не значились. 29 декабря 1855 г. Чернский уездный землемер Кандиано уведомил С. А. Волоцкого о том, что в пустоши Чертковой «межи согласно полюбовным сказкам формально утверждены <, > и дела по тем дачам приведены к окончанию»⁵⁶.

Харинская пустошь⁵⁷

Несмотря на то, что дело по специальному размежеванию пустоши Харинской 1850 г. до раздела её на два участка в 1851 году⁵⁸ пока не обнаружено, некоторую информацию о том, как происходило размежевание и кто

⁵¹ По ней Александровым были изменены и номера участков, первый из которых числился теперь за Е. А. Вальтер фон Кронек и М. А. Балкашиной, у которых было 8 десятин 2003 кв. сажени, второй закреплён за В. Д. Логвеновой, у которой было 36 десятин, третий за А. П. Жадовской — 23 десятины, четвёртый за М. И. Еропкиной и О. И. Треснинской — 2 десятины 660 кв. саженей, пятый — за Е. М. Повалишиной, у которой после променов, описанных в первой полюбовной сказке, осталось 66 десятин. В шестом участке, принадлежащем И. А. Батоломею, было 11 десятин 526 кв. саженей (Там же. Л. 39–42 об.)

⁵² Геометрический специальный план Тульской губернии Каширского уезда пустоши Чертковой. РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 2187.

⁵³ Дополнительный полюбовный акт. ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 54. Л. 42.

⁵⁴ Там же. Л. 58.

⁵⁵ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 2188. Кроме того, было сделано ещё шесть планов в соответствии с количеством участков, указанных в дополнительной полюбовной сказке (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 541. Д. Ч-53с, Ч-54с, Ч-55с, Ч-56с и Ч-57с.).

⁵⁶ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243 Оп. 1. Д. 54. Л. 59.

⁵⁷ Подробное описание см.: Воронкина Л. А. Ландшафт Дарового // [Даровое Достоевского: 166–167.]

⁵⁸ а) Дело о размежевании земли пустоши Харинской первой части с планом 1851 г. ГАТО. Ф. 291. Оп. 7. Т. 39. Д. 147; б) Дело о размежевании земли пустоши Харинской первой части 1851 г. ГАТО. Ф. 291. Оп. 7. Т. 39. Д. 1530.

изначально были её участники к 1850 г., можно почерпнуть из рассмотренных выше дел. Так, можно предположить, что размежевание было начато в 1847 г., а полюбовная сказка составлена владельцами пустоши в 1848 г.

Как и в случае с Трепостью, первоначально съёмкой Харинской пустоши не слишком удачно занимался землемер Переслегин⁵⁹, так что впоследствии дело было поручено частному землемеру Филиппову, направленному С. А. Волоцким 27 сентября 1848 г. для съёмки дач пустошей Треполь, Нечаевой, Харинской и Чертковой и сверки на плане чересполосности каждого владельца. Это подтверждается и «Чересполосным планом Тульской губернии Каширского уезда пустоши Харинской»⁶⁰, снятым землемером Ф. Филипповым в октябре 1848 г. (Илл. 2) По плану в пустоши Харинской насчитывалось 256 десятин 320 кв. саженей земли, находившейся в общем владении у И. А. Бартоломея, П. П. Хотяинцева, малолетних детей Достоевских, Е. М. Повалишиной, девиц Л. Д. и С. Д. Иевлевых и вольноотпущенного крестьянина Н. Фетисова.

И. А. Бартоломею в этой даче принадлежало 80 десятин 24 кв. сажени земли, П. П. Хотяинцеву — 90 десятин 1269 кв. саженей, Е. М. Повалишиной — 23 десятины 1646 кв. саженей, сёстрам Иевлевым — 29 десятин 1849 кв. сажени, Фетисову — 6 десятин 1709 кв. саженей. Наследники Достоевские имели 25 десятин 1026 кв. саженей, из которых 21 десятин 1003 кв. сажени — пашни и 4 десятины 23 кв. сажени — луга.

Судя по делу о размежевании деревни Даровой, Достоевские отдали И. А. Бартоломею часть земли в пустоши Харинской за его часть в деревне Даровой:

«Бартоломею по действительному владению следует 19 дес<ятин>: означенное количество для удобного раздела земли к одним местам предоставляю во владение гг. Достоевских <, > взамен которого обязаны они выделить мне такое же количество из владимых <ими> к участку моему в пустоши Харинской <, > затем из владельцев д. Даровой я выхожу и участия в поземельном моём владении в оной обязуюсь никакого не иметь»⁶¹.

Другая часть Достоевскими была отдана П. П. Хотяинцеву за его часть земли в пустоши Нечаевой.

26 ноября 1851 г. Волоцким было получено письмо от уездного землемера, сообщавшего, что дело по пустоши Харинской окончено, актом утверждено, а планы и межевые книги вновь составлены⁶². В итоге пустошь Харинская была разделена на два участка, что отражено на «Геометрическом нарезочном плане дачи Тульской губернии Каширского уезда

⁵⁹ В документе указано, что землемер Переслегин при съёмке пустоши Харинской «не показал» на плане во владении Иевлевых «около 10 десятин кустовой земли» (ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 18 об.).

⁶⁰ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 789.

⁶¹ Дело Каширского посредника 2-го участка. О специальном размежевании дачи деревни Даровой. ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 44. Л. 3.

⁶² ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 19. Л. 67.

пустоши Харинской» 1851 г.⁶³, планах первого и второго участков пустоши Харинской 1851 г.⁶⁴, и в межевых книгах⁶⁵. Владельцем первого участка пустоши Харинской значился И. А. Бартоломей, а владелицами второго участка — сёстры Л. Д и С. Д. Иевлевы. Достоевские здесь уже не упоминаются.

Пустошь Шелепова, Черкова тож⁶⁶

Судя по купчей 1831 г. и документу 1836 г., Достоевские считали, что у них были земли в пустоши Шелеповой-Черковой, входившей в состав имения Даровое. Однако при рассмотрении межевого «Дела Каширского посредника 2-го участка о специальном размежевании дачи пустоши Шелеповой, Черковой тож» от 1839–1854 гг.⁶⁷ оказывается, что Достоевские среди владельцев этой пустоши не значатся. Тот же факт подтверждает и «Геометрический специальный план дачи Тульской губернии Каширского уезда пустоши Шелеповой, Черковой тож»⁶⁸, датированный августом 1851 г.

Известно, что Даровое досталось Достоевским через О. А. Глаголевскую от И. П. Хотяинцева, а ему перешло от родственников, носивших ту же фамилию, но на плане пустоши Шелеповой-Черковой 1770 г., размежёванной на шесть участков, Хотяинцевы в числе владельцев не названы⁶⁹.

В 1848 г. землемер Алексей Переслегин сделал попытку на плане пустоши Шелеповой дополнительно к выполненной съёмке выделить участок леса площадью 7 десятин 1200 кв. саженей как принадлежащий крестьянам Павла Петровича Хотяинцева. Данное утверждение, как видно из документов межевого дела, участниками раздела было признано ложным, а неверно отведённые земли — фактически принадлежащими И. С. Дурново.

В 1854 г. был снят ещё один «Геометрический специальный план дачи Тульской губернии Каширского уезда пустоши Шелеповой, Черковой

тож»⁷⁰ и шесть планов в соответствии с количеством новых владельческих участков пустоши, но среди владельцев нет ни П. П. Хотяинцева, ни Достоевских.

Можно предположить, что И. П. Хотяинцев по факту «передал» Достоевским вместе с Даровым часть земель не в пустоши Шелеповой, а в селе Моногарове, расположенном рядом с Даровым. Об этом свидетельствует обнаруженный нами в РГАДА нарезочный план с. Моногарова 1847 г., где под номером 4 нанесены участки земли, находящиеся «во владении г-на Достоевского»⁷¹. Здесь Достоевским принадлежало 23 десятины 502 кв. сажени земли (22 дес. 448 кв. саженей пашни, 1935 кв. саженей луга и 519 кв. саженей под просёлочными дорогами).

* * *

Итак, выясняется, что М. Ф. Достоевской принадлежало в пустоши Треполь 24 десятины 1710 кв. саженей земли, в пустоши Чертковой 12 десятин 1269 кв. саженей и в Харинной 25 десятин 1026 кв. саженей. Пустошь Шелепова-Черкова хотя и была упомянута в купчей на Даровое от 1831 г., но не входила в состав землевладения Достоевских. В селе Моногарове, не упоминавшемся в купчей 1831 г., у Достоевских в 1847 г. по факту было 23 дес. 502 кв. сажени земли. В основном это были пахотные земли, видимо, крестьянские наделы.

Для того, чтобы стать полными владельцами деревни Даровой, наследники Достоевские при полюбовном размежевании отдали свою часть земель в пустоши Треполь и в селе Моногарове П. П. Хотяинцеву и другим совладельцам за их части в сельце и деревне Даровое и в пустоши Нечаевой. Землевладение в пустоши Чертковой было отдано Е. М. Повалишиной и И. А. Бартоломею за земли в пустоши Харинской. В свою очередь принадлежавшие Достоевским земли в Харинской пустоши были отданы П. П. Хотяинцеву за землю в пустоши Нечаевой и И. А. Бартоломею — за его часть деревни Даровой. Такой обмен был обусловлен и тем, что пустошь Нечаева примыкала с северо-запада к сельцу Даровому, а Харинская, Черткова, Треполь и Шелепова-Черкова (граничащие между собой) находились в отдалении от Дарового и не имели с ним общих границ. Таким образом, Достоевские, отдав земли в отдалённых пустошах Треполь, Чертковой, Харинской и в с. Моногарове, стали полными владельцами сельца Дарового и основной части деревни Даровой, а также значительно увеличили свою часть в соседней пустоши Нечаевой.

Список литературы

1. Даровое Достоевского: материалы и исследования/ Под ред. А. С. Бессоновой. Коллома: ИД «Лига», 2021. 544 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib-search/o_2128255#1 (26.02.2024)

⁷⁰ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 2164. Видимо, в это же время были сделаны планы всех шести участков этой дачи (Там же. Д. Ш-41с — Ш-46с.).

⁷¹ Там же. Д. 586.

⁶³ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 790.

⁶⁴ План первого участка пустоши Харинской (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 541. X-23с.) и план второго участка п. Харинской (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 541. Д. X-24с.).

⁶⁵ Межевая книга п. Харинской 1 ч. 1851 г. ГАТО. Ф. 291. Оп. 7. Т. 39. Д. 1530; Межевая книга с планом 1851 г. ГАТО. Ф. 291. Оп. 7. Т. 39. Д. 1147.

⁶⁶ Подробное описание см.: Воронкина Л. А. Ландшафт Дарового// [Даровое Достоевского: 168–170].

⁶⁷ ЦГА г. Москвы. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 7.

⁶⁸ РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 2165.

⁶⁹ Согласно плану 1770 г., п. Шелепова-Черкова была владением С. И. Вадбольского и жены его Марфы Ефимовны, секунд-майора Андрея Данилова Двурецкого, статского советника Афанасия Леонтьевича Афросимова, жены его Анны Назарьевны, поручика Василия Степановича Щепотьева, жены его Марьи Алексеевны, поручика Николая Михайловича Протопопова, поручика Петра Григорьевича Жадовского, жены его Настасьи Алексеевой, вдовы Аграфены Семёновны Яковлевой, вдовы Федосьи Фёдоровны Апраксиной-Вердеревской, поручиков Ивана да Григория Петровичей Фустовых, капитана Петра Ивановича Дурново, коллежского советника Фёдора Фёдоровича Павлова, сержанта Петра Николаевича Павлова, майора Аврама Ивановича Спешнева, жены его Анны Ивановой, вдовы Авдотьи Михайловны Титовой, гвардии поручика Дмитрия Андреевича Никитина (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 541. Д. Ш-12с.).

2. Дементьева Т. Н., Воронкина Л. А. Имение Даровое и его владельцы (по новым архивным документам) // *Неизвестный Достоевский*. 2020. № 4. С. 106–131 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1607584171.pdf (26.02.2024). DOI: 10.15393/j10.art.2020.5121.
3. Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. Письма М. А и М. Ф. Достоевских. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1939. 158 с.
4. Сабирова Д. А. Раздел пустоши Нечаевой: к вопросу о формировании земельного комплекса имения Достоевских в Даровом и Черемошне // *VI Летние чтения в Даровом / ред.-сост. В. А. Викторovich. Коломна, 2021. С. 232–236. [Электронный ресурс]. URL: <https://darovoe.ru/wp-content/uploads/2022/06/Летние-чтения-в-Даровом-VI.pdf> (26.02.2024)*

References

1. *Darovoe Dostoevskogo. Materialy i issledovaniya: Kollektivnaya monografiya / pod red. A. S. Bessonovoj [Dostoevsky's Darovoe. Materials and Research: A Collective Monograph / edited by A. S. Bessonova]*. Kolomna, 2021. 544 p. Available at: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128255#1 (accessed on February 26, 2024). (In Russ.)
2. Demytyeva T. N., Voronkina L. A. Darovoe Estate and Its Owner (According to New Archival Documents). In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2020, no. 4, pp. 106–131. DOI: 10.15393/j10.art.2020.5121 (accessed on February 26, 2024). (In Russ.)
3. Nechaeva V. S. *V sem'e i usad'be Dostoevskikh. Pis'ma M. A. i M. F. Dostoevskikh [In the Family and the Estate of the Dostoevskys. Letters of Mikhail A. and Maria F. Dostoevskys]*. Moscow, Sotsekgiz Publ., 1939. 158 p. (In Russ.)
4. Sabirova D. A. The Section of the Nechaeva Wasteland: On the Question of the Formation of the Dostoevsky Estate Land Complex in Darov and Cheremoshna. In: *VI Letnie chteniya v Darovom / red.-sost. V. A. Viktorovich [The 6th Summer Readings in Darovoe]*. Kolomna, Izdatel'skiy Dom Liga Publ., 2021, pp. 232–236. Available at: <https://darovoe.ru/wp-content/uploads/2022/06/Летние-чтения-в-Даровом-VI.pdf> (accessed on February 26, 2024). (In Russ.)



ЗАПОВЕДНИК



И. А. Боголюбская

**«ПРОРОКУ — ОТЕЧЕСТВО»:
ОБ ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
В ДАРОВОМ**

Аннотация. В статье подробно освещено торжественное открытие памятника Ф. М. Достоевскому в Музее-усадьбе «Даровое» (Зарайский район Московской области) 25 сентября 1993 года. В основе публикации — воспоминания участников и организаторов мероприятия, публикации местных и центральных СМИ. Произошедшее в переломный момент новейшей истории России, это событие приобрело особый, символический смысл и стало первым шагом к возрождению земли детства великого русского писателя.

Ключевые слова: памятник Ф. М. Достоевскому, усадьба Даровое, скульптор Ю. Ф. Иванов, мемуары.

Информация об авторе: Ирина Александровна Боголюбская, научный сотрудник Музея-усадьбы Ф. М. Достоевского «Даровое» — отдела Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», Зарайский район, Московская область.

E-mail: darovoe-dostoevsky@yandex.ru

Irina A. Bogolyubskaya

**“THE FATHERLAND IS FOR THE PROPHET”:
ABOUT THE OPENING OF THE MONUMENT TO F. M. DOSTOEVSKY
IN DAROVOE**

Abstract. The article highlights in detail the grand opening of the monument to F. M. Dostoevsky in the Museum-estate “Darovoe” (Zaraisky district of the Moscow region) September 25, 1993. The publication is based on the memoirs of the participants and organizers of the event, publications of local and central media. Taking place at a crucial moment in the modern history of Russia, this event acquired a special, symbolic meaning and became the first step towards the revival of the land of childhood of the great Russian writer.

Keywords: monument to F. M. Dostoevsky, the estate of Darovoe, sculptor Yu. F. Ivanov, memoirs.

Information about the author: Irina Alexandrovna Bogolyubskaya, researcher at the Museum-estate of F. M. Dostoevsky “Darovoe”, Department of the Zaraisky Kremlin State Museum-Reserve, Zaraisky district, Moscow Region.

E-mail: darovoe-dostoevsky@yandex.ru

Одним из наиболее выразительных памятников Ф. М. Достоевскому в России является памятник писателю, установленный в Даровом 25 сентября 1993 года¹. Тридцать лет бронзовая скульптура встречает гостей усадьбы на опушке Липовой рощи. История создания и установки памятника скупно освещена в воспоминаниях непосредственных участников этих событий, а она не менее увлекательна и противоречива, чем история памятника Ф. М. Достоевскому в Москве на Божедомке.

¹ См. об этом: [Дементьева, Боголюбская: 211, 213–214], [Даровое Достоевского: 482].



Ю. Ф. Иванов, скульптор, автор памятника Ф. М. Достоевскому в Даровом.
25 сентября 1993 г. Фото из фондов Государственного музея-заповедника
«Зарайский кремль»

Сохранился ряд источников, рассказывающих об истории появления в Даровом памятника Ф. М. Достоевскому. В первую очередь это документальный фильм «Возвращение пророка», снятый режиссёром Виктором Рыжко в 1994 году на киностудии «Отечество». В фондах Музея-заповедника «Зарайский кремль» хранится небольшой фотоархив и несколько документов, посвящённых данному событию.

16 сентября 1993 года в газете «За новую жизнь» была опубликована следующая заметка:

«23 августа 1990 года было принято решение Мособлсовета о создании филиала Зарайского историко-художественного музея в с. Даровое — бывшем имении Достоевских. В это же время Министерством культуры был дан заказ на изготовление памятника Ф. М. Достоевскому в Даровом. Автором скульптурного памятника стал известный скульптор Ю. Ф. Иванов, работы которого есть не только в музеях России, но и за рубежом.

Памятник был изготовлен на Мытищинском заводе, спонсором в этих работах стала «СОС — Интернешнл». Разработана программа по установлению памятника. Спонсором в этих работах стало ТОО «Зарайск — Интур» (генеральный директор Гончаров С. Ф.).

Наконец программа выполнена и назначен день установки памятника великому писателю в с. Даровое, которое упомянуто во многих его произведениях. На это мероприятие приглашены духовная элита России, аккредитованный Дипкорпус, радио и телевидение многих российских и зарубежных компаний, пресса. Параллельно с проектно-восстановительными работами и на всём пути создания памятника работает съёмочная группа кинодокументалистов по созданию фильма об этих событиях.

Итак, все, кому дорог великий Достоевский, приглашаются на открытие памятника ему в с. Даровое 25 сентября в 13 часов»².

Одним из инициаторов создания памятника выступили президент Торгово-промышленной компании «SOS International» Л. Ф. Монастырский³. В своём дневнике М. А. Любомудров⁴ пишет о нём так:

«Особо хочется отметить роль в этом событии автора проекта «памятник Достоевскому в Даровом» Леонида Фёдоровича Монастырского, художественного руководителя торжественных мероприятий тысячелетия Крещения Руси. Он был главным инициатором и мотором этого неординарного, я бы сказал, исторического события (по крайней мере, для нашей культуры). Им двигала, прежде всего, память о его большом друге писателя Юрии Ивановиче Селезнёве (автора прекрасной книги в серии ЖЗЛ о Ф. М. Достоевском).

В непростое время, при грозном окрике запрета ставить памятник сверху — тогдашним министром культуры Сидоровым, он пошёл на эту акцию, собрал спонсоров и добился всех разрешений со стороны соответствующих инстанций по землеотводу и установке памятника. В кратчайшие сроки памятник был отлит и привезён на место установки под охраной в маскировочных сетках»⁵.

Этому событию предшествовала огромная организационная работа. Ещё 7 сентября 1993 года Л. Ф. Монастырским были направлены письма председателю Верховного Совета Российской Федерации Р. И. Хасбулатову с приглашением на открытие памятника и просьбой организовать транспорт для гостей и участников торжественного мероприятия⁶.

Символично, что дата открытия памятника пришлась на период, который позднее войдёт в историю как Октябрьский путч, или Ельцинский переворот 1993 года. Это был серьёзнейший внутривластный конфликт в Российской Федерации, продолжавшийся с 21 сентября по 5 октября 1993 года.

Вот как об этом позже напишет зарайский краевед В. И. Полянцев:

«...в самый разгар экономических потрясений, когда Россия снова оказалась на распутье, нашлись люди, которые решились на реабилитацию русского пророка, нашли возможным <...> соорудить монумента»⁷.

Р. И. Хасбулатову не суждено было оказаться в Даровом 25 сентября, но автобусы прибыли, а в них — известные писатели, поэты, художники, представители

² Открывается памятник Ф. М. Достоевскому // За новую жизнь. 1993. № 16.

³ Леонид Фёдорович Монастырский (1940–2023) — актёр и режиссёр, постановщик массовых мероприятий, Заслуженный артист Казахской ССР, с 1972 по 1987 — режиссёр МХАТа под руководством О. Н. Ефремова.

⁴ Марк Николаевич Любомудров (1932–2023) — писатель, публицист, театровед и общественный деятель, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, кандидат искусствоведения.

⁵ Любомудров М. Н. Дневник // ОР РГБ. Ф. 91п. Т. 1. Карт. 12. Ед. хр. 5. Цитируется по копии, предоставленной Л. Ф. Монастырским. Лл. 1–2.

⁶ Государственный Музей-заповедник «Зарайский кремль». МЗК. № 78, 79.

⁷ Полянцев В. И. Зарайская летопись. М.: Academia, 2001. С. 267.

культуры ближнего и дальнего зарубежья. М. Н. Любомудров в своём дневнике назвал некоторые имена:

«На празднестве выступали Ю. С. Мелентьев (бывш-ий> министр культуры), Ю. В. Бондарев, Ю. Ф. Иванов (автор памятника), С. Куняев, Ерхов и Писарев (спонсоры), Ю. Ф. Карякин (литературовед-апрелевец, ныне член президентского Совета — советник по культуре!), потомки Достоевского, местные власти и пр.

Народу было много, около тысячи, наверное. Из Москвы — четыре автобуса, многие — на своих машинах»⁸.

В. И. Полянчев описал первые впечатления от увиденного памятника:

«Спадает покрывало, и перед взором почитателей творчества Достоевского предстаёт статуя духовного наставника России. На лицевой стороне гранитного пьедестала выбита надпись: “Фёдор Достоевский”, на правой стороне — “Пророку — Отечество”. Протоиерей Зарайского Никольского храма о. Михаил Рыжов освятил памятник, отслужил литию. К подножию монумента легли букеты осенних цветов.

Низкий пьедестал памятника подчёркивает: Достоевский, как и прежде, близок нам, он по-прежнему озабочен судьбой “бедных людей”⁹.

М. Н. Любомудров даёт не столько художественную, сколько идейную оценку памятнику:

«Памятник гениален. Такого уровня памятников писателям и общественным деятелям в стране сегодня единицы. Опекушинский памятник Пушкину — это апофеоз гармонии и печальной любви. Памятник Достоевскому скульптора Ю. Ф. Иванова — трагический, это трагедия русского стоицизма. Здесь Достоевский прозревает русский апокалипсис XX века. В нём и боль автора, который знает, какую цену заплатил народ, отвергнувший своего пророка...

Памятника такой огромной духовной силы, сконцентрированной в бронзе, сегодня нет ни в Петербурге, ни в Москве, да они и не смогли бы его вместить. Бесы станут стеной — не могут же они простить автору тех разоблачений, которые уже подтверждены историей»¹⁰.

Настроение этого знаменательного дня передаёт корреспондент зарайской газеты «За новую жизнь»:

«Тяжёлые ночные облака к утру постепенно покинули небо, и яркое, даже тёплое солнце выглянуло и не уходило уже весь день. Необыкновенная дорога в Даровое встречала гостей разноцветными клёнами, ещё зелёными берёзами и какой-то нежной на фоне опустевших полей зеленью озимых и лесных опушек.

Этот день и должен был быть именно таким: ярким, немного грустным от осени и всё же радостным и ликующим. Наверное, всё своё существование деревенька Даровое не видела такого нашествия людей. В это глухое селение с утра катили многоместные автобусы, “Жигули” и “Москвичи”, “Запорожцы” и “Нивы”, мчались стремительные “Мерседесы”. После шумных городов, постоянной жизненной круговерти люди застывали, впитывая в себя эти удивительные, спокойные, роскошные картины природы и необычно-

⁸ Любомудров М. Н. Дневник. Л. 1.

⁹ Полянчев В. И. Зарайская летопись. М.: Academia, 2001. С. 267–268.

¹⁰ Любомудров М. Н. Дневник. Л. 1.



Писатель Ю. В. Бондарев (у микрофона) и меценат Б. В. Писарев (второй справа).
25 сентября 1993 г. Фото из фондов Государственного музея-заповедника
«Зарайский кремль»

венную тишину. Им даже говорить не хотелось, они боялись нарушить эту красоту. Они молча созерцали прелесть далёкой деревеньки и буквально пили пьянящий ароматный воздух...»¹¹.

В. И. Полянчев называет многочисленных участников мероприятия:

«В Даровое устремились известные писатели, поэты, художники, представители культуры ближнего и дальнего зарубежья: Юрий Бондарев, Юрий Карякин, Станислав Куняев, Лев Аннинский <...>, правнук писателя Андрей Достоевский¹² и внучатая племянница Лидия Спивак, потомки Пушкина, Элина Быстрицкая, Вера Васильева, Владимир Конкин... Сюда прибыли президент Итальянского дома культуры в России, крупнейший специалист по русской литературе Витторио Страда, президент неправительственного фонда “Возрождённая провинция” Нинель Шахова, председатель правления Всероссийской ассоциации международных культурных и гуманитарных связей Юрий Мелентьев; жители Зарайска и окрестных деревень»¹³.

В воспоминаниях поэта Станислава Куняева передана атмосфера острого идеологического противостояния тех дней, что сказалось и на выступлениях гостей:

¹¹ Сысуева Т. Пророку — Отечество // За новую жизнь. 1993. №116 (10976), 9 октября.

¹² Краевед ошибочно называет Дмитрия Андреевича Достоевского, правнука писателя, Андреем.

¹³ Полянчев В. И. Зарайская летопись. М.: Academia, 2001. С. 267.



Поэт С. Ю. Куняев. 25 сентября 1993 г.

Фото из фондов Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»

«Поздняя, но ещё золотая осень. Синее чистое небо. <...> Сотни людей на поляне неподалёку от села Даровое. Открытие памятника Фёдору Михайловичу Достоевскому в его родовом имении... А в покинутой нами Москве кипят страсти — противостояние Кремля и Белого дома достигло предела. О, если бы это была схватка двух кланов в борьбе за власть! — Нет, дело пострашнее и посерьёзнее: за каждым из этих властных кланов так или иначе стоят надежды, страхи, воля, корысть, гнев, жажда справедливости и возмездия не то чтобы сотен тысяч — миллионов граждан! И если вспыхнет война — то и называться она будет гражданской...»

Однако меня приглашают выступать. Я оглядел поляну, разноцветную толпу, оглянулся на своих писателей и собратьев, и недругов, вдохнул полной грудью холодный, настоянный на привядшей листве осенний воздух и, словно бы почувствовав ещё раз горячую волну людского раздора, долетевшую от Москвы до Рязанской земли¹⁴, поднялся на трибуну:

— Поистине в роковые дни мы открываем памятник Достоевскому: бесы правят бал в сердце России — Москве, и в сердце Москвы — Кремле. Святое место! Но именно туда их тянет, поближе к святости!

Я сделал паузу, поднял глаза и увидел пылающее гневом лицо Юрия Карякина, вспомнил, что некогда он написал любопытную книгу о Достоевском, и втиснул свои мысли в единственно возможное в эти дни русло:

— Достоевский проклял бесов революции, но лишь после того, как прошёл через социалистические соблазны. Соблазны же капитализма, рынка и демократической антихристианской власти денег для него были настолько ничтожны и омерзительны, что он

¹⁴ Куняев ошибочно называет датой открытия памятника 1 октября 1993 года и настойчиво относит Даровое к Рязанской — есенинской — земле.



Д. А. Достоевский, правнук писателя. 25 сентября 1993 г.

Фото из фондов Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»

в них никогда даже и не впадал. Тайна Достоевского — это тайна русской народной души, русской истории, русского Бога, которых всегда страшился и ненавидел Запад. И тот, кто сегодня пытается подчинить Россию западной рыночной воле, — тот враг Достоевского и слуга Великого Инквизитора.

Ах, Фёдор Михалыч, ты видишь, как бесы
уже оседлали свои “мерседесы”,
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
рвануться за славою и за валютой!

После шумного и многолюдного банкета мы возвращались на “Икарусе” по ночному шоссе в Москву, без обычного в подобных случаях бестолкового веселья, скорее угрюмо и почти молча. Завтрашний день по всем предчувствиям не сулил никому из нас ничего хорошего»¹⁵.

В этот же день, 25 сентября в 19:00 пресс-служба Президента России распространила текст указа Бориса Ельцина «Об ответственности лиц, противодействующих проведению поэтапной конституционной реформы». Около 23:00 в Белый дом поступила информация о готовящемся в ночь на 26 сентября штурме.

На события в Даровом откликнулась «Литературная газета», отметив полемическую остроту мероприятия и символический его смысл:

¹⁵ Куняев С. Воспоминания. М.: Институт русской цивилизации, 2016. С. 458–460.

«В субботу, 25 сентября, Александр Солженицын участвовал в открытии памятника крестьянскому восстанию в Вандее. В тот же день на другом конце света, в полутора часах от солженицынской Рязани, под Зарайском, в бывшем поместье Достоевских — сельце Даровом — был открыт памятник автору “Записок из Мёртвого дома”, “Бесов”, “Братьев Карамазовых”.

Для старого монумента Достоевскому-каторжнику, что уже прижился в Москве, Сергею Меркурову позировал Александр Николаевич Вертинский. Прихотливая пластика Вертинского усугубляла страдальческий облик писателя. Автор нынешнего памятника Юрий Иванов держал в уме портрет Достоевского кисти Перова. Лучший, как он считает, портрет Достоевского и лучший из портретов Перова. Это Достоевский-мыслитель, узнаваемый и притягательный.

На самом первом московском памятнике написано “Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия”. На рядовом монументе недавней эпохи красуется: “... Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза”. Для Фёдора Михайловича мрачные остроумцы придумали когда-то большевистскую резолюцию: “Достоевскому от бесов”.

Говорят: нет пророка в своём отечестве. Естественно, при его жизни. Создатели нынешнего памятника по праву потомков выбрали на постаменте торжественные и умиротворяющие слова: “Пророку — Отечество”. Но страсти, раздирающие наше Отечество, не улеглись в присутствии бронзового пророка. Сначала Юрий Бондарев, вынырнув из пучины красноречия, припечатал “казённых либералов, которым присуща кровавая трусость”. Затем Станислав Куняев уже без обиняков сообщил как последнюю новость, что в то самое время, когда мы открываем памятник, “бесы в столице правят бал”. Чем и вызвал возражение Юрия Карякина: “Мы присутствуем при изгнании бесов. Правда, хуже всего, когда против бесов борются бесы”.

Пока всё это говорится, в роще за памятником на радость детворе с шумом надуют огромный пёстрый воздушный шар. Ветер его раскачивает, ломая ветви деревьев. Кто-то догадывается, что надо пожалеть если не Достоевского, то хотя бы рощицу. Не оправдав надежд, шар медленно опадает.

Гремит военный оркестр. Отец Михаил поспешно уходит: в Зарайске его ждёт вечерняя служба. Но молитва, сотворённая им при освящении памятника, возвращается вновь и вновь: “Святый мучениче Феодоре, моли Бога о нас...” В ней — наше утешение. А надежда на людей, имеющих силы и средства, способных за три месяца соорудить монумент, достойный Достоевского, — людей таланта и воли. Таких, как Юрий Иванов, как Н. А. Ковальчук и Л. Ф. Монастырский, как Б. В. Писарев, С. М. Ерхов, О. С. Минасов...»¹⁶

Открытие памятника Ф. М. Достоевского в Даровом мыслилось инициаторами как начало большого дела по возрождению земли детства великого русского писателя:

«Мы поставили задачу не только возродить исторический облик Дарового, насколько это возможно по сохранившимся документам, но и несколько расширить функциональные возможности этого заповедного места, активно включив его в духовную жизнь возрождающейся России»¹⁷.

Предлагаемые Л. Ф. Монастырским в письме первоочередные мероприятия по разработке охранных зон, сохранению мемориального ландшафта

¹⁶ Радзишевский В. Пророку — отечество // Литературная газета. 1993. № 39. 29 сентября. С. 6.

¹⁷ Письмо Л. Ф. Монастырского Р. И. Хазбулатову. 07.09.1993. МЗК. № 78. Лл. 1, 2.



Открытие памятника Ф. М. Достоевскому в Даровом 25 сентября 1993 года. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».

усадыбы Даровое были реализованы лишь спустя 28 лет — к 200-летию Ф. М. Достоевского в 2021 году. Однако уникальное событие 1993 года — установка памятника как частная инициатива неравнодушных людей, как дар Даровому — способствовало привлечению внимания к «этому маленькому и незамечательному месту» (25; 172), объединению вокруг него добровольных помощников и благотворителей, учёных-исследователей и музейных работников, что в конечном счёте принесло свои плоды.

Список литературы

1. Даровое Достоевского: материалы и исследования/ Под ред. А. С. Бессоновой. Коломна: ИД «Лига», 2021. 544 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/libsearch/o_2128255#1 (20.02.2024)
2. Дементьева Т. Н., Боголюбская И. А. История Музея-усадыбы «Даровое»// VI Летние чтения в Даровом/ ред.-сост. В. А. Викторovich. Коломна, 2021. С. 201–216. [Электронный ресурс]. URL: <https://darovoe.ru/wp-content/uploads/2022/06/Летние-чтения-в-Даровом-VI.pdf> (20.02.2024)

3. Куняев С. Воспоминания. М.: Институт русской цивилизации, 2016. 688 с.
4. Полянчев В. И. Зарайская летопись. М.: Academia, 2001. 368 с.

References

1. *Darovoe Dostoevskogo: materialy i issledovaniya/ Pod red. A. S. Bessonovoj* [*Dostoevsky's Darovoe: The Materials and Research/ Edited by A. S. Bessonova*]. Kolomna: Izdatel'skiy Dom Liga Publ., 2021. 544 p. Available at: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/libsearch/o_2128255#1 (Accessed on March 18, 2024). (In Russ.)
2. Dementieva T. N., Bogolyubskaya I. A. The History of the Museum-Estate Darovoe. In: *VI Letnie chteniya v Darovom / red.-sost. V. A. Viktorovich* [*The 6th Summer Readings in Darovoe*]. Kolomna, Izdatel'skiy Dom Liga Publ., 2021, pp. 201–216. Available at: <https://darovoe.ru/wp-content/uploads/2022/06/Letnie-chteniya-v-Darovom-VI.pdf> (Accessed on March 18, 2024). (In Russ.)
3. Kunyaev S. *Vospominaniya* [*The Memoirs*]. Moscow: Institute of Russian Civilization Publ., 2016. 688 p.
4. Polyanchev V. I. *Zarajskaya letopis'* [*The Chronicle of Zaraysk*]. Moscow: Academia, 2001. 368 p.



ХРАНИТЕЛИ



Г. С. Прохоров

**ВЕРА СТЕПАНОВНА НЕЧАЕВА:
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДА**

Аннотация. Вера Степановна Нечаева (1895–1979) — видная фигура советского достоеведения, с деятельностью которой связано становление указанной дисциплины. В настоящей статье на материале документов Российской государственной библиотеки, Государственной академии художественных наук, Российского государственного архива литературы и искусства изучена история формирования Нечаевой как исследователя, движение её научных интересов от Российской империи к СССР. Статья раскрывает вклад Нечаевой в формирование Музея Достоевского в Москве, фонда Достоевского в Российской государственной библиотеке, её участие в первоначальной музеефикации усадьбы Достоевских Даровое, а также определяет влияние научного и культурного багажа Нечаевой на её интересы и воззрения как советского литературоведа.

Ключевые слова: Вера Степановна Нечаева, достоеведение и литературоведение в СССР, ранний СССР, Московский музей Достоевского, усадьба Даровое.

Информация об авторе: Георгий Сергеевич Прохоров, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Государственного социально-гуманитарного университета, Коломна, Московская область.

E-mail: hoshea.prokhorov@gmail.com

Georgy S. Prokhorov

**VERA STEPANOVNA NECHAEVA:
THE FORMATION OF THE SOVIET LITERARY CRITIC**

Abstract. Vera Stepanovna Nechaeva (1895–1979) was quite an influential figure of the Soviet Dostoevsky Studies, she was actively involved in the genesis and development of the field. In accordance with the unpublished and mostly unknown sources from documents of the Russian State Library, the State Academy of Art Sciences, the Russian State Archive of Literature and Art, her path in academia is traced from the period of the late Russian Empire to the pre-WW2 Soviet Union. Her personal involvement in the establishment of the Moscow Dostoevsky Museum, the Dostoevsky collection of the Russian State Library manuscript department and participation in the initial museumification of the Dostoevsky estate Darovoe is studied. The article also interprets how her scientific and cultural background influenced her activity and interests as a Soviet literary scholar.

Keywords: Vera Stepanovna Nechaeva, early USSR, Soviet Literary Studies, Soviet Dostoevsky Studies, Moscow Dostoevsky Museum, Darovoe Estate.

Information about the author: Georgy Sergeevich Prokhorov, PhD (Philology), Professor of the Department of Russian Language and Literature, State University of Social Sciences and Humanities, Kolomna, Moscow Region.

E-mail: hoshea.prokhorov@gmail.com

Вера Степановна Нечаева (1895–1979) — заметная фигура в советском достоеведении. Формирование Московского музея Достоевского, персонального фонда Достоевского в Отделе рукописей РГБ, изучение ранней личной и творческой биографии писателя, изданий «Время» и «Эпоха» и многое,

многое другое так или иначе связаны с Нечаевой [Нечаева, 1934; Нечаева, 1939; Нечаева, 1972; Нечаева, 1975; Нечаева, 1979; Фёдор Михайлович Достоевский... 1972]. Но что мы знаем о её формировании и вхождении в мир достоевения?

В образовательном и научном пространстве имперской России

Нечаева родилась 2 февраля 1895 года в Вешняках — ныне район Москвы, а тогда поселение при Казанской железной дороге¹. Её отец был выходцем из крестьян Бежецкого уезда Тверской губернии². Впрочем, вплоть до автобиографии 1932 года она не приписывала себе рабоче-крестьянское происхождение, а в графе «социальное происхождение» указывала: «отец мещанин», «ж. д. служащ^{ий}, счетовод»³. По воспитанию и уровню образования относилась к разночинной интеллигенции: получила московское гимназическое образование у Гроссман и Валицкой; гимназию последней закончила в 1912 году⁴. Знала иностранные языки, хотя в качестве единственного со свободным владением отмечала русский⁵. Об остальных писала так: «читает и переводит со словарём: итальянский; читает и может изъяснить: немецкий, французский»⁶.

В 1913 г. поступила на историко-филологическое отделение Высших женских курсов в Москве, а в 1917 г. успешно завершила обучение. Летом 1914 года совершила учебную поездку в Италию⁷, прерванную началом Первой мировой войны. Впоследствии за путешествие приходилось оправдываться: «Будучи студенткой, с экскурсией учителей была за границей, в Италии (лето 1914 г.), куда меня привлекало изучение истории искусств»⁸.

Ко времени Высших женских курсов относятся первые научные интересы Нечаевой. В их фокусе — творчество кн. Вяземского. Научным руководителем выбирает Алексея Евгеньевича Грузинского (1858–1930) — видного популяризатора новой русской литературы и методиста. Грузинскому был свойственен скептицизм насчёт неоклассики в образовании — он оппонировал «классицистическим» идеям М. Н. Каткова, политике Министерства народного просвещения, отрицая возможность выделять из литературного наследия некие общепринятые образцы и на их базе строить школьное изучение предмета. Поэзия, по мысли исследователя, — не набор примеров поведения и мысли, которые достаточно заучить и перенять [Грузинский: 88–89], ученикам нужно прочувствовать многообразие поэтических форм, эстетического опыта человечества, связанность искусства и эмпирической жизни. Взаимодействие с Алексеем Евгеньевичем стимулирует не только начальные научные интересы ранней Нечаевой в русской литературе: будучи студенткой Высших жен-

ских курсов, она «...одну зиму учение на курсах совмещала с преподаванием в детском училище Валицкой»⁹. Разразившаяся война раскрывает в Нечаевой склонность к активизму: «...зиму 1914–1915 г. работала в одном из городских госпиталей»¹⁰ (ср. справку о прохождении курсов сестринского дела¹¹).

Нечаева не относилась к привилегированным классам, но была хорошо адаптирована к жизни в Российской Империи. Она даже сочиняла стихи в манере модного в те годы модернизма:

Новодевичий монастырь

Колокольня и башни... Между башнями стены,
А за стенами кельи, гробницы, кресты...
В церкви кто-то читает, монотонно, без смены,
И шуршат под рукою старой книги листы.
«Иисусе сладчайший», — голос всё повторяет
И склоняются плавно монахинь ряды...
Перед древней иконой свечка медленно тает,
Над окладом бумажные меркнут цветы.
Сумрак вечерний так лёгок. Талый снег под ногами.
Звон вечерний протяжно и поёт и грустит
В небе бледнозелёном там вдали над лугами
Острый месяца серп загораясь дрожит.
(1916)¹²

Неудивительно, что хаос 1917–1918 гг. Нечаева проводит в стороне от Москвы, в родных Вешняках. Там Вера Степановна создаёт начальную школу при местном народном доме, где преподаёт литературу по красной программе:

Жизнь за городом (в пос. Вешняки Каз^{анской} ж. д.), необходимость зарабатывать деньги, тяжёлая болезнь родителей в 1915–1916 г. — всё это отрезало меня от общественной жизни студенчества, в которой я мало принимала участие. В октябре 1916 г. умерла от рака моя мать, а в январе 1917 от туберкулёза отец. Под сильным впечатлением этих личных событий прошёл для меня 1917 год. Желание примкнуть к общественной жизни и работе нашло выражение в организации мною детской библиотеки в пос. Вешняки (от имени Народного Дома), кот^{орую} я оборудовала и проработала в ней бесплатно 1 ½ года её существования. Осенью 1918 г. я приняла ближайшее участие в организации пятиклассной поселковой советской школы I ступени (Ухтомск^{ского} Отд^{ела} нар^{одного} обр^{азования}), где стала учительствовать после её открытия и была выбрана председателем Школьного Совета¹³.

Октябрьская революция разорвала жизнь Веры Степановны на до и после. Усилия по вхождению в модернистский мир Европы 1910-х гг. перестали быть актуальными; интерес к дворянской «чистой поэзии» — несвоевременным. Оказавшись в весьма непростой ситуации, Нечаева выжидает

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.

¹² Нечаева В. С. Новодевичий монастырь. [Электронный ресурс]. URL: <https://blagaya.ru/kto-ya/semya/vera-stepanovna-nechaeva/verses/novodevichij/> (12.01.2024).

¹³ Нечаева В. С. Curriculum vitae. // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 5. Л. 1–1 об.

¹ Нечаева В. С. Curriculum vitae // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 5. Л. 1.

² Там же.

³ Личное дело Веры Степановны Нечаевой // ОХИД РГБ. Оп. 161. № 460. Л. 3.

⁴ Нечаева В. С. Curriculum vitae. Л. 1.

⁵ Личное дело Веры Степановны Нечаевой. Л. 7 об.

⁶ Там же.

⁷ Личное дело Веры Степановны Нечаевой. Л. 3.

⁸ Нечаева В. С. Curriculum vitae. Л. 1.

и осторожничает, но при этом не изолируется от течения жизни. Просто не летит впереди паровоза — послереволюционные анкеты год за годом отражают нейтральный статус: «Партийность: б/п. Кандидат: нет. Член ВЛКСМ: нет. Состоял ли ранее в ВКП(б): нет»¹⁴.

Между Гершензоном и Переверзевым: первые самостоятельные шаги в науке

Октябрьская революция была для Нечаевой не только вызовом, но и возможностью. Исследователям открылись бывшие частные собрания, началась работа по формированию государственного архивного фонда. Молодая Вера Степановна входит в научный и культурный бомонд тогдашней Москвы. Она либо член, либо неформальный сотрудник ведущих комиссий и обществ: юбилейной Пушкинской комиссии, Комиссии по изучению Достоевского при Государственной академии художественных наук, Общества любителей Российской словесности, Общества изучения Московской губернии, Общества «Старая Москва». В кругу общения — Гольденвейзеры, А. А. Бахрушин, Б. И. Коплан, Н. Ф. Бельчиков и А. С. Долинин, Г. И. Чулков, П. Н. Сакулин, В. Ф. Переверзев. Но на первом плане в этом раннем периоде находится Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) — знаменитый историк культуры и литературный критик.

В 1921 году Вера Степановна поступила на должность старшего архивариуса в головную архивную организацию — Центрархив¹⁵, где её непосредственным начальником оказался Михаил Осипович. Изначально профессиональное взаимодействие вылилось в многолетнюю дружбу с ним и его разветвлённым семейством. Во время продолжительного лечения Гершензона в Германии именно Вере Степановне доверены «московские дела» — от подготовки к изданию книг до получения и сохранения заработной платы учёного и даже защиты его квартиры от изъятия за длительное неиспользование (как-никак на дворе эпоха «уплотнений»):

«Спасибо большое за хлопоты с деньгами. Первые деньги, которые у Вас находятся для меня, будьте добры, отдать А. Г. Гольденвейзеру; сто миллионов, которые я занял у него перед отъездом. Что же касается дальнейших получек, то ничего не посылайте мне; мне пока не нужно, — а лучше накопить что-нибудь к тому времени, когда мы вернёмся. Поэтому делайте с моими деньгами так, как я просил (т. е. превращайте их <в золото. — Г. П.>, как мы говорили, — и отдавайте Елиз<авете> Ник<олаевне> для сохранения»¹⁶.

Михаил Осипович умер в 1925 г., но Нечаева сохраняет близкие отношения с семейством Гершензонов-Гольденвейзеров. Деньги на установку памятника и приведение могилы учёного в порядок собирают в ГАХНе именно при её ак-

тивном участии и содействии¹⁷. Да и проживает Нечаева вплоть до получения в 1960-х гг. собственного жилья в бывшей квартире Михаила Осиповича — «Вере Степановне Нечаевой. Никольский пер. д. 13. кв. Гершензона»¹⁸.

От Гершензона Нечаева перенимает опыт архивной и издательской работы, учится комментировать документы. В некотором роде Михаил Осипович приводит Веру Степановну в достоеведение. Когда последняя обнаруживает в «Санкт-Петербургских ведомостях» неизвестные фельетоны Достоевского, то Гершензон помогает их подготовить к печати и опубликовать в Берлине в видном эмигрантском издательстве «Эпоха». Эта книга¹⁹ с большой вступительной статьёй стала для Веры Степановны пропуском в науку. Не обошлось без содействия Гершензона при вхождении в Комиссию по изучению Достоевского при Государственной академии художественных наук²⁰.

Примечательно, что лично Михаилу Осиповичу не нравилась ни личность Ф. М. Достоевского, ни интерес к ней Веры Степановны (вероятно, сказывалось восприятие писателя как записного антисемита). Он стремился увлечь Нечаеву другим братом Достоевским: «Спасибо за письмо от 14-го, всё интересно. Вы как заняты! Ничего — это «карьера», это на время нужно и хорошо. О М. М. Достоевском именно написать, а если есть новые материалы — тем лучше. Он лично мне симпатичнее брата, и с дарованием был человек»²¹. Из сохранившейся в фонде Нечаевой подборки её издательских договоров вытекает, что речь идёт о книге «Достоевский и его старший брат», которая в 1925 г. должна была выйти в венском издательстве R. Piper под редакцией Р. Фюлепа-Миллера²². Публикация вряд ли была осуществлена, неизвестно, сохранилась ли рукопись: в довоенных библиографиях Нечаевой каких-либо упоминаний о ней нет²³.

После смерти Гершензона Вера Степановна оказывается в орбите Павла Никитича Сакулина (1868–1930), под руководством которого изучает новую русскую литературу и пишет диссертацию на тему «Молодой Достоевский. Ранние повести» в аспирантуре Института языка и литературы РАНИОН. Параллельно под руководством Владимира Максимовича Фриче (1870–1929) изучает западную литературу и пишет работу по Бальзаку, текст которой не сохранился. К 1929 году диссертация завершена, оппонентами назначены В. Ф. Переверзев (1882–1968), коллега по Комиссии Достоевского ГАХН, и академик А. С. Орлов (1871–1947). Защита не состоялась. Помешала тяжело протекавшая беременность. Затем — радикальная реорганизация ранних

¹⁷ Протоколы президиума Литературной секции ГАХН за 1926/27 гг. // РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. № 43. Л. 106–107.

¹⁸ Письма Г. И. Чулкова В. С. Нечаевой // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 18. Ед. хр. 77. Л. 10, ср.: л. 8 об.

¹⁹ Достоевский Ф. М. Петербургская летопись. Четыре статьи 1847 г. (Из неизданных произведений). Пг.; Берлин: Эпоха, 1922. 76 с.

²⁰ Письма Г. И. Чулкова В. С. Нечаевой. // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 18. Ед. хр. 77. Л. 1.

²¹ Письма М. О. Гершензона к В. С. Нечаевой. Л. 16.

²² ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 4. Л. 1–2. Ср. также: Личное дело В. С. Нечаевой <в ГАХНе> // РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. № 435. Л. 2 об.

²³ Список печатных работ В. С. Нечаевой 1941 г. // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 3.

¹⁴ Личное дело В. С. Нечаевой // ОХИД РГБ. Оп. 161. № 460. Л. 3.

¹⁵ Там же. Л. 3 об.

¹⁶ Письма М. О. Гершензона к В. С. Нечаевой // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 19. Ед. хр. 43. Л. 2–2 об.

советских научных заведений²⁴. Вероятно, сказала и смерть П. Н. Сакулина, В. М. Фриче. В 1938 г. Нечаеву представят к учёному званию профессора по совокупности научных достижений, но Высшая аттестационная комиссия ответит отказом за отсутствием у претендента научных публикаций соответствующего уровня. Без защиты диссертации Вере Степановне присвоят звание старшего научного сотрудника и степень кандидата филологических наук²⁵.

Кстати, об отношениях с одним из планировавшихся оппонентов — Валерьяном Фёдоровичем Переверзевым, автором одной из самых ранних научных монографий о творчестве Достоевского [Переверзев, 1912]. В глубоко советские годы Вера Степановна так опишет их отношения:

«Здесь не место характеризовать жизнь и деятельность этого первого отряда советских аспирантов, в который я попала, но не могу в связи со своей темой не отметить, какую большую роль в нашем секторе играли В. Ф. Переверзев и его ученики. При всём моём стремлении овладеть марксистским методом в изучении литературных памятников я никак не могла согласиться с пренебрежительным отношением “переверзевцев” к роли писательской личности и биографии в литературоведческих исследованиях...»

И несколькими страницами далее добавит уже насчёт отношения учеников Валерьяна Фёдоровича к формированию музея Достоевского: «Не встретила сочувствия эта идея и у моих сотоварищей — аспирантов РАНИОН, а особенно “переверзевцев”, которые подсмеивались надо мной, как будущим “хранителем” котелков и других вещей Достоевского» [Нечаева, 1985: 276, 278]. Впрочем, в 1927–1929 гг. Нечаева работала во II МГУ ассистентом непосредственно Переверзева, вела за ним семинары по новой русской литературе²⁶. Знаем мы также, что организовать вывоз мемориальных вещей из Дарового в создаваемый Московский музей Достоевского, равно как озаботиться фотофиксацией даровских построек, — всё это предложил и помог реализовать именно Валерьян Фёдорович²⁷.

Переверзев не был приветствуем ни в дореволюционные годы, ни в большую часть советского периода. До 1917 г. считался левым радикалом, подвергался неоднократным арестам. После 1917 г. тоже был репрессирован, а впоследствии охарактеризован «вульгарным социологом». Приведённая выше печатная интерпретация Верой Степановной Переверзева — характерный пример идеологической самоцензуры, сопровождающей повсеместно её тексты. Письма 1920–1940-х гг. отражают её многолетнюю дружбу с Михаилом Васильевичем Волоцким (1893–1944), антропологом, евгеником и достоеведом-любителем. На примере рода Достоевского он изучал вопросы ассоциированности и наследуемости творческих способностей и психических расстройств. Для Веры Степановны он был «про-

пуском» в мир родственников писателя. В 1930–1940-х гг. уже дружат их дети — Дмитрий и Зоя²⁸. Однако в послевоенные годы отсылки Нечаевой к Волоцкому предельно лаконичны, сведены к одному-единственному дню: «8 июля 1925 г. М. В. Волоцкой, автор труда “Хроника рода Достоевского” (1933), и я, автор этой книги, ездили в Даровое...» [Нечаева, 1979: 93]. Волоцкой умер, а евгеника в послевоенном СССР не приветствовалась, как и по всему миру. Лишние упоминания могли навести ненужную тень, особенно если принять во внимание заголовки работ Волоцкого из 1920-х годов — «Поднятие жизненных сил расы = Die Hebung der Lebenskraft der Rasse: (новый путь)» (М., 1923), «Классовые интересы и современная евгеника» (М., 1925).

Нечаева умела тонко чувствовать ход истории и конъюнктуру, а искренность — далеко не главная черта сохранившихся от неё эгодокументов. В воспоминаниях Вера Степановна обращается к истории своего вхождения в достоеведение. В белой версии мы читаем:

«...год моего включения в литературоведение Москвы был 1921 год, отмеченный крупнейшей юбилейной датой — столетием со дня рождения Ф. М. Достоевского. В печати появился ряд статей, сборников, сообщений о заседаниях, ему посвящённых, общих оценках его значения и творчества. Прозвучала вдохновенная речь А. В. Луначарского: “Ф. М. Достоевский как художник и мыслитель”, напечатанная в “Красной Нови” (1921, № 4), привлекавшая всеобщее внимание и вызвавшая мой восторг»²⁹.

Несколькими же листами раньше в написанном не для печати, а исключительно для себя черновике находим иную, саркастическую оценку юбилея: «Юбилей 1921 года. Визги прессы. Организация Комисс<ии> по из<учению> Дос<т>оевского> 1922–1929 г. ГАХН (Коган, Сакулин, Чулков, Гроссман)»³⁰. Умение Веры Степановны лавировать спасло ей, скорее всего, не только карьеру, но саму жизнь. Оно же было значимо для недопущения запрета Достоевского и сохранения его наследия доступным советскому читателю [Прохоров, 2015: 159–164].

Нечаева и её «музейные проекты»

1921 год. Столетний юбилей Достоевского. А. В. Луначарский, народный комиссар просвещения, выступил с речью «Достоевский как художник и мыслитель», где очертил непреходящее значение писателя для советской культуры и послереволюционного общества³¹. 1920–1930-е гг. — период становления не только советских научных учреждений, но и формирования музейной сети [Колокольцова: 5–24; Нечаева, 1985: 277–278; Ятманов: II–III].

²⁸ ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 16. Ед. хр. 25. Л. 6, 10.

²⁹ Нечаева В. С. Записки советского литературоведа // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 2. Ед. хр. 2. Л. 23.

³⁰ Там же. Л. 19.

³¹ Луначарский А. В. Достоевский как художник и мыслитель (Стенограмма речи, произнесённой А. В. Луначарским на торжестве в честь столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского) // Красная новь. 1921. № 4. С. 204–211.

²⁴ Нечаева В. С. Curriculum vitae // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 5. Л. 2.

²⁵ Выписка из протокола <ВАК> об отклонении ходатайства об утверждении В. С. Нечаевой в учёном звании профессора 1938 г. // ОР РГБ. Ф. 972. Карт. 1. Ед. хр. 19. Л. 1. Ср. также: Личное дело Веры Степановны Нечаевой // ОХИД РГБ. Оп. 161. № 460. Л. 45.

²⁶ Личное дело В. С. Нечаевой <в ГАХНе>. РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. № 435. Л. 15 об.

²⁷ РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. № 42. Л. 4.

Хотя к 1930-м гг. эти ранние попытки приспособить Достоевского для советского культурного пространства окажутся не совсем успешными [Богданова: 190], чего нельзя сказать о музейной мемориализации фигуры писателя. Московский музей Достоевского, раз возникнув при больнице в 1928 году, будет проходить многочисленные административные преобразования, но не подвергнется закрытию ни в 1930-е, ни в период ждановщины... В создании этого музея активную роль играла Нечаева; более того, сама она многократно указывала, что этот музей — её личная идея: «...посещение квартиры вызвало первое смутное представление о возможности будущего музея в этих так хорошо сохранившихся стенах <...>. Идеей о создании Музея Достоевского в его квартире я, конечно, поделилась с Г. И. Чулковым, встретив его полное сочувствие» [Нечаева, 1985: 277–278].

В 1920-х гг. замысел музея Достоевского был связан с решением многих проблем, в числе которых — что именно музеефицировать: квартиру в Москве или усадьбу Достоевских в Даровом близ Зарайска?

Даровое — потенциально очевидный мемориал. Оно плотно связано с семейством писателя. Территория была не занята никакими официальными организациями. В усадьбе доживала племянница Достоевского, Мария Александровна Иванова, — старая, больная, зависимая от государственной поддержки: «Я решила (как только достану лошадь) поехать по соседям, ближайшим деревням, побираться рожью и картофелем. Ведь это не будет стыдно? Ведь не виновата же я, что я не могу больше работать и потому обеднела, не правда ли?»³²

Московская квартира на Божедомке — ничуть не менее значимое место. В ней десятилетия жила семья Достоевских, родился сам писатель, большинство его братьев и сестёр. Квартира, впрочем, занята влиятельной организацией — Институтом социальных болезней, который отвечал за борьбу с туберкулёзом. Да и в московском Историческом музее функционировала мемориальная комната Достоевского. Так нужен ли Москве второй музей Достоевского? Даже много лет спустя Нечаева будет подчёркивать различие между Московским музеем Достоевского и комнатой при Историческом музее, а также настаивать, что комната и близко не была посвящённым писателю музеем [Нечаева, 1985: 278].

В начале 1920-х гг. попытку сформировать музей в Даровом осуществили зарайские интеллигенты. По их предположению, усадьба должна развиваться под наблюдением Зарайского краеведческого музея. Однако проект неожиданно натолкнулся на жесточайшее сопротивление со стороны даровских крестьян: «В беседе с помощником заведующего Зарайским губмузеем В. С. Нечаева выяснила, что дальнейшее существование музея очень затрудняется отсутствием нужных средств на содержание сторожа, ремонт и стремлением местных крестьян использовать дом для своих целей (устройства клуба)»³³ [ср. Прохоров, 2010б: 183–228; Прохоров,

³² Письмо Ивановой Марии Александровны к М. В. Волоцкому // РГАЛИ. Ф. 117. Оп. 1. № 62. Л. 1 об.–2.

³³ РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. № 42. Л. 2.

2010а: 149–156]. Нечаева отлично понимала: если музеефицировать Даровое, то управлять конфликтом придётся ей, причём из Москвы. Вопрос также заключался в посещаемости музея³⁴, доставке экскурсионных групп, обеспечении сохранности и безопасности фондов и выставляемых материалов. Эти проблемы опять-таки были не понаслышке знакомы Нечаевой из общения с заведующим Зарайским музеем И. П. Перловым [Прохоров, 2014] или с руководителем местного музея в Старой Руссе — несказанно более крупном населённом пункте по сравнению с Даровым³⁵.

В отличие от даровских крестьян, московская интеллигенция — от академических учёных и до чиновников медицинского ведомства — активно поддерживала создание музея Достоевского и была готова способствовать:

«Комиссия по изучению Достоевского при Литературной секции Государственной академии художественных наук совместно с администрацией больницы имени Достоевского осенью 1926 года составили проект устройства мемориального музея Достоевского в квартире при больнице, где писатель провёл первые шестнадцать лет жизни. Администрация больницы с разрешения Мосздравотдела освободила для музея нужное помещение; Комиссия по изучению Достоевского составила план устройства этого музея и доставила уже для него некоторые вещи, принадлежавшие семье Достоевского из села Даровое»³⁶.

Поддерживал даже Исторический музей, руководство которого воспринимало комнату Достоевского скорее обузой: «М. М. Соколов приветствует музей от Государственного исторического музея и высказывает надежду, что как новый музей, так и комната Достоевского в Историческом музее послужат в будущем к созданию одного большого музея, достойного имени Достоевского» [1928]³⁷. Нечаева, впрочем, сомневалась в подобных заверениях и в первые годы работы настойчиво формулировала принципы, отделяющие создаваемый ею музей *памяти* от мемориального кабинета:

«Музей не является <выделено В. С. Нечаевой — Г. П.> хранилищем реликвий и предметов, связанных так или иначе с именем писателя. Его задача путём систематической экспозиции материалов показать посетителю как специалисту-литературоведу, так и рядовому экскурсанту, во-1^х, социальную среду, из которой вышел писатель и бытовые условия, в которых он жил; во-2^х, общественную и литературную атмосферу, окружавшую его на его жизненном пути (петрашевцы, шестидесятники и т. д.), и в-3^х, творческий путь писателя от "Бедных людей" до "Братьев Карамазовых"»³⁸.

³⁴ Ср. из докладной инструктора президиума Каширского уисполкома Л. Юсфила в отдел по делам музеев Главнауки, где содержится замечание об абсолютной непосещаемости Дарового. (Переписка с музеями Рязанской губернии, 1925 г. // ГА РФ. А-2307. Оп. 10. № 170. Л. 66).

³⁵ Нечаева В. С. Докладная записка о командировочной поездке в Старую Руссу заведующей музеем им. Ф. М. Достоевского (30 января — 2 февраля 1929) // РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. № 84. Л. 21–21 об.

³⁶ РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6 № 42. Л. 22.

³⁷ Протокол торжественного заседания по случаю открытия музея им. Ф. М. Достоевского 11-го ноября 1928 года // РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. № 84. Л. 8 об.

³⁸ Научная работа музея (1928–1931) // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 51. Л. 1.

Цель Нечаевой — формировать популярный облик Достоевского, знакомить публику с наследием писателя и тем самым компенсировать недостаточное присутствие всемирно известного писателя-классика в советском культурном пространстве. Усадьба в Даровом уходит на периферию. Впрочем, окончательно ликвидировать стихийно возникший там музей Нечаева изначально не собирается. Наоборот, она пытается держать руку на пульсе, чтобы сформировать там нечто вроде филиала³⁹. Последний был бы очень кстати московскому музею, поскольку подчёркивал бы связь столичного культурного заведения с далёкой провинцией, вклад в организацию культурно-массовой и просветительской работы в деревне. Все первые отчёты и планы Нечаевой содержат отсылки к Даровому:

«Связь музея с общественностью является слабым местом в работе Музея. <...> Музею предстоит в текущем году продолжить поддерживать связь и оказывать возможную помощь избе-читальне в Колхозе им. Достоевского (близ Зарайска), для чего, вероятно, придётся посетить Колхоз в течение наступающего лета»⁴⁰.

«Общественная работа музея в Колхозе имени Достоевского (г. Зарайск, с. Даровое). 1. Подготовка передвижки для избы-читальни им. Достоевского в колхозе. <...>. 2. Поездка сотрудников в Колхоз для устройства выставки, дачи пояснений и бесед с колхозниками. 3. (Предположительно) Организация в колхозе вечера художественного чтения Достоевского и показ фильма “Мёртвый Дом”»⁴¹.

«Как общественный работник обязуюсь принять все меры к тому, чтобы наладить работу и руководить ею в библиотеке-читальне в колхозе им. Достоевского (сейчас стоит заперта)»⁴².

Вера Степановна ведёт переписку с даровскими родственниками Достоевского [Прохоров, 2013: 334–358]. Осуществляет посредничество между ними и местными крестьянами, сглаживает конфликты, не допускает выселения престарелой Марии Александровны из усадебного дома. Нечаева явно обладала некоторым авторитетом в глазах даровского крестьянства, по меньшей мере у тех, кто жил и работал в Москве:

³⁹ См. распоряжение № 41–39 Музейного подотдела Московского отдела народного образования от 31 декабря 1928 г. о передаче усадьбы Даровое в распоряжение Московского музея Достоевского на правах филиала (Докладные записки по вопросу организации музея Достоевского при больнице (1928 г.) // ЦГАМО. Ф. 966. Оп. 4. № 2341. Л. 2). Нечаева, по-видимому, недооценила последствия чуть более позднего акта № 82–213 от 8 марта 1929 г. о передаче “...фруктового сада и парка при доме писателя Ф. М. Достоевского, а также хозяйственны-<х> построек» в пользование коллектива им. Достоевского” (Докладные записки зав. музеем Достоевского Нечаевой о её поездках в командировку в Ленинград и Старую Руссу с целью собирания экспонатов для музея. Переписка об устройстве музея Достоевского в его бывшей усадьбе «Даровое» Старо-Русского уезда // ЦГАМО. Ф. 966. Оп. 4. № 2504. Л. 10. Приписка Дарового к Старорусскому уезду ошибочна). Акт прямо не упоминает о передаче в ведение колхоза мемориального дома, то есть пространство для организации филиала сохранялось.

⁴⁰ План работ Музея им. Достоевского на 1931 год // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 51. Л. 89.

⁴¹ Производственный план Музея им. Ф. М. Достоевского на 1932 г. // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 15 об.

⁴² Обязательство заведующей музеем Ф. М. Достоевского В. Нечаевой. 1 янв. 1933 // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 7.

«Уважаемая Вера Степановна, сообщаю вам письмо ваша я получил от 20/X 32 г. дою вам твёрдыя обещания что 31 ч. я выеду за вами в Зарайск в краем если я почему либо запоздою к поезду на несколько бут добры немного обождат. Досвидания. 25/X 32. <А. И.> Макаров»⁴³.

В первые годы советской власти у Веры Степановны был успешный опыт организации народной школы. Теперь она пытается привлечь даровских крестьян к культурной деятельности. Но к 1933 году становится ясно, что затея провалилась. Местное крестьянство категорически не хочет сотрудничать. Они видят более простое и, по их мнению, эффективное применение усадебной недвижимости —

«В мае <1933> сотрудник Метельская была командирована в с. Даровое в колхоз им. Достоевского в связи с открытием детясель в доме усадьбы Д<остоевски>х для согласования возникавших вопросов о музейной комнате, её охраны и составления точной описи её экспозиции»⁴⁴.

Отчёт за 1-е полугодие 1934 года демонстрирует окончательное вытеснение Московского музея Достоевского из пространства Дарового:

«Музей не имел никаких сведений о Колхозе им. Достоевского и усадьбе Даровое с осени 1933 г. Запросил правление Колхоза, волостной Моногаровский совет и Отдел народного образования Зарайского Совета, но до сих пор ни на одно из трёх обращений не получил ответа. Стоит вопрос о командировочной поездке в Даровое»⁴⁵.

Последующие документы Московского музея Достоевского не содержат отсылок к Даровому.

Пока исчезал мемориал в Даровом, московский музей успешно встал на ноги. Первоначальную весьма стихийную экспозицию⁴⁶ сменила более концептуальная:

«Основная тематика музея — Жизнь и творчество Достоевского. Основные разделы музея: I. М. А. Достоевский — врач Мариинской больницы для бедных и быт его семьи. II. Литературные интересы Достоевского в детстве. III. Сельцо “Даровое”. IV. Годы учения в Военно-инженерном училище»⁴⁷.

Музей наполнился посетителями⁴⁸. Последние далеко не всегда импонировали сотрудникам — «странная публика (учащиеся), читая письма из каторги, хохочет (а совсем взрослые)»⁴⁹. Проводятся временные выставки, при помощи которых музей откликается на веление момента:

⁴³ Научная работа музея им. Ф. М. Достоевского. 1932–1935 // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 52. Л. 10. Орфография подлинника документа.

⁴⁴ Отчёт о работе Музея Ф. М. Достоевского за I полугодие 1933 г. // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 44 об., ср.: с. 64 об. — из годового отчёта.

⁴⁵ ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 76.

⁴⁶ ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 38. Л. 27–39.

⁴⁷ Экскурсионная работа музея 1937–1939 гг. // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 60. Л. 78.

⁴⁸ Отчёт о деятельности Музея за 1928–1929 г. (с 11 ноября 1928 по 1 октяб<р> 1929) // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 51. Л. 37 об.

⁴⁹ Письма Н. З. Метельской к В. С. Нечаевой // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 17. Ед. хр. 74. Л. 5.

«По линии антирелигиозной работы музея из материалов церковного архива с. Моногарова близ Дарового устроена витрина, демонстрирующая связь служебников церкви <с помещичьей властью>, роль в помещичьем крепостном хозяйстве»⁵⁰.

Параллельно музей ведёт активную научную и консультационную работу. Задуманная, но не осуществлённая в Даровом читальня успешно реализована при московском музее⁵¹. Музей превратился в заметную культурную точку на карте Москвы⁵². И именно в таком качестве был передан из Библиотеки им. Ленина в создаваемый Государственный литературный музей⁵³. Впрочем, Нечаева ушла из музея на пороге этой реорганизации и предпочла должность главного библиотекаря Отдела рукописей ВГБИЛ⁵⁴. По каким-то причинам она не пожелала работать под руководством В. Д. Бонч-Бруевича — друга её отца, который скрывался в их доме от полиции.

«Архивный проект» В. С. Нечаевой

Музей Достоевского занимал небольшое помещение при Институте социальных болезней и его клинике. Его основная задача — сохранение памяти и формирование общественных представлений о писателе. Академическая научная деятельность была периферийной. Нечаева, однако, никогда не воспринимала себя исключительно музейщиком. Соответственно, её научная деятельность разворачивается внутри отдела рукописей Всесоюзной государственной библиотеки им. Ленина. Нахлёт активностей — музейных и архивных — хорошо поддерживался административными реалиями: в 1930-е гг. Московский музей Достоевского входил в систему библиотеки, где все 1930-е гг. Нечаева исполняет обязанности заместителя заведующего рукописного отдела⁵⁵, формируя личные фонды писателей, художников, скульпторов — деятелей искусства. Будучи целеустремлённым и системным человеком, она не забывала о своих научных интересах, а потому собрать во ВГБИЛ все ключевые рукописные источники, связанные с Достоевским, — её важнейшая цель:

«Директору Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина
Докладная записка зав. муз<еем> Достоевского.

⁵⁰ Отчёт о деятельности Музея за 1928–1929 г. (с 11 ноября 1928 по 1 октяб<ря> 1929) // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 51. Л. 90. Ср.: План-конспект выставки о Достоевском (фрагмент «детские годы») // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 57.

⁵¹ План доклада <в Методической комиссии при Московском областном музее. Май 1929> // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 51. Л. 66 об.

⁵² Отчёт о деятельности Музея за 1928–1929 г. (с 11 ноября 1928 по 1 октяб<ря> 1929) // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 51. Л. 37–37 об.

⁵³ Документы по передаче музея Достоевского от ВГБИЛ в ГЛМ // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 23. Л. 2–6.

⁵⁴ Документы, связанные с работой В. С. Нечаевой в должности заведующей Музеем-квартирой Ф. М. Достоевского. (1928–1940) // ОР РГБ. Ф. 792. Карт. 1. Ед. хр. 12. Л. 3.

⁵⁵ Личное дело Веры Степановны Нечаевой. Л. 64.

21 марта музей Достоевского посетила проживающая в Ленинграде М. В. Савостьянова, являющаяся внучатой племянницей писателя (внучка его брата, Ан<дрея> Мих<айловича> Достоевского). Она обратилась ко мне с просьбой содействовать приобретению Всесоюзной библиотекой им. Ленина сохраняющегося у неё семейного архива и передала мне краткую опись архива.

Содержание этого архива мне было и ранее известно вследствие давнего знакомства с А. А. Достоевским, после смерти которого М. В. Савостьянова получила архив.

Как специалист-исследователь жизни и творчества Достоевского я считаю нужным охарактеризовать этот архив как исключительно ценное собрание документов. Это последний крупный семейный архив Достоевских, находящийся в частных руках. Необходимость его приобщения к другим архивам семьи Достоевских, собранным в архивохранилищах (Пушкинский Дом, Централархив, Ленинская б-ка) совершенно очевидна»⁵⁶.

Так в библиотеке оказались материалы семейства Ивановых, моногаровского церковного архива, московской родни писателя. Параллельно она наполняет Отдел рукописей библиотеки не связанными с Достоевским материалами⁵⁷. Контакты с родственниками Достоевского, их друзьями и знакомыми Вера Степановна выстраивала с начала 1920-х гг. В целом, две должности и две деятельности Нечаевой хорошо поддерживали одна другую:

«...целью поездки было пополнение коллекция Музея. Сделаны следующие приобретения:

1) У наследников Е. М. Достоевской приобретена старинная хрустальная с золотом сахарница из семьи родителей писателя; 3 семейных письма 50–60-х гг. (М. М. и Н. М. Достоевских и Владиславлевых); 2 альбома иллюстраций к Достоевскому и Островскому; рисунок акварелью работы М. М. Достоевского.

2) От Ф. Ф. Нотгафта получила в дар Музею более 20 клише, изданной в 1923 г. книги «Белые ночи» с рисунками Добужинского в изд-ве «Аквилон».

3) В Музее города, секции «Старый Петербург» отобраны изображения Петербурга времён Достоевского и заказаны фотоснимки.

4) Заказан снимок автографа письма М. А. Достоевского, находящегося у М. В. Савостьяновой»⁵⁸.

Впрочем, далеко не всегда Нечаевой сопутствовала удача. Несмотря на хорошие личные отношения, Вере Степановне так и не удалось выкупить для ВГБИЛ архив М. В. Савостьяновой. Изначально ситуация казалась банальной: стороны не сошлись в вопросе о материальной компенсации за передачу документов. Причём Вера Степановна даже смогла выторговать у руководства библиотеки увеличение компенсационных расценок. Она понимала, что ВГБИЛ не единственный претендент на материалы, что Савостьянова легко может передать их, например, в Пушкинский Дом. Но к моменту, когда руководство Нечаевой одобрит более выгодное для Марии Владимировны предложение, та была недовольна уже самим то-

⁵⁶ Научная работа музея Достоевского от 1936–1939 гг. // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 58. Л. 11.

⁵⁷ Нечаева В. С. Отчёт о командировочной поездке в Ленинград 31 октября – 4 ноября 1938 г. // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 95–95 об.

⁵⁸ Нечаева В. С. Отчёт по поездке в Ленинград 3–10 февраля 1935 года // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 50. Л. 87.

ном, в котором с ней общалась Нечаева. Вера Степановна была идейным москвичом, считала этот город абсолютным центром страны, политическим, культурным, научным. А интеллектуальным центром Москвы — Библиотеку им. Ленина. Ей не импонировала возможность, что документы «утекут» в Ленинград, в Пушкинский Дом, а потому писала она, действительно, прямолинейно, резко.

«Многоуважаемая Мария Владимировна, Ваше письмо действительно огорчило меня. Дело не в моей личной работе по Достоевскому и не в «патриотизме» по отношению к Ленинской биб-ке, а по существу. <...> Ленинская библиотека всё же крупнейшее собрание документов по Достоевскому, значительно большее, чем в Пушкинском Доме. Не буду спорить против того, что Вы сами называете «сентиментальностями», а что касается «материальности», то Ленинская могла бы увеличить сумму, если бы Вы это сочли необходимым. <...> Может быть всё же Москва поколеблет Ваш «академический» патриотизм, тем более что и сама Академия тоже стала Московская? И добром ли поминал Андр<ей> Андр<еевич> свою работу в Пушк<инском> Д<оме> в последние годы жизни?»⁵⁹

В процитированном выше письме Вера Степановна отсылает к истории 1930 года, когда Андрей Андреевич Достоевский был арестован по Академическому делу (1929–1931) и осуждён на пять лет лагерей с конфискацией имущества. Он начал отбывать приговор на Соловках и строительстве Беломоро-Балтийского канала, но был спасён благодаря заступничеству А. В. Луначарского и М. И. Калинина. В 1936 году фраза Веры Степановны выглядела непolitкорректно. Савостьянова передала свои материалы в Пушкинский Дом.

Вера Степановна Нечаева на заре советского достоеведения была вовлечена в его ключевые события, а во многом и определяла ход становления новой области в литературоведении. С ней связаны выявление и консолидирование источниковедческой базы, мемориализация Достоевского, формирование музея. Фактически она собрала нынешний фонд 93 ОР РГБ. Вера Степановна действовала в жёстких условиях, окружающая конъюнктура отнюдь не поддерживала её интересы, разве что оставляла возможность адаптировать и встраивать. Эрудированная, практичная, целеустремлённая, Нечаева была незаменима, чтобы успешно провести «архискверного» — по выражению Ленина — Достоевского через идеологические повороты 1920–1930-х, осуществить институализацию советского достоеведения. Но интересно, что Вера Степановна в заметной мере прилаживает Достоевского к своей собственной траектории эволюции. Перед нами история осовечивания как исследователя, так и Достоевского, достоеведения. За 1920–1930-е гг. Вера Степановна адаптируется к новым культурно-политическим условиям, выстраивает новые контакты, осваивает марксистскую методологию. В этот период рождается тот советский литературовед, образом которого Нечаева гордилась под конец своей жизни, идеалистический же фундамент, сформированный в гим-

назиях и на Высших женских курсах, остаётся позади. Отношение к искусству и творцам как к социальным явлениям вытекает из освоения советского метода гуманитарных исследований, но прослеживается во всей деятельности Веры Степановны — от интереса к бытовой стороне жизни авторов и до формирования музея, вводящего не совсем удобного автора из минувшего прошлого в культурное пространство идеологически иной страны. Достоевский при этом далеко не очевидный предмет для изучения. Вероятно, в выборе Достоевского сказывается культурный багаж и стремление связать воедино минувшее и наступающее. В каком-то плане Нечаева создаёт из Достоевского проекцию себя, своего пути в мир социалистического государства и общества.

Список литературы

1. Богданова О. А. Некрасов как «оправдание» Достоевского: рецепция писателей в СССР 1930–1940-х гг. // Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация. Ярославль: Ярославский государственный университет, 2021. С. 189–193.
2. Грузинский А. Е. Методика русского языка и литературы: Курс, читанный на Московских высших женских курсах в 1916–17 учебном году. М.: Издательское общество при Историко-философском факультете Московских высших женских курсов. 1917. 122 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004216939?page=1&rotate=0&theme=white (07.03.2024).
3. Колокольцова Н. Г. Периодическая печать об образовательной деятельности музеев в первые годы советской власти // Колокольцова Н. Г., Юхневич М. Ю. Музейная пропаганда 1920–30 гг. в зеркале прессы. М., 1991. С. 5–24.
4. Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских: (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М.: Соцэкгиз, 1939. 160 с.
5. Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время»: 1861–1863. М.: Наука, 1972. 317 с.
6. Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»: 1864–1865. М.: Наука, 1975. 301 с.
7. Нечаева В. С. Из воспоминания об истории основания первого музея Ф. М. Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 6. Л., 1985. С. 274–295 [Электронный ресурс]. URL: <http://lib2.pushkinskiydom.ru/Media/Default/PDF/Dostoevsky/Materialy/Dostoevsky%20Materialy%201985%20vol.6.pdf> (10.03.2024).
8. Нечаева В. С. Музей Ф. М. Достоевского: [путеводитель]. М.: 1934. 77 с.
9. Нечаева В. С. Ранний Достоевский: 1821–1849. М.: Наука, 1979. 288 с.
10. Переверзев В. Ф. Творчество Достоевского: (Крит. очерк). М., 1912. 367 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003794980?page=1&rotate=0&theme=white (07.03.2024).
11. Прохоров Г. С. «Говорили, будто сын барина, Федор Михайлович, большим человеком стал. Не может, гражданин, быть, чтоб у эдакого отца такой сын был»: к вопросу об идеологической аранжировке в текстах о Даровом 1920-х годов // Вестник МГОСГИ. Коломна: МГОСГИ, 2010. № 2(10). С. 149–156.
12. Прохоров Г. С. Переписка с Главмузеем и Каширским Уисполкомом об охране музея-усадьбы «Даровое», принадлежавшей писателю Достоевскому // А. П., Ф. Д. и В. В.: Сборник в честь 60-летия проф. В. А. Викторовича. Коломна: МГОСГИ, 2010. С. 183–228.
13. Прохоров Г. С. Письма М. А. и О. А. Ивановых к В. С. Нечаевой // Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век, 2013. № 30 (2). С. 334–358.

⁵⁹ Научная работа музея Достоевского от 1936–1939 гг. // ОХИД РГБ. Оп. 3. № 58. Л. 8–9.

14. Прохоров Г. С. Письма И. П. Перлова к В. С. Нечаевой // Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век, № 32. 2014. С. 303–315.
15. Прохоров Г. С. Фёдор Достоевский: досоветский, антисоветский и советский (о политически мотивированных образах писателя) // Toronto Slavic Quarterly. 2015. № 3. С. 159–164 [Электронный ресурс]. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/53/tsq_53_prokhorov.pdf (07.03.2024).
16. Фёдор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах: [Альбом] / Под ред. В. С. Нечаевой. М.: Просвещение, 1972. 447 с.
17. Ятманов Г. С. Задачи «Музея» // Музей. Т. 1. Л., 1923. С. I–IV.

References

1. Bogdanova O. A. Nekrasov as a Dostoevskian Justification: The Reception of the Writers in the USSR during the 1930s–1940s. In: *Diskurs Nekrasova i Dostoevskogo: kul'turnoe nasledie i ego interpretaciya* [Nekrasov and Dostoevsky's Discourse: The Cultural Heritage and its Interpretation]. Yaroslavl: Yaroslavl University Publ., 2021, pp. 189–193. (In Russ.)
2. Gruzinsky A. E. *Metodika russkogo yazyka i literatury: Kurs, chitannyj na Moskovskih vysshih zhenskikh kursah v 1916–17 uchebnom godu* [The Methodology of the Russian Language and Literature: The Course Taught at the Moscow Higher Women's Courses in the 1916–17 Academic Year]. Moscow: Publishing Society at the Faculty of History and Philosophy of the Moscow Higher Women's Courses, 1917. 122 p. Available at: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004216939?page=1&rotate=0&theme=white (Accessed on March 09, 2024). (In Russ.)
3. Kolokoltsova N. G. The Periodical Press on the Educational Activities of Museums in the Early Years of Soviet Power. In: Kolokoltsova N. G., Yukhnevich M. Yu. *Muzejnaya propaganda 1920–30 gg. v zerkale pressy* [The Museum Propaganda of 1920–30 in the Mirror of the Press]. Moscow, 1991, pp. 5–24. (In Russ.)
4. Nechaeva V. S. *V sem'e i usad'be Dostoevskih. Pis'ma M. A. i M. F. Dostoevskih* [In the Family and the Estate of the Dostoevskys. The Letters of Mikhail A. and Maria F. Dostoevskys]. Moscow, Sotsekgiz Publ., 1939. 158 p. (In Russ.)
5. Nechaeva V. S. *Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskih "Vremya": 1861–1863* [The Journal of M. M. and F. M. Dostoevsky "The Time": 1861–1863]. Moscow: Nauka Publ., 1972. 317 p. (In Russ.)
6. Nechaeva V. S. *Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskih "Epoha": 1864–1865* [The Magazine of M. M. and F. M. Dostoevsky "The Epoch": 1864–1865]. Moscow: Nauka Publ., 1975. 301 p. (In Russ.)
7. Nechaeva V. S. From the Memoirs of the History of the Foundation of the First Museum of F. M. Dostoevsky. In: *Dostoevskij: Materialy i issledovaniya. Vypusk 6* [The Materials and Research. Issue 6]. Leningrad, 1985, pp. 274–295. Available at: <http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Dostoevsky/Materialy/Dostoevsky%20Materialy%201985%20vol.6.pdf> (Accessed on March 10, 2024). (In Russ.)
8. Nechaeva V. S. *Muzej F. M. Dostoevskogo: putevoditel'* [F. M. Dostoevsky Museum: The Guidebook]. Moscow: 1934. 77 p. (In Russ.)
9. Nechaeva V. S. *Rannij Dostoevskij: 1821–1849* [The Early Dostoevsky: 1821–1849]. Moscow: Nauka Publ., 1979. 288 p. (In Russ.)
10. Pereverzev V. F. *Tvorchestvo Dostoevskogo: Kriticheskij ocherk* [The Dostoevsky's Work: The Critical essay]. Available at: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003794980?page=1&rotate=0&theme=white (Accessed on March 10, 2024). (In Russ.)
11. Prokhorov G. S. "It was said that the Son of the Master, Fyodor Mikhailovich, became a Great Man. It cannot be, Citizen, that Such a Father has Such a Son": On the

- Question of Ideological Arrangement in Texts about the Darovoe Estate of the 1920s. In: *Vestnik MGOSGI* [The Bulletin of the Moscow State Social and Humanitarian Institute]. Kolomna: MGOSGI Publ., 2010, no. 2(10), pp. 149–156. (In Russ.)
12. Prokhorov G. S. The Correspondence with the Glavmusey and the Kashirsky Executive Committee on the Protection of the Museum-Estate Darovoe, which Belonged to the Writer Dostoevsky. In: *A. P., F. D. i V. V.: Sbornik v chest' 60-letiya professora V. A. Viktorovicha* [A. P., F. D. and V. V.: The Collection in Honor of the 60th Anniversary of Professor V. A. Viktorovich]. Kolomna: MGOSGI Publ., 2010, pp. 183–228. (In Russ.)
 13. Prokhorov G. S. The Letters of Maria A. and Olga A. Ivanovs to Vera S. Nechaeva. In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura* [Dostoevsky and World Culture]. St. Petersburg: Serebryanyj vek Publ., 2013, no. 30 (2), pp. 334–358. (In Russ.)
 14. Prokhorov G. S. Letters of I. P. Perlov to V. S. Nechaeva. In: *Dostoevskij i mirovaya kul'tura* [Dostoevsky and World Culture]. St. Petersburg: Serebryanyj vek Publ., 2014, no. 32, pp. 303–315. (In Russ.)
 15. Prokhorov G. S. Fyodor Dostoevsky: Pre-Soviet, Anti-Soviet and Soviet (On Politically Notivated Images of the Writer). In: *Toronto Slavic Quarterly*. 2015, no. 3, pp. 159–164. Available at: http://sites.utoronto.ca/tsq/53/tsq_53_prokhorov.pdf (Accessed on March 10, 2024). (In Russ.)
 16. *Fyodor Mihajlovich Dostoevskij v portretah, illyustracijah, dokumentah: Al'bom / Pod red. V. S. Nechaevoj* [Fyodor Mikhailovich Dostoevsky in Portraits, Illustrations, Documents: Album / Edited by V. S. Nechaeva]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1972. 447 p. (In Russ.)
 17. Yatmanov G. S. The Tasks of the Museum. In: *Muzej* [The Museum]. Vol. 1. Leningrad, 1923, pp. I–IV. (In Russ.)

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора3

ДОСТОЕВСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

*В. А. Викторovich, Л. И. Сараскина, Т. А. Касаткина, И. А. Есаулов,
В. В. Борисова, А. Г. Гачева, И. Л. Волгин, В. Н. Захаров*
Достоевский: проблемы интерпретации9

В. А. Викторovich
«Мужик Марей»: жизнь и судьба рассказа35

В. Е. Ветловская
Народные идеалы у Достоевского и их фольклорная основа78

К. А. Баршт
«Генерал» из «Братьев Карамазовых»: легенды, факты, источники122

М. А. Дубова
Рассказ Ф. М. Достоевского «Честный вор»
в рецепции современного читателя136

А. П. Дмитриев
Церковь и литература. Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой
в духовной критике 1850–1890-х годов153

Т. П. Баталова, Г. В. Федянова
Некрасов – читатель Достоевского.....181

А. В. Индзинская
Последний год жизни Ф. М. Достоевского
на страницах газеты «Новое время»191

Т. С. Карпачёва
«Слезинка ребёнка»: Лолита и Матрёша (контекст Ф. М. Достоевского
в романе В. В. Набокова «Лолита»)205

А. В. Кулагин
Достоевский в поэзии Александра Кушнера216

А. А. Черенкова
Иллюстрации Ф. Д. Константинова к роману «Преступление и наказание»:
графические средства выразительности как способ прочтения228

ПОЛЕМИКА

Е. А. Фёдорова
Проблемы интерпретации творчества Достоевского:
к вопросу о масонстве писателя239

Г. Н. Крапивин
Криптопоэтика без границ (о книге С. А. Кибальника)247

АРХИВ

Т. Н. Дементьева, Л. А. Воронкина
«Потерянные» пустоши Достоевских257

ЗАПОВЕДНИК

И. А. Боголюбская
«Пророку – Отечество». Об открытии памятника
Ф. М. Достоевскому в Даровом273

ХРАНИТЕЛИ

Г. С. Прохоров
Вера Степановна Нечаева:
Становление советского литературоведа285

Научное издание

**VII–VIII ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ
В ДАРОВОМ**

Материалы научной конференции

Редактор-составитель – *В. А. Викторovich*

Редактор – *А. С. Бессонова*

Компьютерная вёрстка, корректура – *НП «Заповедное Даровое»*

Технический редактор – *С. Н. Мироненко*

Подписано в печать 24.07.2024.

Бум. офсетная. Гарнитура Constantia.

Формат 70 x 100/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19. Тираж 200 экз. Заказ 586.

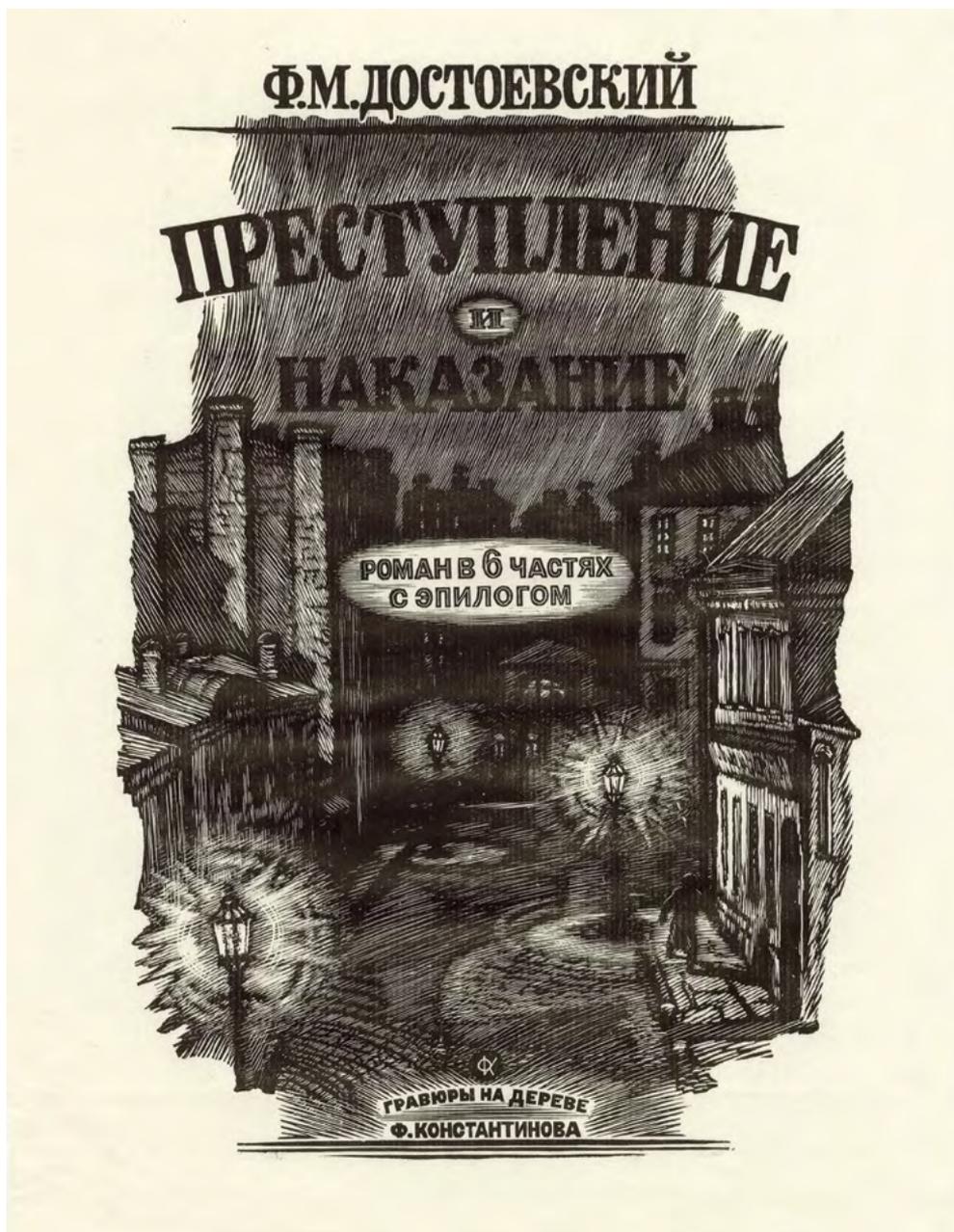
140411, г. Коломна, ул. Зелёная, 30

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»

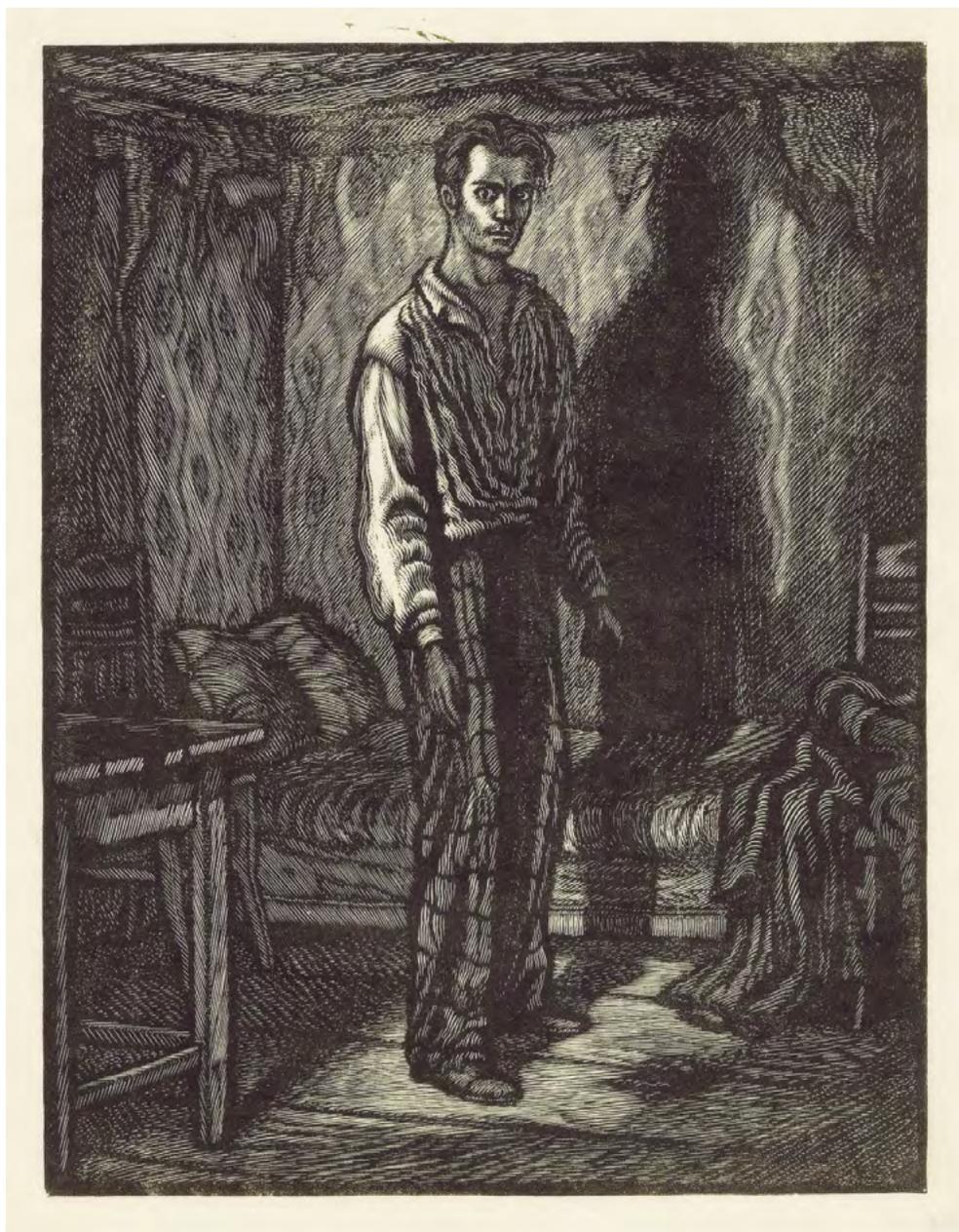
Отпечатано с готового оригинал-макета
в АО «Коломенская типография». ИНН 5022072551.
140400, г. Коломна Московской области,
ул. III Интернационала, 2а.

А. А. Черенкова

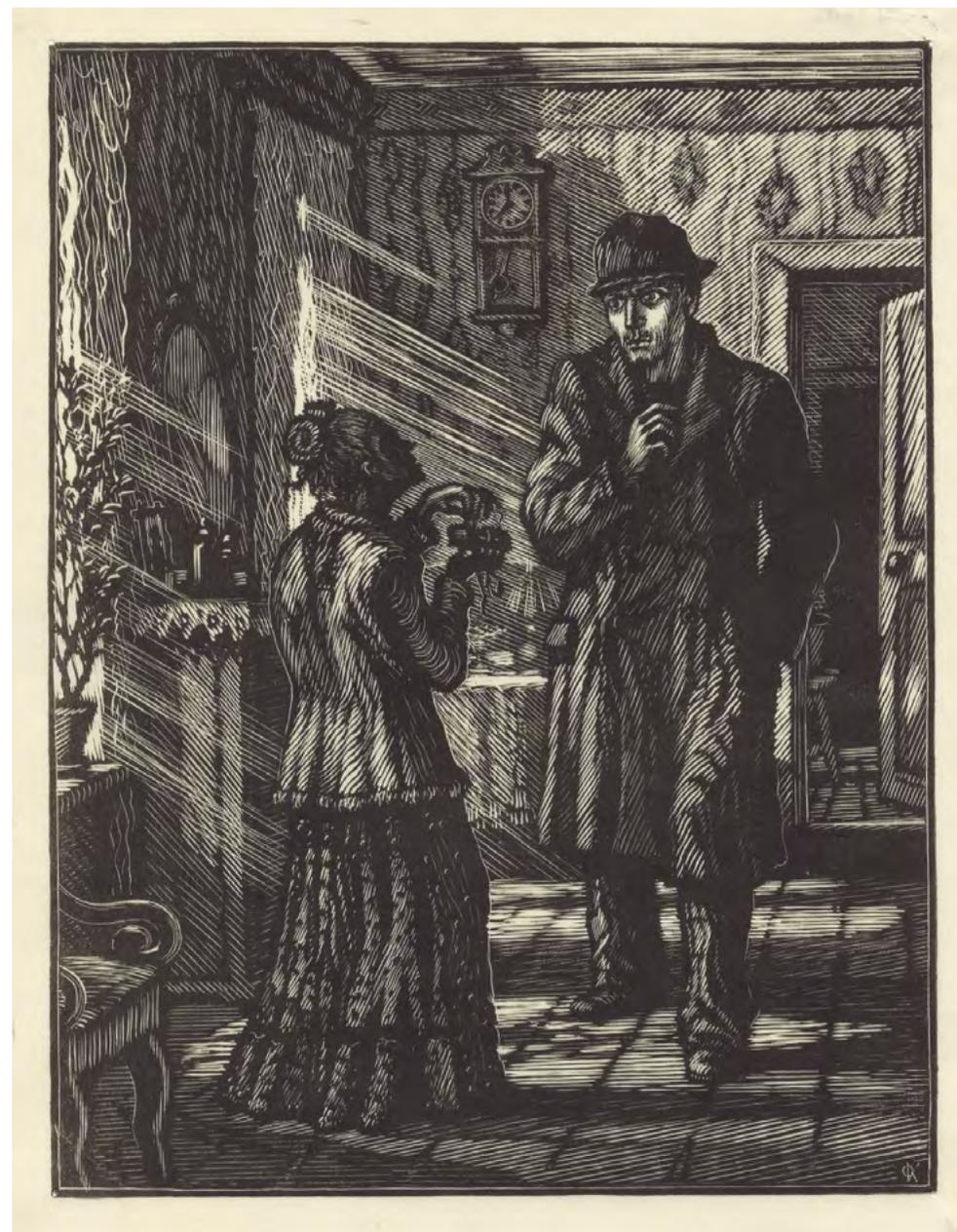
ИЛЛЮСТРАЦИИ Ф. Д. КОНСТАНТИНОВА
К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»: ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ ПРОЧТЕНИЯ



Илл. 1. Титульный лист к роману «Преступление и наказание». 1945–1946.
Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/2



Илл. 2. Фронтиспис. Раскольников в своей камерке. 1945–1946.
Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/1



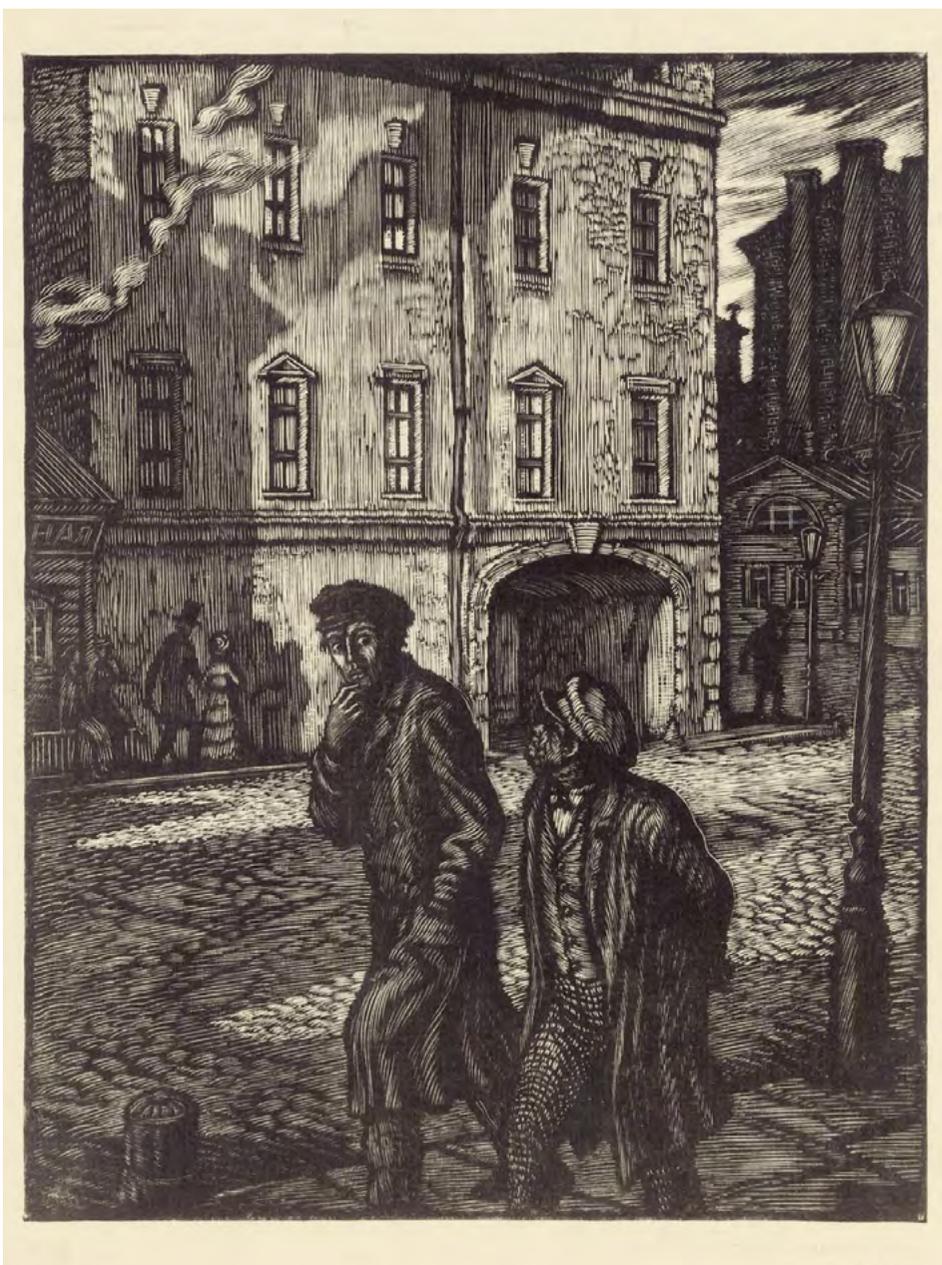
Илл. 3. Часть I. Раскольников у процентщицы. 1945–1946.
Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/5



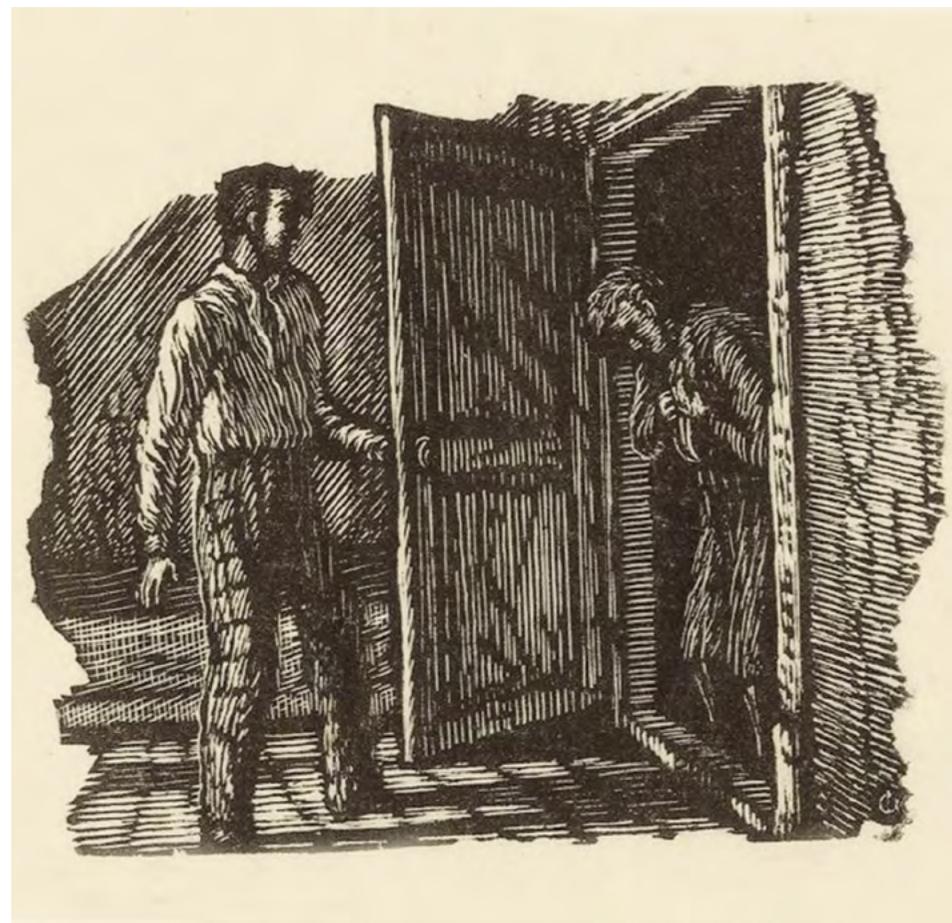
Илл. 4. Часть I. Концовка. Раскольников после убийства. 1945–1946.
Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/17



Илл. 5. Часть I. Раскольников на мосту: «На какое дело иду». 1945–1946.
Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/11



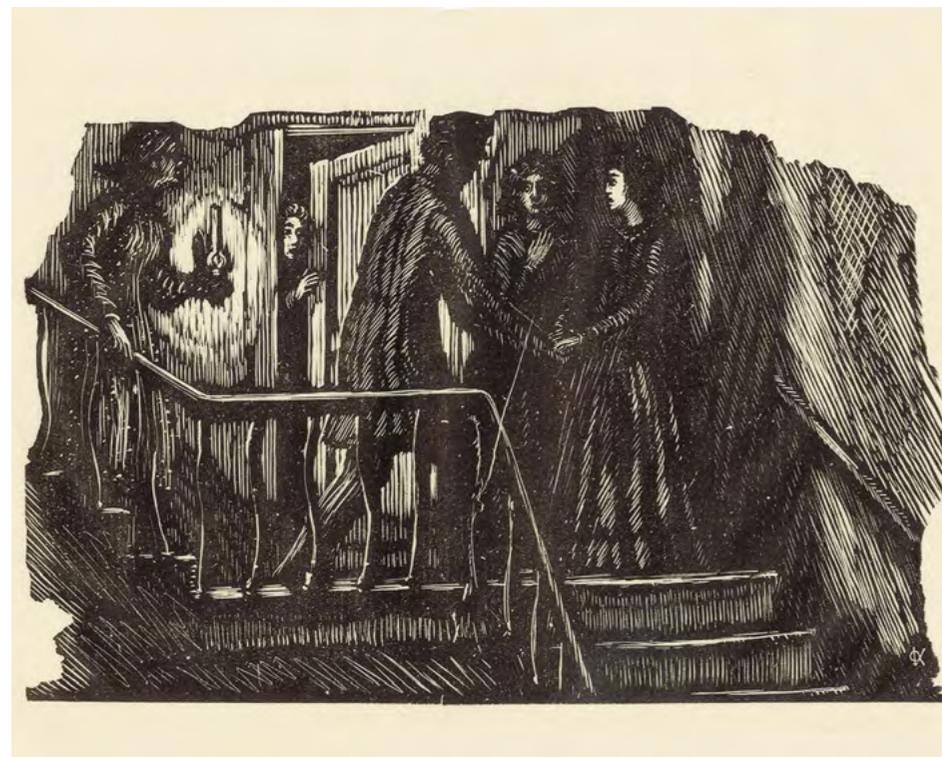
Илл. 6. Часть II. «Ты убивец». 1945–1946. Бумага, ксилография.
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/7



Илл. 7. Часть IV. Концовка. Кающийся мещанин. 1945–1946. Бумага,
ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/20



Илл. 8. Часть I. «Спрятался». 1945–1946. Бумага, ксилография.
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/6

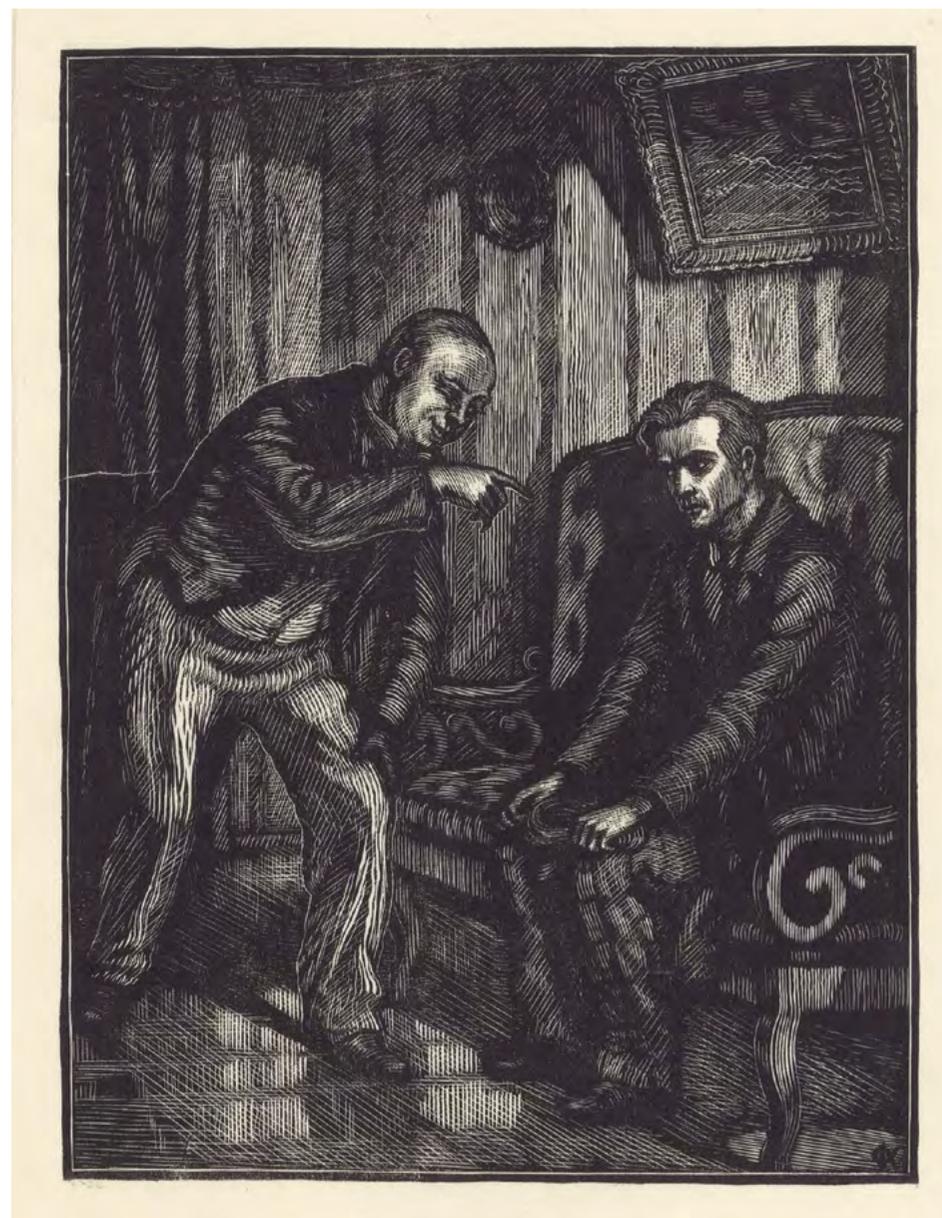


Илл. 9. Часть III. Полосная иллюстрация. Приезд родителей*. 1945–1946.
Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский
кремль». ЗИХМ КП-4765/13

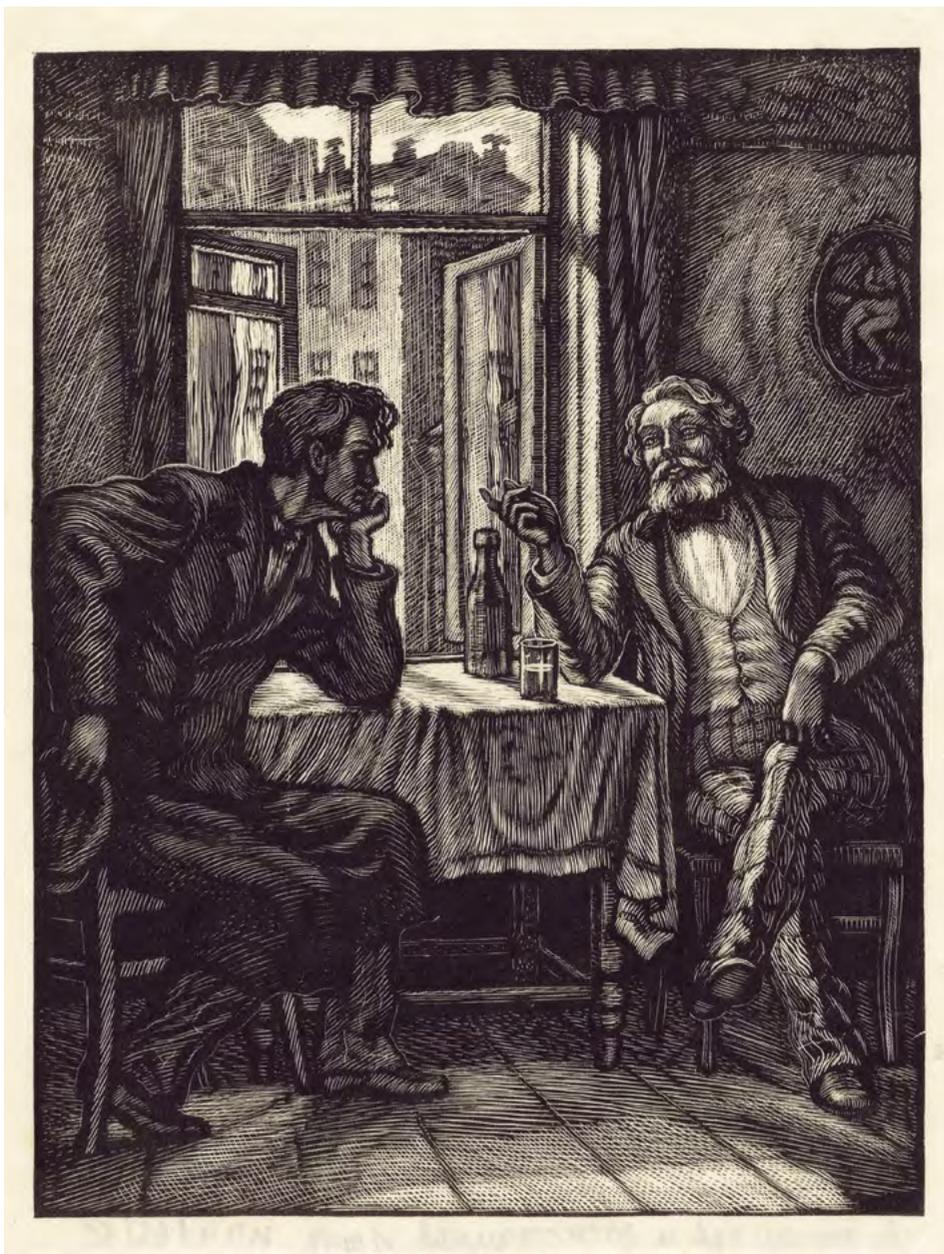
* Так художник ошибочно назвал сцену приезда матери и сестры Раскольникова. – Прим. ред.



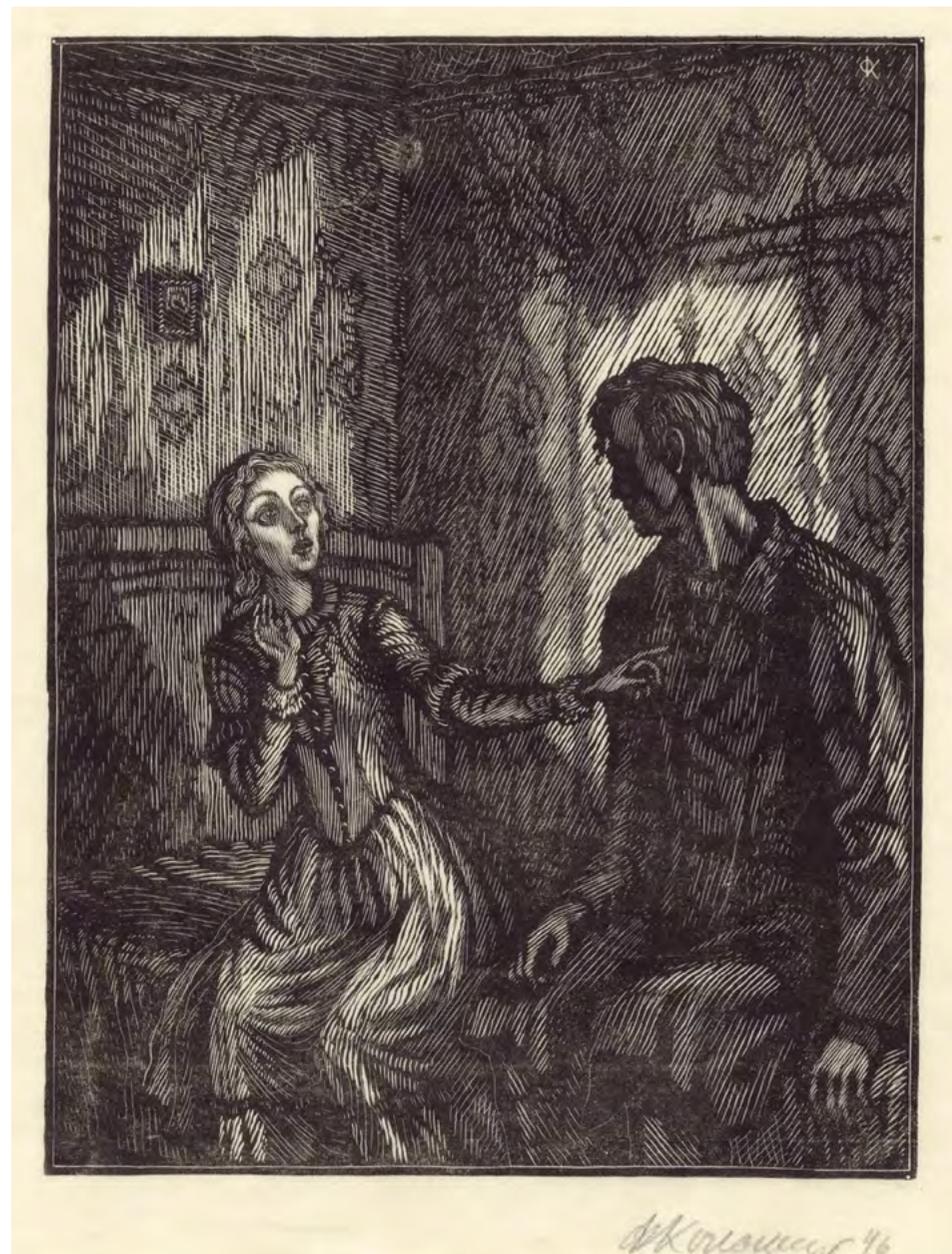
Илл. 10. Часть IV. Заставка. Раскольников и Соня читают Евангелие. 1945–1946. Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль». ЗИХМ КП-4765/14



Илл. 11. Часть IV. Порфирий Петрович и Раскольников. 1945–1946. Бумага, ксилография. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль». ЗИХМ КП-4765/8



Илл. 12. Свидригайлов и Раскольников. 1945–1946. Бумага, ксилография.
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/10



Илл. 13. Часть V. «Угадала? – прошептал он». Раскольников и Соня.
1945–1946. Бумага, ксилография.
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
ЗИХМ КП-4765/9



Илл. 3. План пустоши Чертковой. 1848 г.
Земли Достоевских значатся под № 2.
РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Д. 2189. Фрагмент